Р. Л.
Стивенсон

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Роберт Луис

СТИВЕНСОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
5

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1981

Составление
и общая редакция
М. Урнова

Иллюстрации художника
С. Бродского

Сент-Ив

ГЛАВА I

РАССКАЗ О ЛЬВЕ, СТОЯЩЕМ НА ЗАДНИХ ЛАПАХ

В мае 1813 года счастье изменило мне, и я все-таки попал в руки неприятеля. Я знал английский язык, и это определило род моих занятий в армии. Хотя у меня, конечно, и в мыслях не было, чтобы солдат мог отказаться от опасного предприятия, однако быть повешенным как шпиону — что может быть ужаснее! Поэтому, когда меня объявили военнопленным, на душе у меня сразу полегчало. В Эдинбургский замок, стоящий посреди города на вершине огромной скалы, меня бросили вместе с несколькими сотнями товарищей по несчастью; все они, как и я, были рядовые и волею случая почти все — невежественные парни из простонародья. Знание английского языка, которое ввергло меня в эту беду, теперь весьма ощутимо мне помогало. Оно давало множество преимуществ. Часто я исполнял роль толмача: по просьбе одних переводил приказы, по просьбе других — жалобы, перезнакомился с офицерами охраны, и кое-кто из них относился ко мне вполне благожелательно, иные же едва ли не по-приятельски. Один молодой лейтенант охотно сражался со мною в шахматы —а игрок я был весьма искусный — и в награду за гамбиты угощал меня превосходными сигарами. Майору крепостного батальона я давал во время завтрака уроки французского языка, и в благодарность он иной раз приглашал меня разделить с ним трапезу. Звали его Шевеникс. Он был важен, как тамбурмажор, и себялюбив, как истый англичанин, но ученик в высшей степени добросовестный и человек в высшей степени честный.

Мог ли я предположить в ту пору, что этот прямой, как палка, офицер с непроницаемым лицом станет в дальнейшем между мною и самыми заветными моими мечтами, что по милости этого аккуратного, педантичного, невозмутимого офицера корабль судьбы моей едва не потерпит крушение! Нельзя сказать, чтобы он пришелся мне по сердцу, но я относился к нему с доверием, и хотя это, быть может, пустяк, однако мне приятно было получить от него табакерку, в которой лежал золотой. Ибо, как ни странно, видавшие виды мужи, испытанные солдаты способны едва ли не впасть в детство; проведя недолгий срок в тюрьме, а ведь это в последнем счете почти все равно, что в детской, они погружаются в мир ничтожных ребяческих интересов и мечтают и строят планы, как бы разжиться сахарным печеньем или понюшкой табаку.

Мы, заключенные, являли собою жалкое зрелище. Все офицеры обещали не участвовать более в военных действиях, и их под честное слово выпустили из крепости. Почти все они снимали комнаты в предместьях Эдинбурга у небогатых семейств, наслаждались свободой и рьяно поддерживали дурные вести об императоре, которые почти все время приходили в Англию. Случилось так, что среди оставшихся в крепости военнопленных один только я был благородного происхождения. Меня окружали по большей части невежественные итальянцы из полка, которому жестоко досталось в Каталонии, да еще землекопы, давильщики винограда и дровосеки, неожиданно, против их воли приобщенные к славному племени солдат. Нас связывал лишь один общий интерес: каждый, у кого были не вовсе уж неумелые руки, проводил долгие часы плена, изготовляя разные забавные пустячки и «парижские безделушки», и всякий день, в установленное время, тюрьму нашу наводняли толпы местных жителей: они приходили порадоваться нашему несчастью или — эта мысль не так обидна — упиться своим торжеством. У одних доставало благоприличия смотреть на нас со смущением либо с сочувствием. Другие же вели себя попросту оскорбительно, глазели на нас, разинув рты, точно на бабуинов, пытались обратить нас в свою грубую северную веру, точно мы были дикари, или мучили нас рассказами о бедствиях, которые терпит французская армия. Но

все эти назойливые посетители — и те, кто был к нам расположен, и недоброжелатели, и равнодушные — все-таки облегчали нашу участь: почти каждый покупал что-нибудь из наших несовершенных изделий. И оттого среди пленников воцарился дух соперничества. У одних руки были на редкость искусны (ведь французы всегда славились своей одаренностью), и они выставляли на продажу истинные чудеса мастерства и вкуса. Другие обладали довольно привлекательной внешностью; красивое лицо, как и красивый товар, в особенности же юный возраст (он вызывал у наших посетителей сострадание) тоже становились источниками дохода. А третьи, кое-как знакомые с английским языком, умели лучше расхвалить посетителям свои немудреные изделия. О преимуществах искусных мастеров мне нечего было и мечтать, ибо руки у меня были, как крюки. Зато другими преимуществами я отчасти обладал и, находя, что коммерция вносит в нашу жизнь разнообразие, отнюдь не желал, чтобы они пропадали втуне. Я никогда не презирал искусства вести беседу, в каковом искусстве — и это составляет предмет нашей национальной гордости — может преуспеть любой француз. Для каждого рода посетителей у меня имелась своя манера обращения, и даже наружность моя менялась по мере надобности. Я никогда не упускал случая польстить посетительнице либо, если имел дело с мужчиной,— военной мощи Англии. А ежели похвалы мои не достигали цели, ухитрялся прикрыть отступление уместной шуткой, и меня нередко называли «оригиналом» или «забавником». Таким образом, хотя игрушечных дел мастер я был никудышный, из меня вышел недурной коммерсант, и у меня вполне хватало денег на те скромные лакомства и поблажки, о которых так мечтают дети и заключенные.

Едва ли из моего рассказа вырисовывается личность, склонная к меланхолии. Да я и в самом деле не таков; по сравнению с моими товарищами у меня было довольно причин не унывать. Во-первых, я был человек бессемейный, сирота и холостяк, во Франции никто меня не ждал — ни жена, ни дети. Во-вторых, оказавшись военнопленным, я все не переставал этому радоваться: хотя военная крепость отнюдь не райские кущи, она, однако же, предпочтительнее виселицы. В-третьих,

совестно признаться, но я находил известное удовольствие в самом расположении нашей тюрьмы: эта древняя, времен средневековья крепость стояла очень высоко, и, откуда ни глянь, взору открывались поразительные красо́ты — не только море, горы и долина, но и улицы столицы, днем черные от снующих по ним толп, вечером сверкающие огнями фонарей. И, наконец, хотя нельзя сказать, чтобы я был нечувствителен к строгости крепостного устава и к скудости рациона, мне вспоминалось, что в Испании, бывало, ел я так же плохо да в придачу должен был стоять в карауле либо шагать по двенадцать лье в сутки. Больше всего неприятностей мне доставляла, разумеется, одежда, которую мы вынуждены были носить. В Англии есть ужасное обыкновение — обряжать в нелепую форму и тем выставлять на посмешище не только каторжников, но и военнопленных и даже учеников школ для бедных. Одежда, в которую нас обрядили, была, верно, остроумнейшей выдумкой какого-то злого шутника: зеленовато-желтые или горчичные куртка, жилет и штаны и белая в синюю полоску ситцевая сорочка. Эта грубая дешевка бросалась в глаза и обрекала нас на насмешки — бывалые солдаты, привыкшие к оружию, притом некоторые со следами благородных ран, мы походили на каких-то мрачных фигляров из ярмарочного балагана. Скалу, на которой высилась наша тюрьма, в старину (так мне потом говорили) называли «Раскрашенная гора». Что ж, теперь наше платье выкрасило ее всю в ядовито-желтый цвет, и вместе с солдатами английского гарнизона в неизменных красных мундирах мы давали недурное понятие о преисподней. Снова и снова глядел я на своих товарищей по плену, и во мне поднимался гнев, и слезы душили меня при виде того, как над нами насмеялись. В большинстве своем, как я уже говорил, это были крестьяне, которые, пожалуй, несколько пообтесались под твердой рукою сержанта, но все равно остались неуклюжими, грубыми парнями, преуспевшими разве что в казарменном остроумии: право же, вряд ли где-нибудь еще наша армия была представлена хуже, нежели здесь, в Эдинбургском замке. Стоило мне вообразить, как я выгляжу, и я заливался краской. Мне мнилось, будто моя более изящная осанка лишь подчеркивает оскорбительность этого шутовского наряда. И я

вспоминал те дни, когда носил грубую, но почетную шинель солдата, и еще более далекую пору — детство, когда меня с любовью пестовали люди благородные, великодушные и добрые... Но мне не должно дважды обращаться к этим нежным и горьким воспоминаниям — о них речь впереди, а сейчас надобно сказать о другом. Коварная насмешливость британского правительства ни в чем не выражалась так ясно, как в одной особенности нашего содержания: нас брили всего лишь дважды на неделе. Можно ли придумать большее унижение для человека, который привык всю жизнь ходить чисто выбритым? Бритье происходило по понедельникам и четвергам. Вообразите же, каково я должен был выглядеть в воскресенье вечером! А по субботам, когда вид у меня был едва ли не такой же отталкивающий, у нас бывало более всего посетителей.

На наш базар приходили люди всех сословий: мужчины и женщины, тощие и дородные, некрасивые и очень недурные собою. Право же, если человеку дано понимать силу красоты, он уже за одно это должен вечно благодарить Венеру, а за счастье поглядеть на хорошенькую женщину не жалко и заплатить. Обычно наши посетительницы не отличались особенной красотой, и, однако же, сидя в углу, стыдясь себя самого и своего нелепого вида и глядя на какие-нибудь милые глазки, которые я больше никогда не увижу, да и не захочу увидеть, я вновь и вновь испытывал редкостное, поистине неземное наслаждение.

Цветок живой изгороди, звезда в небесах восхищают и радуют нас, но еще того более — вид прелестного создания, что сотворено, дабы носить в чреве своем, и вскармливать, и сводить с ума, и пленять нас, мужчин!

Среди наших посетительниц особенно хороша была одна молодая особа лет девятнадцати, высокая, с величавой осанкой и дивными волосами, в которых солнце зажигало золотые нити. Стоило ей войти во двор (а приходила она довольно часто), и я мгновенно это чувствовал. На лице ее разлито было ангельское спокойствие, но за ним угадывалась пылкая душа, и выступала она, точно Диана,— каждое ее движение дышало благородством и непринужденностью. Как-то раз дул сильный восточный ветер; трепетал флаг на флагштоке; внизу в городе неистово метался во все стороны дым из труб;

вдали в открытом море увалились под ветер или стремительно неслись корабли. «Скверный же выдался денек»,— подумал я — и тут появилась она. Волосы ее развевались по ветру и то и дело меняли цвет, платье облегало ее точно статую, концы шали затрепетали у самого ушка и были пойманы с неподражаемой ловкостью. Случалось вам видеть пруд в бурную погоду, когда под порывом ветра он вдруг весь заискрится, заиграет, точно живой? Так ожило, зарделось лицо этой девушки. Я смотрел, как она стоит,— слегка наклонясь, чуть приоткрыв рот, с восхитительным беспокойством во взгляде,— и готов был рукоплескать ей, готов был назвать ее истинной дочерью ветров. Уж не знаю, отчего мне это взбрело на ум, быть может, оттого, что был четверг и я только что вышел от парикмахера, но именно в этот день я решился обратить на себя ее внимание. Она как раз подходила к той части двора, где я сидел, разложив свои товары, и тут у ней из рук выпал платок, ветер тот же час его подхватил и перекинул ко мне поближе. Я мигом вскочил, я забыл про свое горчичного цвета одеяние, забыл, что я простой солдат и мое дело — отдавать честь. С низким поклоном я подал ей кусочек батиста.

— Сударыня,— сказал я,— благоволите взять платок. Ветер принес его ко мне.

И поглядел ей прямо в глаза.

— Благодарствую,— отвечала она.

— Ветер принес его ко мне,— повторил я.— Почему бы не счесть это добрым предзнаменованием? У вас, англичан, есть пословица: «Плох тот ветер, который никому не приносит добра».

— Что ж,— с улыбкой отвечала она.— Услуга за услугу. Посмотрим, что у вас есть.

Она последовала за мною к моим изделиям, разложенным за пушкой.

— Увы, мадемуазель,— произнес я,— я не слишком искусный мастер. Вот это должно изображать дом, но, видите, трубы у него покосились. А вот это при очень большой снисходительности можно счесть за табакерку, однако вот тут рука моя сорвалась! Да, боюсь, что во всех плодах моего рукомесла вы обнаружите какой-нибудь изъян. На моей вывеске надобно написать: «Продажа вещиц с изъяном». У меня не лавка, у

меня музей всяких забавностей.— Я с улыбкой поглядел на свои разложенные напоказ изделия, потом на нее и мгновенно стал серьезен.

— Не правда ли, странно,— прибавил я,— что взрослый человек, солдат, принужден заниматься подобным вздором, что тот, чье сердце исполнено печали, измышляет пустяки, на которые другим весело глядеть?

В эту самую минуту резкий голос окликнул ее по имени — «Флора!» —и она, что-то наспех купив, присоединилась к своим спутникам.

Через несколько дней она пришла опять. Но прежде расскажу вам, отчего она появлялась в крепости так часто. Ее тегушка была из тех несносных старых дев-англичанок, о которых так наслышан свет, и поскольку делать этой особе было решительно нечего и она знала два-три слова по-французски, в ней, по ее собственному выражению, пробудился интерес к пленным французам. Дородная, шумная, уверенная в себе, она расхаживала по нашему базару и держалась уж до того покровительственно и снисходительно, что просто терпения не было. Она и в самом деле покупала много и платила щедро, но при том так бесцеремонно разглядывала нас в лорнет да еще разыгрывала перед своими спутниками роль гида, что мы по праву не испытывали к ней ни малейшей благодарности. За ней всегда тянулась целая свита — скучные и подобострастные старые господа или глупые хихикающие девицы, которые принимали каждое ее слово как откровение.

— Вот этот очень ловко режет по дереву. А ведь правда, смешной — бакенбарды-то какие? — говорила она.

— А вон тот,— и лорнетом в золотой оправе она указывала на меня,— настоящий оригинал.

И можете мне поверить, что оригинал, слушая это, скрипел зубами. Она имела обыкновение затесаться в толпу и, кивая на все стороны, обращаться к нам, как ей казалось, по-французски.

— Bienne, hommes! Ça va bienne? [1].

В подобных случаях я брал на себя смелость ответствовать ей на том же ломаном языке:

[1] *Ну, ребята, как дела? (Искаж. франц.)*

— Bienne, femme! Ça va couci-couci tout d'même, la bourgeoise! [1].

Тут все мы начинали смеяться несколько громче и веселее, нежели то дозволяли приличия, она же в ответ на эту тарабарщину с торжеством возглашала:

— Вот видите, говорила я вам: он настоящий оригинал!

Разумеется, такие сценки происходили до того, как я обратил внимание на ее племянницу.

В тот день, о котором я рассказываю, за тетушкой тащилась особенно многолюдная свита и, волоча ее за собой по базару, дама сия рассуждала пространней обыкновенного и притом еще менее деликатно, нежели всегда. Из-под опущенных век я глядел все в одном и том же направлении, но понапрасну. Тетушка подходила к пленникам и отходила, и выставляла напоказ то одного, то другого, точно обезьян в зверинце; но племянница держалась поодаль, в другом конце двора и удалилась, как и пришла, ничем не показав, что заметила меня. Я не спускал с нее глаз, видел, что она ни разу не обратила на меня взора, и сердце мое исполнилось горечи и уныния. Я вырвал из сердца ее ненавистный образ, я навеки покончил со своею мечтой, я безжалостно высмеял себя за то, что в прошлый раз подумал, будто понравился ей; полночи я не мог уснуть, ворочался с боку на бок, вспоминал ее очарование, проклинал ее жестокосердие. Какой ничтожной она мне казалась, а вместе с нею и все женщины на свете! Мужчина может быть ангелом, Аполлоном, но ежели на нем куртка горчичного цвета, она скроет от женских глаз все его достоинства. Для этой девицы я — пленник, раб, существо презренное и презираемое, предмет насмешек ее соотечественников. Я запомню этот урок: теперь уж ни одна гордячка из неприятельского стана надо мною не посмеется; ни у одной не будет повода вообразить, будто я гляжу на нее с восхищением. Вы даже представить не можете, сколь я был решителен и независим, сколь непроницаемы были латы моей национальной гордости! Я вспомнил все низости, совершенные Британией, поставил весь этот длинный перечень в счет Флоре и только после этого наконец уснул.

[1] Ну-ну, женщина! Дела идут кое-как, не сказать, чтоб никак, буржуазка! *(Искаж франц)*

На другой день я сидел на своем обычном месте и вдруг почувствовал, что кто-то остановился рядом со мною,— то была она! Я продолжал сидеть — поначалу от растерянности, потом уже с умыслом, а она стояла, слегка склонясь надо мною, словно бы сострадая мне. Она держалась очень скромно, даже робко, говорила вполголоса. Я страдаю в плену? — спросила она. Может быть, у меня есть какие-нибудь жалобы?

— Мадемуазель,— отвечал я,— жаловаться не в моем обычае, я солдат Наполеона.

Она вздохнула.

— Ну уж, наверное, вы горюете о La France [1],— сказала она и чуть покраснела, французское слово прозвучало в ее устах как-то непривычно и мило.

— Что вам сказать? — отвечал я.— Если бы вас увезли из Шотландии, с которой вы так слиты, что, кажется, будто даже ее ветры и дожди вам к лицу, разве вы бы не горевали? Как можем мы не горевать — сын о матери, мужчина о своей отчизне, ведь это у нас в крови.

— У вас есть мать? — спросила она.

— В ином мире, мадемуазель,— отвечал я.— И она и мой отец перешли в мир иной тою же дорогой, что и многие честные и отважные люди: они последовали за своей королевой на эшафот. Так что, как видите, хоть я и узник, обо мне не стоит слишком сожалеть,— продолжал я,— никто меня не ждет, я один в целом свете. Куда хуже, например, вон тому бедняге в суконной фуражке. Он спит рядом со мной, и я слышу, как он тихонько плачет по ночам. У него чувствительная душа, он исполнен чувств нежных и деликатных; по ночам во тьме, а иногда и среди дня, если ему удается отвести меня в сторонку, он изливает мне свою тоску о матери и возлюбленной. А знаете, отчего он выбрал меня в наперсники?

Губы ее дрогнули, она взглянула на меня, однако не сказала ни слова. Но от взгляда ее меня обдало жаром.

— Только оттого, что однажды на марше я видел издали колокольню его деревни! Этого оказалось довольно, чтобы связать воедино все те человеческие инстинкты, которые делают жизнь прекрасной, а каких-

[1] Франции *(франц.)*.

то людей и какой-то уголок земли — особенно дорогими, те инстинкты, которых мне, кажется, не дано!

Я оперся подбородком о колено и опустил глаза. До сих пор я говорил лишь затем, чтобы задержать ее, но сейчас ее уход меня не огорчил бы: тронуть душу очень не просто и так легко разрушить произведенное впечатление!

После минутного молчания она сказала, словно бы с усилием:

— Я возьму вот эту безделушку,— положила мне в руку монету в пять с половиной шиллингов и исчезла прежде, чем я успел ее поблагодарить.

Я ушел подальше ото всех, к крепостной стене, и укрылся за пушкой. Прекрасные выразительные глаза этой девушки, задрожавшая в них слеза, сострадание, которое я услышал в ее голосе, легкость и пугливая грация всех ее движений — все это, словно сговорясь, пленило меня и воспламенило мое сердце. Что она сказала? Слова вовсе не были исполнены значения, но глаза ее встретились с моими и зажгли у меня в крови огонь неугасимый. Я полюбил ее и не страшился надеяться. Дважды я разговаривал с нею, оба раза был в ударе, пробудил в ней сочувствие, нашел слова, которые западут ей в память, будут звучать у ней в ушах ночью, когда она ляжет в постель. Пусть я дурно выбрит и в шутовском платье — что за важность? Все равно я мужчина, и я заставил ее меня запомнить. Все равно я мужчина, а она, с трепетом сознавал я, она женщина. Всем водам океана не залить пламя любви; любовь — это закон жизни, и она на моей стороне. Я закрыл глаза, и Флора тотчас явилась мне еще прекраснее, чем в жизни. «И ты тоже,— думал я,— ты тоже, моя бесценная, конечно, унесла с собою некий портрет; и непременно будешь глядеть на него и украшать его. И в ночной тьме, и на улицах при свете дня тебе опять и опять привидится мое лицо, послышится мой голос, он станет нашептывать тебе о моей любви, вторгаться в твое робкое сердце. Но сколь оно ни робкое, образ мой поселился в нем — это я сам в нем поселился, и пусть время делает свое дело, пусть рисует портрет мой еще более живыми, более проникновенными красками». Но тут я представил, каков я сейчас с виду, и расхохотался.

Как же, очень похоже на правду, что нищий солдат, пленник в желтом шутовском наряде способен затронуть душу этой прекрасной девушки! Нет, я не стану отчаиваться, но игру надо вести тонко и точно. Надо взять себе за правило держаться с нею так, чтобы вызывать ее сострадание или развлекать ее, но отнюдь не тревожить и не пугать. Надо запереть свое чувство в груди, как некий тайный позор, и пусть ее чувство (если я только сумею его пробудить) растет само собою, зреет с тою скоростию, на какую способно ее сердце, и ни на шаг быстрее! Я мужчина, и, однако, мне придется бездействовать и выжидать, ибо тюрьма вяжет меня по рукам и по ногам. Прийти к ней я не могу, значит, всякий раз, как приходит она, я должен так ее околдовать, чтобы она непременно воротилась, чтобы возвращалась опять и опять, и тут все зависит от того, насколько умно я себя поведу. В последний раз мне это удалось — после нашего разговора она просто не может не прийти вновь, а для следующей встречи у меня быстро зрел новый план. Влюбленный пленник при всей беспомощности своей обладает немалым преимуществом: его ничто не отвлекает, и все свое время он может взращивать любовь и обдумывать, как бы лучше ее выразить. Несколько дней я усердно резал по дереву — и не что-нибудь, а эмблему Шотландии: льва, стоящего на задних лапах. Я вкладывал в эту вещицу все свое умение, и, когда наконец сделал все, что мог (и, поверьте, уже сожалел, что вложил в нее столько труда), вырезал на подставке вот что:

A la belle Flora
le prisonnier reconnaissant
A. d. St. V. d. K.[1].

В это посвящение я вложил всю душу. Мне казалось, едва ли возможно смотреть равнодушно на предмет, сделанный с таким тщанием, а инициалы по крайности намекнут ей на мое благородное происхождение. Мне казалось, что лучше всего именно намекнуть: тайна — ценнейший мой товар; контраст между моим скромным положением и манерами, между моей речью и платьем, и то, что она не узнает полного моего имени,

[1] Прекрасной Флоре — признательный узник *(франц.)*.

а только начальные буквы — все это должно еще усилить ее интерес ко мне и привлечь сердце.

Я окончил резьбу, и теперь оставалось только ждать и надеяться. А нет ничего более противного моей натуре: в любви и на войне я всегда горю желанием действовать, и дни ожидания были для меня пыткой. Сказать по правде, к концу этих дней я полюбил ее еще сильнее, ибо любовь, как вино, от времени становится лишь крепче. К тому же меня охватил страх. Если она не придет, как буду я влачить нескончаемые, пустые дни? Разве сумею я возвратиться к прежней жизни, находить интерес в уроках с майором, в шахматных партиях с лейтенантом, в грошовой торговле на базаре или в ничтожной добавке к тюремному рациону?

Проходили дни, недели; у меня не хватало мужества их считать и даже сейчас не хватает мужества об этом вспоминать. Но вот наконец она пришла. Наконец-то я увидел, что она идет ко мне в сопровождении юноши примерно ее лет, в котором я тотчас же угадал ее брата.

Я встал и молча поклонился.

— Это мой брат, мистер Рональд Гилкрист,— сказала она,— я рассказывала ему о ваших страданиях. Он так вам сочувствует!

— Я не смел надеяться на такое великодушие,— отвечал я.— Правда, меж благородных людей подобные чувства естественны. Если бы нам с вашим братом довелось встретиться на поле брани, мы бы дрались, как львы, но когда он видит меня безоружного и беспомощного, в его душе не остается места для вражды. (При этих моих словах, как я и надеялся, юнец покраснел от удовольствия.) Ах, мадемуазель,— продолжал я,— сколько ваших соотечественников томятся у меня на родине точно так же, как томлюсь я здесь. Я могу только желать, чтобы каждому из них встретилась благородная француженка, которая сострадала бы ему и тем дарила бесценное утешение. Вы подали мне милостыню, более нежели милостыню — надежду, и во все время, пока вы не приходили, я этого не забывал. Не лишайте же меня права сказать себе, что я хотя бы попытался отблагодарить вас,— соблаговолите принять от пленника эту безделку.

И я протянул ей льва; она взяла его, поглядела на него в замешательстве и, увидев посвящение, воскликнула:

— Но как вы узнали мое имя?

— Когда имя так подходит, его нетрудно и угадать,— отвечал я с поклоном.— Но, право же, здесь нет никакого волшебства. В день, когда я поднял ваш платок, какая-то дама окликнула вас по имени, и я услыхал его и, конечно же, сохранил в памяти.

— Прелестная, прелестная вещица,— сказала она,— и я всегда буду гордиться этим посвящением. Идем, Рональд, нам пора.— Она поклонилась мне, как ровне, и пошла прочь, но (готов в этом поклясться!) слегка зардевшись.

Я был безмерно рад: моя невинная хитрость удалась, Флора приняла мой дар, ни словом не обмолвившись о плате, и, разумеется, не будет знать покоя до тех пор, пока не воздаст мне сторицей. Не новичок в сердечных делах, я, кроме того, понимал, что при дворе моей королевы имеется отныне мой посланник. Быть может, этот лев вырезан неумело, но он мой. Мои руки мастерили его и держали, мой нож, или, вернее сказать, мой ржавый гвоздь вывел эти буквы, и, как ни были просты вырезанные на дереве слова, они не устанут повторять ей, что я благодарен ей и очарован ею. Юноша застенчив, и, услыхав похвалу из моих уст, он покраснел; но я, очевидно, пробудил в нем и подозрения; однако в облике его было столько мужественности, что я не мог не ощутить к нему приязни. Что же до чувства, которое побудило ее привести брата и познакомить его со мною, как им не восхищаться! Оно казалось мне выше ума и нежнее ласки. Оно говорило (столь же ясно, как если бы высказано было словами): «Я вас не знаю и завести с вами знакомства не могу. Вот мой брат, сведите знакомство с ним: это путь ко мне... следуйте этим путем».

ГЛАВА II

РАССКАЗ О ПАРЕ НОЖНИЦ

Я был погружен в эти думы до самого звонка, возвестившего, что посетителям пора уходить. Но едва базар наш закрылся, нам велено было разойтись и полу-

чить свою порцию пищи, которую затем разрешалось есть где нам заблагорассудится.

Я уже упоминал, что некоторые посетители непереносимо нас оскорбляли; они, вероятно, даже не догадывались, сколь оскорбительно было их поведение,— так посетители зверинца, сами того не желая, на тысячи ладов оскорбляют злосчастных благородных зверей, попавших за решетку,— а иные мои соотечественники, вне всякого сомнения, были до чрезвычайности обидчивы. Кое-кто из этих усачей, выходцев из крестьян, с юности служил в победоносной армии, привык иметь дело с покоренными и покорными народами и тем труднее переносил перемену в своем положении. Один из них, по имени Гогла, был на редкость грубое животное; из всех даров цивилизации ему знакома была лишь воинская дисциплина, но благодаря необычайной храбрости он возвысился до чина, для которого по всем прочим своим качествам нимало не подходил,— он был maréchal des logis[1] двадцать второго пехотного полка. Воин он был отличный, насколько может быть отличным воином столь грубое животное; грудь его украшал крест, полученный за доблесть, но во всем, что не касалось прямых его обязанностей, это был скандалист, забияка, невежда, завсегдатай самых низкопробных кабаков. И я, джентльмен по рождению, обладающий склонностями и вкусами человека образованного, олицетворял в его глазах все то, что он меньше всего понимал и больше всего ненавидел; едва взглянув на наших посетителей, он приходил в ярость, которую спешил выместить на ближайшей жертве, и жертвой этой чаще всего оказывался я.

Так вышло и на этот раз. Едва нам роздали пищу, только я успел укрыться в углу двора, как увидел, что Гогла направляется в мою сторону. Он весь дышал злобной веселостью; кучка молодых губошлепов, среди которых он слыл за остроумца, следовала за ним, явно предвкушая развлечение; я мигом понял, что сейчас стану предметом одной из его несносных шуток. Он сел подле меня, разложил свою провизию, ухмыляясь, выпил за мое здоровье тюремного пива и начал. Бумага

[1] Унтер-офицер *(франц.)*.

не вынесла бы его речей, но поклонники его, полагавшие, что их кумир, их записной остроумец на сей раз превзошел самого себя, хохотали до упаду. А мне поначалу казалось, что я тут же умру. Я и не подозревал, что негодяй так приметлив, но ненависть обостряет слух, и он следил за нашими встречами и даже узнал имя Флоры. Понемногу я вновь обрел хладнокровие, но вместе с ним в груди закипел гнев — да такой жгучий, что я и сам был поражен.

— Вы кончили? — спросил я.— Ибо если кончили, я тоже хочу сказать вам два слова.

— Что ж, попробуй-ка отыграться! — сказал он.— Слово маркизу Карабасу!

— Прекрасно,— сказал я.— Должен поставить вас в известность, что я джентльмен. Вам непонятно, что это значит? Так вот, я вам разъясню. Это препотешное животное; происходит оно от весьма своеобразных созданий, которые называются предками, и так же как у жаб и прочей мелкой твари, у него есть нечто, именуемое чувствами. Лев — джентльмен, он не притронется к падали. Я джентльмен, и я не могу позволить себе марать руки о ком грязи. Ни с места, Филипп Гогла! Если вы не трус, ни с места и ни слова — за нами следит стража. Ваше здоровье! — прибавил я и выпил тюремное пиво.— Вы изволите отзываться неуважительно о юной девушке, о девице, которая годится вам в дочери и которая подавала милостыню мне и многим из нас, нищим. Если бы император — тут я отсалютовал,— если бы мой император слышал вас, он сорвал бы почетный крест с вашей жирной груди. Я не вправе этого сделать, я не могу отнять то, что вам пожаловал государь. Но одно я вам обещаю — я обещаю вам, Гогла, что нынче ночью вы умрете.

Я всегда многое ему спускал, и он, верно, думал, что моему долготерпению не будет конца, и поначалу изумился. Однако я с удовольствием заметил, что кое-какие мои слова пробили даже толстую шкуру этого грубого животного, а кроме того, ему и вправду нельзя было отказать в храбрости, и подраться он любил. Как бы там ни было, он очень скоро опомнился и, надо отдать ему должное, повел себя как нельзя лучше.

— А я, черт меня побери, обещаю открыть тебе ту же дорожку! — сказал он и опять выпил за мое

здоровье, и опять я наиучтивейшим образом ответил ему тем же.

Слух о моем вызове облетел пленников как на крыльях, и все лица засветились нетерпеливым ожиданием, точно у зрителей на скачках, и, право же, надо прежде изведать богатую событиями жизнь солдата, а затем томительное бездействие тюрьмы, чтобы понять и, быть может, даже извинить радость наших собратьев по несчастью. Мы с Гогла спали под одной крышей, что сильно упрощало дело, и суд чести был, естественно, назначен из числа наших товарищей по команде. Председателем избрали старшину четвертого драгунского полка, армейского ветерана, отменного вояку и хорошего человека. Он отнесся к своим обязанностям весьма серьезно, побывал у нас обоих и доложил наши ответы суду. Я твердо стоял на своем. Я рассказал ему, что молодая девица, о которой говорил Гогла, несколько раз облегчала мою участь подаянием. Я напомнил ему, что мы вынуждены милостыни ради торговать безделицами собственного изготовления, а ведь солдаты империи вовсе к этому не приучены. Всем нам случалось видеть подонков, которые клянчат у прохожего медный грош, а стоит подавшему милостыню пройти мимо,— осыпают его площадной бранью.

— Но я уверен, что никто из нас не падет так низко,— сказал я.— Как француз и солдат, я признателен этому юному созданию, и мой долг — защитить ее доброе имя и поддержать честь нашей армии. Вы старше меня и возрастом и чином, скажите же мне, разве я не прав?

Старшина — спокойный немолодой человек — легонько похлопал меня по спине. «C'est bien, mon enfant [1]»,— сказал он и вернулся к судьям.

Гогла оказался не более сговорчив, нежели я. «Не терплю извинений и тех, кто извиняется, тоже»,— только и сказал он в ответ. Так что теперь оставалось лишь озаботиться устройством нашего поединка. Что до места и времени, выбора у нас не было: наш спор предстояло разрешить ночью, впотьмах, под нашим же навесом, после поверки. А вот с оружием было сложнее У нас имелось немало всяких инструментов, при помо-

[1] Все правильно, сынок *(франц.)*

щи которых мы мастерили наши безделушки, но ни один не годился для поединка меж цивилизованными людьми; к тому же среди них не было двух совершенно одинаковых, так что уравнять шансы противников оказывалось чрезвычайно трудно.

Наконец развинтили пару ножниц, нашли в углу двора две хорошие палки и просмоленной бечевкой привязали к каждой по половинке ножниц; где раздобыли бечевку, не знаю, а смолу — со свежих срезов на еще не успевших просохнуть столбах нашего навеса. Со странным чувством держал я в руках это оружие — не тяжелее хлыста для верховой езды. Оно казалось и не более опасным. Все окружающие поклялись не вмешиваться в ход дуэли и, если дело кончится плохо, не выдавать имени противника, оставшегося в живых. Подготовившись таким образом, мы набрались терпения и принялись ждать урочного часа.

Вечер выдался облачный; когда первый ночной дозор обошел наш навес и направился к крепостным стенам, на небе не видно было ни звездочки; мы заняли свои места и сквозь шорох городского прибоя, доносившегося со всех сторон, еще слышали оклики стражи, обходящей замок. Лакла — старшина, председатель суда чести, поставил нас в позицию, вручил нам палки и отошел. Чтобы не испачкать платье кровью, мы оба разделись и остались в одних башмаках; ночная прохлада окутала наши тела словно бы влажной простыней. Противника моего сама природа создала куда лучшим фехтовальщиком, нежели меня: он был много выше, настоящий великан, и силу имел под стать сложению. В непроглядной тьме я не видел его глаз; а при том, что палки наши были слишком гибки, я был не вполне уверен, сумею ли парировать удары. Лучше всего, решил я, если удастся извлечь выгоду из своего недостатка — едва будет дан сигнал, я пригнусь и мгновенно сделаю выпад. Это значило поставить свою жизнь на одну-единственную карту: если я не сумею ранить его смертельно, то защищаться в таком положении уже не смогу; но хуже всего, что при этом я подставлял под удар лицо, а лицо и глаза мне меньше всего хотелось подвергать опасности.

— Allez! [1] — скомандовал старшина.

[1] Здесь начали! *(франц.)*

В тот же миг мы оба с одинаковой яростью сделали выпад и, если бы не мой маневр, сразу же пронзили бы друг друга. А так он лишь задел мое плечо, моя же половинка ножниц вонзилась ему ниже пояса и нанесла смертельную рану; великан всей своей тяжестью опрокинулся на меня, и я лишился чувств.

Очнувшись, я увидел, что лежу на своей койке, и в темноте смутно различил над собою с дюжину голов. Я порывисто сел.

— Что случилось? — воскликнул я.

— Тс-с! — отозвался старшина.— Слава богу, все обошлось.— Он сжал мне руку, и в голосе его послышались слезы.— Это всего лишь царапина, сынок. Я здесь, и уж я о тебе позабочусь. Плечо твое мы перевязали, одели тебя, теперь все обойдется.

При этих словах ко мне воротилась память.

— А Гогла? — выдохнул я.

— Его нельзя трогать с места. Он ранен в живот, его дело плохо,— отвечал старшина.

При мысли, что я убил человека ножницами, мне стало тошно. Убей я не одного, а десятерых выстрелами из мушкета, саблей, штыком или любым другим настоящим оружием, я не испытал бы таких угрызений совести. Чувство это еще усиливали все необычные обстоятельства нашего поединка — и темнота, и то, что мы сражались обнаженные, и даже смола на бечевке. Я кинулся к моему недавнему противнику, опустился подле него на колени и сквозь слезы только и сумел позвать его по имени.

— Не распускай нюни. Ты взял верх. Sans rancune [1].

От этих слов мне стало еще тошней. Мы, два француза на чужой земле, затеяли кровавый бой, столь же чуждый истинных правил, как схватка диких зверей. И теперь он, который всю свою жизнь был отчаянным задирой и головорезом, умирает в чужой стороне от мерзкой раны и встречает смерть с мужеством, достойным Байяра. Я стал просить, чтобы позвали стражу и привели доктора.

[1] Я на тебя не в обиде *(франц.)*.

— Может быть, его еще можно спасти! — воскликнул я.

Старшина напомнил мне наш уговор.

— Если бы Гогла ранил тебя,— сказал он,— пришлось бы тебе лежать здесь и дожидаться патруля. Ранен Гогла, и ждать придется ему. Успокойся, сынок, пора бай-бай.

И так как я все еще упорствовал, он сказал:

— Это слабость, Шандивер. Ты меня огорчаешь.

— Да-да, идите-ка вы все по местам,— вмешался Гогла и в довершение обозвал нас всех одним из своих любимых смачных словечек.

После этого все мы улеглись во тьме по местам и притворились спящими, хотя на самом деле никому не спалось. Было еще не поздно. Из города, что раскинулся далеко внизу, со всех сторон доносились шаги, скрип колес, оживленные голоса. Несколько времени спустя облачный покров растаял и в просвете меж навесом и неровной линией крепостных стен засияли бесчисленные звезды. А здесь, среди нас, лежал Гогла и порою, не в силах сдержаться, стонал.

Вдалеке послышались неторопливые шаги: приближался дозор. Вот он завернул за угол, и мы его увидели: четверо солдат и капрал, который усердно размахивал фонарем, чтобы свет проникал во все уголки двора и под навесы.

— Ого! — воскликнул капрал, подойдя к Гогла.

Он наклонился и посветил себе фонарем. Сердца наши неистово заколотились.

— Чья это работа, черт подери? — воскликнул капрал и громовым голосом подозвал стражу.

Мы вскочили на ноги; перед нашим навесом столпились солдаты, замерцали огни фонарей; сквозь толпу прокладывал себе дорогу офицер. Посредине лежал обнаженный великан, весь в крови. Кто-то еще раньше укрыл его одеялом, но, терзаемый нестерпимой болью, Гогла наполовину его скинул.

— Это — убийство! — закричал офицер. — Вы, зверье, завтра вы за это ответите.

Гогла подняли и положили на носилки, и он на прощание весело, со смаком выбранился.

ГЛАВА III

В ДЕЙСТВИЕ ВСТУПАЕТ МАЙОР ШЕВЕНИКС, А ГОГЛА СХОДИТ СО СЦЕНЫ

Не было никакой надежды, что Гогла выживет, и с него, не теряя ни минуты, сняли допрос. Он дал одно-единственное объяснение случившемуся: он, мол, покончил с собой, так как ему осточертели англичане. Доктор утверждал, что о самоубийстве не может быть и речи: об этом свидетельствует вид и форма раны, угол, под которым она нанесена. Гогла отвечал, что он куда хитрей, чем воображает лекарь: он воткнул оружие в землю и кинулся на острие — «прямо как Навуходоносор», прибавил он, подмигнув санитарам. Доктор, щеголеватый, краснолицый и очень беспокойный человечек, презрительно фыркал и ругал своего пациента на чем свет стоит.

— От него толку не добьешься! — восклицал он.— Настоящий дикарь. Если бы только нам найти его оружие!

Но оружия этого уже не существовало. Просмоленную бечевку, вероятно, занесло ветром куда-нибудь в канаву, обломки палки скорее всего валялись в разных углах двора, а вот, взгляните, какой-то тюремный франт, наслаждаясь утренней свежестью, ножницами аккуратно подстригает ногти.

Натолкнувшись на непреклонное упорство раненого, тюремное начальство, конечно же, принялось за остальных. Оно пустило в ход все свое умение. Нас опять и опять вызывали на допрос, допрашивали и поодиночке и сразу по двое, по трое. Чем только нам не грозили, как только не искушали! Меня вызывали на дознание раз пять, не меньше, и всякий раз я выходил победителем. Подобно старику Суворову, я не признаю солдата, которого можно застичь врасплох нежданным вопросом; солдат должен отвечать так же, как идет в атаку, — живо и весело. У меня может недостать хлеба, денег, милосердия, но еще не было случая, чтобы мне недостало умения ответить, когда меня спрашивают. Товарищи мои, если и не все были столь же находчивы, не уступали мне в стойкости, и могу сразу же сказать, что в ту пору следствие так ничего и не добилось, и тайна

смерти военнопленного Гогла осталась нераскрытой. Таковы были французские ветераны! Однако я буду несправедлив, если не скажу, что то был особый случай; при обычных обстоятельствах кое-кто мог и споткнуться, его могли застращать и вынудить к признанию; на сей же раз всех нас накрепко связывало не только простое товарищество, но и общая тайна, все мы были соучастниками в некоем тайном заговоре, равно стремились его осуществить, и, раскройся он, все одинаково понесли бы наказание. Нет нужды спрашивать, каков был этот замысел: лишь одно желание может зреть в неволе, лишь один замысел может быть там взлелеян. И мысль, что наш подземный ход уже почти готов, поддерживала нас и вдохновляла.

Как я уже говорил, из схватки с тюремными властями я вышел победителем; следствие скоро зашло в тупик и заглохло, как глохнет песенка, когда никто ее не слушает, и все же я был разоблачен; посе того, как меня защитил мой же противник, я сам разоблачил себя, можно считать, сам во всем признался, едва ли не сам поведал причину нашей ссоры и тем уготовал себе в будущем на редкость опасное и неприятное приключение. Это случилось на третье утро после дуэли, Гогла был все еще жив, и тут пришло время давать урок майору Шевениксу. Я радовался этому занятию не оттого, что он много мне платил — по натуре он был скуп, и я получал от него всего каких-нибудь восемнадцать пенсов в месяц,— но оттого, что мне пришлись по вкусу его завтраки, а в какой-то мере и он сам. Как-никак он был человек образованный, все же прочие, с кем мне доводилось беседовать, если и не держали книгу вверх ногами, не задумываясь, вырывали из нее страницы, чтобы разжечь трубку. Ибо, повторяю, товарищи мои по плену были все, как на подбор, люди невежественные, и в Эдинбургском замке узники более просвещенные ничему не обучали остальных, как в некоторых других тюрьмах, куда человек вступал, не зная грамоты, а выходил обогащенный знаниями, годный для вполне серьезных занятий. Шевеникс был хорош собой — шесть футов росту, великолепная осанка, правильные черты лица, необычайно ясные серые глаза — и для чина майора на удивление молод. Казалось бы, придраться не к чему и, однако, впечатление он производил неприятное. Быть может, он

был не в меру чистоплотен, от него так и разило мылом. Чистоплотность — отличное свойство, но я терпеть не могу, когда у мужчины ногти сверкают, словно покрытые лаком. И, право же, он был уж чересчур сдержан и хладнокровен. Этому молодому офицеру, видно, чужд был юношеский жар, стремительность и живость воина. От его доброты веяло холодом, доходящим до жестокости; его неторопливость выводила из терпения. Возможно, дело тут было в его нраве, столь противоположном моему, но даже в те дни, когда он был мне весьма полезен, я всякий раз приближался к нему с недоверием и осторожностью.

Я, как обычно, просмотрел его грамматические упражнения и отметил шесть ошибок.

— Гм, шесть,— сказал он, поглядев в тетрадь.— Весьма досадно. Никак эти правила мне не даются.

— Полноте,— сказал я,— вы делаете отличные успехи!

Вы, конечно, понимаете, я не хотел его расхолаживать, но французский язык ему не давался — такова уж была его натура. Для этого, я думаю, требуется некий душевный жар, а он погасил свой огонь мыльной пеной.

Майор Шевеникс отодвинул тетрадку упражнений, оперся подбородком на руку и поглядел на меня суровыми ясными глазами.

— Мне думается, нам надо побеседовать,— сказал он.

— Весь к вашим услугам,— отвечал я, но меня пробрала дрожь, ибо я знал, о чем он поведет речь.

— Вы уже не первый день даете мне уроки,— продолжал он,— и у меня сложилось о вас недурное мнение. Я склонен считать вас джентльменом.

— Вы не ошиблись, сэр,— отвечал я.

— И я также не первый день у вас перед глазами. Не знаю, что вы обо мне думаете, но, полагаю, поверите, что я тоже человек чести,— сказал он.

— Мне не требуется никаких заверений, это очевидно само собою,— отвечал я с поклоном.

— Отлично,— сказал он.— Так что же вы думаете о случае с Гогла?

— Вы слышали вчера, как я отвечал суду,— начал я.— Я проснулся, только когда...

— Да, разумеется, я слышал вчера, как вы отвечали суду,— прервал он,— и я отлично помню, что вы проснулись, только когда... Я могу повторить весь ваш рассказ почти слово в слово. Но неужели вы полагаете, что я хоть на минуту вам поверил?

— Так ведь если я повторю вам это сейчас, вы все равно не поверите,— отвечал я.

— Возможно, я ошибаюсь, там будет видно,— сказал майор,— но мне кажется, что вы не станете повторять это сейчас. Мне кажется, что прежде, чем покинуть эту комнату, вы кое-что мне откроете.

Я пожал плечами.

— Так вот слушайте,— продолжал он.— Ваши показания, разумеется, сущий вздор. Но я посмотрел на это сквозь пальцы, и суд сделал то же самое.

— Весьма вам признателен! — сказал я.

— Короче говоря, вы не можете не знать, что произошло,— продолжал майор Шевеникс.— Вся ваша команда «Б», несомненно, знает. И я вас спрашиваю: какой смысл разыгрывать комедию и повторять небылицы, если мы друзья? Ну же, мой дорогой, признайтесь, что ваша карта бита, и сами над этим посмейтесь.

— Я слушаю вас, продолжайте,— сказал я.— Вы принимаете случившееся чересчур близко к сердцу.

Он неторопливо закинул ногу на ногу.

— Я отлично понимаю,— начал он,— что тут необходимо было принять все меры предосторожности. Полагаю даже, что дана была клятва молчать. Я отлично это понимаю (он смотрел на меня холодными, блестящими глазами). И я понимаю также, что, поскольку речь идет о дуэли, вы всеми силами постараетесь соблюсти тайну.

— О дуэли? — повторил я, словно бы в совершенном недоумении.

— А разве это была не дуэль? — спросил он.

— Какая дуэль? Я вас не понимаю,— отвечал я.

Он ничем не выразил нетерпения, просто помолчал немного, а потом заговорил все так же невозмутимо, почти добродушно:

— Ни суд, ни я не поверили вашим показаниям. Ими не проведешь и младенца. Но между мною и прочими офицерами есть разница, ибо я знаю, что вы за человек, а они этого не знают. Они видели в вас обыкновенного солдата, а я знал, что вы джентльмен. Для них

ваши показания были нагромождением бессмысленной лжи, которая наводила на них смертельную скуку. Я же спрашивал себя: как далеко может зайти джентльмен? Не настолько же далеко, чтобы помогать сокрытию убийства? Поэтому, когда я услышал ваши уверения, будто вы ничего знать не знали и ведать не ведали, проснулись от крика капрала и все прочее, я кое-что понял. Так вот, Шандивер,— воскликнул он, вскочил и с живостью подошел ко мне,— я хочу вам рассказать, что же происходило на самом деле, и вы поможете мне позаботиться, чтобы восторжествовала справедливость. Как вы это сделаете, я не знаю, ведь вы, без сомнения, связаны клятвой, но как-нибудь да сделаете. А теперь слушайте внимательно.

Тут он сильной рукой вдруг крепко ухватил меня за плечо, и говорил ли он еще что-нибудь или тут же умолк, я не знаю и по сей день. Ибо, словно по наущению самого дьявола, он схватился как раз за то плечо, которое задел Гогла. Рана была пустяковая, царапина, она уже начала затягиваться, но когда майор Шевеникс сжал ее, меня пронзила острая боль. Голова закружилась, на лбу выступил пот; должно быть, я страшно побледнел.

Так же внезапно Шевеникс отдернул руку.

— Что с вами? — спросил он.

— Пустяки,— отвечал я.— Приступ дурноты. Все уже прошло.

— Вы уверены? — спросил он.— Вы бледны, как полотно.

— Нет, нет, все в порядке, не беспокойтесь! Это совершенные пустяки. Я уже пришел в себя,— выговорил я, еле ворочая языком.

— Так я могу продолжать? — спросил майор Шевеникс.— Вы в состоянии меня слушать?

— Ну, разумеется! — отвечал я и утер пот с лица рукавом, ибо носового платка у меня в ту пору, конечно, не было.

— Если только вы в силах меня слушать. Какой-то очень внезапный и жестокий приступ,— с сомнением сказал он.— Но раз вы уверены, что все прошло, я продолжаю. Дуэль для вас, пленников, естественно, задача нелегкая; должно быть, соблюсти все правила было бы

просто невозможно. И, однако, она могла быть вполне законной по существу, даже если при столь своеобразных обстоятельствах вам пришлось отступить от некоторых формальностей. Вы меня понимаете? Я спрашиваю вас как джентльмена и солдата.

При этих словах он снова поднял руку и уже хотел снова опустить ее мне на плечо. Я не в силах был бы это вынести и отшатнулся.

— Нет,— воскликнул я,— не надо! Не трогайте мое плечо. Я не могу этого вынести.— И поспешно прибавил: — У меня ревматизм. Плечо воспалено и очень болезненно.

Он отошел к своему стулу и неторопливо закурил сигару.

— Очень сожалею, что причинил вам боль,— сказал он наконец.— Не послать ли за доктором?

— Ни в коем случае,— возразил я.— Это пустяк. Я давно привык. Мой ревматизм меня нисколько не беспокоит. Да и вообще я не верю в докторов.

— Хорошо,— сказал Шевеникс, потом сел и долго молча курил. Чего бы я только не дал, чтобы нарушить это молчание! — Так вот,— заговорил он наконец,— я думаю, мне больше нечего узнавать. Полагаю, что мне все известно.

— О чем? — чуть ли не с вызовом спросил я.

— О Гогла,— отвечал он.

— Прошу прощения. Я вас не понимаю.

— Ну как же,— сказал майор Шевеникс.— Гогла пал на дуэли, и от вашей руки! Я ведь не ребенок.

— Отнюдь нет,— сказал я.— Но, сдается мне, вы завзятый теоретик.

— Не угодно ли проверить мою теорию? Доктор здесь поблизости. Если на плече у вас нет открытой раны, я ошибаюсь. Если же она есть...— Он махнул рукой.— Но прежде советую вам как следует подумать. В этом опыте есть прескверная оборотная сторона: то, что могло бы остаться между нами, сделается всеобщим достоянием.

— Так и быть! — отвечал я со смехом.— Что угодно, только не доктор. Терпеть не могу эту породу.

Последние его слова немного успокоили меня, но я все еще чувствовал себя не в своей тарелке.

Майор Шевеникс курил и поглядывал то на меня, то на кончик сигары.

— Я и сам солдат,— сказал он наконец.— И в свое время тоже уложил противника в честном поединке. Я не желаю никого загонять в угол из-за дуэли, если ее нельзя было избежать и если в ней все было достойно и справедливо. Но уж это я по крайней мере должен знать, и тут мне довольно будет вашего слова. В противном случае, как ни прискорбно, я вынужден буду пригласить доктора.

— Я ничего не признаю и ничего не отрицаю,— заявил я.— Но если вас устроит такая форма, извольте: даю вам честное слово, слово джентльмена и солдата, что между нами, пленниками, не произошло ничего бесчестного или неблагородного.

— Прекрасно,— сказал он.— Больше мне ничего и не надо было. А теперь можете идти, Шандивер.

И когда я направился к двери, он прибавил со смехом:

— Да, кстати, я должен принести вам извинения, я отнюдь не предполагал, что подвергаю вас пытке.

В тот же день после обеда во двор вышел доктор с листком бумаги в руке. Он явно был зол и раздосадован и нимало не заботился о вежливости.

— Слушайте, вы! — крикнул он.— Кто из вас знает по-английски? — Тут он заметил меня.— Эй! Как вас там? Вас-то мне и надо. Скажите им всем, что тот малый умирает. Ему крышка, уж я-то знаю, он не дотянет до ночи. И скажите им, что я не завидую тому, кто его приколол. Сперва скажите им это.

Я повиновался.

— Теперь можете им сказать,— продолжал доктор,— что этот малый, Гог... как бишь его?.. хочет повидать кое-кого из них перед тем, как отправиться в последний путь. Если я правильно его понял, он хочет кого-то поцеловать или обнять, в общем какой-то чувствительный вздор. Поняли? Вот он сам написал список, возьмите и прочитайте, мне не выговорить этих варварских имен. Кого назовете, пусть отвечает «здесь» и отходит вон туда, к стене.

Странные и неуместные чувства всколыхнулись во мне, когда я прочел первое имя в этом списке. У меня не было ни малейшего желания еще раз увидеть дело рук своих; всем моим существом завладели ужас и отвращение. Как знать, что за прием он мне приготовил? Все в моих руках: я могу пропустить первое имя, доктор ничего не поймет... и не пойду к умирающему. Но, к великому счастью для себя, я ни секунды не задержался на этой мысли, подошел к указанному у стены месту, прочел «Шандивер» и прибавил «здесь».

В списке набралось с полдюжины имен, и как только все собрались, доктор направился к лазарету, а мы, выстроившись в затылок, словно команда, наряженная на работу, зашагали следом. У дверей доктор остановился, сказал, что мы пойдем к «этому малому» по одному, и, едва я успел перевести его слова, отправил меня в палату. Я вошел в небольшую, выбеленную известкой комнату; окно, выходящее на юг, было распахнуто настежь, из него открывался вид на дальние горы, и откуда-то снизу явственно доносились голоса уличных торговцев. У самого окна на узкой койке лежал Гогла. С лица его еще не сошел загар, но оно было уже отмечено печатью смерти. Что-то отчаянное, обнаженное было в его улыбке, и у меня перехватило горло; только любовь и смерть знают эту улыбку, только они ее видели. И когда он заговорил, уже незаметно было, что слова его грубы,— все заслонила эта улыбка.

Он протянул руки, словно хотел меня обнять. Весь внутренне сжавшись от невыразимого отвращения, я подошел ближе и склонился к нему. Но он лишь притянул меня к себе и зашептал в самое ухо:

— Ты мне верь, je suis bon bougre, moi [1]. Я утащу наш секрет в преисподнюю и поделюсь им с сатаной.

Для чего повторять здесь его грубые и пошлые слова? Все мысли его в этот час были полны благородства, но выразить их он умел лишь языком площадной шутки. Несколько времени спустя он велел мне позвать доктора и, когда тот вошел, слегка приподнялся на постели, указал сперва на себя, потом на меня — а я стоял рядом и уже не сдерживал слез — и ломаным английским языком повторил несколько раз:

— Друзья... друзья... друзья, черт побери!

К великому моему изумлению, доктор, видимо, был очень тронут. Он закивал, короткие кудряшки парика затряслись на его маленькой голове, и он несколько раз кряду повторил на каком-то подобии французского:

[1] Я славный малый *(франц.)*.

— Да-да, Джонни... я понимай.

После этого Гогла пожал мне руку, снова меня обнял, и, всхлипывая, как малый ребенок, я вышел.

Как часто мне случалось видеть, что самые отпетые головы расставались с жизнью достойнейшим образом! Тут есть чему позавидовать. Пока Гогла был жив, его терпеть не могли; в последние же три дня своей поразительной стойкостью и самоотвержением он завоевал все сердца, и когда в тот же вечер по замку разнеслась весть, что его не стало, все заговорили вполголоса, точно в доме, погруженном в траур.

А я словно обезумел; я не мог более думать о том, что тревожило меня прежде; право, не знаю, что на меня нашло; пробудившись на другое утро, я вновь стал самим собой, но в тот вечер меня обуяла угрюмая ярость. Я убил его, он же сделал все, что только мог, чтобы меня защитить; его страшная улыбка стояла у меня перед глазами. И такими нелепыми и бесполезными казались сейчас эти угрызения совести, что мне довольно было взгляда или слова, чтобы вновь затеять с кем-нибудь ссору. Наверное, все это было написано у меня на лице, и когда несколько времени спустя я повстречал доктора, отдал честь и обратился к нему, он поглядел на меня удивленно и сочувственно.

Я спросил его, правда ли, что Гогла не стало.

— Да,— отвечал он,— ваш приятель умер.

— Он очень страдал?

— Нисколько. Уснул мирным сном,— сказал доктор. Еще посмотрел на меня и полез в кармашек для часов.— Вот возьмите! И не стоит горевать понапрасну,— сказал он, сунул мне в руку серебряный двухпенсовик и пошел своей дорогой.

Мне следовало бы заключить эту монетку в рамку и повесить на стену, ибо, сколько я знаю, то был единственный случай, когда этот человек поддался чувству милосердия. Я же постоял, поглядел на монету и, поняв его ошибку, горько рассмеялся, потом отошел к крепостной стене и зашвырнул монету подальше, точно то была цена крови. Смеркалось. В глубине цветущей долины спешили по Принцесс-стрит фонарщики, каждый с лесенкой и фонарем, и я угрюмо следил за ними сквозь амбразуру. Неожиданно чья-то рука опустилась мне на плечо, и я обернулся. То был майор Шевеникс, во фраке,

с безупречно повязанным галстухом. В умении одеваться ему никак нельзя было отказать.

— Я не сомневался, что это вы, Шандивер,— сказал он.— Итак, он умер?

Я кивнул.

— Ну-ну, не надо унывать. Разумеется, это весьма прискорбно, весьма тягостно и все такое. Но, знаете ли, для нас с вами это совсем не так плохо. Теперь, когда его уже нет, и притом что перед кончиной вы его навестили, я совершенно успокоился.

Стало быть, своей жизнью я снова должен быть обязан Гогла.

— Я предпочел бы этого не касаться,— сказал я.

— Хорошо, только еще одно слово, и я не стану больше об этом упоминать. Из-за чего вы дрались?

— Ах, ну из-за чего дерутся мужчины! — воскликнул я.

— Женщина?

Я пожал плечами.

— Вот так штука! — сказал Шевеникс.— Никак не ждал, что он способен влюбиться.

И тут мое дурное настроение прорвалось наружу.

— Он! — воскликнул я.— Да он ни разу не посмел с нею заговорить... только и знал, что смотрел на нее да изрыгал мерзкие оскорбления! Быть может, она как-нибудь и подала ему шесть пенсов; если так, доброта ее, возможно, еще откроет ему дорогу на небеса!

Тут я заметил, как испытующе смотрит на меня майор, и замолчал на полуслове.

— Ну, ну, Шандивер, покойной ночи! Приходите ко мне завтра во время завтрака, и мы побеседуем о чем-нибудь другом.

Должен признать, что он держался не так уж плохо; с тех пор прошло много времени, и теперь, когда я пишу эти строки, я понимаю, что он держался просто хорошо.

ГЛАВА IV

СЕНТ-ИВ ПОЛУЧАЕТ ПАЧКУ АССИГНАЦИЙ

Однажды утром, вскоре после дуэли, я с удивлением заметил, что меня пристально разглядывает какой-то незнакомец в штатском. Это был господин средних лет; я

увидел багровое лицо, круглые темные глаза под потешными клочковатыми бровями и выпуклый лоб; одет он был просто, строго, наподобие квакера. Однако глядел уверенно и независимо, как человек преуспевающий. Вероятно, стоя поодаль, он рассматривал меня уже изрядное время, так как между нами на казенной части орудия преспокойно сидел воробей. Едва взгляды наши встретились, незнакомец подошел ближе и обратился ко мне по-французски; говорил он бегло, но с чудовищным акцентом.

— Я имею честь говорить с мсье виконтом Энном де Керуалем де Сент-Ивом? — спросил он.

— Видите ли, сам я так себя не называю,— отвечал я,— но если пожелаю, имею на это право. В настоящее время я именуюсь просто Шандивер. К вашим услугам, сэр. Это фамилия моей матери, и она вполне подходит солдату.

— По-моему, это не совсем так,— возразил незнакомец.— Сколько я помню, у вашей матушки тоже был титул. Она звалась Флоримонда де Шандивер.

— Опять ваша правда! — сказал я.— И мне чрезвычайно приятно повстречать человека, столь хорошо осведомленного о моей родословной. А вы, сэр, тоже знатного рода?

Я задал этот вопрос крайне высокомерным тоном, отчасти, чтобы скрыть безмерное любопытство, которое пробудил во мне странный посетитель, отчасти же потому, что в устах рядового солдата в арестантской одежде это, разумеется, звучало смешно и ни с чем не сообразно.

Он, видно, тоже так подумал и засмеялся.

— Нет, сэр,— возразил он, на сей раз по-английски.— Я не знатного рода, как вы изволили выразиться, а всего лишь обыкновенный смертный, что, впрочем, равняет меня с любыми самыми родовитыми господами. Я просто мистер Роумен, Дэниел Роумен, лондонский стряпчий, к вашим услугам, сэр, и, что, вероятно, заинтересует вас куда больше, приехал я сюда по поручению графа — вашего двоюродного деда.

— Как! — воскликнул я.— Неужто мсье де Керуаль де Сент-Ив помнит о существовании столь незначительной персоны, как я, и неужто он снизошел до того, чтобы считать родней наполеоновского солдата?

— Вы отлично говорите по-английски,— заметил мой гость.

— Это мой второй язык с детства,— сказал я.— Няня моя была англичанка, отец говорил со мною по-английски, а завершил мое образование ваш соотечественник, мой дорогой друг мистер Вайкери.

На лице законника выразился живейший интерес.

— Как! — воскликнул он.— Вы знали несчастного Вайкери?

— Больше года,— сказал я,— и долгие месяцы делил с ним его убежище.

— А я служил у него в конторе и стал его преемником. Превосходный был человек! Он поехал в эту проклятую страну по делам мсье де Керуаля, и ему так и не суждено было воротиться. Вы, часом, не знаете, сэр, каков был его конец?

— Увы, знаю,— отвечал я.— По несчастью, он попал в руки шайки разбойников, мы их называем chauffeurs [1]. Скажу коротко: его пытали, и он умер в тяжких мучениях. Вот смотрите,— прибавил я, сбрасывая башмак (чулок у меня не было),— я был тогда еще ребенком, и смотрите, как они со мною обошлись.

Он поглядел на след старого ожога, и лицо его исказилось.

— Ужасный народ! — пробормотал он негромко, но я все же услышал.

— О, да, англичанин может позволить себе такое суждение,— вежливо отозвался я.

Вот так квитался я с этой легковерной нацией. Девять из десяти наших посетителей приняли бы мои слова за чистую монету, за свидетельство моего здравомыслия, но, видно, лондонский законник был поумней их.

— А вы, я вижу, не так-то глупы,— сказал он.

— Да,— отвечал я,— не вовсе дурак.

— И, однако, лучше не давать воли иронии,— продолжал он.— Это — опасное оружие. Ваш двоюродный дед, сколько я понимаю, всегда был к нему привержен,

[1] Кочегары *(франц.)* — разбойники, которые во время французской революции жгли ноги жертвам, чтобы выманить деньги.

и теперь почти уже невозможно понять, шутит ли он или говорит серьезно.

— Кстати, позвольте задать вам несколько вопросов, которые, я полагаю, вы сочтете вполне естественными,— сказал я.— Чему я обязан удовольствием видеть вас в этой моей обители? Как вы меня узнали? И откуда вам стало известно, что я нахожусь здесь?

Аккуратно откинув полы сюртука, стряпчий подсел ко мне на край каменной плиты.

— Это довольно странная история,— сказал он,— и, с вашего позволения, я отвечу прежде на ваш второй вопрос. Вы несколько походите на своего двоюродного брата, господина виконта Алена де Сент-Ива.

— Смею надеяться, сэр, что в сходстве этом вы не усматриваете ничего дурного?

— Спешу вас в этом уверить,— был ответ.— На мой взгляд, наружность виконта едва ли можно назвать приятной. И, однако, когда я узнал, что вы находитесь здесь, и начал вас разыскивать, сходство это мне помогло. А откуда я узнал, где вас найти,— этим по странной случайности мы тоже обязаны мсье Алену. Должен вам сказать, что одно время виконт взял себе за правило сообщать графу де Керуалю о вашей карьере, а с какою целью, об этом предоставляю вам судить самому. Когда он впервые сообщил о вашем... о том, что вы пошли на службу к Буонапарте, старый господин был столь возмущен, что известие это чуть не стоило ему жизни. Но мало-помалу положение несколько изменилось. Нет, я бы даже сказал, порядком изменилось. Нам стало известно, что вы получили приказ отправиться на Пиренейский полуостров сражаться с англичанами; потом — что за храбрость вы были произведены в офицеры, а затем снова разжалованы в солдаты. И, как я уже сказал, мало-помалу граф де Керуаль стал осваиваться с мыслью, что его родич служит Буонапарте, а заодно начал задумываться над тем, отчего другой его родич так прекрасно осведомлен о мельчайших событиях во Франции. И ему пришлось задать себе пренеприятный вопрос: уж не шпион ли сей молодой человек? Короче говоря, сэр, стремясь навредить вам, кузен ваш возбудил весьма тяжкие подозрения противу себя самого.

На этом посетитель мой умолк, взял понюшку табаку и поглядел на меня весьма благосклонно.

— Боже милостивый! — воскликнул я.— Какая странная история, сэр!

— Погодите, то ли еще будет,— сказал мистер Роумен.— Я расскажу вам еще о двух событиях. Первое — это столкновение графа де Керуаля с мсье де Мозеаном.

— Этот, на мою беду, мне знаком,— сказал я.— По его-то милости меня и разжаловали.

— Да неужто? — воскликнул Роумен.— Вот так новость!

— Но мне не приходится на него пенять,— сказал я.— Я сам был виноват. Я шел на это с открытыми глазами. Если тебе поручают охранять пленного, а ты его отпускаешь на волю, надо приготовиться к тому, что тебя уж по меньшей мере разжалуют.

— Вам воздастся за это,— сказал Роумен.— Вы исполнили свой долг перед самим собою и главное — перед своим монархом.

— Если бы я думал, что действую во вред своему императору, поверьте, я скорее дал бы мсье де Мозеану сгореть в аду, чем отпустил бы его! Я видел в нем лишь частное лицо, попавшее в беду; я отпустил его из одного только милосердия и желаю, чтобы меня поняли правильно, даже если это мне повредит.

— Ладно, ладно,— сказал стряпчий.— Сейчас это не имеет значения. Поверьте мне, вы напрасно горячитесь... ваш пыл совсем неуместен. Дело в том, что мсье де Мозеан говорил о вас с благодарностью и отозвался о вас так, чтобы как можно верней расположить к вам вашего дядю. А вслед за тем явился ваш покорный слуга и выложил перед графом прямое доказательство того, о чем мы давно уже подозревали. Сомнений более не оставалось! Жизнь на широкую ногу, дорогостоящее франтовство, любовницы, игра в кости, скаковые лошади — все объяснилось: мсье Ален состоял на службе у Буонапарте, был наемником, попросту шпионом, в его руках сходились нити, я бы сказал, весьма сомнительной деятельности. Надо отдать справедливость графу де Керуалю, он принял это как нельзя достойнее: уничтожил доказательства бесчестья одного своего внучатого племянника, а затем все свое внимание перенес на другого.

— Как прикажете вас понимать? — спросил я.

— А вот как,— отвечал он.— Человеческая натура на удивление непостоянна, и по роду моих занятий мне представлялось немало возможностей это наблюдать. Натуры себялюбивые могут прекрасно весь свой век прожить без чад и домочадцев, им вообще никто не нужен, кроме разве парикмахера да лекаря; однако же, когда близится смертный час, они просто не в силах умереть, не оставив наследника. Вывод можете сделать сами. Хотя виконт Ален едва ли об этом догадывается, он уже сброшен со счетов. Остается виконт Энн.

— Понимаю, — сказал я. — По вашему рассказу у меня создалось не слишком лестное представление о графе, моем дядюшке.

— Я этого не хотел,— возразил Роумен.— Граф вел рассеянную жизнь... чрезвычайно рассеянную... Но, узнав его, нельзя им не восхищаться; его обходительность не имеет себе равных.

— И вы в самом деле полагаете, что я могу надеяться?

— Поймите,— ответил мистер Роумен,— я и так сказал вам чересчур много, я превысил свои полномочия. Мне отнюдь не поручали говорить ни о завещании, ни о наследстве, ни о вашем кузене. Меня послали сюда для того лишь, чтобы сообщить вам, что мсье де Керуаль желает познакомиться со своим внучатым племянником.

— Что ж,— сказал я, оглядывая крепостные стены, окружавшие нас со всех сторон,— это как раз тот случай, когда Магомет должен сам прийти к горе.

— Прошу прощения,— возразил мистер Роумен,— вы уже знаете, что дядя ваш — человек в летах, но я еще не сказал вам, что он тяжко болен и дни его сочтены. Нет-нет, здесь не может быть никаких сомнений: именно гора должна прийти к Магомету.

— В устах англичанина такие слова весьма знаменательны,— сказал я — Разумеется, вы по самому роду своих занятий призваны хранить тайны и, как я вижу, не выдаете моего кузена Алена; но ведь это, мягко говоря, отнюдь не свидетельствует о вашем рьяном патриотизме.

— Прежде всего я — поверенный вашего семейства! — сказал он.

— Что ж, коли так,— сказал я,— тогда, пожалуй, я и сам выскажусь яснее... Скала эта очень высокая и очень крутая. Откуда бы ни начать спуск, почти наверняка сорвешься и костей не соберешь, и, однако, будем считать, что у меня есть крылья и я окажусь у подножия. Ну, а дальше? Где искать помощи?

— Вот тут-то, пожалуй, могу вмешаться я,— возразил поверенный.— Допустим, некая случайность — не берусь угадывать, какая именно, и не стану высказывать о ней свое мнение — позволит вам спуститься...

Я не дал ему договорить.

— Одну минуту,— сказал я.— Хочу вас предупредить: я не давал английскому командованию обещания не участвовать более в военных действиях.

— Я так и думал,— отвечал он,— хотя кое-кто из вас, французских дворян, не считает для себя обязательным держать слово.

— Я не из их числа, сэр.

— Должен отдать вам справедливость, я и не причислял вас к ним,— сказал он.— Итак, допустим, что вы свободны и оказались у подножия скалы. Хотя возможности мои невелики, кое-чем я все же могу облегчить вам дальнейший путь. Прежде всего на вашем месте я унес бы с собою во внутреннем кармане или в башмаке вот это.

И он протянул мне пачку ассигнаций.

— Это мне не повредит,— сказал я и поскорее их спрятал.

— Во-вторых,— продолжал он,— отсюда до Эмершема, где живет ваш дядюшка, путь не близкий,— это возле Данстейбла; вам предстоит пересечь чуть ли не всю Англию. На первых порах я ничем не могу вам помочь и вынужден предоставить вас вашей собственной удаче и ловкости. Здесь, в Шотландии, у меня нет знакомых, или, во всяком случае (тут он поморщился), нет знакомых мошенников. Но дальше к югу, близ Уэйкфилда, обитает, как мне говорили, некий Берчел Фенн,— он не слишком щепетилен и, наверно, с готовностью поможет вам добраться до нужного места. Не стану скрывать, сэр, сколько мне известно, он этим и промышляет, хотя говорить об этом мне крайне неприятно, мсье де Сент-Ив. Да что поделаешь, раз обстоятельства вынуждают якшаться с жуликами; но, пожалуй, в наши дни

самый большой жулик на свете — это ваш кузен мсье Ален.

— Если этот Фенн служит моему кузену,— заметил я,— не лучше ли мне держаться от него подальше?

— Нас навели на его след кое-какие бумаги вашего кузена,— отвечал поверенный.— Но если в этой скверной истории вообще можно на что-либо полагаться, думаю, вы спокойно можете обратиться к упомянутому Фенну. Вы даже могли бы сослаться на самого виконта, ваше фамильное сходство, пожалуй, окажется вам на руку. Что, если вам назваться его братом?

— Можно,— отвечал я.— Но послушайте! Вы предлагаете мне вступить в весьма нелегкую игру, я получаю опаснейшего противника в лице моего кузена, а притом, что я военнопленный, козыри уж, наверно, не у меня. Каковы же ставки, стоит ли мне ввязываться в эту затею?

— Ставки очень крупные,— сказал поверенный.— Ваш двоюродный дед безмерно богат... безмерно. В свое время он поступил мудро: задолго предчувствуя приближение революции, продал все что возможно и всю движимость переправил через нашу фирму в Англию. Он владеет в Англии обширными землями. Эмершем, где он сейчас живет,— великолепное поместье; кроме того, у него много денег, и все они помещены весьма благоразумно. Он окружен поистине царственной роскошью. А для чего ему это? Он потерял все, ради чего стоит жить,— семью, отчизну; он видел гибель своего короля и королевы, видел невзгоды и бесчестье...— Поверенный говорил все громче, горячее, и даже покраснел, и вдруг оборвал свою речь на полуслове.— Короче говоря, сэр, он видел все прелести нового правительства, которому служит его племянник, и, на беду, они пришлись ему не по нраву,— закончил он.

— В ваших словах слышится горечь, которую я, вероятно, должен извинить,— сказал я.— И все же у кого из нас больше оснований для горечи? Этот человек, мой дядя мсье де Керуаль, бежал из Франции. Мои же родители, которым, быть может, не хватило мудрости, остались. Вначале они даже стали республиканцами и до самого конца не поддавались никаким уговорам и не изверились в своем народе. То было великолепное безумство — и я, их сын, могу лишь глубоко чтить это. И вот

отец мой погиб, а затем погибла и матушка. Быть может, во мне еще сохранились черты джентльмена, но все, кому я этим обязан, погибли на эшафоте, и последние уроки благородства я получил в Аббатстве [1]. Неужто вы думаете, что человеку с моим прошлым незнакома горечь?

— У меня этого и в мыслях не было,— отвечал он,— но одного не могу понять: как случилось, что человек вашего происхождения и вашей судьбы стал служить корсиканцу. Не понимаю. Мне кажется, все, что в вас есть благородного, должно было бы восстать против этого... этого самовластья.

— А быть может,— возразил я,— если бы вы провели детство среди волков, вы бы с радостью приветствовали корсиканского пастуха.

— Хорошо, хорошо,— сказал мистер Роумен,— все может быть. Есть вещи, о которых не стоит спорить.

И, махнув мне рукой, он резко поворотился, почти сбежал по ступеням и растаял в тени тяжеловесной арки.

ГЛАВА V

СЕНТ-ИВУ ПОКАЗЫВАЮТ НЕКИЙ ДОМ

Едва поверенный дядюшки ушел, как я понял, сколько допустил оплошностей, и, самое главное, не потрудился спросить адрес Берчела Фенна. Это было очень серьезное упущение, и я кинулся к лестнице, но слишком поздно. Поверенного уже не было видно; в сводчатом проходе перед воротами замка краснели мундиры и поблескивали ружья часовых, и мне оставалось только вернуться на свое место у крепостного вала.

Не уверен, что я имел право там находиться. Но в крепости ко мне благоволили, и никто из офицеров да, пожалуй, и солдаты тоже не стали бы гнать меня оттуда, разве что под горячую руку, и всякий раз, как мне хотелось побыть одному, они не мешали мне укрыться здесь за пушкой, и никто меня не тревожил. У ног моих скала обрывалась почти отвесно, но вся поросла цепким кустарником, на дне долины вздымалась башня внешнего бастиона, а за долиною, на широком уступе горы, тя-

[1] Парижская тюрьма, место массовых казней в 1792 году, разрушена в 1854 году.

нулась Принцесс-стрит — обычное место прогулок здешней аристократии. Подумать только, чтобы из военной тюрьмы открывался вид на самую оживленную улицу города!

Не стану утруждать вас подробным изложением всех мыслей, вызванных только что описанным разговором, и надежд, которые он во мне пробудил. Гораздо важнее, что даже поглощенный своими мыслями я невольно следил за оживленным движением на Принцесс-стрит: прохожие сновали взад и вперед, встречали знакомых, здоровались, раскланивались, заходили в лавки, которые на этой улице на редкость хороши для британской провинции. Мысли мои были заняты совсем не тем, что происходило на улице, и я не сразу заметил, что вот уже несколько времени слежу взглядом за рыжеволосым молодым человеком в белом пальто; в тот час мне до этого человека не было никакого дела, и вполне вероятно, что до самой смерти я о нем так ничего и не узнаю. Казалось, ему знаком весь город: поминутно раскланиваясь, он не успевал надевать шляпу; смею сказать, что у меня на глазах он уже успел обменяться поклонами с полдюжиной прохожих и наконец остановился перед молодым человеком и девушкой, статные фигуры и величавая осанка которых показались мне знакомыми.

Разумеется, на таком расстоянии я не мог быть уверен, что не ошибся, но и одного предположения было довольно: я высунулся из амбразуры и провожал их взглядом, пока они не скрылись из виду. Неужто я мог так взволноваться, неужто сердце мое могло так бешено забиться всего лишь от случайного сходства, неужто меня привела бы в такой трепет женщина вовсе не знакомая! При виде Флоры или девушки, издали столь па нее похожей, ход моих мыслей мгновенно изменился. Новости мистера Роумена весьма приятны, и, разумеется, совершенно необходимо повидаться с дядей; однако дядя, вернее, двоюродный дед, которого я никогда прежде не видел, не может взволновать мое воображение; а ведь если я покину Эдинбургскую крепость, мне, вероятно, уже никогда более не представится случай вновь повстречать Флору. Даже если предположить, что я произвел на нее хоть какое-то впечатление, как же скоро оно поблекнет! Как скоро я превращусь в призрачное воспоминание, которым она когда-нибудь, пожалуй, станет развлекать мужа и детей! Нет, прежде чем я покину Эдинбург, надобно оставить неизгладимый след, надобно покрепче запечатлеть себя в ее памяти. И тут два желания, что боролись в моей груди, слились и превратились в одно Я хотел снова увидеть Флору и нуждался в ком-нибудь, кто посодействовал бы моему побегу и раздобыл мне партикулярное платье. Выход напрашивался сам собой. Кроме крепостной стражи, для которой было делом чести и воинского долга держать меня в плену, я во всей Шотландии знал только двоих. Если побег вообще возможен, то лишь с их помощью. Открыться им, пока я нахожусь в замке, значило бы поставить их перед труднейшим выбором. И мог ли я быть уверен в том, как они поступят? Ведь окажись я на их месте, право, не знаю, как бы я поступил! Итак, прежде всего надо бежать. Когда дело будет сделано, когда я предстану пред ними несчастным беглецом, я меньше оскорблю их чувства просьбой о помощи, и это будет не столь опасно. Значит, первым делом надо было узнать, где они живут и как туда добраться. И совершенно уверенный, что они вскорости вновь меня навестят, я приготовил разные приманки, с помощью которых надеялся выудить нужные мне сведения. Как вы увидите, Флора с братом клюнули на первую же.

Дня два спустя появился Рональд — один. Я еще не нашел с юношей общегс языка и отложил исполнение своего плана до той поры, пока не сумею завоевать его расположение и пробудить в нем интерес. Он отчаянно конфузился, ибо прежде совсем не заговаривал со мною, а лишь кланялся да смущенно краснел, и теперь подошел ко мне с видом человека, упрямо выполняющего свой долг, подобно необстрелянному солдату под огнем. Я отложил фигурку, которую вырезал из дерева, и поздоровался с ним с крайней учтивостью, полагая, что это доставит ему удовольствие, и, так как он продолжал молчать, я пустился расписывать сражения, в которых участвовал, и хвастал так лихо, что заткнул за пояс самого Гогла. Рональд заметно оттаял и повеселел, подошел ближе, расхрабрился до того, что засыпал меня вопросами, и, наконец, снова покраснев, сообщил мне, что и сам ждет патента на офицерский чин.

— Что ж,— сказал я,— ваши британские войска очень хороши — те, что на Пиренейском полуострове. Храбрый молодой джентльмен вправе гордиться, если ему выпадет честь стать во главе таких солдат.

— Знаю,— отвечал он,— я только об том и мечтаю. По-моему, стыдно и глупо сидеть дома и заниматься, изволите ли видеть, собственным образованием, когда другие, ничуть не старше меня, участвуют в сражениях.

— Не могу с вами не согласиться,— сказал я,— вот и я так чувствовал.

— Ведь правда... правда, наши войска самые лучшие? — спросил он.

— Видите ли,— отвечал я,— у них есть один недостаток: на них нельзя положиться во время отступления. Я сам был тому свидетелем: во время отступления с ними не было никакого сладу.

— Да, все мы, англичане, такие,— гордо заявил он, бог ему судья.

«Я видел, как вы, англичане, удирали со всех ног, и имел честь гнать вас, как зайцев» — вот какие слова просились мне на язык, но у меня хватило ума сдержаться. Всякому приятна лесть, а уж молодым людям, и женщинам чем больше льстить, тем лучше, и оставшееся время я занимал его рассказами о доблести англичан, однако не поручусь, что все рассказы мои были правдивы.

— Я просто поражен,— сказал наконец Рональд.— Говорят, будто французы — народ неискренний, а я нахожу, что ваша искренность просто великолепна. Вы благородный человек. Я вами восхищаюсь. Я очень вам благодарен за то, что вы так ко мне добры, ведь я... я еще очень молод.

И он протянул мне руку.

— Надеюсь, мы скоро снова увидимся? — сказал я.

— Ну, как же! Конечно, очень скоро,— сказал он.— Я... я должен вам сказать. Я не позволил Флоре... то есть мисс Гилкрист... прийти сегодня. Я сперва хотел сам поближе с вами познакомиться. Надеюсь, вы не обидитесь, вы же понимаете: с незнакомыми людьми надо вести себя с осторожностью.

Я похвалил его предусмотрительность, и он удалился, а я остался, обуреваемый противоречивыми чувствами: мне и стыдно было, что я столь беззастенчиво провел

этого легковерного юнца, и злился я на себя, оттого что пришлось так старательно тешить истинно британское тщеславие; однако в глубине души я ликовал: ведь я завязал дружбу с братом Флоры или по крайней мере сделал к этому первый шаг.

Как я отчасти и надеялся, они оба появились на другой же день. Когда я пошел им навстречу, на лице моем так тонко смешались гордость, приличествующая солдату, и вместе горькое смирение, подобающее пленнику, что я мог бы послужить отличной моделью живописцу. Признаюсь, я ловко это разыграл; но едва я увидел смуглое лицо и выразительные глаза Флоры, я залился краской — и это была уже не игра! Я поблагодарил их, отнюдь не высказывая бурной радости,— моя роль требовала, чтобы я был печален и относился к ним обоим совершенно одинаково.

— Я все думаю,— сказал я,— вы оба так добры ко мне, чужестранцу и пленнику, я просто ума не приложу, как выразить вам свою благодарность. И пусть это покажется странным, но я хочу доверить вам свою тайну; здесь никто, даже мои товарищи, не знает моего настоящего имени и титула. Для них я просто Шандивер, на это имя я имею право, но не его следовало бы мне носить, а другое, которое еще совсем недавно я должен был скрывать как преступление. Мисс Флора, позвольте вам представиться: виконт Энн де Керуаль де Сент-Ив, рядовой.

— Я так и знал! — воскликнул юный Рональд.— Я знал, что он дворянин!

И глаза мисс Флоры, как мне почудилось, сказали то же самое, но еще убедительнее. Во все время этой нашей встречи она их почти не подымала и лишь изредка на мгновение взглядывала на меня серьезно и ласково.

— Вы, должно быть, понимаете, друзья мои, что это довольно тягостное признание,— продолжал я.— Стоять здесь перед вами побежденным солдатом, узником и открывать свое имя — это нелегко тому, кто горд. И все же я хочу, чтобы вы знали, кто я такой. Пройдет время, и мы, быть может, еще услышим друг о друге — может случиться, мы с мистером Гилкристом услышим друг о друге на поле брани, а будем мы в разных странах, и печально было бы услышать о другом, как о незнакомце.

Брат и сестра были тронуты и тут же стали настойчиво предлагать мне всяческие услуги: хотели принести книги, табак, если я курю, и прочее в том же духе. Все это было бы весьма кстати, пока не был закончен подкоп. Теперь же это значило лишь, что можно перейти к главному, из-за чего я и затеял весь разговор.

— Дорогие друзья,— начал я,— надеюсь, вы позволите называть вас так тому, у кого на сотни миль вокруг нет больше ни единого друга. Быть может, вы сочтете меня чудаком и человеком излишне чувствительным, наверно, так оно и есть, но я прошу вас об одном-единственном одолжении. Все свои дни я вынужден проводить на вершине этой скалы посреди вашего города. Даже при той малой толике свободы, что мне дана, я могу видеть бессчетно крыш и, пожалуй, на тридцать миль окрест море и сушу. И все это мне враждебно! В домах под этими крышами живут мои враги; стоит мне завидеть дымок над трубой, и я поневоле представляю, что кто-то сидит у камина и радуется, читая о поражениях, которые терпят мои соотечественники. Простите меня, дорогие мои друзья, я знаю, что и вы не можете не испытывать те же чувства, но на вас я не в обиде. Вы — это совсем другое дело. Так вот, покажите мне ваш дом, хотя бы трубу, или, если его отсюда не видно, покажите, в какой части города он стоит. И тогда, глядя вниз, на город, я смогу сказать: «Вот единственный дом, где обо мне вспоминают не без доброго чувства».

— Как вы славно придумали,— чуть помедлив, сказала Флора,— и поскольку это касается Рональда и меня, вы совершенно правы. Пойдемте, мне кажется, я смогу показать вам даже дым над нашей трубой.

С этими словами она повела меня к противоположной стене, с южной стороны крепости, и остановилась у бастиона, обращенного как раз туда, куда выходил наш подкоп. Отсюда виднелись дома предместья у подножия скалы, казавшиеся с высоты еще приземистей, а дальше — зеленая, открытая, холмистая равнина, что постепенно поднималась к Пентлендским горам. Одна из вершин, примерно в двух лье от нас, была изборождена белыми шрамами. К этой-то вершине Флора и привлекла мое внимание.

— Видите вон те светлые полосы? — спросила она.—Мы называем их Семь Сестер. Посмотрите чуть

пониже, и вы заметите как бы складку на склоне холма и над ней вершины деревьев, а меж ними вьется струйка дыма. Это и есть «Лебяжье гнездо», там живем мы с братом и наша тетушка. Если вам доставит удовольствие глядеть на наш дом, я буду рада. Нам из угла сада тоже видна крепость, и мы часто по утрам приходим туда — ведь правда, Рональд? — и думаем о вас, мсье де Сент-Ив, но, к сожалению, мысли эти не слишком веселые.

— Мадемуазель! — воскликнул я (боюсь, голос мой невольно задрожал).— Если бы вы только знали, как ваши великодушные слова и самая возможность видеть вас помогают мне сносить тягость заключения, я верю, я надеюсь, я знаю, вы бы этому порадовались. Всякий день я стану приходить сюда, стану глядеть на милый дымок, на эти зеленые холмы и всем сердцем благословлять вашу доброту и, несчастный грешник, буду молиться за вас. Ах, если бы знать, будут ли услышаны мои молитвы!

— Кому дано это знать, мсье де Сент-Ив? — мягко отвечала девушка.— Но, я думаю, нам уже надобно уходить.

— Давно пора,— отозвался Рональд, о котором, сказать по правде, я чуть вовсе не позабыл.

На обратном пути, когда я изо всех сил старался вновь завоевать утраченное доверие юноши и изгладить, если возможно, из его памяти мою последнюю и, пожалуй, слишком пылкую речь, нам повстречался — кто бы вы думали? — майор Шевеникс. Когда он проходил, мне пришлось отступить в сторону и отдать ему честь, но глаза его, казалось, видели одну только Флору.

— Кто этот человек? — спросила она.

— В некотором роде мой друг,— отвечал я.— Он берет у меня уроки французского и очень добр ко мне.

— Он смотрел на меня,— сказала Флора,— не то чтобы дерзко, но... почему он смотрел так пристально?

— Если вам не угодно, чтобы на вас смотрели, мадемуазель, позвольте дать вам совет: носите вуаль,— отвечал я.

Мне показалось, она взглянула на меня сердито.

— Говорю вам, он смотрел слишком пристально,— повторила она.

— Ну, я полагаю, у него в мыслях не было ничего дурного,— вступился Рональд.— Наверно, он просто удивился, что мы гуляем с плен... с мсье Сент-Ивом.

Но на другое утро, когда я пришел к Шевениксу и, послушный долгу, проверил его упражнения, он сказал:

— Хвалю ваш вкус.

— Прошу прощения?

— О, нет, это я прошу прощения,— сказал он.— Вы отлично меня понимаете, не хуже, чем я вас.

Я пробормотал что-то насчет загадок.

— Что ж, хотите я дам вам ключ к этой загадке? — сказал он, откидываясь на спинку стула.— Это та самая юная особа, которую оскорбил Гогла и за которую вы ему отомстили. Я вас не осуждаю. Она поистине небесное создание.

— Согласен, дважды, трижды согласен! Готов под этим подписаться обеими руками, и подо всем прочим тоже, лишь бы доставить вам удовольствие! В последнее время вы делаете такие успехи, что было бы просто грешно вам перечить!

— Как ее имя? — спросил он.

— Помилуйте! Неужели, по-вашему, она могла мне его сказать?

— Я даже уверен в этом.

Я не мог не рассмеяться.

— Но если так, неужели вы думаете, что я скажу его вам? — воскликнул я.

— Вовсе нет,— отвечал он.— Но давайте-ка займемся уроком!

ГЛАВА VI

ПОБЕГ

День побега приближался, и чем ближе он подходил, тем словно бы меньше мы ему радовались. Покинуть замок, не теряя достоинства, не рискуя жизнью, можно было только через главные ворота, но беглецам нечего было об этом и думать: ворота охранялись стражей и выходили на главную улицу верхней части города. Все другие склоны скалы, на которой стояла крепость, были совершенно отвесны, а обрести свободу (если это вообще нам было суждено) мы могли единственно, достигнув подножия скалы. Многое множество темных ночей мы работали по очереди со всяческими предосторожностями, избегая малейшего шума, и наконец прокопали ход к юго-западному углу крепости — место это называлось Локоть Сатаны. Мне еще не доводилось встречать сию знаменитость, и, ежели во всем остальном он походил на этот свой локоть, у меня, право, нет ни малейшего желания с ним знакомиться. Прямо от основания стены начинается чудовищный, головокружительный обрыв — отвесная круча, совершенно неожиданная среди пустошей, беспорядочно раскинувшихся меж городских предместий, и новых, еще не достроенных домов. У меня никогда не хватало смелости разглядывать этот откос, а при мысли, что однажды темной ночью придется по нему спускаться, перехватывало дыхание, и, право же, при взгляде на этот Локоть Сатаны всякого начнет мутить, если только он не моряк и не верхолаз.

Не знаю, где раздобыли веревку, и меня это не слишком заботило. Теперь, когда она сыскалась, меня тревожило другое: будет ли она пригодна для нашей цели. Длину ее мы, понятно, сумели измерить, но кто мог нам сказать, достанет ли этой длины, чтобы спуститься с обрыва? День за днем кто-нибудь из нас старался ускользнуть к Локтю Сатаны и прикидывал расстояние — либо на глазок, либо швыряя вниз камешки. Каждому рядовому саперу была известна простейшая формула расчета, а если часть формулы забылась, на помощь приходило услужливое воображение. Я никогда не доверял этой формуле, и, даже знай мы ее назубок, применить ее было бы так сложно, что задача эта смутила бы и самого Архимеда. Мы не осмеливались кинуть камень побольше, опасаясь, как бы не услыхала стража, и кидали камешки, звук падения которых и сами едва слышали. Часов у нас не было, по крайней мере часов с секундной стрелкой, и, хотя каждый из нас мог угадывать время с точностью до секунды, отчего-то все угадывали по-разному. Короче говоря, если к Локтю Сатаны отправлялись двое, мнения их неизменно расходились, и один нередко возвращался еще и с подбитым глазом. Все это меня даже несколько забавляло, но чаще вызывало досаду и негодование. Я не терплю, когда дело делают из рук вон плохо, бестолково и неумело, и мысль, что какой-то бедняга может поплатиться за это жизнью, безмерно меня

возмущала. А знай я, кому первому придется поставить на карту свою жизнь, я бы, наверно, возмущался еще больше.

Теперь нам оставалось лишь избрать этого первого, и даже тут уже кое-что определилось: жребий пал на нашу команду. С самого начала решено было возместить бóльший риск некоторым преимуществом — кому бы это ни выпало на долю, вслед за ним, впереди всех остальных, должны были спускаться и его товарищи по команде. Оттого в нашей команде царила радость; правда, все радовались бы куда больше, если бы еще не предстояло выбрать первого. Мы не знали точно ни длину веревки, ни высоту обрыва, а нашему избраннику предстояло спуститься в непроглядной тьме то ли на пятьдесят, то ли на семьдесят морских саженей по веревке, которая будет свободно болтаться, ибо ее решительно некому будет придержать внизу; поэтому простительно, что мы мешкали с выбором. Впрочем, мешкали мы больше положенного, и вот почему. Все мы в нашем отделении, точно женщины, боялись высоты; я и сам не раз оказывался hors de combat [1] из-за высоты, куда меньшей, чем скала Эдинбургского замка.

Мы обсуждали это по ночам и между обходами караула; не знаю, где еще можно было бы сыскать сборище мужчин, которым так откровенно не хотелось бы идти на риск. Я уверен: иные из нас, и я первый, горько сожалели, что между нами уже нет Гогла. Другие твердо верили, что спуск безопасен, и на словах доказывали это весьма убедительно, но при этом приводили чрезвычайно веские доводы в пользу того, что первую попытку должен сделать кто угодно, кроме них; третьи, в свой черед, осуждали всю затею как безумство, и в их числе, на беду, оказался единственный среди нас моряк — он был настроен мрачнее всех. Скала наша выше самой высокой корабельной мачты, уверял он, а веревка внизу не закреплена и будет болтаться как попало; этими словами он словно бы бросал вызов самым сильным и храбрым. Из тупика нас вывел наш драгунский старшина.

— Вот что, братцы,— сказал он,— я тут всех вас старше чином, и, ежели вы хотите, я и пойду первым. Но, судите сами, может статься, я окажусь и последним.

[1] Оказывался никуда не годен, выходил из строя *(франц.)*.

Годы мои не малые — месяц назад стукнуло шестьдесят. В плену я отрастил брюшко. И руки обросли жиром, сила уже не та, так что, ежели я на полдороге сорвусь и испорчу все дело, обещайте не поминать меня лихом.

— Об этом не может быть и речи — вмешался я.— Мсье Лакла годами старше всех нас, и не годится ему идти первым. Дело ясное — надо тянуть жребий.

— Нет,— сказал старшина,— послушал я вас и вот что надумал. Есть тут один, кто крепко в долгу у всех у нас,— мы его не выдали. К тому же все мы люди простые, чернь, а он совсем из другого теста. Шандивер дворянских кровей, вот пускай он и идет первым.

Должен признаться, что вышеназванный дворянин не сразу подал голос. Но выбора у меня не было. Когда я вступил в полк, меня дернула нелегкая упомянуть о своем происхождении. Из-за этого солдаты надо мной часто подсмеивались и величали меня «Вашей светлостью» либо «маркизом». Теперь я должен был во что бы то ни стало сквитаться с ними, показать, на что я способен.

Если я и заколебался на мгновение, никто этого не заметил, ибо, по счастью, мимо как раз шла в очередной обход стража. Мы все примолкли, и тут случилось нечто такое, от чего вся кровь во мне закипела. В нашей команде был солдат по имени Клозель, человек весьма дурного нрава. Он был одним из приспешников Гогла, но в то время, как Гогла всегда держался с какой-то дикой, вызывающей веселостью, Клозель был неизменно угрюм и зол. Его иногда звали «генералом», а иногда столь грубой кличкой, что я и повторить ее не решусь. Пока мы все прислушивались к шагам стражи, он ухватил меня за плечо и прошептал в самое ухо:

— Коли не пойдешь, уж я позабочусь, чтоб тебя повесили, маркиз!

— Разумеется, господа, я с превеликим удовольствием пойду первый,— сказал я, едва дозор прошел.— Но прежде надо наказать негодяя. Мсье Клозель только что оскорбил меня и опозорил французскую армию, и я требую, чтобы команда покарала его по заслугам.

Все как один пожелали узнать, в чем же провинился Клозель, и, когда я рассказал, все как один согласились, что он заслуживает наказания. Расправились с «генералом» так беспощадно, что на следующий день каждый

встречный поздравлял его с новыми «знаками отличия». Наше счастье, что он был из тех, кто первым задумал побег и особенно горячо верил в успех, не то он непременно в отместку выдал бы всех нас. Ну, а уж на меня-то он поистине смотрел зверем, и я решил впредь держаться от него подальше.

Если бы я мог начать спуск в ту же минуту, без сомнения, я отлично бы справился. Однако было уже слишком поздно — недалеко и до рассвета. А ведь надо было еще оповестить всех остальных. Но мало того: на мою беду, следующие две ночи небо так и сияло звездной россыпью — кошку и ту видно было за четверть мили. Так что пока посочувствуйте виконту де Сент-Иву! Все разговаривали со мною вполголоса, точно у постели больного. Наш капрал-итальянец, который получил от какой-то торговки рыбой дюжину устриц, принес их и положил к моим ногам, точно я был некий языческий идол; и с той поры один вид раковины всегда несколько нарушает мое душевное равновесие. Самый лучший наш резчик преподнес мне табакерку, которую только что закончил и о которой говорил, пока мастерил ее, что отдаст не дешевле чем за пятнадцать шиллингов. Табакерка, право же, стоила этих денег! И, однако, слова благодарности застряли у меня в горле. Короче говоря, меня кормили на убой, точно пленника в стане людоедов, и воздавали мне почести, точно жертвенному быку. Меня ни на минуту не оставляли в покое, а не сегодня-завтра мне предстояло весьма опасное приключение, так что роль моя давалась мне с трудом.

И когда на третий вечер с моря поднялся туман и заклубился над крепостью, на душе у меня полегчало. Огни Принцесс-стрит то совсем скрывались, то мерцали не ярче кошачьих глаз, и стоило на пять шагов отойти от фонарей, горящих на крепостных стенах, как дальше приходилось уже двигаться ощупью впотьмах. Мы поспешили улечься пораньше. Будь наши тюремщики настороже, они бы заметили, что мы затихли непривычно рано. Но вряд ли хоть один из нас уснул. Каждый лежал на своем месте и терзался надеждой на свободу, и страх перед ужасной смертью раздирал наши сердца. Перекликнулись часовые, мало-помалу стихли городские шумы. Со всех сторон, из разных частей города до нас то и дело доносились возгласы сторожей, объявлявших

время. Как часто, покуда я жил в Англии, слушал я эти хриплые, отрывистые выкрики или, когда мне не спалось, подходил к окну и глядел на старика, что ковылял по тротуару в плаще с капюшоном, в шапке, с коротким мечом и колотушкой! И всегда я думал при этом, как поразному отдается его крик в спальне любовников, у смертного ложа или в камере осужденного на казнь. Можно сказать, что в эту ночь я и сам слушал его как осужденный на казнь.

Наконец на улице напротив нашей тюрьмы раздался громкий голос, подобный реву быка:

— Полвторого ночи, темно, густой холодный туман.

И все мы тотчас безмолвно поднялись. Когда я крался вдоль зубчатых стен по направлению к... (я чуть было не написал к виселице)... старшина, видно, не уверенный в моей твердости, шел за мной по пятам и время от времени нашептывал мне в ухо какие-то несуразные слова, думая меня успокоить. В конце концов я не выдержал.

— Будьте столь любезны, оставьте меня! — сказал я.— Я не трус и не дурак. Вам-то откуда известно, достаточно ли длинна веревка? А я через десять минут буду это знать совершенно точно!

Старый добряк усмехнулся в усы и похлопал меня по спине.

Наедине с другом можно было и не сдержаться, но перед лицом всех моих товарищей я должен был показать себя наилучшим образом. Пора было выходить на сцену, и, надеюсь, я сделал это неплохо.

— Итак, господа,— сказал я,— если веревка готова, висельник к вашим услугам!

Подкоп был свободен, кол вбит в землю, веревка протянута. Покуда я пробирался к месту, многие товарищи ловили мою руку и крепко пожимали ее — знак внимания, без которого я отлично мог обойтись.

— Не спускайте глаз с Клозеля! — шепнул я старшине Лакла, опустился на четвереньки, ухватился обеими руками за веревку и начал пятиться. Но вот ноги мои повисли в пустоте, и казалось, сердце сейчас остановится; однако в следующее мгновение я уже нелепо болтался в воздухе, точно игрушечный клоун. Никогда я не был образцом благочестия, но тут меня сразу прошибло молитвами и холодным потом.

Через каждые восемнадцать дюймов на веревке завязан был узел, и человеку несведущему может показаться, что это должно было облегчать спуск. Но, на мою беду, в эту проклятую веревку словно бес вселился, да не простой, а полный злобы и ненависти именно ко мне. Она метнулась в одну сторону, мгновение помедлила и вдруг, точно на вертеле, стремительно закружила меня в другую сторону; она ужом выскальзывала из сжимавших ее ног, все время держала меня в неистовом и яростном напряжении и то и дело ударяла о скалу. Я невольно зажмурился, но даже если бы и раскрыл глаза, вряд ли увидел бы что-либо, кроме тьмы. Наверно, я изредка переводил дух, но и сам не замечал, что все-таки еще дышу. Все мои силы и помыслы поглощала борьба с ускользавшей от меня веревкой, я поминутно терял ее и снова ловил ногами, так что даже не понимал толком, поднимаюсь я или спускаюсь.

Внезапно я со всего размаха ударился об утес и едва не лишился чувств, а когда вновь стал смутно сознавать происходящее, то с изумлением обнаружил, что уже не кручусь как бешеный: отвесная стена выдавалась здесь вперед под таким углом, что тело мое обрело опору и одной ногой я твердо стоял на выступе. Кажется, никогда в жизни я не вздыхал с таким сладостным облегчением; всем телом я прильнул к веревке и самозабвенно и радостно закрыл глаза. Вскорости мне пришло в голову посмотреть, далеко ли я продвинулся в своем отчаянном путешествии, ибо я не имел об этом ни малейшего представления. Я взглянул вверх и увидел лишь ночной мрак да туман. Тогда я опасливо вытянул шею и заглянул вниз. Там, в море тьмы, виделся смутный узор огоньков — одни протянулись цепочкой, словно бы вдоль улиц, другие отошли в сторонку, словно светились они в уединенных домах, но я не успел понять или хотя бы даже прикинуть, на какой высоте нахожусь: к горлу подступила тошнота, голова закружилась и, прислонясь спиною к откосу, я закрыл глаза. В эти минуты у меня было одно-единственное желание: найти совсем иной предмет, на котором можно было бы сосредоточить все мысли! И, как ни странно, желание это исполнилось: словно пелена, которая окутывала мой мозг, внезапно разорвалась, и я понял, какой я глупец и как глупы были мы все! Ведь вовсе не к чему было висеть вот так

на руках между небом и землей. Следовало поступить совсем иначе: товарищи должны были обвязать меня веревкой и спускать на ней вниз — как же мне не хватило ума до этого додуматься!

Я вздохнул поглубже, крепче ухватился за веревку и снова стал спускаться. Оказалось, что самое опасное было уже позади; неистовые толчки, к счастью, прекратились. В скором времени я, должно быть, повис рядом с кустом желтофиоли, ибо до меня донесся ее запах, да такой сильный, как пахнут цветы лишь по ночам. Это оказалась моя вторая веха, первой был выступ скалы, на котором я отдыхал. Теперь я принялся подсчитывать: столько-то времени я спускался до выступа, столько-то до желтофиоли, столько-то мне еще осталось до самого низу. Ежели я еще и не достиг подножия скалы, то по всем подсчетам выходило, что веревка, во всяком случае, уже скоро кончится, и силы мои тоже приходили к концу. На меня вдруг напало легкомыслие, мною овладел соблазн выпустить из рук веревку — я то уверял себя, будто я почти уже достиг ровного места и, если даже упаду, опасность разбиться мне не грозит, а то решал, что я все еще у самой вершины и цепляться далее за скалу бесполезно. Посреди всех этих рассуждений я вдруг почувствовал, что ноги мои уперлись в ровную землю, и чуть не зарыдал от радости. Руки у меня были все равно что освежеваны, мужество исчерпано до дна и от внезапной радости после долгого непомерного напряжения руки и ноги дрожали сильнее, чем в жесточайшем приступе лихорадки, и я был рад, что могу цепляться за веревку.

Но сейчас не время было давать себе волю. Единственно благодаря милосердию божию я выбрался живым из крепости и теперь должен был постараться вызволить и своих товарищей. В запасе оставалось еще футов шесть веревки; я взял ее конец и начал тщательно шарить по земле, отыскивая что-нибудь, к чему можно было бы ее привязать. Увы, почва оказалась каменистая, в трещинах, и ни единого кустика, даже дрок здесь не рос.

— Ну-с,— сказал я себе,— предстоит новая задача, и, надеюсь, я сумею разрешить ее успешнее, чем первую. У меня недостанет сил держать веревку натянутой. Если же я не натяну ее, тот, кто будет спускаться вслед за мной, разобьется о выступ. Нет никаких причин чаде-

яться, что и ему столь же неправдоподобно повезет, как мне. Не вижу, как может он не упасть,—а падать ему некуда, кроме как мне на голову.

Когда туман ненадолго редел, с моего места становился виден свет под одним из навесов, и это давало мне представление о высоте, с которой упадет тот, кто должен спускаться вслед за мною, и о силе, с которою он на меня обрушится. К тому же — и это было хуже всего — мы условились спускаться без всяких сигналов: следующий беглец покидает крепость через каждые столько-то минут по часам старшины Лакла. Так вот, мне казалось, что я спускался около получасу, и уже почти столько же времени жду, изо всех сил натягивая веревку. Я начал опасаться, что заговор наш раскрыт, товарищи мои взяты под стражу, и остаток ночи мне предстоит провести здесь, понапрасну болтаясь на веревке, точно рыба на крючке — и так меня и обнаружат утром. Представив эту нелепую картину, я не выдержал и усмехнулся. Но тут веревка задергалась, и я понял, что кто-то из моих товарищей выполз из подкопа и начал спускаться. Оказалось, что вслед за мною отправился матрос: не услыхав моего крика и решив, что, стало быть, веревка достаточно длинна, Готье (так его звали) позабыл все свои недавние возражения и столь беззастенчиво полез вперед, что Лакла уступил ему дорогу. Это было очень в духе нашего матроса: человек он был не такой уж плохой, да только чересчур себялюбив. Но за право спуститься вторым ему пришлось заплатить довольно дорого. Как я ни старался, я не в силах был удержать веревку, чтобы она совсем не раскачивалась; у меня не хватило сил, и кончилось тем, что Готье свалился мне на голову с высоты нескольких ярдов и мы оба покатились по земле. Едва отдышавшись, он принялся клясть меня на чем свет стоит, потом стал оплакивать палец, который сломал, падая, а потом опять начал меня бранить. Я попросил его утихомириться: не стыдно ль быть таким слюнтяем? Разве он не слышит, что в крепости идет смена караула? И как знать, быть может, шум от его падения донесся наверх и в эту самую минуту часовые на стенах наклонились и прислушиваются?

Однако дозор прошел, ничего не обнаружив; третий беглец спустился на землю без всяких затруднений; для

четвертого это была уже поистине детская игра; и, когда нас набралось около десятка, я решил, что без малейшего ущерба для моих товарищей могу позаботиться о себе.

План их был мне известен: у них имелись карта и календарь, и они хотели добраться до Грейнджмута и завладеть там кораблем. Даже если бы им это и удалось, я не очень был уверен, что они сумеют с ним управиться. Что и говорить, вся эта затея была чистейшим безумием: только нетерпение пленников и солдатское невежество могли породить столь нелепый замысел; и хоть я вел себя как верный товарищ и вместе со всеми рыл подкоп, но после того, что сообщил мне поверенный дядюшки, мне следовало предоставить им действовать дальше без меня. Что ж, теперь они уже не нуждались в моей помощи, как прежде не нуждались в моих советах, и, не сказавши никому ни слова и ни с кем не простясь, я отделился от остальных. Правда, я предпочел бы дождаться Лакла и пожать ему руку, но в том, кто только что спустился, я как будто узнал Клозеля, а с памятной сцены под навесом я решительно ему не доверял. Я не сомневался, что он способен на любую подлость, и последующие события подтвердили мою правоту.

ГЛАВА VII
«ЛЕБЯЖЬЕ ГНЕЗДО»

У меня было два намерения. Первое, естественно, скрыться из крепости и из города и, разумеется, от моих товарищей; второе — пока темно, пробраться как можно дальше на юг и к утру быть у «Лебяжьего гнезда». Что я стану делать, оказавшись там, я понятия не имел и не слишком о том тревожился, ибо издавна поклонялся двум божествам, что зовутся Случаем и Удачей. Подготовься, если возможно; если же невозможно, иди напролом, смотри в оба и не скупись на лесть. Острый ум и приятная внешность — вот, коротко говоря, и все, что требуется в жизни.

Поначалу путешествие мое оказалось полно превратностей: я плутал в огородах, натыкался на стены домов, а один раз даже имел несчастье разбудить целую семью,

и кто-то, должно быть, отец, появился в окне и прицелился в меня из мушкетона. Словом, хотя с тех пор, как я покинул своих товарищей, времени прошло немало, я все еще ушел недалеко, когда по несчастной случайности побег наш был обнаружен. Ночь внезапно огласилась отчаянным воплем. За ним послышался тяжелый удар оземь и следом — мушкетный выстрел с крепостной стены. Странно было слышать, как распространялась по городу тревога. В крепости забили барабаны, и запоздало зазвонил колокол. Со всех сторон застучали колотушки сторожей. Даже в этом преддверии ада, по которому я пробирался, в домах зажглись огни, распахнулись ставни; я слышал, как соседи переговаривались из окон, наконец окликнули и меня.

— Кто там? — загремел густой бас.

Голос этот принадлежал крупному мужчине, что высунул из окна первого этажа голову в высоченном ночном колпаке; и, поскольку я еще не поравнялся с его домом, я почел за благо ответить. Не впервые мне доводилось вот так ставить жизнь на карту, когда все зависело от моего умения объясняться на чужом языке, и всякий раз, делая эту ставку, я, как заправский игрок, входил в азарт и ощущал прилив вдохновения. Я завернулся в одеяло, превратив его в некое подобие дорожного плаща, чтобы скрыть свою ярко-желтую ливрею, и смело отозвался:

— Друг!

— Что это там за баламутия? — вопросил он.

Я никогда в жизни не слыхал этого диковинного слова — «баламутия»,— но при той кутерьме, какая стояла в городе, сразу понял, о чем он спрашивает.

— Право, не знаю, сэр,— отвечал я,— но, похоже, кто-то из военнопленных сбежал из крепости.

— Черт их дери!

— Ничего, их быстро изловят, сэр. Их вовремя хватились. Мое почтение, сэр!

— А вы поздненько гуляете, сэр,— заметил он.

— Ну, что вы,— со смехом отвечал я,— скорей уж раненько, если вам угодно! — И с этими словами миновал его дом, очень довольный тем, как я обвел его вокруг пальца.

Теперь я вышел на хорошую дорогу, которая, сколько я мог судить, вела в нужном мне направлении. Она

почти тотчас вывела меня на улицу — здесь совсем близко слышалась колотушка сторожа, и я понимал, что чуть ли не каждое пятое окно будет раскрыто и люди в самых разнообразных ночных одеяниях будут переговариваться, приятно взволнованные нежданным переполохом. Тут мне снова пришлось пройти сквозь строй полудюжины вопросов, а колотушка раздавалась все ближе и ближе; но, поскольку шел я не спеша, изъяснялся как истый джентльмен, а уличные фонари горели слишком тускло, чтобы можно было разглядеть, как я одет, мне и на сей раз все сошло с рук. Правда, нашелся один любопытный, который спросил, куда это я собрался в такой час.

Я отвечал туманно, но весело и, уже поворачивая за угол, увидел, что в другом конце этой чересчур оживленной для меня улицы блеснул фонарь сторожа. Но теперь я был уже в безопасности на темном деревенском большаке, свет фонарей и страх повстречаться со сторожами остались позади; однако не прошел я и сотни ярдов, как с обочины дороги кто-то на меня ринулся. Я отскочил в сторону и изготовился к бою; я клял себя за то, что в руках у меня нет хоть какого ни на есть оружия, гадал, кого же это нанесла нелегкая — полицейского или просто разбойника,— и сам не понимал, с кем бы сейчас предпочел иметь дело. Противник мой остановился поодаль, и в потемках я смутно видел, как он покачивается и словно бы делает ложные выпады, готовясь половчее на меня наскочить. И вдруг он заговорил.

— Л-любезный друг,— сказал он, и при первом же слове я навострил уши,— л-любезный друг, не будете ли вы столь д-добры с-сказать, к-которая тут д-дорога н-на Крэмонд?

Я громко, от души рассмеялся, подошел к этому славному гуляке, взял его за плечи и повернул лицом к городу.

— Любезный друг,— отвечал я,— сдается мне, я куда лучше вашего знаю, что вам требуется, и да простит вам бог, что вы так меня напугали! Отправляйтесь-ка вы в Эдинбург!

Я дал ему пинка, и он, словно мяч, послушно покатился по дороге и тот же час исчез во тьме в той стороне, откуда прибыл я сам.

Отделавшись от этого дурня, я опять пошел своей дорогой, которая поднималась на холм, за перевалом спускалась в долину, пересекала деревушку и затем вновь поднималась в гору, к Пентленду, к тому самому месту, куда я стремился.

Когда я уже забрался довольно высоко, туман стал рассеиваться; еще немного — и вокруг меня засияла ясная, звездная ночь, а впереди отчетливо проступили вершины Пентленда, за ними — долина реки Форт и погруженный в дымку город, где еще недавно я был пленником. За все время мне почти никто не повстречался, лишь однажды издалека услыхал я в ночи скрип колес; он все приближался, и наконец, едва забрезжил рассвет, я точно во сне увидел деревенскую повозку — она медленно проплыла мимо, две молчаливые фигуры, сидящие в ней, клевали носами в такт лошадиным шагам. Они, видно, дремали; голову и плечи одной из них окутывала шаль, и я решил, что это женщина. Понемногу светало, близился день, и туман мало-помалу таял. Небо на востоке засветилось, по нему протянулись холодные розовые полосы, и постепенно Эдинбургский замок высоко на скале, шпили и трубы верхней части города обрели явственные очертания и поднялись, точно острова в тающем озере тумана. Вокруг был тихий, мирный, лесистый край, все дышало покоем, дорога, петляя, поднималась в гору, не видно было ни экипажа, ни прохожего, щебетали птицы, должно быть, радуясь приближению солнца, ветки деревьев колыхал ветер, тихо кружились и падали красные листья.

Когда я завидел цель своего путешествия, уже совсем рассвело, но солнце еще не взошло и холод пробирал до костей. Над холмом поднимался конек единственной крыши и труба; немного поодаль и чуть выше меж деревьев, у сбегающего вниз ручья стоял старый высокий оштукатуренный дом, а дальше по холмам раскинулись пастбища. Мне вспомнилось, что пастухи встают спозаранку, и если кто-нибудь завидит, как я тут брожу, это может означать конец всем моим надеждам; прячась в тени живой изгороди, я дошел до ограды, окружающей сад моих друзей: дом их был невелик, но причудлив, с несколькими грубоватыми фронтонами и серыми скатами крыш. Казалось, это беспорядочно построенный крохотный собор, главный корабль которого

возвышается посредине на два этажа и увенчан непомерно высокой двускатной крышей, а со всех сторон к нему примыкают, словно приделы, часовенки или поперечные нефы, одноэтажные приземистые пристройки. К тому же он был нелепо изукрашен лиственным орнаментом и выступающими водосточными трубами в виде чудищ с широко разинутыми пастями, словно в каком-нибудь средневековом храме. Дом будто прятался от сторонних взоров, скрытый не только деревьями сада, но с той стороны, откуда я подошел, еще и складкой холма — той самой, над которою виднелась одна лишь крыша. Вдоль садовой ограды выстроились могучие вязы и буки,— вязы уже совсем облетели, на буках еще уцелела багряная листва, а посредине зеленели заросли благородного лавра и падуба, в которых были прорублены арки и вились тропинки.

Итак, до моих друзей рукой подать, но что толку. В доме еще, видно, спали, но даже если бы я попытался их разбудить, кто мне порукой, что первой выйдет не тетушка со своим старомодным лорнетом, о которой я не мог вспомнить без дрожи, или какая-нибудь дура служанка, завидев меня, не поднимет отчаянный визг. Повыше, на каменистом склоне, размашисто шагал пастух, покрикивал на собак, и я понял, что надо не мешкая где-то укрыться. Заросли падуба, без сомнения, послужили бы отличным прибежищем, но на ограде висела табличка, способная обескуражить любого смельчака; такие предостережения не редкость в Британии, особливо в провинции. Надпись на табличке гласила: «Мушкеты с пружиной и капканы». После я узнал, что в трех случаях из четырех то были пустые угрозы, но тогда это мне еще не было известно, да все равно рисковать не стоило. Ибо я тысячу раз предпочел бы воротиться в свой угол на бастионе Эдинбургской крепости, нежели оставить ногу в стальном капкане или получить в живот заряд из мушкетона-самострела. Оставалось только надеяться на счастливый случай, что первыми из дому выйдут Рональд или Флора, и, чтобы этот случай не упустить, я взобрался на стену в том месте, где ее закрывали густые ветви бука, уселся в их сени и принялся ждать.

День разгорался, стало пригревать солнышко. Я всю ночь не сомкнул глаз, прошел через тяжкие душев-

ные и телесные испытания, и нет ничего удивительного, что я задремал, хотя это было, разумеется, как нельзя более безрассудно и опрометчиво. Проснулся я от звука, который трудно было не распознать: кто-то копал землю лопатой,— я посмотрел вниз и увидел прямо перед собой спину садовника в холщовой куртке. Казалось, он всецело погружен в свое занятие; но вскоре, к моему ужасу, он распрямил спину, потянулся, оглядел сад, где, кроме него, не было ни души, и сунул в нос солидную понюшку табаку. Первой моей мыслью было соскочить наземь по другую сторону ограды. Но сразу же стало ясно, что и этот путь для меня отрезан: на поле, по которому я сюда пришел, расположились теперь два подпаска и десятка три овец. Я уже называл талисманы, которые обычно меня выручали, но при подобном стечении обстоятельств оба они были совершенно бесполезны. Верхний край стены, утыканный битым стеклом, не слишком удобная трибуна; я мог быть красноречив, как Питт, и обворожителен, как Ришелье, но ни садовника, ни пастухов этим не проймешь. Короче говоря, выхода из моего глупейшего положения не было, оставалось сидеть на стене и ждать: рано или поздно либо сторож, либо один из пастухов взглянет в мою сторону, поднимет тревогу — и меня схватят.

Часть стены, на которой (видно, за мои грехи) я расположился, была с внутренней стороны не ниже двенадцати футов; листья бука, которые могли бы меня укрыть, наполовину уже облетели, и, таким образом, я был на виду и, конечно, подвергался опасности, но зато и сам видел часть садовых дорожек и через зеленую арку лужайку перед домом и окна. Долгое время ничего нигде не шелохнулось, лишь мой друг-садовник знай копал землю; потом я услышал стук распахнувшихся ставней, и почти тут же появилась мисс Флора в утреннем капоте и направилась в мою сторону, то и дело останавливаясь и разглядывая цветы, сама прелестная, как цветок. Да, там был друг, а здесь, совсем рядом, некая неизвестная величина — садовник; как же дать о себе знать Флоре, не привлекая внимания садовника? Окликнуть было никак нельзя, я едва осмеливался дышать. Я приготовился подать ей знак, едва она посмотрит в мою сторону, но она смотрела куда угодно, только не на меня. Она разглядывала какой-то дрянной цветок левкоя, потом устремила взор на вершину горы, наконец, даже остановилась у стены как раз под тем местом, где восседал я, и со знанием дела заговорила с садовником, но верх стены она так и не удостоила взглядом. Наконец она вновь направилась к дому, и тогда, совершенно отчаявшись, я отколупнул от стены кусочек штукатурки, старательно прицелился и попал ей сзади в шею. Она схватилась за ушибленное место, удивленно поглядела по сторонам и, увидев меня (а я, само собою, развел ветки в стороны, чтобы ей легче было меня заметить), тихонько вскрикнула, но мигом подавила возглас изумления.

Проклятый садовник сразу же вскинул голову.

— Что это вы, мисс? — спросил он.

Находчивость Флоры меня изумила. Она уже отворотилась и смотрела в противоположную сторону.

— Там какой-то малыш забрался в артишоки,— отвечала она.

— Ах окаянный! Ну, погоди ж ты! — свирепо закричал садовник, торопливо заковылял и скрылся среди вечнозеленых кустарников.

В тот же миг Флора повернулась и кинулась ко мне с протянутыми руками, лицо ее вспыхнуло божественным румянцем смущения, а затем покрылось смертельной бледностью.

— Мсье де Сент-Ив! — промолвила она.

— Дорогая мадемуазель,— сказал я,— это возмутительная бесцеремонность, я знаю! Но что мне оставалось делать?

— Вы на свободе? — спросила она.

— Если это можно назвать свободой,— отвечал я.

— Но вам никак нельзя здесь оставаться! — вскричала она.

— Я знаю. Но куда же мне деться?

— Придумала! — воскликнула она и даже хлопнула в ладоши.— Спускайтесь по стволу, только смотрите, чтоб на клумбе не осталось следов. Скорей, а то сейчас вернется Руби! Я занимаюсь птицей, и у меня ключ от курятника; пока что я запру вас там.

Я немедля оказался рядом с нею. Мы оба кинули торопливый взгляд на незрячие окна дома, на аллеи сада,— нигде никого не было видно, казалось, никто не мог нас заметить. Флора ухватила меня за рукав и побежа-

ла. Сейчас было не до того, чтобы благодарить ее,— каждая секунда на счету, и я побежал с нею в дальний угол сада, где среди деревьев был огороженный проволочной сеткой дворик и в нем дощатая хибарка — обещанное мне убежище. Флора втолкнула меня туда без единого слова, выпустив при этом почти всю птицу, и в следующее мгновение я остался взаперти с полудюжиной наседок. В полутьме курятника все они сурово уставились на меня и, кажется, на чем свет стоит бранили за вторжение. Конечно, куры всегда прикидываются особами высоконравственными, хотя я никогда не замечал, чтобы в своих повадках они сильно отличались от прочих смертных. Так вообразите, сколь строгой и неприступной выглядит не простая курица, а британская!

ГЛАВА VIII

КУРЯТНИК

По меньшей мере полчаса я провел в обществе этих беспокойных двуногих, предоставленный своим мыслям и заботам. Ободранные ладони мои отчаянно болели, и мне нечем было утишить эту боль; меня терзали голод и жажда, ни еды, ни питья не было; я донельзя измучился, а присесть было негде, разве что на пол, да уж слишком непривлекательно он выглядел.

Заслышав приближающиеся шаги, я воспрянул духом. В замке загремел ключ, и вошел юный Рональд. Он затворил за собой дверь и прислонился к ней спиною.

— Ну, знаете ли, доложу я вам! — начал он и не по летам сурово покачал головой.

— Знаю, я поступил весьма бесцеремонно,— отвечал я.

— Ну и кашу вы заварили, черт подери, я в крайне щекотливом положении,— сказал он.

— Ну, а о моем положении что вы думаете? — спросил я.

Вопрос мой, по-видимому, сильно его озадачил, и он уставился на меня юношески простодушным взглядом. Мне хотелось рассмеяться ему в лицо, но я был все же не настолько жесток.

— Я в ваших руках,— сказал я и слегка поклонился.— Поступайте со мною, как почтете нужным.

— Ну, конечно! — воскликнул он.— Так ведь я же не знаю, что нужно!

— Видите ли,— сказал я,— ежели бы вы были уже офицером, дело другое. Но, в сущности, вы пока еще не воин, а я уже не воин; в таком случае, мне кажется, поскольку оба мы джентльмены, значит, как и водится меж благородными людьми, законы дружбы превыше всех прочих законов. Заметьте, я сказал «мне кажется». Упаси вас бог подумать, будто я желаю навязать вам свое мнение. Мелкие неприятности подобного рода неизбежны в военное время, и тут каждый джентльмен решает сам за себя. Будь я на вашем месте...

— Да-да, как бы вы тогда поступили? — спросил Рональд.

— Честное слово, не знаю,— отвечал я.— Вероятно, колебался бы, как и вы.

— Вот послушайте,— сказал он.— У меня есть один родственник, и я стараюсь понять, как он думал бы на моем месте. Это генерал Грэм из Лайндока — сэр Томас Грэм. Я с ним едва знаком, но преклоняюсь перед ним, кажется, больше, нежели перед господом богом.

— Разделяю ваше восхищение,— сказал я,— и у меня есть на то веские причины. Я воевал против него, был побежден и обращен в бегство. Veni, victus sum, evasi [1].

— Как! — воскликнул Рональд.— Вы были у Боросcы?

— Был и остался жив, а этим немногие могут похвалиться,— отвечал я.— Хорошенькое было дельце, жаркое. Испанцы вели себя хуже некуда, впрочем, как и всегда в решающем сражении. Маршал герцог Беллюнский поставил себя в дурацкое положение, и уже не в первый раз. А ваш друг сэр Томас пожал все плоды, если тут вообще можно говорить о жатве. Он храбрый и находчивый воин.

— Так, значит, вы меня поймете! — сказал юноша.—Я бы хотел заслужить одобрение сэра Томаса. Как бы он поступил на моем месте?

— Что ж, могу поведать вам одну историю,— отвечал я,— и не вымысел, а чистую правду, об этом самом

---

[1] Пришел, был побежден, бежал *(лат.)*.

сражении у Чикланы, или у Бороссы, как вы ее называете. Я служил в восьмом пехотном полку; мы отступали, но вам это обошлось недешево. Мы отбили столько атак, что и не счесть, но тут подоспел ваш восемьдесят седьмой пехотный полк; он надвигался медленно, но неотвратимо. Впереди на коне ехал седовласый офицер со шляпой в руке, он объезжал батальоны и что-то спокойно говорил солдатам. Наш майор Виго-Руссильон вонзил шпоры в бока своего коня, выхватил саблю из ножен и поскакал ему навстречу, но при виде этого величавого старца, который держался так спокойно и непринужденно, словно находился не на поле брани, а в кофейне, майор растерялся и поскакал назад. Вы понимаете, они оказались лицом к лицу всего лишь на краткий миг, однако успели обменяться взглядом. Вскоре после этого майор был ранен, взят в плен и отвезен в Кадис. В один прекрасный день пленникам объявили, что их посетит генерал сэр Томас Грэм.

«Помнится, мы встречались с вами на поле брани, сэр»,— сказал генерал и взял майора за руку.

Он и был тот седовласый офицер.

— Ах! — воскликнул Рональд, глаза его сияли восторгом.

— Так вот,— продолжал я,— с того дня сэр Томас посылал майору кушанья со своего стола — обед из шести блюд.

— Да, это прекрасная, прекрасная история,— сказал Рональд,— но все-таки это не одно и то же, ведь правда?

— Охотно с вами соглашаюсь,— отвечал я.

Юноша помолчал, сосредоточенно размышляя.

— Что ж, рискну! — воскликнул он наконец.— Мне кажется, это измена государю... и, кажется, за такое преступление следует позорная кара... но все равно, пусть меня повесят, я вас не выдам!

Я был взволнован не меньше его.

— Право, я почти готов просить вас отказаться от вашего решения,— сказал я.— Я поступил жестоко, явившись к вам. Жестоко и малодушно. Вы благородный противник, вы станете благородным солдатом.

Тут в голову мне пришла счастливая мысль, как польстить этому воинственному юноше: я вытянулся и отдал ему честь.

На миг он смутился, весь вспыхнул. Потом сказал с улыбкой:

— Ладно, ладно, надо принести вам поесть. Но, увы, не шесть блюд. Вам придется довольствоваться тем, что мы добудем контрабандой. Вы ведь понимаете, надо еще отвести глаза тетушке.— И он снова запер меня наедине с негодующими курами.

Вспоминая этого юношу, я не могу удержаться от улыбки. Однако, если он вызовет улыбку и у читателя, мне станет совестно. Если сын мой в его годы станет похож на него, это будет отрадно для меня и совсем неплохо для нашей отчизны.

Но при всем том, признаюсь, я нисколько не огорчился, когда вместо него явилась его сестра. Она принесла мне немного черствого хлеба и кувшин молока, в которое, по шотландскому обычаю, щедро прибавила виски.

— Прошу прощения,— сказала она,— но я не посмела принести вам ничего другого. У нас такая маленькая семья, и тетушка не спускает глаз с прислуги. Я долила в молоко немного виски — это лучше вас подкрепит, ну, а в придачу тут есть яйца. Сколько яиц вам нужно к молоку? Остальные я должна отнести тетушке — под этим предлогом я сюда и пришла. Я думаю, вам будет довольно трех или четырех. Вы умеете их вбивать в молоко? Или лучше мне сделать это самой?

Желая удержать ее здесь как можно дольше, я показал ей свои кровоточащие ладони. Девушка громко ахнула.

— Дорогая моя мисс Флора, не разбив яиц, не сделаешь яичницы,— сказал я,— а сбежать из Эдинбургского замка не безделица. Один из наших, кажется, даже разбился.

— Да ведь вы бледны как полотно и еле держитесь на ногах! — воскликнула она.— Вот вам моя шаль, постелите ее в углу и сядьте, а я собью вам яйца. Видите, я и вилку захватила. В былые времена я бы отлично могла ухаживать за якобитами или ковенантерами! Нынче вечером вы поедите лучше: Рональд принесет что-нибудь из города. Денег у нас довольно, а провизией мы распоряжаться не можем. Ах, если бы мы с Рональдом были в этом доме хозяевами, вам не пришлось бы томиться здесь, в жалкой хибарке! Рональд так вами восхищается!

— Дорогой друг,— сказал я,— бога ради, не смущайте меня еще новым подаянием. Я счастлив был принять его из ваших рук, когда у меня была в том нужда, теперь же, хоть я и нуждаюсь решительно во всем, зато в деньгах у меня недостатка нет.— Я вытащил пачку ассигнаций и протянул Флоре одну бумажку, на которой стояла цифра десять фунтов и подпись знаменитого Абрахама Ньюлендса.— Сделайте милость, возьмите эти деньги на расходы; ведь вы, безусловно, согласились бы, чтобы я взял их у вашего брата, окажись он на моем месте, а я — на его. Мне понадобится не только еда, но и платье.

— Положите деньги на пол,— сказала Флора.— Я не могу остановиться, пока не собью яйца.

— Вы не обиделись? — воскликнул я.

Она ответила взглядом, который уже сам был мне наградой и, казалось, в будущем сулил еще больше. Была в нем и тень упрека и такое тепло и нежность, что я лишился дара речи И пока она не кончила приготовлять кушанье, я не сводил с нее глаз.

— Ну вот,— сказала она,— теперь отведайте.

Я отведал — и поклялся, что это поистине нектар. Флора собрала остальные яйца, присела напротив меня и смотрела, как я ем. В ту минуту от этой высокой юной девушки веяло материнской нежностью, и на нее невозможно было смотреть без восхищения. Аппетит у меня был хоть куда, и я по сей день удивляюсь умеренности, с которой тогда ел.

— Какое платье вам понадобится? — спросила Флора.

— То, которое приличествует джентльмену,— отвечал я.— Прав я или нет, но, думаю, эта роль подходит мне более всего По моему замыслу, мистер Сент-Ив (а так я буду именоваться во время предстоящего мне путешествия) будет фигурой в достаточной мере экзотической, и костюм у него должен быть под стать.

— Но тут есть одна трудность,— сказала Флора.— Если на вас грубая одежда, никто не смотрит, как она сидит. Но если речь идет о платье джентльмена... О, тут уж совершенно необходимо, чтобы оно сидело безупречно! А особливо при том,— она не сразу нашла нужное слово,— при том, что манеры у вас несколько необычные и все вас тотчас приметят.

— Увы, бедные мои манеры! — сказал я.— Но что поделаешь, милый друг Флора, человечество принуждено мириться со всеми этими незначительными приметами и различиями. Вот хотя бы вы — вас мигом приметишь даже в толпе посетителей, что приходят в крепость навестить несчастных узников.

Я вдруг убоялся, что спугнул своего доброго ангела, и, не переводя дыхания, стал говорить, какая материя и какие цвета желательны для моего туалета.

— Но, мистер Сент-Ив! — воскликнула Флора, глядя на меня широко раскрытыми глазами.— Мистер Сент-Ив, если таково отныне ваше имя, я не говорю, что все это не будет вам к лицу, но благоразумно ли так наряжаться для дальнего пути? Боюсь,— продолжала она с милым смешком,— боюсь, не слишком ли это сумасбродно!

— Ну, а сам я разве не сумасброд? — спросил я.

— Я и вправду начинаю так думать,— отвечала она.

— Вот видите! Меня достаточно долго выставляли на посмешище. Неужто вы не чувствуете, что в плену для меня горше всего была одежда, в которой я вынужден был ходить? Можете заключить меня в тюрьму, можете, если угодно, заковать в цепи, но дайте мне остаться самим собой. Вы и помыслить не можете, каково это — чувствовать себя клоуном, да еще среди врагов,— с горечью прибавил я.

— Но вы глубоко несправедливы! — воскликнула Флора.— Вы говорите так, словно кому-нибудь приходило на ум над вами смеяться. Ничего подобного не было. Все мы болели за вас душой. Даже моя тетушка, хоть, боюсь, порою ей и не хватало деликатности. Видели бы вы ее дома, слышали бы, что она говорит! Она принимала в вас такое участие! Нас огорчала каждая заплата на вашем платье; тут нужна бы сестринская забота.

— Вот чего я лишен... У меня никогда не было сестры,— сказал я.— Но если вы говорите что вид мой не был вам смешон...

— Что вы, мистер Сент-Ив! — воскликнула она.— Никогда. Ни одной минуты. Все это слишком печально. Видеть джентльмена...

— В шутовском наряде и к тому же с протянутой рукой, точно нищего? — перебил я ее.

— Видеть джентльмена в беде, который переносит ее с таким достоинством,— возразила Флора.

— И неужто вы не понимаете, мой прелестный неприятель,— сказал я,— что даже если все так и было, как вы говорите, даже если вы находили, что шутовской наряд мне к лицу, ради меня самого, ради моей отчизны и ради вашей доброты я только еще сильней хочу, чтобы вы наконец увидели того, кому так облегчили существование, в том обличье, какое ему предназначено богом! Чтобы вы могли вспомнить его не только в ярко-желтой хламиде и три дня небритым!

— Вы придаете чересчур большое значение одежде,— заметила Флора.— Для меня же это не так важно.

— А для меня, боюсь, это очень важно,— сказал я.— Но не судите меня слишком строго. Ведь я пекусь лишь о том, чтобы было чем вспомнить человека. У меня у самого их много, этих бесценных памяток, милых сердцу подарков, и, пока я жив, пока мне не изменила память, я с ними не расстанусь. Немало воспоминаний храню я и о великих делах и о высоких добродетелях — о милосердии, сострадании, вере. Но иной раз нельзя забывать и о мелочах. Помните ли вы, мисс Флора, тот день, когда я увидел вас впервые, день, когда задувал сильный восточный ветер? Сказать вам, какое на вас было тогда платье, мисс Флора?

К этому времени мы оба уже поднялись, и она взялась за ручку двери, собираясь уйти. Быть может, сознание, что она уходит, придало мне храбрости воспользоваться этими последними минутами, а это, в свою очередь, помогло ей ускользнуть.

— Право же, вы слишком романтичны! — со смехом сказала она, и на этом солнце мое закатилось, очаровательница моя исчезла, и я вновь остался в полутьме в обществе наседок.

ГЛАВА IX

ВТРОЕМ ХОРОШО, А ЧЕТВЕРТЫЙ УЖЕ ЛИШНИЙ

Остаток дня я спал в углу курятника на шали Флоры и проснулся лишь оттого, что в глаза мне ударил свет; я вскочил, едва не задохнувшись (ибо в эту мину-

ту мне, разумеется, привиделось, что я все еще спускаюсь с крепостных стен), и увидел, что надо мною склонился Рональд с фонарем в руке. Оказалось, что уже за полночь, что проспал я чуть не шестнадцать часов, что Флора уже загнала кур в курятник, а я и не слыхал, как она входила. Невольно я спросил себя: наклонилась ли она надо мною, когда я спал, взглянула ли на меня? Мои высоконравственные соседки спали непробудным сном; приободренный мыслью о предстоящем ужине, я насмешливо пожелал им доброй ночи, вышел в сопровождении Рональда в сад и был бесшумно введен в спальню на первом этаже. Там меня ждали мыло, вода, бритва, застенчиво предложенная мне юным хозяином, который сам пока еще в этом предмете не нуждался, и новое платье. Какая это была восхитительная, хоть и несколько ребяческая радость — вновь побриться самому, не полагаясь на тюремного цирюльника! Волосы мои сильно отросли, но у меня хватило благоразумия не пробовать остричься собственноручно. От природы они у меня вьются, и я, право же, не находил, чтобы прическа эта меня слишком уродовала. Платье оказалось почти так хорошо, как я надеялся. Жилет из тончайшей шерсти был очень мил, панталоны — отличного кашемира, и сюртук сидел превосходно. Когда я облачился во все это и глянул на себя в зеркало, я поневоле послал своему изображению воздушный поцелуй.

— Дорогой мой,— сказал я Рональду,— а духов у вас нет?

— Господи помилуй, конечно, нет! — воскликнул тот.— Зачем они вам понадобились?

— Самонужнейшая штука в походе,— отвечал я.— Ну ничего, обойдемся.

Теперь с теми же предосторожностями, стараясь не производить ни малейшего шума, меня ввели в маленькую столовую с эркером. Ставни были закрыты, фитиль в лампе опасливо приспущен. Красавица Флора поздоровалась со мною шепотом, и, когда меня усадили за стол, оба продолжали соблюдать такие предосторожности, которые показались бы чрезмерными, даже если бы мы находились в Ухе Диониса [1].

[1] Комната со сводчатым потолком, соединенная подземным ходом с дворцом короля, чтобы можно было слушать, что происходит в темнице.

— Она спит вон там,— пояснил Рональд, указывая в потолок, и при мысли, что я нахожусь в такой близости от места, где покоится золотой лорнет, даже и я ощутил некоторое смятение.

Милый юноша привез из города пирог с мясом, и мне отрадно было увидеть рядом с ним графин поистине великолепного портвейна. Пока я ужинал, Рональд занимал меня рассказами о городских новостях: там, разумеется, только и разговору было, что о нашем побеге — ежечасно во все стороны рассылали солдат и верховых гонцов, но, согласно самым последним сведениям, никто из беглецов пойман не был. Поступок наш в Эдинбурге оценили очень высоко; отвага пришлась всем по вкусу, и многие открыто сожалели, что надежда на спасение у нас все-таки ничтожна. Оказалось, что со скалы упал Сомбреф, крестьянин, один из тех, кто спал под другим навесом; таким образом, я мог быть уверен, что всем моим товарищам по команде удалось уйти и под нашим навесом не осталось ни души.

Незаметно для нас самих мы заговорили о другом. Никакими словами не передать удовольствия, которое я испытывал, сидя за одним столом с Флорой: я был на свободе, одет, как пристало джентльмену, находчив и остроумен, как всегда, когда бывал в ударе. Оба эти качества были мне сейчас особенно необходимы, ибо приходилось играть одновременно две весьма несхожие роли: Рональду следовало по-прежнему видеть во мне веселого и беспечного солдата, Флоре же в моих словах и во всем поведении должен был слышаться уже знакомый ей голос глубокой и чувствительной натуры. Бывают, право, счастливые дни, когда всякое дело у человека спорится, когда его ум, пищеварение, возлюбленная — все словно бы сговорились побаловать его, и даже погода старается ему угодить. Скажу лишь, что в этот вечер я превзошел самого себя и мне удалось доставить истинное удовольствие хозяевам дома. Мало-помалу они забыли о своих страхах, а я об осторожности; нас вернула на грешную землю катастрофа, которую совсем нетрудно было предвидеть, но от этого она поразила нас ничуть не меньше.

Я налил всем вина.

— Позвольте мне предложить тост,— сказал я вполголоса,— вернее, три тоста, но все они так переплетены друг с другом, что разделить их невозможно. Прежде

всего я хочу выпить за здоровье храброго, а тем самым и великодушного неприятеля. Он встретил безоружного и беспомощного беглеца. Он, точно лев, презрел столь легкую победу и, вместо того, чтобы без труда доказать свою доблесть, предпочел обрести друга. Вслед за этим я хотел бы, чтобы вы выпили за самого прекрасного, самого деликатного недруга — за ту, что заметила узника в темнице и своим бесценным состраданием вселила в него бодрость; я знаю, всеми ее поступками с того часу руководило милосердие, и я могу лишь молиться (надеяться не смею!), чтобы она и впредь не оставила меня своими милостями. И еще я хотел бы впервые и, должно быть, в последний раз выпить за того, боюсь, вернее надо сказать,— за воспоминание о том, кто сражался не всегда бесславно против ваших соотечественников, но пришел сюда уже побежденный, чтобы вновь быть побежденным дружеской рукой одного из вас и незабываемыми очами другой.

Быть может, в иные минуты я слишком возвышал голос, а быть может, Рональд, который за гостеприимством забыл обо всем на свете, слишком размашисто, со звоном поставил на стол свой бокал. Но так или иначе, едва я успел закончить свою заздравную речь, как мы услышали глухой удар в комнате над нами, словно некое весьма грузное тело свалилось с постели на пол. В жизни еще не доводилось мне видеть такого неописуемого ужаса, какой выразился на лицах моих хозяев! Было предложено поскорей вывести меня в сад либо спрятать под набитый конским волосом диван, стоящий у стены. Но приближающиеся шаги явственно сказали нам, что исполнить первый план мы уже не успеем, второй же я с негодованием отверг.

— Милые мои друзья,— сказал я,— предпочитаю умереть, нежели поставить себя в смешное положение.

Едва слова эти слетели с моих губ, как дверь растворилась, и на пороге встала моя незабвенная приятельница с золотым лорнетом. В одной руке тетушка держала подсвечник с зажженной свечой, в другой, твердостью не уступавшей руке драгуна,— громаднейший пистолет. Тетушка куталась в шаль, из-под которой выглядывала белоснежная ночная рубашка, а голову ее венчал весьма внушительный ночной чепец. Так явилась она пред нами; поставила свечу, положила пистолет, видимо, заклю-

чив, что в них более нет необходимости, молча оглядела комнату — но молчание это было красноречивей самых гневных слов — и, оборотясь ко мне с неким подобием поклона, произнесла дрожащим от негодования голосом:

— С кем имею честь?

— Счастлив вас видеть, сударыня,— отвечал я.— Объяснять все в подробностях было бы слишком долго. И хотя встреча наша мне чрезвычайно приятна, но, признаться, я к ней сейчас никак не подготовлен. Я уверен...— Но тут я понял, что ни в чем я не уверен, и начал сначала: — Я весьма польщен...— И опять же понял, что нисколько я не польщен, а отчаянно сконфужен. И тогда я смело отдался на ее милость: — Сударыня, я буду с вами совершенно откровенен. Вы уже доказали свое милосердие и сострадание к французским пленникам. Я один из них. И если бы наружность моя так сильно не изменилась, вы, верно, признали бы во мне того «оригинала», который имел счастье не однажды вызывать у вас улыбку.

По-прежнему глядя на меня в лорнет, она сердито хмыкнула и оборотилась к племяннице.

— Флора,— сказала она,— как он сюда попал?

Обвиняемые пытались было что-то пролепетать в объяснение, но вскорости беспомощно умолкли.

— Уж с теткой-то могли бы быть пооткровеннее,— презрительно фыркнула она.

— Сударыня,— вмешался я,— они так и хотели сделать. Это я виноват, что вы ничего не узнали сразу. Но я умолял не нарушать ваш сон и подождать до утра, когда вам представили бы меня по всем правилам приличия.

Старая дама взглянула на меня с нескрываемым недоверием, и в ответ на этот взгляд я не нашел ничего лучшего, как отвесить глубокий и, надеюсь, изящный поклон.

— Военнопленные французы очень хороши на своем месте,— заявила она,— но я не нахожу, что им место у меня в гостиной.

— Сударыня,— сказал я,— надеюсь, вы не сочтете это за обиду, но, если не считать Эдинбургского замка, нет, пожалуй, другого места, откуда я с большей радостью готов был бы исчезнуть.

Тут, к моему облегчению, я заметил на ее суровом лице проблеск улыбки, который она немедля погасила.

— Ну-с, так как же вас величать, если не секрет?

— Виконт Энн де Сент-Ив к вашим услугам,— отвечал я.

— Мы люди простые, мусью виконт, так что, боюсь, вы оказываете нам чересчур уж большую честь.

— Почтеннейшая сударыня,— сказал я,— станем же хоть на минуту серьезны. Что мне было делать? Куда идти? И можно ли гневаться на этих добросердечных детей за то, что они пожалели горемыку? Ваш покорный слуга вовсе не такой головорез, чтобы на него стоило ополчаться со столь внушительным пистолетом и (тут я улыбнулся) подсвечником. Я всего лишь молодой дворянин, гонимый злой судьбою; меня травят, как дикого зверя, и мне нужно только одно: спастись от преследователей. Я знаю вашу натуру, я читаю по вашему лицу...— При этих дерзких словах сердце мое затрепетало.— В этот самый день, быть может, в этот самый час во Франции томятся несчастные пленники-англичане. Быть может, в этот час они, как и я, преклоняют колени, и берут руку той, которая может укрыть их и помочь им, и, как я, прижимают эту руку к губам...

— Ну-ну! — вскричала старая дама, отмахиваясь от меня.— Ведите себя прилично, не забывайтесь! Видано ли что-нибудь подобное? Но, дорогие мои, что же нам с ним делать?

— Выпроводите его, сударыня! — сказал я.— Выпроводите этого дерзкого наглеца, да поскорей! И если это возможно, если ваше доброе сердце позволяет вам это, помогите ему хоть немного в начале его долгого и многотрудного пути.

— А что это за пирог? — вдруг сварливо осведомилась она.— Откуда пирог, Флора?

Мои злополучные и, я бы сказал, павшие духом сообщники как в рот воды набрали.

— А портвейн этот мой? — продолжала она.— Каково! Даст мне кто-нибудь наконец глоток моего собственного портвейна?

Я поспешил налить ей.

Она посмотрела на меня поверх бокала странным взглядом.

— Надеюсь, он вам пришелся по вкусу? — спросила она.

— Более того, вино просто редкостное,— отвечал я.

— То-то, это еще из запасов моего батюшки,— сказала она.— Мало кто знал толк в портвейне лучше моего батюшки, упокой господи его душу! — И с устрашающей решимостью в лице она опустилась на стул.— Итак, надумали ли вы, куда направиться?

— Да ведь я вовсе не какой-нибудь бродяга без роду без племени, напрасно вы так думаете,— сказал я и, следуя примеру почтенной дамы, тоже сел.— У меня есть друзья, только мне надобно до них добраться, так что я хочу одного: покинуть Шотландию; деньги на дорогу у меня есть.

И я достал пачку ассигнаций.

— Английские деньги? — сказала она.— В Шотландии их не очень-то жалуют. Вам, видно, их дал какой-нибудь дурень англичанин. Сколько у вас тут?

— Бог свидетель, я и не подумал сосчитать! — воскликнул я — Но эту ошибку легко исправить.

И я пересчитал деньги — десять кредиток по десяти фунтов каждая, все с подписью Абрахама Ньюлендса, и еще пять чеков на пять гиней каждый от разных провинциальных банкиров.

— Сто двадцать пять фунтов и пять шиллингов! — воскликнула старая дама.— И вы носите при себе такие деньги и даже не потрудились их сосчитать! Ежели вы не вор, то, согласитесь сами, весьма схожи с вором!

— И однако, сударыня, эти деньги — моя законная собственность,— сказал я.

Она взяла одну бумажку и, поднявши, спросила:

— А не может ли случиться, что эти бумажки наведут на след их владельца?

— Полагаю, что нет,— отвечал я.— А даже если бы и так, не беда. Со свойственной вам прозорливостью вы угадали. Мне дал эти деньги англичанин Они попали ко мне через его поверенного; англичанин же сей — мой двоюродный дед граф де Керуаль де Сент-Ив, вероятно, самый богатый французский эмигрант в Лондоне.

— Мне остается только поверить вам на слово,— сказала она.

— Надеюсь, сударыня, что именно так вы и поступите,— отвечал я.

— Что ж, в таком случае делу можно помочь. Я обменяю вам по курсу один чек в пять гиней на серебро и шотландские ассигнации — этого вам хватит до английской границы. А уж как перейдете границу, мусью виконт, придется вам положиться на самого себя.

Я вежливо усомнился, достанет ли этих денег на столь длительное путешествие.

— Но вы ж меня не дослушали,— возразила она — Если вы не фат, не неженка и не погнушаетесь обществом двух гуртовщиков, сдается мне, я придумала как раз то, что надобно. И да простит мне господь, ежели на старости лет я изменяю отечеству! На ферме у нашего пастуха остановились двое гуртовщиков, а завтра они погонят стадо в Англию, выйдут, наверно, чуть свет. Так вот, по-моему, вам лучше всего проделать этот путь в обществе молодых бычков,— заключила она.

— Помилуйте, да неужто вы считаете меня за неженку! — воскликнул я.— Ведь я старый наполеоновский солдат! Но, дражайшая сударыня, куда это меня приведет? И чем мне поможет общество сих почтенных людей?

— Дражайший сэр,— ответствовала она,— вы сами не понимаете, сколь опасно ваше положение, так что уж извольте слушаться тех, кому видней. Ручаюсь, что вы и слыхом не слыхали про гуртовщиков и про гуртовые дороги, а я вовсе не намерена сидеть тут всю ночь напролет и просвещать вас. Довольно того, что я берусь все устроить — позор на мою седую голову! И именно этим путем вы отправитесь. Рональд,— продолжала она,— беги к пастухам, разбуди их и втолкуй Симу, чтоб нипочем не уходил, покуда не повидается со мной.

Рональд явно рад был покинуть общество своей тетушки и с такой молчаливой поспешностью вышел из комнаты и из дома, словно не ее же поручение выполнял, а спасался от нее бегством. Меж тем старая дама поворотилась к племяннице

— Хотела бы я знать, куда мы его денем на ночь! — воскликнула она.

— Мы с Рональдом думали поместить его в курятнике,— отвечала Флора, покраснев до ушей.

— Ничего подобного я не допущу,— возразила тетка.— Курятник, вон что выдумали! Если уж он наш гость, не годится ему спать в курятниках. Самая подхо-

дящая комната — твоя, ежели только он согласится ее занять, ведь ты и приготовить-то ее толком не успеешь. Ну, а сама ляжешь у меня в спальне.

Я невольно восхитился предусмотрительностью и тактом старой вдовы, и, разумеется, неуместно мне было ей перечить. Не успел я и глазом моргнуть, как уже остался один на один с унылым подсвечником — общество не из приятных! — и наполовину с радостью, наполовину с досадой разглядывал нагар на свече. Бегство мое удалось: властная, уверенная в себе хозяйка дома, которая взялась все уладить, внушала мне полнейшее доверие, и я уже воображал, как подкатываю к дверям дядюшки. Но — увы! — сердечные мои дела оставляли желать лучшего. Я видел Флору наедине и разговаривал с нею; я держался смело до дерзости и принят был благосклонно. Я любовался ею, когда щеки ее заливал нежнейший румянец, радовался откровенной доброте, что светилась в ее взоре, обращенном ко мне,— и вдруг на сцену, словно предвестник страшного суда, выходит грозное видение в нелепом чепце и с огромнейшим пистолетом и в мгновение ока разлучает меня с моей возлюбленной! Благодарность и восхищение спорили в душе моей с вполне естественной жгучею досадой. Тайное и дерзкое вторжение мое в ее дом не могло не вызвать самых дурных подозрений. Но старуха повела себя превосходно. Ее великодушие оказалось столь же несомненным, как и мужество, и я опасался, что проницательность ее нисколько им не уступит. Мисс Флоре, разумеется, приходилось выдерживать зоркие теткины взгляды, и, разумеется, она была встревожена. Короче говоря, мне оставалось только одно: воспользоваться мягкой постелью, попытаться поскорее уснуть и пораньше подняться в надежде, что утром мне больше посчастливится. Сказать так много и, однако, так и не договорить, уйти бог весть куда, даже не простясь по-настоящему,— нет, это было выше моих сил!

Я уверен, что благожелательная ведьма сия всю ночь не сомкнула глаз, чтобы в нужную минуту помешать моим замыслам. Задолго до рассвета она со свечой в руке уже стояла у моей постели, разбудила меня, положила передо мною какую-то мерзкую, грубую одежду, а мое платье велела свернуть в узел, ибо оно никак не годилось для предстоящего путешествия. С горечью и неохотой я

облачился в деревенское платье домотканой материи, жесткой, как дерюга, изяществом покроя напоминающее саван, и, выйдя из спальни, обнаружил, что мой грозный цербер уже состряпал мне обильный завтрак. Она села во главе стола, налила себе чаю и все время, пока я ел, занимала меня разговором, полным здравого смысла и начисто лишенным обаяния. Сколько раз я сожалел, что это она сидит со мною за столом! Сколько раз проклинал тетушку, сравнивая ее с очаровательной племянницей! Но если хозяйка моя была отнюдь не красавица, зато она не пожалела хлопот, чтобы мне помочь. Она уже переговорила с моими будущими спутниками, и план, предложенный ею, показался мне на редкость разумным. Я должен был выдавать себя за молодого англичанина, который сбежал от полиции; в Шотландии выдан ордер на мой арест, и мне надобно как можно скорее тайком перейти границу.

— Я отозвалась о вас наилучшим образом,— сказала она,— и, надеюсь, вы меня не подведете. Я сказала им, что вы провинились только в том, что влезли в долги, и за это, ежели я верно выражаюсь, вас засадили в яму.

— Дай бог, сударыня, чтобы выражение это оказалось неверным,— сказал я.— Я не из тех, кого легко напугать, но, согласитесь, в обычае и в самих этих словах есть нечто варварское, средневековое, отчего несчастный чужестранец вполне может утратить душевное равновесие.

— Это только так называется по старому шотландскому законодательству и честного человека вовсе не должно пугать,— возразила она.— А вы, как я погляжу, весьма беззаботны, вам бы все шутить. Надеюсь, у вас не будет причин об этом пожалеть.

— Прошу вас, не думайте, что мои легкомысленные речи означают, будто мне неведомы глубокие чувства,— сказал я.— Ваша доброта совершенно меня покорила. Я всецело в вашем распоряжении и, поверьте, исполнен самой искренней к вам признательности. Прошу вас, отныне и навсегда считайте меня вашим преданнейшим другом.

— Ладно, ладно,— сказала она в ответ,— вон идет ваш преданный друг гуртовщик. Надо полагать, ему не терпится поскорей отправиться в путь, а сама я не успокоюсь, покуда вы благополучно не уйдете со двора, да еще мне надобно вымыть посуду, прежде чем проснется служанка. Слава богу, поспать-то она мастерица!

Небо меж деревьев сада начинало бледнеть, свеча, при которой я завтракал, была уже не нужна. Хозяйка поднялась из-за стола, и мне не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру. Все это время я ломал себе голову над тем, как бы мне исхитриться наедине перекинуться словечком с Флорой или улучить минуту и написать ей хоть коротенькую записку. Покуда я завтракал, окна спальни растворили, верно, для того, чтобы выветрился всякий след моего пребывания там; на лужайке перед домом показался Рональд, и мой неусыпный страж в образе старой дамы оборотился к нему.

— Рональд,— сказала она,— там не Сим ли прошел за оградой?

Я не упустил случая. Прямо у ней за спиною, на мое счастье, приготовлены были перо, чернила и бумага. Я написал: «Я вас люблю» — и, не успев прибавить более ни слова или хотя бы промокнуть написанное, вновь очутился под прицелом лорнета в золотой оправе.

— Пора,— начала она, но тут же увидела, чем я занят, и перебила себя: — Э, да вы что-то пишете?

— Кое-какие заметки, сударыня,— отвечал я, с живостью поклонившись.

— Заметки? — переспросила она.— А не записку?

— В английском языке, без сомнения, существуют finesse [1], которые я не различаю,— отвечал я.

— Постараюсь сделать смысл моих слов вполне ясным для вас, мусью виконт,— продолжала старая дама.— Как я полагаю, вы желаете, чтоб вас считали джентльменом?

— Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом, сударыня?

— Сомневаюсь, и даже очень, по крайности сомневаюсь, так ли вы себя ведете, как подобает джентльмену,— отвечала она.— Вы явились сюда ко мне, а как, я толком не знаю; думаю, вы согласитесь, что обязаны мне толи кой благодарности хотя бы за этот завтрак, который я для вас состряпала. Но кто вы для меня? Молодой человек, каких немало, недурной наружности и с недурными манерами, притом бездомный, у которого в кармане есть сколько-то английских денег и за голову которого объявлена награда. Я женщина благородного происхождения; хотя и без особой охоты, но я оказала вам гостеприимство и желаю, чтобы ваше случайное знакомство с моим домом на том и кончилось.

Должно быть, меня бросило в краску.

— Сударыня,— сказал я,— заметки эти не имеют никакого значения, и малейшее ваше желание для меня закон. Вы изволили во мне усомниться. Я их разрываю.

И, уж поверьте, я проделал это весьма тщательно.

— Ну вот, так-то лучше,— сказал мой грозный дракон и тут же двинулся впереди меня к выходу.

Брат и сестра ожидали нас на лужайке перед домом, и, сколько я мог рассмотреть в предрассветных сумерках, лица их ясно говорили о том, что им пришлось выслушать немало суровых слов. Рональд в присутствии тетушки, казалось, даже стыдился встретиться со мною глазами, и вид у него был отчаянно сконфуженный. Что же до Флоры, то едва она успела бросить на меня взгляд, как неумолимая тетушка взяла ее за руку и в смутном свете занимающегося утра без единого слова зашагала по саду. Мы с Рональдом последовали за ними — тоже в полном молчании.

В той высокой ограде, на верху которой я примостился всего лишь накануне утром, оказалась калитка. Старая дама отперла ее ключом, а по ту сторону нас поджидал грубой наружности коренастый малый; обеими руками он опирался на внушительный посох. Тетушка тут же с ним заговорила

— Сим,— сказала она,— вот это и есть тот самый молодой человек.

Сим проворчал что-то невнятное и головой и рукой изобразил нечто вроде приветствия.

— А теперь, мистер Сент-Ив, вам самое время отправляться в путь,— заявила тетушка.— Но прежде дайте-ка я разменяю ваши пять гиней. Вот вам четыре фунта ассигнациями, а остальное мелким серебром, шестипенсовик я удерживаю. Некоторые берут за размен шиллинг, но так и быть, пусть будет в вашу пользу. Смотрите, распоряжайтесь ими как можете разумнее.

— А это для вас плед, мистер Сент-Ив,— впервые заговорила со мною Флора,— в таком трудном путешествии он вам будет необходим. Надеюсь, вы не откажетесь его принять из рук вашего шотландского друга,— прибавила она, и голос ее дрогнул.

---

[1] Тонкости *(франц.)*.

— Настоящий падуб, я сам срезал,— молвил Рональд и протянул мне преотличную дубинку. О такой в случае драки можно только мечтать.

Церемонность, с какою были вручены эти дары, и ожидавший меня погонщик яснее всяких слов говорили, что пора отправляться в путь. Я опустился на одно колено и распрощался с тетушкой, поцеловав ей руку. Таким образом я простился и с племянницей — но несколько горячее! Рональда же я заключил в объятия и прижал к груди с такой нежностью, что он лишился дара речи.

— Прощайте! Прощайте! — повторил я.— Никогда я вас не забуду, друзья мои. Вспоминайте меня хоть изредка. Прощайте!

С этими словами я поворотился и пошел прочь и почти тотчас услыхал, как за моей спиною в высокой стене захлопнулась калитка. Это, уж конечно, было делом рук тетушки, и, если я хоть что-то понимаю в человеческой натуре, она бы на прощание охотно наговорила мне резкостей. Но уверяю вас, даже доведись мне их выслушать, я бы ничуть не обиделся, ибо глубоко убежден, что если в «Лебяжьем гнезде» у меня остались поклонники, то и тетушка была меж них не последняя.

ГЛАВА X

ГУРТОВЩИКИ

Мне не сразу удалось догнать моего нового товарища, ибо хотя шел он, уродливо переваливаясь и словно бы не спеша, однако при желании становился поистине скороходом. Мы поглядели друг на друга. Я — с вполне естественным любопытством, он — с нескрываемым отвращением. Уже потом мне стало известно, что с самого начала он настроился против меня: увидев, как я преклонял колени перед дамами, он почел меня за шута горохового.

— Вы, стало быть, в Англию? — спросил мой спутник.

Я отвечал утвердительно.

— Чего ж, есть места и похуже,— заявил он, и добрых пятнадцать минут мы шли спорым шагом, не обмениваясь более ни словом.

Тем временем мы вступили в безлесную зеленую лощину, которая прихотливо вилась меж холмами. Посреди нее навстречу нам сбегал ручеек, образуя там и сям прозрачные озерца; у самого нижнего расположилось стадо лохматых коров, и человек, показавшийся мне двойником мистера Сима, стерег их, закусывая хлебом с сыром. Завидев нас, человек этот (после я узнал, что имя его Кэндлиш) поднялся на ноги.

— Этот парень пойдет с нами,— сказал ему Сим.— Так наказала вдова Гилкрист.

— Чего ж, пускай идет,— отвечал второй гуртовщик; потом, спохватясь, что забыл о приличиях, оборотился ко мне и сказал с хмурой усмешкой: — Ладный денек!

Я согласился с ним и спросил, как он поживает.

— Лучше всех,— отвечал он.

И, решив, по-видимому, что долг вежливости исполнен, оба гуртовщика принялись собирать скот в дорогу. Этим, как и почти всей прочей пастушьей работой, занимались два умных красивых пса, которые понимали приказания Сима и Кэндлиша с полуслова. Вскорости мы уже поднимались в гору по неровному, заросшему травой проселку, которого я прежде не заметил. Путь наш сопровождало чавканье жующих коров и мягкое «трр» куропаток; из-за неторопливого движения скота и неистребимого его аппетита мы двигались с томительной медленностью. И посреди стада в удовлетворенном молчании, которым я не мог не восхищаться, неторопливо шагали два моих проводника. Чем дольше я на них глядел, тем больше поражался тому, как они до смешного схожи. Оба в грубой домотканой одежде, у обоих носы в табаке, в руках одинаковые посохи и на плечах совершенно одинаковые клетчатые пледы. Если посмотреть сзади, их совсем не отличишь друг от друга, и даже спереди сходство поразительное. Да и нравом они были на редкость схожи. Раза четыре я пытался подготовить почву для какого-то обмена мыслями, впечатлениями или уж хотя бы обыкновенными человеческими словами. Но в ответ слышал лишь «угу» да «хм», и беседа замирала, не возникнув. Не стану отрицать, я был огорчен. И когда, несколько времени спустя после моих безуспешных попыток завязать с ними разговор, Сим обернулся, протянул мне бараний рог с нюхательным табаком и спросил:

— Не желаете?

Я ответил, оживясь:

— Право, сэр, я не отказался бы и от перца, лишь бы завязать с вами дружбу.

Но даже и эта шутка не достигла цели и, во всяком случае, не расположила ко мне моих спутников.

Так мы добрались до вершины гряды; отсюда видно было, как дорога круто спускается вниз, в пустынную долину не меньше лье длиною, и упирается в голые холмы. Сим остановился, снял шляпу и утер лоб.

— Ну вот,— сказал он,— вот мы и на вершине Хаудена.

— Так и есть, на вершине Хаудена,— подтвердил Кэндлиш.

— Как, мистер Ив, в горле-то, небось, пересохло? — спросил Сим.

— Да ведь про это и думать грех,— отвечал я.

— Чего это вы? — сказал он.— Выпейте глоточек, я угощаю.

— Ну что ж, выпить так выпить, признаться, у меня и вправду в горле пересохло.

Тут Сим вытащил из-под пледа непрозрачную бутылку, и мы все трое выпили за здоровье друг друга. Оказалось, что в подобных случаях сии джентльмены следуют весьма строгому этикету, который я, разумеется, поспешил у них перенять. Каждый утирал губы тыльной стороной левой руки, правой поднимал бутылку, произносил с чувством: «Ваше здоровье!» — и отпивал из бутылки сколько душа требовала. Эта скромная церемония, в которой как-никак проявлялось нечто отдаленно напоминавшее любезность, повторялась через подобающие промежутки времени, обыкновенно после восхождения на очередной перевал. Порою мы закусывали овечьим сыром и никогда мною дотоле невиданным хлебом, который, насколько я понял (но честью своей в том не поручусь), носит название лепешек стригаля. И в первый день этим, можно сказать, и ограничилось все наше общение.

И вновь меня поражал унылый, пустынный облик этого края, по которому час за часом и день за днем вилась дорога, протоптанная гуртами. Опять и опять все те же однообразные, поросшие кустарником лохматые холмы, изборожденные несчетным множеством ручьев, через которые нам приходилось перебираться вброд и на берегу которых мы располагались на ночлег. Бесконечные вересковые пустоши, изобилие куропаток; там и сям над ручьем купы ив или серебристых берез; там и сям развалины не блиставших пышностью старинных замков — вот и все, что мы видели вокруг. Изредка, да и то вдалеке, мы различали дымки какого-нибудь селения или одинокой фермы, а порою два-три домишка посреди вересковой пустоши; несколько чаще поодаль виднелось стадо овец и при нем пастух или попадалось кое-как возделанное, зачастую еще не убранное поле. Если не считать этих разнообразящих картину пятен, можно сказать, что мы шли сплошь пустыней, и притом одной из самых убогих в Европе; когда я вспоминал, что мы находимся всего в нескольких лье от главного города (где каждодневно заседают суды, спеша решить неотложные дела, солдаты охраняют крепость, а те, кому положено, сочиняют книги или занимаются науками), передо мною представал удивительный облик нищей, бесплодной и однако же прославленной земли. И, вероятно, тем более следовало отдать должное мудрости миссис Гилкрист, которая отослала меня с этими неотесанными спутниками и по этой безлюдной дороге.

Маршрут наш был мне совершенно неясен: названия мест и расстояния я и тогда едва ли ясно себе представлял, а теперь и вовсе позабыл; и это тем огорчительней, что в те дни я, без сомнения, проходил и останавливался на отдых и на ночлег в тех местах, которые прославил своим пером Вальтер Скотт. Более того, мне кажется, я был еще щедрее взыскан судьбою: я даже видел этого несравненного сочинителя и беседовал с ним. Нам повстречался высокий, дородный пожилой господин, чьи волосы были уже тронуты сединою, с чертами лица резкими, но полными веселости и обаяния. Он сидел верхом на малорослой горной лошадке, на плечи у него поверх зеленого камзола наброшен был плед, и сопровождала его, также верхом, очаровательнейшая молодая дама, его дочь. Они догнали нас на вересковой пустоши, придержали коней и добрую четверть часа ехали рядом с нами, а потом поскакали влево и скрылись меж холмов. Велико было мое удивление, когда, услыхав приветствие этого странного джентльмена, неприступный мистер Сим сей же час оттаял, а всадник дружелюбно и просто с ним

поздоровался и принялся рассуждать о том, как идет торговля, каковы нынче цены на скот, и не побрезговал взять неизбежную понюшку табаку из протянутого ему бараньего рога. В скором времени я почувствовал взгляд незнакомца на себе, и за этим последовал разговор, часть которого я волей-неволей услыхал, а чего не услыхал, более или менее точно восстановил затем по рассказу Сима.

— Ваш третий гуртовщик, должно быть, из любителей? — вроде бы спросил всадник.

Сим отвечал, что я из господ и что у меня есть свои причины путешествовать уединенно.

— Ну-ну, не хочу ничего такого слышать. Вы ведь знаете, я на службе закона, так что уж лучше мне оставаться в неведении,— отвечал пожилой джентльмен.— Но, надеюсь, ничего дурного за ним не числится.

Сим объяснил, что я всего лишь не уплатил вовремя долга.

— О господи, хорошо ежели бы так! — воскликнул незнакомец и, оборотясь ко мне, продолжал: — Что ж, сэр, сколько я понимаю, вы странствуете пешком по нашим краям ради собственного удовольствия?

— Вы угадали, сэр,— отвечал я,— и, должен признаться, это весьма занимательно.

— Завидую вам,— сказал он.— Я и сам, когда был помоложе, немало миль отшагал по этим местам. Здесь повсюду, под каждым кустиком вереска, покоится моя юность, точно душа лиценциата Луциуса. Но вам бы нужен гид. Прелесть этой страны таится прежде всего в ее преданиях, а их здесь, что куманики, тьма-тьмущая.

И, указав мне на обломок стены размером не более могильного камня, он поведал для примера историю жившей здесь некогда семьи. Много лет спустя мне както захотелось развлечься, и я раскрыл роман о Веверлее — и что же я там нашел? Ту самую историю, которую услышал некогда на вересковой пустоши от господина в зеленом камзоле! С отчетливостью, какая бывает лишь в сновидениях, в памяти моей мгновенно вспыхнула та сцена, мне вспомнился звук его голоса, его северный выговор, я увидел ту землю и то небо над головой и даже какая была погода в тот день и ощутил тот прохладный ветерок. Неизвестный в зеленом камзоле оказался Великим Неизвестным! Я видел Вальтера Скотта, я

слышал повесть из его собственных уст, я мог бы ему написать, напомнить о знакомстве, сказать, что то предание все еще звучит у меня в ушах. Но слишком поздно сделал я это открытие — великий человек уже рухнул под грузом ударов судьбы и почестей.

А тогда, угостив каждого из нас сигарою, Скотт попрощался с нами и исчез вместе с дочерью за грядой холмов. Я спросил у Сима, кто же это такой, и услышал в ответ: «Это большой господин, приятель! Кто ж не знает большого господина!» Но слова его, по несчастью, ничего мне не объяснили.

Теперь мне предстоит рассказать о более серьезном приключении, которое выпало нам на долю. Мы были уже у самой границы. Долгое время мы шагали по дороге, убитой и ощипанной миллионами гуртов, прошедших здесь до нас, и не замечали ни малейших следов того движения, которое эту дорогу проторило. Но вот однажды ранним утром мы наконец завидели на проселке, примерно в полулье от гуртовой дороги, стадо, схожее с нашим, но многочисленнее. Обоими моими спутниками овладело живейшее волнение. Они взбирались на бугры, вглядывались в приближающееся стадо, приставив ко лбу руку козырьком, о чем-то совещались с видом столь тревожным, что я был поражен. К тому времени я уже успел узнать, что присущая им сдержанность не позволяет открыто проявлять свою враждебность, и я осмелился спросить, что случилось.

— Дурные люди,— выразительно отвечал Сим.

Весь день без роздыха собак держали начеку и стадо гнали с непривычной и, по-видимому, нежелательной для него скоростью. Весь день Сим и Кэндлиш, расходуя табака и слов куда более обыкновенного, обсуждали, что нам предстоит. Они как будто признали двоих из наших новых попутчиков: одного звали Фэй, другого — Джиллис. Быть может, между ними и моими товарищами существовала давняя, все еще не разрешенная распря — этого я так и не узнал, но Сим и Кэндлиш ждали от них любого, самого бессовестного мошенничества и бесчинства. Кэндлиш не уставал поздравлять себя с тем, что догадался оставить часы дома, у своей хозяюшки, а Сим беспрестанно размахивал посохом и клял свою злодейку судьбу, ибо он точно знал — посоху этому не уцелеть.

— Да, стукну-то я того окаянного поганца за милую душу, это сколько угодно,— сказал он.— Только вот беда: боюсь, дубинка сломается.

— Что ж, друзья,— вставил я слово,— в случае надобности, думаю, мы преотлично с ними разделаемся.

И я покрутил над головой своей палкой, даром Рональда, лишь теперь оценив, как она мне пригодится.

— Э, милый человек, так вы не струсите? — спросил Сим, и на его бесстрастном лице промелькнуло одобрение.

В тот же вечер, усталые от долгого дневного перехода, мы расположились на зеленом холмике, на склоне которого бил прозрачный ключ, такой крохотный, что только сполоснуть руки. Мы поужинали и легли, но еще не успели уснуть, как зарычала одна из наших овчарок, и мы насторожились. Приподнялись было, но мигом одумались и снова легли, однако палки свои держали теперь наготове. Только чужестранец, беглец, бывалый и при этом молодой летами солдат может так бездумно ввязаться в подобную переделку. Я понятия не имел ни о причинах ссоры, ни о возможных последствиях стычки, но, как в утро боя, не задумываясь занимал свое место в строю, так и сейчас готов был взять сторону моих спутников. Внезапно из зарослей вереска появились три незнакомца; они набросились на нас так стремительно, что мы едва успели вскочить на ноги, и тот же час каждый из нас схватился с противником, которого в сгущающихся сумерках почти не различал. Как развивались два других поединка, я описать не могу. Негодяй, доставшийся на мою долю, был на редкость проворен, мастерски владел своим оружием и сразу же поставил меня в самое невыгодное положение: он все время заставлял меня отступать, и, наконец, вынужденный обороняться, я, вместо того чтобы размахнуться и ударить, обратил против него острие своей палки. Она вонзилась моему противнику в горло, он повалился наземь, точно кегля, и больше не шевельнулся.

Казалось, это послужило сигналом прервать стычку. Остальные противники тут же отпрянули друг от друга; наши враги без всякой помехи с нашей стороны подняли и понесли прочь своего поверженного товарища; и я понял, что такого рода сражения не вовсе лишены рыцарских правил и, пожалуй, больше напоминают турнир, нежели обыкновенную драку. Во всяком случае, одно бесспорно: по моей вине дело приняло слишком серьезный оборот. Наши собратья-неприятели понесли прочь своего раненого товарища с откровенным ужасом, и, едва они скрылись за гребнем холма, Сим и Кэндлиш подняли усталое стадо и двинулись в ночной переход.

— Сдается мне, дела Фэя плохи,— обронил один.

— Да,— отозвался другой,— он его, почитай, насквозь пропорол.

— Так и есть,— подтвердил первый.

И они снова устало замолчали.

Но вот Сим оборотился ко мне.

— Больно ловко вы орудуете палкой,— сказал он.

— Боюсь, что слишком ловко,— отвечал я.— Боюсь, мистеру Фэю (так, кажется, его зовут?) уже не оправиться.

— Похоже на то,— подтвердил Сим.

— И что ж теперь будет? — спросил я.

— Да вот какое дело,— сказал Сим, взяв солидную понюшку табаку,— негоже мне подавать тут совет, не по совести это. Потому как я и сам не знаю, что тут делать, мистер. Бывало, и у нас головы проламывали... И не раз!.. Могли и ногу сломать, а то и обе. И так уж у нас, у гуртовщиков, повелось, чтоб все оставалось промеж своих, шито-крыто. А вот чтоб насмерть кого уложить — этого сроду не бывало, и на что теперь Джиллис решится, ума не приложу. Самому-то ему тоже ведь туго придется, если он воротится домой один, без Фэя. Ведь народ все дошлый, как станут расспрашивать да выпытывать, особливо когда это совсем некстати.

— Что верно, то верно,— подтвердил Кэндлиш.

Я рассудил, что ничего хорошего мне ждать не приходится, и, сделав хорошую мину при плохой игре, сказал:

— С какой стороны ни посмотреть, нам лучше всего разделиться сразу же, как перейдем границу. Если вас станут донимать расспросами, вы скажете чистую правду: что во всем виноват ваш бывший попутчик. А ежели за мной нарядят погоню, я уж постараюсь никому на глаза не попадаться.

— Мистер Сент-Ив,— начал Сим чуть ли не восторженно,— больше ни слова, сэр! Я на своем веку каких только господ не встречал, и таких видал и эдаких, но

уж удальца вроде вас не часто повстречаешь, не в обиду господам будь сказано.

Всю эту ночь мы, разумеется, шагали, не давая себе роздыху. Поблекли звезды, посветлело небо на востоке, а мы — и собаки и люди,— с трудом передвигая ноги, все шли за выбившимся из сил стадом. Вновь и вновь Сим и Кэндлиш сокрушались, что мы идем без остановок. «Сами скотину губим»,— говорили они, но мысль о судье и о плахе гнала их вперед и вперед. Меня же нечего было особенно жалеть. Всю ночь и весь остаток пути, что нам предстояло еще пройти вместе, я упивался новой радостью: тем, что Сим, у которого наконец-то развязался язык, признал мою доблесть. Кэндлиш попрежнему упрямо молчал — такова уж была его натура,— но Сим, наконец-то оценив и одобрив меня, дал себе волю и оказался человеком на редкость словоохотливым и к тому же изрядным рассказчиком. Сим и Кэндлиш были старые верные друзья и проводили дни свои средь бесконечных вересковых пустошей, связанные молчаливым братством, подобным тому, какое. как я слышал, объединяет охотников Запада. Казалось бы, нелепо говорить о любви, когда речь идет о таких угрюмых уродах, но уж доверяли-то они друг другу без оглядки и безмерно друг другом восхищались. Кэндлиш восклицал, что «другого такого товарища, как Сим, днем с огнем не сыщешь», а Сим то и дело вполголоса заверял меня, что «другой такой старой верной образины не сыщется во всей Шотландии». Оба пса, как оказалось, тоже составляли неотъемлемую часть этого содружества, и я убедился, что хозяева не оставляют без внимания ни их подвиги, ни самые малые особенности их нрава. И Сим и Кэндлиш особенно много и охотно рассказывали именно о собаках, притом не только о тех, что были с ними теперь, но отдавали должное и псам, которые были у них прежде.

— Это еще что! — обыкновенно начинал Сим.— Вот в Мейнаре был пастух, звали его Туиди... Помнишь Туиди, Кэндлиш?

— Знатный пастух! — откликался Кэндлиш.

— Да, и был у этого Туиди пес...

Историю того пса я давно позабыл, помню только, что была это скука смертная и притом, как я подозреваю, сплошная выдумка; вообще же странствия с гуртовщиками сделали меня доверчивее, а пожалуй, и снисходительнее ко всему, что касается собак. До чего же красивые, неутомимые создания! Глядя, как в конце долгого дневного перехода они прыгают, скачут, лают, перебегают с места на место, лихо красуясь перед зрителем и явно наслаждаясь своим изяществом и картинностью, держат на отлете пушистые хвосты, я оборачивался к Симу и Кэндлишу, смотрел, как неуклюже они бредут позади, сутулые, закутанные в пледы, на носу капля от вечных понюшек,— и думал, что куда приятней было бы оказаться в родстве с этими собаками, нежели с их хозяевами! Приязнь моя не встречала взаимности: в глазах собак я был существом слишком легковесным; лишь изредка они, бывало, подбегут, чтобы я накоротке их приласкал, или второпях лизнут меня мокрым языком — и снова спешат усердно служить своим обтрепанным божествам, своим хозяевам, а хозяева чаще всего без зазрения совести клянут их за глупость.

Словом, последние часы нашего путешествия, бесспорно, были самые приятные для меня да, я думаю, и для всех нас; и к тому времени, как нам пришла пора разойтись, между нами уже возникло известное дружелюбие и взаимное уважение, отчего расстаться было несколько труднее. Расстались мы часа в четыре пополудни на голом склоне холма; оттуда видна была лента Большого северного тракта, которого с этой минуты мне надлежало придерживаться. Я спросил, сколько должен своим спутникам.

— Ничего,— ответил Сим.

— Это еще что за вздор! — воскликнул я.— Вы меня вели, кормили, давали мне виски сколько моей душе угодно, а теперь не желаете брать денег!

— На то мы и подрядились,— отвечал Сим.

— Подрядились? — переспросил я.— Что вы хотите этим сказать, приятель?

— Мистер Сент-Ив,— сказал Сим,— это дело касается только нас с Кэндлишем да старой вдовы Гилкрист. И нечего вам спорить, понятно? Вы тут ни при чем.

— Милейший,— возразил я,— я не могу позволить, чтобы меня ставили в такое нелепое положение. Миссис Гилкрист мне не родня, и я не желаю оказаться у ней в долгу.

— Уж не знаю, что вы тут можете поделать,— заметил гуртовщик.
— Да просто возьму и расплачусь с вами,— отвечал я.
— Для всякой сделки нужны две стороны, мистер Сент-Ив,— возразил Сим.
— Вы хотите сказать, что не возьмете денег? — спросил я.
— Вроде этого,— отвечал он.— Потому как будет куда лучше, ежели вы прибережете свои денежки для тех, кому должны. Вы, мистер Сент-Ив, человек молодой, в голове ветер, но, ежели станете поосторожней да поосмотрительней, я так думаю, из вас еще выйдет толк. Вот только запомните крепко-накрепко: ежели кто в долгу, тому негоже деньги тратить попусту.

Ну что я мог на это возразить? Я проглотил его упрек, пожелал им обоим доброго пути и отправился один своей дорогой — к югу.

— Мистер Сент-Ив,— сказал мне на прощание Сим,— я не больно-то верю в англичан, но по совести скажу: сдается мне, есть в вас добрый корень.

ГЛАВА XI

БОЛЬШОЙ СЕВЕРНЫЙ ТРАКТ

Спускаясь с холма, я задумался об этих последних словах моего гуртовщика, они запали мне в душу. Я ни разу не обмолвился своим спутникам ни о том, откуда я родом, ни о моем состоянии, ибо среди их правил вежливости существовало одно, едва ли не лучшее — не задавать вопросов, и, однако, они без всяких колебаний признали меня за англичанина. Именно этим они, конечно, объяснили и некоторую необычность моего произношения. И мне пришло в голову, что если в Шотландии я мог сойти за англичанина, то в Англии, напротив, вероятно, сойду за шотландца. Если понадобится, я смогу без особого труда изобразить шотландский выговор; за время пути с Симом и Кэндлишем я накопил солидный запас диковинных словечек и, уж конечно, сумею так рассказать историю Туидиева пса, что любой попадется на эту удочку. А вот имя мое — Сент-Ив — едва ли годится для такой роли. Но тут я вспомнил, что в провинции Корнуэлл есть город под таким названием, подумал, отчего бы не выдать себя за его уроженца, и решил говорить, будто родился я в городе Сент-Иве, а образование получил в Шотландии. Что же до рода моих занятий, то поскольку я во всех областях равно был профаном и, назвав даже самую невинную, в любую минуту могу быть изобличен, то и почел за благо обойтись вовсе без профессии. Просто я молодой джентльмен с достатком, отличаюсь складом ума праздным и оригинальным. Странствую по своей надобности, здоровья ради, от пытливости ума и из любви к веселым приключениям.

В Ньюкасле, первом городе на моем пути, я завершил приготовления к избранной мною роли: прежде чем идти в гостиницу, купил заплечный мешок и пару кожаных гетр. С пледом я не расставался, ибо он был дорог моему сердцу. К тому же он был теплый: завернувшись в него, удобно спать, если вновь случится ночевать под открытым небом, да еще оказалось, что человеку с благородной осанкой он весьма к лицу. В таком виде я уже вполне мог сойти за беспечного странника. В гостинице, правда, удивились, что я выбрал для путешествия столь неподходящее время года, но я сослался на то, что меня задержали дела, и, улыбаясь, объявил себя завзятым оригиналом. Да провалиться мне на этом месте, говорил я, если не всякое время года мне по плечу. Я не сахарный, не неженка и не испугаюсь, ежели постель окажется дурно проветренной или же, напротив, меня посыплет снежком. И я стукнул кулаком по столу и потребовал еще бутылку вина, как то и приличествовало шумливому, душа нараспашку, молодому джентльмену, за какого я себя выдавал. Такова была моя линия (если можно так выразиться) — много говорить да немного сказать. За столиком в гостинице я мог разглагольствовать о провинции, по которой шел, о том, хороши ли дороги, о делах моих собутыльников, наконец, о событиях в мире и в государстве — передо мною открывалось широкое поле для всяческих рассуждений и при этом полная возможность ничего не сообщать о себе самом. Меньше всего я походил на человека скрытного; я наслаждался компанией как никто и к тому же еще рассказал какую-то длиннейшую небывальщину про свою несуществующую тетушку, после чего уже и самые недоверчивые не могли усомниться в моем простодушии.

— Как! — воскликнули бы они.— Чтобы этот молодой осел что-то скрывал! Да он совсем заговорил меня, без конца болтал про свою тетушку, прямо все уши прожужжал. Ему только дай случай, и уж он выложит вам всю свою родословную от самого Адама и все свои богатства до последнего шиллинга.

Один почтенный, солидный постоялец так был растроган моей неопытностью, что одарил меня парочкой добрых советов. Он сказал, что я, в сущности, совсем еще юнец — в ту пору у меня была крайне обманчивая наружность, и больше двадцати одного года мне не давали, а это при сложившихся обстоятельствах было весьма драгоценно,— что общество в гостиницах весьма разношерстное, и лучше бы мне вести себя поосмотрительней, ну и так далее, все в том же духе. На это я отвечал ему, что сам никому не желаю зла и, провалиться мне на этом месте, не жду худого и от других.

— А вы, видно, из того, прах их побери, опасливого племени, которое я с пеленок терпеть не мог,— говорил я далее.— Вы из тех, которые себе на уме. Весь мир так и делится, почтеннейший: на тех, которые себе на уме, и на простаков! Ну так вот, я — простак.

— Боюсь, что вас быстро обдерут как липку,— заметил он.

Я предложил ему побиться об заклад, но он только качал головою и живо от меня отошел.

С особенным восторгом разглагольствовал я о политике и о войне. Никто не клял французов беспощадней меня, никто с такой горечью не отзывался об американцах. И когда прибыла направлявшаяся на север почтовая карета, украшенная остролистом, и кучер и страж, уже осипшие, возвестили и нам о победе, я так разошелся, что выставил всей честной компании чашу пунша, который сам смешал и разлил щедрой рукою, и даже разразился небольшим, но прочувствованным тостом:

— За нашу блестящую победу на Нивеле! Да благословит бог лорда Веллингтона! И да будет его оружие победоносным на веки веков! — И еще прибавил: — Горемыка Султ [1]! Пусть зададут ему еще разок перцу тем же манером!

[1] Один из французских маршалов.

Навряд ли когда-нибудь еще красноречие награждалось столь бурными рукоплесканиями, навряд ли кто-нибудь пользовался бо́льшим признанием, нежели я в этот час. Ну и ночку же мы провели, уж можете мне поверить! Кое-кто, поддерживая друг друга, с помощью коридорных добрался до своих номеров, остальных сон свалил тут же, на поле славы; и на другое утро, когда мы сели завтракать, взорам нашим предстала редкостная коллекция красных глаз и трясущихся рук. При дневном свете патриотизм уже не горел таким ярким пламенем. Да не обвинят меня в равнодушии к неудачам Франции! Одному богу известно, какая меня снедала ярость. Как жаждал я в разгар пьяного веселья накинуться на это стадо свиней и столкнуть их лбами! Но не забывайте, в каком я очутился положении; не забывайте также, что беспечность, столь присущая всякому галлу, составляет сущность моей натуры и, как дерзкого мальчишку, увлекает меня подчас на поступки самые необдуманные. Возможно, что временами я даю этому проказливому духу завести меня дальше, нежели дозволяют приличия, и однажды я, как и следовало ожидать, был за это наказан.

Случилось это в епископальном граде Дургаме. Мы сели обедать большой компанией, ее составляли по преимуществу добропорядочные, уже сильно хлебнувшие спиртного английские тори известного склада, которые обычно столь полны энтузиазма, что уже не в силах выразить его словами. Я с самого начала вел и направлял беседу и, когда речь зашла о французах на Пиренейском полуострове, сообщил (сославшись на своего кузена-прапорщика) подлинные подробности некоторых каннибальских оргий в Галиции, в которых принимал участие ни много ни мало сам генерал Кафарелли. Я никогда не жаловал сего командующего, ибо однажды он отправил меня под арест за нарушение субординации; и вполне возможно, что мое безжалостное описание было сдобрено щепоткой мести. Подробности я с той поры позабыл, но, надо полагать, они были весьма красочны. Конечно же, я не упустил случая подурачить этих олухов; и, конечно же, уверенный в своей безопасности (а уверенность мне придавал вид этих тупых физиономий с разинутыми от изумления ртами), я зашел слишком далеко. Как на грех, за столом среди прочих оказался некий молчаливый человечек, которого мне не удалось провести. И не

оттого, что он обладал чувством юмора,— нет, чувства этого он был начисто лишен. И не оттого, что человечек отличался особливой смекалкой,— его и смышленым-то не назовешь. Расположение ко мне — вот ведь что, подумать только! — обратило его в ясновидца.

Едва мы отобедали, я вышел на улицу с намерением прогуляться по городу и посмотреть на собор; человечек же сей молча шел за мною по пятам. Несколько отойдя от гостиницы, в плохо освещенном месте, я почувствовал, что кто-то тронул меня за локоть, круто обернулся и увидел, что он стоит рядом и смотрит на меня взволнованными, сияющими глазами.

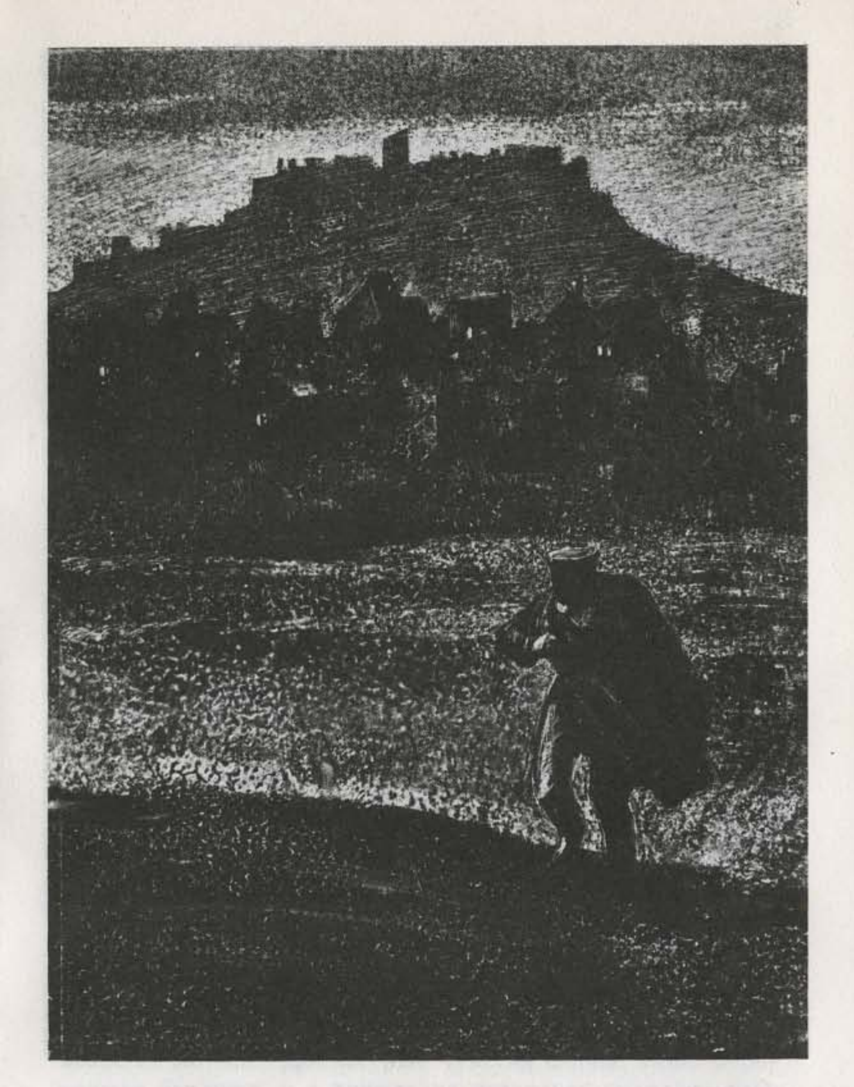
— Прошу прощенья, сэр,— начал он,— но эта ваша история была презабавна. Хи-хи! Препикантная историйка! Поверьте, сэр, я вас вполне понял! Я вас, можно сказать, учуял! Право же, сэр, ежели бы нам с вами побеседовать по душам, у нас бы нашлось много общего. Вот в двух шагах «Колокольчик», очень подходящее местечко. Там подают отличный эль, сэр. Не удостоите ли вы меня чести выпить со мной кружечку?

Человечек сей изъяснялся столь таинственно и двусмысленно, что, признаюсь, меня разобрало любопытство. Уже в ту минуту кляня себя за неосторожность, я все же не отказался от его предложения, и в скором времени мы сидели друг против друга и потягивали пиво, подогретое с пряностями. Незнакомец понизил голос до едва слышного шепота.

— За великого человека, сэр,— шепнул он.— Полагаю, вы меня поняли? Нет? — Он подался вперед, так что мы соприкоснулись носами, и пояснил: — За императора!

Я был в чрезвычайном смущении и, несмотря на его невинную наружность, не на шутку встревожился. Для шпиона он был, по моему разумению, чересчур бесхитростен и, уж конечно, чересчур смел. Но если он честный человек, то, как видно, до крайности неблагоразумен, и тогда беглецу уж никак не годится его поощрять! Поэтому я выбрал среднюю линию: ничего не ответил на его тост и выпил пиво, не выказывая никакого восторга.

Он же продолжал безмерно превозносить Наполеона, причем таких похвал мне и во Франции не доводилось слышать, разве что из уст господ, которым за это полагалась особая плата.



«СЕНТ-ИВ»

«СЕНТ-ИВ»

— А этот Кафарелли, он тоже отличный малый, ведь правда? — вновь заговорил человечек.— Сам я не очень о нем наслышан. Не знаю никаких подробностей, сэр, ровным счетом никаких! Беспристрастные сообщения нам здесь приходится добывать с величайшим трудом.

— Подобные жалобы я слышал и в других странах,— не удержавшись, заметил я.— Но что касается Кафарелли, сэр, он не хромой и не слепой, у него обе ноги целы и нос на месте, как у нас с вами. И мне до него так же мало дела, как вам до покойного мистера Персиваля[1]!

Он впился в меня горящими глазами.

— Вы меня не проведете! — вскричал он.— Вы служили под его началом. Вы француз! Наконец-то мне довелось пожать руку одному из сынов благородной нации, что первой провозгласила славные принципы свободы и братства. Тсс!.. Нет, все в порядке. Мне показалось, кто-то стоит за дверью. В этой жалкой, порабощенной стране мы собственную душу, и ту не осмеливаемся назвать своею. Всюду шпионы и палачи, сэр, шпионы и палачи! И все-таки свеча горит. Добрые дрожжи делают свое дело, сэр... Делают свое дело в подполье. Даже и в нашем городе есть несколько храбрецов, они собираются всякую среду. Непременно обождите денек-другой и присоединитесь к нам. Мы собираемся не здесь. В другом месте, где не так людно. Там, однако, подают превосходный эль, превосходный, в меру крепкий эль. Вы окажетесь среди друзей, среди братьев. Вы услышите, какие там высказываются отважные чувства! — воскликнул он, распрямляя свою узкую грудь.— Монархия, христианство! Вольное братство Дургама и Тайнсайда смеется над всеми этими уловками напыщенной старины!

Экая незадача для человека, которому всего важнее не привлекать к себе внимания! Вольное братство было вовсе не по мне. Доблестные чувства сейчас лишь обременили бы меня, и я попытался несколько охладить пыл моего собеседника.

— Вы, кажется, забыли, сэр, что мой император поставил религию на службу государству,— заметил я.

— Ах, сэр, но это же просто политика! — воскликнул он.— Вы не понимаете Наполеона. Я проследил весь

[1] Английский государственный деятель (1762—1812).

его путь. Я могу объяснить всю его политику от первого до последнего шага. Взять, к примеру, хотя бы Пиренеи — вы так занимательно о них рассказывали,— ежели вы зайдете со мной к другу, у которого есть карта Испании, то, смею надеяться, за полчаса я проясню вам весь ход тамошней войны.

Это было невыносимо. Я понял, что из двух крайностей предпочитаю британских тори; условясь встретиться завтра, я сослался на внезапную головную боль, воротился в гостиницу, уложил свой заплечный мешок и часов около девяти вечера сбежал от этого ненавистного мне соседства. Было холодно, звездно, ясно, дорога сухая, чуть прихвачена морозцем. Но при всем том у меня не было ни малейшего желания шагать по ней долго, и в одиннадцатом часу, углядев по правую руку освещенные окна какого-то трактира, я решил остановиться там на ночлег.

Это шло наперекор моему правилу — останавливаться лишь в самых дорогих гостиницах,— и неудачи, которая меня здесь постигла, оказалось вполне довольно, чтобы впредь я стал разборчивее. В зале собралась большая компания, клубился табачный дым, в камине весело трещал огонь. У самого камина стоял незанятый стул, и место это показалось мне завидным — оттого ли, что здесь было тепло, оттого ли, что я обрадовался обществу,— и я уже готов был усесться, но тут ближайший ко мне незнакомец рукою преградил мне путь.

— Прощенья просим,— сказал он,— но это место британского солдата.

Слова его поддержали и пояснили сразу несколько голосов. Речь шла об одном из героев армии Веллингтона, раненном в битве у Роландова холма. Он был правой рукой Колборна. Коротко говоря, оказалось, что этот славный вояка служил чуть ли не во всех корпусах и под командой чуть ли не всех генералов, сколько их было на Пиренейском полуострове. Я, разумеется, принес свои извинения. Я ведь о том не знал. Провалиться мне на этом месте, конечно, солдат имеет право на все, что только есть лучшего в Англии. И, выразив таким образом свои чувства, принятые громкими рукоплесканиями, я примостился на краешке лавки и в надежде на развлечение стал ждать самого героя. Он оказался, разумеется, рядовым. Я говорю «разумеется», ибо

ни один офицер не мог бы завоевать столь всеобщее признание. Его ранило перед сражением у Сан-Себастьяна, и он все еще носил руку на перевязи. Но что было для него много хуже — каждый из присутствующих уже успел поднести ему стаканчик. Когда, встреченный восторженными кликами своих поклонников, он, спотыкаясь, ввалился в зал, его честная физиономия пылала, словно в лихорадке, а глаза совсем остекленели и даже малость косили.

Спустя две минуты я уже снова шагал по темному большаку. Чтобы объяснить столь внезапное бегство, мне придется обременить читателя воспоминаниями о моей службе в армии.

Однажды ночью в Кастилии я лежал в пикете. Враг был совсем рядом; мы получили обычные в таких случаях приказания: не курить, не зажигать огня, не разговаривать. Обе армии затаились, как мыши. И тут я увидел, что английский часовой напротив меня подает мне сигнал, поднимая над головой мушкет. Я отвечал таким же сигналом, и мы оба поползли к высохшему руслу реки, которое разделяло неприятельские армии. Парень хотел вина; у нас его был изрядный запас, а у неприятеля ни капли. Англичанин дал мне денег, а я, как было заведено, оставил ему в залог свой мушкет и пополз к маркитанту. Вернулся я с мехом вина, а парня моего и след простыл. Черт дернул какого-то беспокойного английского офицера отвести аванпосты подальше. Положение у меня было аховое: жди теперь насмешек, а там и кары. Наши офицеры, как я понимаю, смотрели сквозь пальцы на подобный обмен любезностями, но, уж конечно, они не посмотрят сквозь пальцы на столь тяжкий проступок, или, вернее сказать, на такое обидное невезение. И вот, вообразите, как я ползал впотьмах по кастильским полям, нагруженный ненужным мне мехом вина, не представляя, где же искать мой мушкет и зная лишь, что он в руках какого-то солдата из армии лорда Веллингтона. Однако то ли мой англичанин оказался на редкость честным малым, то ли уж очень ему хотелось выпить, но, так или иначе, он в конце концов ухитрился дать мне знать, где его теперь найти. Так вот, раненый герой из дургамского трактира и оказался тем самым английским часовым, и будь он не так пьян или не поспеши я оттуда убраться, на том бы

и закончилось раньше времени путешествие мсье де Сент-Ива.

Должно быть, случай этот меня отрезвил; более того, он разбудил во мне дух непокорства, и, презрев холод, тьму, страх перед разбойниками и грабителями, я решил не останавливаться до самого утра. Это счастливое решение позволило мне увидеть один из тех словно бы незначительных обычаев, которые сразу же раскрывают нечто важное в духе страны и выносят ей приговор. Около полуночи я заметил далеко впереди свет множества факелов; несколько времени спустя я уже слышал скрип колес и медленную поступь множества ног, а вскорости и сам присоединился к задним рядам убогой, молчаливой и мрачной процессии, какую можно увидеть разве что в дурном сне. Не менее сотни людей с горящими факелами молчаливо брели по дороге; посреди толпы двигалась повозка, а в ней, на покатом помосте, мертвое тело — герой сего мрачного торжества, тот, на чье погребение мы направлялись в столь необычный час. То был с виду самый обыкновенный простолюдин, лет шестидесяти, худо одетый, горло у него было перерезано и ворот рубахи распахнут, словно для того, чтобы рана была видней. Синие штаны и коричневые носки завершали, если позволено так выразиться о мертвеце, его наряд. Он был похож на чудовищную восковую фигуру. В мятущемся свете факелов он словно бы гримасничал, корчил нам рожи, хмурился, и минутами казалось, вот-вот заговорит. Повозка с этим жалким и скорбным грузом, окруженная молчаливой свитой и пылающими факелами, скрипя, двигалась по большаку, и я следовал за нею в удивлении, которое скоро сменилось ужасом. Достигнув перекрестка, процессия остановилась, и, когда факельщики выстроились вдоль живой изгороди, мне открылась могила, вырытая при дороге, и куча негашеной извести, наваленная в канаве Повозку подали к самому краю, тело грубо и непочтительно скинули с помоста в могилу. Заостренный кол служил ему до сих пор подушкой. Теперь кол вытащили, несколько добровольцев установили его на место и какой-то малый забил его прямо в грудь мертвеца тяжелым деревянным молотом (стук этот и доныне преследует меня по ночам). Яму засыпали негашеной известью, и свидетели, словно бы

освободившись от гнетущей тяжести, вдруг все разом стали приглушенно переговариваться.

Сорочка моя прилипла к телу, сердце замирало, и язык не сразу мне повиновался.

— Прошу прощения,— трудно переводя дыхание, обратился я к одному из стоявших поблизости — Что тут происходит? В чем он провинился? Разве такое позволено?

— Видали! Да откуда ты взялся? — отвечал тот.

— Я путешественник, сэр,— объяснил я,— и никогда не бывал в здешних краях. Я сбился с дороги, увидал ваши факелы и случайно стал свидетелем этой... этой невероятной сцены. Кто таков был покойник?

— Самоубийца,— услыхал я в ответ.— Да чего там, дурной он был человек, наш Джонни Грин.

Оказалось, то был негодяй, который совершил не одно варварское убийство, а когда наконец понял, что его вот-вот изобличат, наложил на себя руки. И этот ночной кошмар на перекрестке — обычное по законам Англии наказание за поступок, который римляне почитали добродетелью! С той поры всякий раз, когда какой-нибудь англичанин начинает болтать о цивилизованности своей нации (а они, надо сказать, весьма часто этим грешат), я слышу мерные удары деревянного молота, вижу толпу факельщиков вокруг могилы, втайне улыбаюсь, сознавая свое превосходство, и для успокоения отпиваю глоток коньяку.

Должно быть, в конце следующего перехода, ибо помню, что спать лег с петухами, я попал в хорошую старомодную гостиницу, которыми славится Англия, и был препоручен заботам поистине премиленькой горничной. Пока она прислуживала мне за столом да грела постель громаднейшей медной грелкой, едва ли не объемистей ее самой, мы очень приятно с нею поболтали; она была столь же бойка на язык, как и миловидна, и, когда я шутил с нею, не оставалась в долгу. Уж не знаю, что тому причиной (разве что ее дерзкие глазки), но только я сделал ее своей наперсницей, поведал ей, что питаю нежные чувства к молодой девице, которая живет в Шотландии, и красотка пыталась подбодрить меня сочувственными речами, уснащая их, впрочем, цветами грубоватого деревенского остроумия. Пока я почивал, у гостиницы остановилась почтовая карета,

державшая путь с севера на юг; кто-то из пассажиров позабыл на столе экземпляр «Эдинбургского вестника», и на другое утро моя красотка горничная подала мне эту газету вместе с завтраком, присовокупив, что тут есть кое-какие известия от моей возлюбленной. Я жадно схватил газету, надеясь прочесть что-либо о нашем побеге, но был разочарован и уже собрался ее отложить, как вдруг взор мой упал на заметку, которая прямо касалась меня. Фэй попал в больницу в очень тяжелом состоянии, и были выданы ордера на арест Сима и Кэндлиша. Оба они в свое время обошлись со мною как верные друзья, и в этой постигшей их беде я должен показать себя по меньшей мере столь же верным другом. Допустим, визит мой к дядюшке увенчается успехом, и у меня вновь появятся деньги. В этом случае я немедленно возвращаюсь в Эдинбург, вручаю обоих попечению хорошего адвоката и ожидаю дальнейших событий. Так легко и просто я в мыслях разрешил задачу, которая на поверку оказалась весьма трудной. Кэндлиш и Сим были в своем роде очень славные люди, и я искренне верю, что, даже не будь у меня на уме ничего другого, я все равно не пожалел бы усилий, чтобы выручить их из беды. Но, сказать по правде, все мои помыслы были заняты кое-чем иным, и, узнав об их несчастье, я чуть ли не обрадовался. Нет худа без добра, и, уж конечно, я радовался любому обстоятельству, которое могло вновь привести меня в Эдинбург, к Флоре. С этой минуты я стал тешить себя воображаемыми сценами и разговорами, в которых мне неизменно удавалось привести в замешательство тетушку, обворожить Рональда и, то блистая остроумием, то на чувствительный лад, объявить о своей любви и получить заверения во взаимности. Благодаря этим воображаемым объяснениям решимость моя час от часу крепла, и под конец в душе моей воздвиглась такая гора упорства, что разрушить ее могло разве только землетрясение.

— Верно,— сказал я горничной,— здесь и вправду вести от моей возлюбленной, да еще какие добрые вести!

Весь этот день я шел навстречу злому зимнему ветру, кутаясь в заветный плед, и он согревал меня, точно ее объятия.

ГЛАВА XII

Я СЛЕДУЮ ЗА КРЫТОЙ ПОВОЗКОЙ ПОЧТИ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Наконец, нигде подолгу не задерживаясь, я подошел довольно близко к Уэйкфилду, и тут в памяти моей всплыло имя Берчела Фенна. То был, как читатель, вероятно, помнит, человек, переправлявший через границу беглых французских пленных. Как он это делал? Не вывесил же на дверях табличку «Переправляю беглых, обращаться сюда»? Сколько он брал за услуги? Или, быть может, он трудился безвозмездно, из милосердия? Ничего этого я не знал, и любопытство мое возбуждено было до крайности. Благодаря деньгам мистера Роумена и тому, что я свободно владел языком, до сей минуты все у меня шло как по маслу и без помощи мистера Фенна, но я все равно не успокоился бы, пока не подобрал бы ключа ко всем этим тайнам, ведь мне, как на грех, не было известно о сем загадочном джентльмене ничего, кроме его имени. Я не знал рода его занятий — лишь то, что он Пособник Беглецов; не знал, где он живет — в городе или в деревне; не знал, беден он или богат; не знал и того, каким образом завоевать его доверие. Было бы слишком неосторожно шагать по большой дороге и спрашивать каждого встречного-поперечного про человека, о котором сведения мои столь скудны, и уж вовсе глупо постучаться к нему и столкнуться нос к носу с полицией! Однако же разгадать эту головоломку было очень соблазнительно, и я свернул с прямого пути и направился к Уэйкфилду; я шел, навострив уши, в надежде случайно услыхать нужное мне имя, а в остальном положился на свою счастливую звезду. Ежели богиня Удача (как ни говорите, особа женского пола) окажется ко мне милостива и наведет меня на след этого человека, свеча за мной не пропадет; ежели нет — я без труда сумею утешиться. Итак, я решил попытать счастья, но почти не надеялся на успех, и, право же, просто чудо, что все окончилось благополучно, и, верно, не всякому святому удаются такие чудеса, как счастливчику Сент-Иву!

Я провел ночь в хорошей гостинице в Уэйкфилде, позавтракал при свечах вместе с пассажирами дилижанса,

направлявшегося на север, и вышел в путь до крайности недовольный самим собой и всем светом. День еще только занимался; воздух был сырой, холодный, солнце стояло совсем низко и скоро должно было скрыться за широким пологом туч, что наплывали с северо-запада и затянули чуть не полнеба. Вот уже прозрачными прутьями начал хлестать дождь; вот уже все вокруг наполнилось шумом воды, стекающей в канавы и рвы, и я понял, что сегодня мне суждено промокнуть до нитки, а в мокром платье я выгляжу ничуть не элегантнее вымокшей кошки. При последнем проблеске тонувшего в тучах солнца я углядел впереди на повороте дороги крытую повозку престранного вида, которую еле тащили изнуренные клячи. Пешеходу любопытно все, что может отвлечь его от невзгод ненастного дня, так что я прибавил шагу и вскоре поравнялся с диковинным экипажем.

Чем ближе я подходил, тем больше дивился. В таких повозках, как я слышал, разъезжают набойщики ситца: она была двухколесная, впереди сиденье для кучера; внутрь фургона вела дверь, и там хватило бы места для весьма солидного груза ткани или же, в случае крайней нужды, для четырех и даже пяти человек. Но, право, если так должны были странствовать люди, я мог их только пожалеть! Им пришлось бы сидеть в темноте — там не было ничего похожего на окно, и всю дорогу внутренности их, должно быть, взбалтывало, что твою микстуру,— повозка о двух колесах была не только неказиста, но и до неприличия страдала килевой качкой. Коротко говоря, если с первого взгляда у меня и мелькнула мысль, что в повозке этой могут передвигаться люди, я тот же час от нее отмахнулся; но мне по-прежнему было любопытно, что же в ней за груз и откуда она следует. Колеса и лошади забрызганы были грязью всех цветов и оттенков, словно долго тащились по многим и разнообразным дорогам. Возница то и дело взмахивал кнутом, но все понапрасну. Казалось, странный экипаж этот давно уже не останавливался, быть может, ехал даже всю ночь, и сейчас, поутру, в начале девятого часа, возницу, видно, тревожило, что он опаздывает. Я посмотрел на дышло, чтобы узнать имя владельца повозки, и вздрогнул. Беспечному баловню судьбы вновь улыбнулось счастье: на дышле выведено было «Берчел Фенн»!

— Дождливое утро, милейший,— обратился я к вознице.

Этот неотесанный деревенщина, лохматый, с тупой физиономией, ни слова мне не ответил, но принялся нещадно нахлестывать лошадей. Усталые клячи, которые едва передвигали ноги, никак не отозвались на его жестокость, и я без всякого труда продолжал шагать рядом с повозкой, улыбаясь про себя тщетности его усилий и теряясь в догадках, чем они вызваны. Я с виду отнюдь не столь грозен, чтобы пускаться от меня наутек; к тому же совесть моя была не вовсе чиста, я скорее привык сам остерегаться, нежели видеть, как робеют предо мной. Наконец возница перестал нахлестывать лошадей и, словно признав себя побежденным, вложил кнут в карман сиденья.

— Что же это вы хотели от меня удрать? — сказал я.— Ну и ну, англичанину это не к лицу.

— Прощения просим, хозяин, я ведь не в обиду вам,— отвечал он, приподнимая шапку.

— Да я и не обижаюсь! — воскликнул я.— Просто хотел скрасить дорогу веселой беседой.

Он пробормотал что-то вроде того, что веселье, мол, не по его части.

— Тогда попробуем что-нибудь еще,— сказал я.— Да я ко всякой душе ключик подберу, что твой проповедник. Скажу не хвалясь, доставались мне попутчики и поугрюмей вашего, но я и с ними отлично ладил. Вы домой едете?

— Ага, домой,— отвечал он.

— Вот это называется посчастливилось! — воскликнул я.— В таком случае мы еще наглядимся друг на друга, ведь нам по пути. Послушайте, а почему бы вам меня не подвезти? У вас на козлах вполне хватит места на двоих.

Неожиданным рывком повозка опередила меня на два ярда. Лошади рванулись вперед и тут же стали.

— Эй, не балуй! — сказал он, грозя мне кнутом.— Со мной шутки плохи.

— Какие шутки? Я попросил вас подвезти меня, но вовсе и не думал пускать в ход силу.

— Ну, а я в ответе за повозку и за лошадей, вон что,— сказал он.— Я с вашим братом, бродягами да бездельниками, не связываюсь, вон какое дело.

— Мне следует поблагодарить вас за трогательное доверие,— сказал я, бесстрашно подходя к нему.— Впрочем, вы правы, дорога пустынна, долго ли до беды. Но вам ведь ничего не грозит. Оттого вы мне и по душе, мне люба ваша осмотрительность, ваш простодушный и застенчивый нрав. Только почему вы от меня-то ждете худого? Открыли бы дверь, приютили бы меня, дали бы мне местечко в этом ящике или как, бишь, он у вас прозывается?

И я для наглядности похлопал ладонью по боку повозки.

Возчик и прежде был напуган, но тут он, кажется, вовсе лишился дара речи и воззрился на меня, окончательно ошалев от ужаса.

— Почему бы и нет? — продолжал я.— Мысль недурна. Будь я отъявленный разбойник, в этом ящике я вам не опасен. Главное, держите меня под замком. А ведь тут и вправду замок, ящик-то ваш на запоре,— сказал я, подергав дверь.— A propos[1], что у вас там за груз? Видно, очень ценный.

Возчик не нашелся, что ответить.

«Тут-тук-тук» — постучал я в дверь, как хорошо вышколенный лакей.

— Есть кто-нибудь дома? — спросил я затем и наклонился, прислушиваясь.

Изнутри донеслось подавленное чиханье — начинался неудержимый приступ; сразу же кто-то чихнул снова, но тут возчик, словно очнувшись, грубо выбранился, оборотился к лошадям да с такой силой вытянул их кнутом, что они взяли в галоп, и несуразная двуколка во всю прыть понеслась по дороге.

При первом звуке чиханья я отпрянул, точно от выстрела. Но уже в следующий миг в мозгу моем словно молния сверкнула,— я все понял. Вот она, разгадка тайны Фенна; вот как он переправляет беглых пленников: по ночам везет их через всю Англию в крытом возке. Только что рядом со мною были французы; чихнул в повозке мой соотечественник, мой товарищ, быть может, мой друг! И я припустился вдогонку.

— Стой! — закричал я.— Обожди! Не бойся! Обожди!

[1] Кстати *(франц.)*.

Но возница лишь на миг обернул ко мне побелевшее лицо и удвоил усилия; весь подавшись вперед, он бешено нахлестывал лошадей и кричал на них, что было мочи; они скакали галопом, копыта дробно стучали по большаку, и повозка, подпрыгивая на ухабах, скрылась в ореоле дождя и брызжущей во все стороны грязи. Всего минуту назад она влеклась, точно хромая корова, и вот уже летит, точно колесница Аполлона. Никогда нельзя заранее сказать, на что способен человек, пока его хорошенько не испугаешь!

И хотя я мчался, как скороход, мне еле удавалось не отставать от них; но теперь, когда я узнал, что соотечественники мои так близко, ни о чем другом я уже не думал. Еще ярдов через сотню повозка круто свернула с большой дороги на проселок, густо обсаженный по-зимнему безлистными деревьями, и скрылась из виду. Когда я опять ее увидел, расстояние между нами намного увеличилось, но опасность, что она ускользнет от меня, уже миновала: лошади снова еле передвигали ноги. Я убедился, что теперь им от меня не уйти, и сам замедлил шаг, стараясь отдышаться.

Вскорости дорога круто свернула направо, и взору моему открылись ворота и посыпанная гравием аллея; я вошел в ворота и, пройдя еще немного, увидел добротный, красного кирпича дом, построенный, должно быть, лет семьдесят назад, со множеством окон, выходящих на лужайку и в сад. За домом виднелись службы и остроконечные скирды сена; судя по всему, в прошлом это был барский дом, да попал в руки какому-нибудь фермеру-арендатору, который одинаково равнодушен и к внешнему виду своих владений и к истинному комфорту. Следы небрежения виднелись на каждом шагу: кусты не подстрижены, газоны запущены, стекла в окнах побиты и кое-как заклеены бумагой или заткнуты тряпьем. Двор стеной обступали деревья, по большей части вечнозеленые, и скрывали его от любопытных глаз. Когда в это унылое зимнее утро, под проливным дождем и порывистым ветром, что завывал в старых трубах, я подошел ближе, повозка уже остановилась у парадного крыльца, и возница о чем-то озабоченно толковал с мистером Берчелом Фенном. Тот стоял, заложив руки за спину, тяжеловесный, нескладный, с могучим подгрудком, точно у быка, топорное лицо багрово — ни дать ни взять

полная осенняя луна; в жокейской шапочке, синей куртке и высоких сапогах он и вправду походил на солидного, зажиточного арендатора.

Пока я шел к ним, они продолжали разговаривать, но потом разом умолкли и вытаращили на меня глаза. Я снял шляпу.

— Я имею удовольствие говорить с мистером Берчелом Фенном? — спросил я.

— Он самый, сэр,— отвечал мистер Фенн, снимая жокейскую шапочку в ответ на мою учтивость, но взгляд у него был отчужденный и движения замедленные, словно он продолжал думать о чем-то своем.— А вы кто будете? — осведомился он.

— Это вы узнаете после,— отвечал я.— А пока довольно сказать, что я к вам по делу.

Он, казалось, с трудом усваивал смысл моих слов и, разинув рот, по-прежнему не сводил с меня узких, как щелки, глаз.

— Позвольте вам заметить, сэр,— продолжал я,— что утро отчаянно сырое и уголок у камина, а быть может, и стаканчик горячительного были бы сейчас как раз впору.

Дождь и вправду полил как из ведра, вода с шумом низвергалась по водосточным желобам, в воздухе стоял неумолчный треск и грохот. Но мокрое от дождя, неподвижное лицо Берчела Фенна отнюдь не обнадеживало. Напротив, меня охватило дурное предчувствие, и оно нисколько не уменьшилось при взгляде на возницу, который, вытянув шею, оцепенело глядел на нас, точно кролик на удава. Так мы стояли и молчали, пока пленник в повозке не принялся снова чихать; при этом звуке возница преобразился как по волшебству, хлестнул лошадей, и они поплелись за угол дома, а мистер Фенн сразу очнулся и обратился к двери.

— Входите, входите, сэр,— сказал он.— Вы уж извините, сэр, у меня замок заедает.

Он и в самом деле на удивление долго отпирал дверь; она не только была заперта снаружи, но, казалось, замок не повиновался хозяину оттого, что им давно не пользовались, и, когда наконец Фенн посторонился и пропустил меня вперед, я еще с порога услыхал тот особый, не оставляющий сомнений звук, каким дождь отдается в пустых, нежилых комнатах. Прихожая, в которой я очутился, была просторная, квадратная, по углам стояли растения в кадках, выложенный каменными плитками пол был грязен, повсюду валялась солома, к столику красного дерева — единственной здесь мебели — когда-то прилепили прямо так, без подсвечника, свечу и дали ей догореть до конца; было это, по-видимому, давным-давно, ибо остатки оплывшего воска покрылись зеленой плесенью. Эти новые впечатления пришпорили мою мысль, и она заработала с особенной живостью. Я оказался запертым с Фенном и его наемником в нежилом доме, посреди запущенного сада, за стеною густых елей — самая подходящая сцена для темных дел. Мне отчетливо представилось, как в прихожей поднимают сегодня две каменные плиты и под шум дождя возница копает мне в подполье могилу, и, сказать по правде, такая картина сильно мне не понравилась. Я чувствовал, что пора отбросить шутки и объявить истинную причину моего вторжения, и уже подыскивал слова, с которых бы лучше начать, но тут у меня за спиной со стуком захлопнулась парадная дверь, я быстро обернулся, уронив при этом палку из падуба,— и обернулся как раз вовремя, чтобы спасти свою жизнь.

Неожиданность нападения и непомерный вес моего противника сразу дали ему преимущество. В правой руке у него оказался громадный пистолет, и мне пришлось напрячь все силы, чтобы вновь и вновь отводить эту руку. Левой рукой Фенн так притиснул меня к себе, что я уж думал, он либо раздавит меня, либо задушит. Рот у него был разинут, лицо побагровело еще больше, он дышал тяжело, шумно, как животное. Поединок был столь же короток, сколь яростен и внезапен. Пьянство, от которого тело моего противника отяжелело и разбухло, уже подорвало его силы. Сделав еще одно могучее усилие, он едва не одолел меня, однако пистолет, по счастью, разрядился в воздух, и хватка его ослабла, железное кольцо рук разжалось, ноги подкосились, и он рухнул на колени.

— Пощадите! — тяжело выдохнул он.

Я был не только позорно испуган, но к тому же еще и потрясен; все мои утонченные чувства возмущались: так чувствовала бы себя благородная дама, оказавшись в лапах подобного чудовища. Я отпрянул, избегая его отвратительного прикосновения, схватил пистолет — да-

же и разряженный, он оставался страшным оружием — и замахнулся рукоятью.

— Пощадить тебя! — воскликнул я. — Пощадить эдакую скотину!

Голос его замер в ожиревшей глотке, но губы все продолжали отчаянно складывать слова мольбы. Гнев мой уже остыл, но отвращение не становилось меньше; мне гадко было смотреть на эту коленопреклоненную тушу и не терпелось избавиться от мерзкого зрелища.

— Перестань-ка паясничать, — сказал я, — смотреть на тебя тошно. Я не собираюсь тебя убивать, понял? Ты мне нужен.

На лице его выразилось облегчение и, я бы сказал, сильно его украсило.

— Все... все, что вам угодно, — сказал он. «Все» — великое слово, и в его устах оно заставило меня призадуматься.

— То есть? — переспросил я. — Ты что же, готов раскрыть мне все карты?

Его «да» прозвучало решительно и даже торжественно, как клятва.

— Я знаю, в этом замешан мсье де Сент-Ив; благодаря его бумагам мы напали на твой след, — сказал я. — Ты согласен вывести на чистую воду и остальных?

— Да... согласен! — воскликнул он. — Всех выдам, всю шайку, а там такие есть важные птицы — ой-ой! Я всех назову, я пойду в свидетели.

— Чтобы всех повесили, кроме тебя? Ах ты, гнусный негодяй! — не выдержал я. — Заруби себе на носу, я не шпион и не охотник за ворами. Я родня мсье де Сент-Иву, я пришел от него и действую в его интересах. Честное слово, мистер Берчел Фенн, вы попали впросак. Ну ладно, вставайте, хватит пресмыкаться. Вставай, ты, воплощение порока!

Он неуклюже поднялся. Мужество совсем ему изменило, иначе мне бы, пожалуй, все-таки несдобровать, а я, глядя на него, колебался, и, право же, не без оснований. То был закоренелый предатель: он пытался меня убить, и я сперва взял над ним верх, а потом изобличил и оскорбил его. Разумно ли оставаться в его власти? С его помощью я, конечно, буду продвигаться быстрей, но путешествие мое, конечно, станет куда менее приятным, и совершенно очевидно, что оно будет много

опаснее. Короче говоря, я бы тут же умыл руки и распростился с ним, если бы не соблазн увидеть французских офицеров: ведь я знал, что они в двух шагах от меня, и, вполне естественно, мне не терпелось встретиться со своими соотечественниками. Но для этого прежде всего следовало пойти на мировую с мистером Фенном, что было не так-то просто. Для того, чтобы между двумя людьми могла завязаться дружба, каждый должен чем-то поступиться ради другого, а чем я тут мог поступиться? И что я о нем знал? Только то, что он заведомый негодяй, глупец и попросту отребье?

— Что ж, — заговорил я, — история вышла прескверная, и вспоминать ее, я думаю, вам не доставит особого удовольствия; да сказать по правде, я и сам рад бы забыть о ней. Так попытаемся забыть. Вот вам ваш пистолет, он дурно пахнет; суньте его в карман или где он там у вас хранился. Держите! А теперь давайте встретимся как ни в чем не бывало, будто в первый раз... Здравствуйте, мистер Фенн! Рад с вами познакомиться. Мне посоветовал к вам обратиться мой родич виконт де Сент-Ив.

— Вы это всерьез? — воскликнул он. — Вы и впрямь готовы скинуть со счетов нашу небольшую стычку?

— Ну, разумеется! — отвечал я. — Вы показали себя храбрым малым; можно не сомневаться, что в решающую минуту вам все нипочем. По этой маленькой стычке о вас ничего худого не скажешь, разве что сила ваша уступает вашему мужеству. Просто вы человек уже не первой молодости, вот и все.

— Бога ради, сэр, не выдайте меня виконту, — взмолился Фенн. — Я и впрямь малость напугался, но это только слова, сэр, сгоряча чего не сболтнешь... и забудем про это.

— Разумеется, — успокоил я его. — Совершенно с вами согласен.

— А из-за виконта мне почему неспокойно, сэр, — продолжал он, — как бы его не склонили чего решить второпях. Дело-то ведь мое денежное, лучше и не надо, только вот тяжелое, сэр... куда уж тяжелей. Оно меня состарило раньше срока. Сами видели, сэр, ноги у меня теперь совсем никуда. Ноги не держат и задыхаюсь — вот оно, мое слабое место. А в вас-то я ни чуточки не

сомневаюсь, сэр; вы ведь настоящий джентльмен и не захотите ссорить друзей.

— Ну, разумеется, вы совершенно правильно меня поняли; я полагаю, мне незачем докладывать виконту о таких пустяках.

— И не взыщите за такую смелость, этим вы ему только угодите! — сказал он.— Я вас теперь век не забуду. Не желаете ли кружечку домашнего пивца? С вашего позволения! Вот сюда пожалуйте, я вам всей душой благодарен... всей душой рад услужить такому джентльмену, сэр, вы ж родня нашему виконту, знатный род, тут и впрямь есть чем гордиться! Осторожней, сэр, здесь ступенька. Надеюсь, виконт здоров? И мусью граф тоже?

О господи! Этот гнусный негодяй еще не успел отдышаться после яростного нападения на меня и, однако, уже льстил и фамильярничал, точно старый слуга, пестовавший меня с пеленок, уже пытался мне угодить разговором о моем знатном родстве!

Я прошел за ним через весь дом на задний двор, где возница под навесом мыл повозку. Он, должно быть, слышал выстрел. Он просто не мог не слышать: пистолет был лишь немногим меньше мушкетона, полностью заряжен и прогремел, что хорошая пушка. Возница слышал выстрел и оставил его без внимания, а теперь, когда мы появились из двери черного хода, на мгновение поднял голову, побледнел, и лицо его предательски выразило его чувства столь же недвусмысленно, как самая откровенная исповедь. Этот мерзавец ожидал увидеть одного Фенна; он ждал, что его позовут исполнить роль могильщика, которую я еще прежде отвел ему в моем воображении.

Не стану утруждать читателя подробным описанием моего визита в кухню: ни тем, как мы подогревали пиво с пряностями, и, кстати сказать, отлично подогрели, ни тем, как сидели и беседовали. Фенн — точно старый, верный, любящий вассал, а я... что ж, я так был восхищен его бесстыдством, что и передать не могу, и в скором времени это восхищение победило мою недавнюю враждебность Сей редкостный плут мне даже полюбился. Его апломб был столь величествен, что я уже находил в этом негодяе своеобразную прелесть. Мне еще не доводилось встречать такого законченного мошенника;

его подлость была столь же необъятна, как его брюхо, и в глубине души я полагал, что он столь же мало в ответе за одно, как и за другое. Он удостоил меня высшей откровенности — пустился рассказывать свою жизнь; поведал мне, что, несмотря на войну и на высокие цены, ферма никак себя не оправдывала; что «тут вдоль большака местность вся сырая да холодная», что ветры, дожди, времена года — все «как нарочно перепуталось»; что миссис Фенн больше нет в живых. Вот уже скоро два года как она померла. «А уж какая замечательная женщина была моя старуха, сэр, прошу прощения за такую похвальбу»,— прибавил он в приступе смирения. Короче говоря, он дал мне случай наблюдать Джона Буля, если можно так выразиться, во всем его неприглядном естестве: алчный ростовщик, вероломный лицемер, и все эти свойства доведены до крайних пределов,— так что и небольшая встряска и волнение из-за нашей стычки в прихожей вполне того стоили.

ГЛАВА XIII

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ДВУМЯ СВОИМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Как только я решил, что опасность миновала,— иными словами, как только за разговором Фенн совсем отдышался и пришел в хорошее расположение духа,— я предложил ему представить меня французским офицерам, которые отныне сделаются моими попутчиками. Оказалось, их двое, и когда мы подходили к двери, за которой они скрывались, сердце мое сильно забилось. Познакомясь покороче с одним из вероломных сынов Альбиона, я тем больше жаждал оказаться среди соотечественников Я готов был обнять их, готов был рыдать у них на груди. Но меня и здесь ждало разочарование.

Они расположились в просторной комнате с низким потолком, окна которой выходили во двор. Когда этот дом еще не пришел в упадок, комната сия, вероятно, служила библиотекой, ибо деревянная панель вдоль стены еще сохранила следы полок. В углу, прямо на полу, валялись четыре или пять матрацев, на них грязная куча постельных принадлежностей; тут же рядом таз и кусок

мыла; в глубине комнаты стоял грубо сработанный кухонный стол и несколько простых деревянных стульев. Комната была светлая, в четыре окна, а обогревалась всего лишь кучкой угля за маленькой, жалкой и перекосившейся каминной решеткой, поднятой кирпичами; уголь адски дымил, давая лишь редкие, хилые язычки огня. На одном из стульев, придвинутых вплотную к этой пародии на гостеприимный очаг, сидел старый, болезненного вида седовласый офицер. Он кутался в камлотовый плащ, подняв воротник, колени его касались решетки, руки протянуты были над самым огнем и окутаны дымом, и, однако, он дрожал от холода. Второй, рослое, румяное, красивое животное, в каждом движении которого ясно виден был первый кавалер, душа общества и заправский сердцеед, явно потерял надежду, что уголь разгорится, и теперь шагал из угла в угол, громко чихал, ожесточенно сморкался и без умолку сыпал угрозами, жалобами и отборной солдатской бранью.

Фенн ввел меня в комнату, коротко представил:

— Господа, вот вам еще один попутчик! — И тот же час скрылся.

Старик лишь мельком глянул на меня тусклыми глазами, и тут его еще пуще затрясло, будто в жестоком приступе икоты. Но другой, красавец, страдающий насморком, вызывающе на меня уставился.

— Кто вы такой, сэр? — спросил он.

— Шандивер, рядовой восьмого линейного полка,— отвечал я и отдал честь, так как оба они были старше меня чином.

— Вот это мило! — сказал он.— И вы намереваетесь ехать с нами? Третий в тесной повозке, да притом еще грязный верзила! А кто за вас заплатит, любезный?

— Если уж мсье заговорил об этом, то, да позволено мне будет спросить, кто платит за него? — учтиво осведомился я.

— Он еще острит! — сказал красавец и принялся поносить все подряд: свою судьбу, погоду, простуду, опасность и расходы, связанные с бегством, а пуще всего — английскую кухню. В особенности, кажется, ему досаждало, что в их компанию затесался я.

— Пропади оно все пропадом, знали бы вы, на что идете, так не совались бы к нам, а пробирались в одиночку! Лошади еле волокут этот драндулет, дороги — сплошная грязь да рытвины. Не далее как минувшей ночью нам с полковником пришлось полпути проделать пешком... Черт подери!.. Полпути по колена в грязи... а у меня еще эта трижды клятая простуда... и опасно, ведь нас могли и заметить! Еще счастье, что мы не встретили ни души. Пустыня... настоящая пустыня... как и вся эта мерзкая страна! Есть тут нечего... да, нечего — одна жесткая говядина да овощи, сваренные на воде... а из напитков только эта вустерская бурда! А я из-за простуды и вовсе лишился аппетита, понятно? Будь я во Франции, мне бы подали крепкий бульон с сухариками, омлет, курицу с рисом, куропатку с капустой — словом, что-нибудь соблазнительное, разрази их всех гром! А здесь... пропади все пропадом! Ну и страна! И какой холод! А еще говорят о России... Нет уж, с меня довольно и этого холода! А сами англичане... вы только поглядите на них! Что за народ! Ни одного красивого мужчины, а офицеры — прямо смотреть не на что.— И он самодовольно оглядел собственный стан.— А женщины... экие жерди. Нет, одно мне ясно: я не перевариваю англичан!

Было в этом человеке что-то до крайности мне неприятное, ну, просто хуже горькой редьки. Я всегда терпеть не мог всех этих щеголей и франтов, даже когда они вправду недурны собой и хорошо одеты; майор же — ибо таков оказался его чин — был ни дать ни взять разжившийся лакей. Поддакивать ему или хотя бы делать вид, что я с ним соглашаюсь, было выше моих сил.

— Ну, разумеется, как вам их переварить,— по-прежнему учтиво сказал я,— вы же проглотили честное слово офицера.

Он круто повернулся и обратил ко мне (как он, вероятно, воображал) грозный лик; но не успел он слова вымолвить, как на него опять напал чих.

— Сам я не пробовал этого блюда,— прибавил я, не упустив удобного случая.— Говорят, оно нехорошо на вкус. Мсье в этом тоже убедился?

Полковник с поразительной живостью вышел из своего оцепенения. Не успел я и глазом моргнуть, как он уже был между нами.

— Стыд, господа! — сказал он.— Разве французам, товарищам по оружию, сейчас время ссориться? Мы ок-

ружены врагами; перепалки, громкого слова может оказаться довольно, чтобы на нас снова обрушилась неотвратимая беда. Monsieur le Commandant [1], вам нанесено тяжкое оскорбление. Я прошу вас, я требую, а если надо — приказываю: ничего не предпринимайте, пока мы благополучно не вернемся во Францию. А тогда, если пожелаете, я готов служить вам в любом качестве. Вы же, молодой человек, проявили всю жестокость и легкомыслие, которые столь свойственны юности. Этот джентльмен старше вас чином, он уже немолод (можете себе представить, что выразилось при этих словах на лице майора). Допустим, он нарушил слово офицера. Я не знаю, по какой причине он это сделал, вам она тоже неизвестна. Быть может, им руководила любовь к отечеству, для которого настал час бедствий; а быть может, им руководило человеколюбие или неотложная надобность; вы понятия об этом не имеете и, однако же, позволяете себе усомниться в его чести. Тот, кто нарушил офицерское слово, иной раз достоин не насмешки, а сожаления. Я тоже нарушил офицерское слово — я, полковник имперской армии. А почему? Я годами вел переговоры, просил обменять меня на кого-либо из английских офицеров, но все понапрасну: меня постоянно опережали те, у кого имелись связи в военном министерстве, и мне приходилось ждать, а меж тем дома угасает от чахотки моя дочь. Я должен наконец ее увидеть, и единственная моя забота — не опоздать. Она больна, тяжко больна .. дни ее сочтены. У меня не осталось ничего, только моя дочь, мой император и моя честь, и я поступаюсь своей честью, и пусть у кого-нибудь хватит совести меня за это осудить.

Тут я едва не сгорел со стыда.

— Ради бога,— воскликнул я,— забудьте все, что я наговорил! Честное слово офицера? Да что оно значит по сравнению с жизнью и смертью, по сравнению с любовью? Я прошу у вас прощения и у этого джентльмена тоже. Я не подам вам больше повода для недовольства. Молю бога, чтобы вы застали вашу дочь живой и выздоровевшей.

— Тут уж не помогут никакие молитвы,— сказал полковник, и огонь, ненадолго вспыхнувший в нем, угас;

[1] Господин майор (*франц*.).

он воротился к камину и уже снова ничего вокруг не замечал.

Я же не находил себе места. Несчастье этого человека, самый его вид заставляли меня терзаться угрызениями совести, и я настоял на том, чтобы мы с майором пожали друг другу руки (на что он согласился весьма неохотно), и опять и опять отрекался от своих слов и приносил извинения.

— В конце концов,— говорил я,— кто я такой, чтобы судить вас? Мне повезло, что я оказался рядовым и, попав в плен, не должен был, как вы, офицеры, давать честное слово, а потом его держать; стоило мне сбежать из крепости — и я волен делать, что хочу. Прошу вас, поверьте мне, я от всей души сожалею о своих неблагородных словах. Позвольте мне... Да неужто в этом проклятом доме никого нельзя дозваться? Куда подевался этот Фенн?

Я подбежал к одному из окон и распахнул его. Фенн, который как раз проходил по двору, в отчаянии всплеснул руками, крикнул мне, чтобы я отошел от окна, кинулся в дом и через мгновение появился на пороге.

— Ах, сэр! — сказал он.— Держитесь подальше от всех этих окошек. Глядишь, ненароком кто пройдет задами да и приметит вас.

— Согласен,— сказал я.— Вперед буду осторожен, как мышь, и невидим, как призрак. А пока, ради всего святого, принесите нам бутылку коньяку. У вас тут сыро, как на дне колодца, а эти джентльмены страдают от холода.

Заплатив ему (а как я убедился, платить за все надо было вперед), я занялся огнем, и оттого ли, что вложил в дело больше энергии, оттого ли, что уголь уже раскалился и ему пришло время разгореться, но недолго спустя в камине уже гудело жаркое пламя. В этот сумрачный, дождливый день отблеск его, казалось, взбодрил полковника, точно луч солнца. Кроме того, когда вспыхнуло пламя, сразу улучшилась тяга, и мы больше не задыхались от дыма. К тому времени, как воротился Фенн с бутылкой под мышкой и с единственным бокалом, комната выглядела уже куда веселее, и оттого посветлело и на душе. Я налил в бокал коньяку.

— Полковник,— обратился я к нему,— я еще молод, и я простой солдат. Не успел я сюда попасть, как уже

проявил и свойственную молодым нетерпимость и дурные манеры рядового солдата. Будьте снисходительны, оставьте без внимания эти промахи и окажите мне честь принять от меня бокал.

— Мой мальчик,— сказал полковник, словно очнувшись, прищурился и посмотрел на меня с сомнением,— а вам это и в самом деле по средствам?

Я заверил его, что могу себе это позволить.

— Тогда благодарю вас, я совсем окоченел.

Он выпил коньяку, и лицо его чуть порозовело.

— Еще раз благодарю,— сказал он.— Славно согревает.

Я жестом пригласил майора угощаться, и он налил себе щедрой рукой и потом все утро то с извинениями, а то и вовсе безо всяких околичностей прикладывался к бутылке, так что нам еще не подали обеда, а коньяку уже осталось на донышке. Кушанья оказались именно такими, как он предсказывал: говядина, вареные овощи, картофель, горчица в чайной чашке и пиво в коричневом расписном кувшине, на котором были изображены лошади и охотники, гончие псы и лиса, а посреди всего этого в завитом парике восседал гигантский Джон Буль — точная копия Фенна — и курил трубку. Пиво было хорошее, но на вкус майора недостаточно хорошее, он подливал в него коньяк — при простуде это полезно, объяснял он,— и на сие целебное снадобье ушло то немногое, что еще оставалось в бутылке. Майор не уставал напоминать мне, что бутылка пуста, многозначительно угощал меня последними каплями, подбрасывал бутылку в воздух, проделывал с нею всяческие фокусы и, наконец, истощив свою изобретательность и видя, что я остаюсь глух к его намекам, заказал другую бутылку и сам за нее заплатил.

Что же до полковника, он ничего не ел, сидел погруженный в свои мысли и лишь изредка выходил из задумчивости и начинал сознавать, где он и что от него требуется. При этом он всякий раз бывал так благодарен и учтив, что совсем меня покорил.

— Шандивер, мой мальчик, ваше здоровье! — говорил он.— Мы с майором проделали очень трудный переход этой ночью, и я положительно был уверен, что не смогу проглотить ни куска, но вам так удачно пришла

в голову мысль о коньяке, он воскресил меня, просто воскресил.

И старик с искренним удовольствием принимался за еду, отрезал кусок говядины, но, еще не успев ее проглотить, забывал обед и своих спутников, забывал про то, где он находится, и про то, что он беглый пленник, и вновь его взору являлась умирающая во Франции дочь. Мне так тяжко было смотреть на этого больного, усталого, безмерно измученного старика, который и сам-то, по моему разумению, одной ногой уже стоял в могиле и, однако, неотступно думал о своем горе, что кусок не шел мне в горло. Казалось, просто грешно наслаждаться трапезой, сидя за одним столом с этим несчастным отцом,— была в этом неделикатность, вызывающая грубость, присущая молодости, и хотя я уже попривык к простой и безвкусной английской кухне, но, как и полковник, едва притронулся к еде. Только мы отобедали, его поборол глубокий сон, скорее, даже беспамятство; он бессильно простерся на тюфяке, дыхания почти не было заметно, и казалось, жизнь в нем еле теплится. И вот мы с майором остались за столом одни. Не думайте, что наш tête-à-tête был долог, зато ему нельзя было отказать в оживленности. Майор пил, как беспробудный пьяница или как заправский англичанин: он кричал, стучал по столу кулаком, во все горло распевал песни, затевал ссору, вновь мирился и наконец надумал пошвырять в окно тарелки, но к тому времени подвиг сей был ему уже не по силам. В партии беглецов, обреченных ни на миг не забывать об осторожности, никогда еще не случалось столь шумного веселья, и под весь этот шум полковник спал сном младенца. Видя, что майор продвинулся столь далеко и его уже не остановишь, я решил получить с паршивой овцы хоть шерсти клок! Я опять и опять подливал ему вина, подстегивал его все новыми тостами, и куда скорее, чем я смел надеяться, он залепетал что-то бессвязное и стал клевать носом. С упрямством всех пьянчуг он нипочем не желал лечь на один из тюфяков в углу, пока я не растянусь на другом. Но этой комедии скоро пришел конец: майор уснул сном праведника, и по комнате разнесся такой заливистый, богатырский храп, точно заиграли военные трубы, а я поднялся и стал, как мог, коротать томительно скучный день.

Ночью я выспался в хорошей постели, так что сейчас сон не приходил мне на помощь, и мне только и оставалось шагать из угла в угол, поддерживать огонь в камине да раздумывать над своим положением. Я сравнил вчерашний день с нынешним: безопасность, комфорт, веселье, удовольствие бодро шагать под открытым небом, приветливые гостиницы — все то, что было к моим услугам вчера,— и скука, тревога и неудобства нынче.

Я вспомнил, что сейчас я во власти негодяя Фенна, чье безмерное вероломство мне уже известно, а вот как далеко его может завести мстительность, еще неясно. Я подумал, что ночи напролет мне придется трястись в запертой, крытой повозке, а днем томиться в бог весть каких тайных убежищах, и мужество изменило мне; я сам не знал, уж не лучше ли сбежать отсюда, пока не поздно, и продолжать путь по-прежнему в одиночку. Но полковник преграждал мне дорогу! Я был едва знаком с ним, но успел понять, что он детски доверчив и принадлежит к тем наивным обходительным натурам, которые, как мне кажется, встречаются лишь среди старых вояк да стариков священников, и что годы и несчастье сломили его. Как мог я покинуть его в беде, оставить наедине с себялюбивым молодчиком, что храпел сейчас на соседнем тюфяке! «Шандивер, мой мальчик, ваше здоровье!» — вновь прозвучал у меня в ушах голос старика и остановил меня. Теперь, оглядываясь назад, я вижу в своей жизни совсем немного поступков, которые радовали бы меня более, чем то, что я внял этому зову.

Было, должно быть, часов около четырех, дождь перестал, и на небе с каким-то зимним великолепием разгорелся закат, как вдруг, перебив ход моих мыслей, во двор въехала двуколка с двумя седоками. То были, вероятно, фермеры, живущие по соседству,— рослые, здоровенные малые в плащах и высоких сапогах; когда они приехали, лица у них уже горели от выпитого вина, а уезжали они пьяные в стельку. Они долго сидели с Берчелом в кухне — и все это время без роздыха пили, горланили песни, и их разудалое веселье составляло мне своего рода компанию. Свечерело, огонь в камине запылал ярче, на деревянных панелях стен плясали и отражались красноватые блики. Свет в наших окнах виден был, наверно, не только с дороги, о которой упоминал Фенн, но и со двора, где дожидалась своих хозяев фермерская двуколка. В глубине комнаты, озаренной пламенем камина, спали мои спутники — один беззвучно, другой назойливо-шумно, один воплощение смерти, другой — опьянения. И не диво, что меня так и подмывало присоединиться к хору, доносящемуся из кухни; и так безгранична была одолевавшая меня скука, так нестерпимо ожидание, что я с трудом удерживался то от смеха, то едва ли не от слез.

Наконец часов, должно быть, в шесть громкоголосые менестрели вышли во двор: впереди, освещая путь фонарем, шагал Фенн, а за ним, поминутно спотыкаясь и сталкиваясь друг с другом, его гости. Они шумно вскарабкались в свою двуколку, один тряхнул вожжами, и тьма поглотила их так внезапно, так внезапно замолкли их голоса, что это было похоже на чудо. Я знаю, сама судьба оберегает пьяных, правит за них лошадьми и хранит их от всяческих бед, и уж, конечно, с этой двуколкой у нее было немало хлопот! Отъезжавший экипаж рванулся с места так резко, что Фенн, вскрикнув, едва успел отдернуть ногу из-под колес; потом он повернулся и нетвердыми шагами, размахивая фонарем, двинулся в глубь двора. Там, в распахнутых дверях каретного сарая, все тот же лохматый парень уже вытаскивал во двор крытую повозку. Если я хотел поговорить с нашим хозяином наедине, медлить было нельзя, другого случая могло не представиться.

Ощупью спустился я по лестнице и подошел к нему, когда он светил вознице фонарем и следил, как тот запрягает лошадей.

— Скоро мы с вами распрощаемся,— сказал я ему,— и я буду вам признателен, если вы накажете своему слуге подвезти меня как можно ближе к Данстейблу. Я решил ехать с нашими друзьями полковником Иксом и майором Игреком, а в окрестностях Данстейбла сойду: меня туда призывают неотложные дела.

К моему облегчению, он тот же час об этом распорядился, причем после выпивки, казалось, он сделался еще подобострастней и угодливей.

ГЛАВА XIV

СТРАНСТВИЯ В КРЫТОЙ ПОВОЗКЕ

Попутчики мои поднялись с трудом. Несчастный старик полковник делал все, точно во сне, решительно ничего не слышал, однако неизменно был до крайности учтив; с майора же еще не сошел хмель, и он был пьяноплаксив. Мы выпили у камелька по чашке горячего чаю и, точно преступники, крадучись вышли на жгучий ночной холод. Пока мы были в доме, погода переменилась. Дождь перестал, ударил мороз. Когда мы выехали, молодой месяц стоял уже почти в зените, повсюду блестели затянутые льдом лужи, сверкали тысячи сосулек. Для путешествия ночь выдалась хуже некуда. Но за время отдыха лошадей подковали на шипы, и Кинг (так звали лохматого возницу) уверял, что доставит нас до места в целости-сохранности. Слово свое он сдержал; несмотря на неуклюжий вид, возница он был отменный: неустанно пекся о лошадях и безо всяких происшествий вез нас изо дня в день короткими перегонами, чтоб дорога была и для лошадей и для нас менее изнурительна.

Внутри повозки, этой камеры пыток, была скамья, на которой мы и разместились. Дверь заперли, и в тот же миг нас обступила густая, непроглядная тьма, и мы почувствовали, что потихоньку выезжаем со двора. Всю эту ночь нас везли с осторожностью, что облегчало наши страдания и впоследствии далеко не всегда выпадало нам на долю. Обычно мы ехали большую часть дня и ночи, зачастую довольно быстро, неизменно петляли по самым скверным окольным и проселочным дорогам, и нас так мотало из стороны в сторону, что мы набивали себе синяки и на очередную стоянку приезжали в поистине жалком состоянии; случалось, мы засыпали, не в силах даже поесть, спали до самого того часу, когда снова надо было выезжать, и по-настоящему просыпались лишь при первом толчке возобновившегося путешествия. Но иногда мы останавливались сравнительно надолго и всякий раз этому радовались, как самой желанной передышке. Порою наш возок увязал в грязи, а однажды и вовсе опрокинулся, и нам пришлось высадиться и помочь вознице вновь его поднять, а порою лошади совсем выбивались из сил (как в тот раз, когда я впервые повстречался с этой повозкой), и мы брели пешком по грязи или по земле, прихваченной морозом, пока не забрезжит рассвет или пока близость к селению или к большаку не вынудит нас вновь скрыться, подобно призракам, в нашей темнице.

Большие дороги в Англии хороши, как ни в какой другой стране; искусно утрамбованные, гладкие, как стол, они содержатся в такой чистоте, что на них можно пообедать, не испытывая ни малейшей брезгливости. Почтовые кареты, рожком предупреждая о своем приближении, проносятся по ним со скоростью шестидесяти миль в день; бесчисленные фаэтоны устремляются вслед за раскачивающимися на козлах почтальонами; а то, к великому восторгу и опаске простолюдинов, промчится в коляске или в экипаже, запряженном парой цугом, какой-нибудь молодой аристократ. Позванивая бубенцами, по дорогам неторопливо движутся фургоны, и с утра до ночи верховые и пешие путники (счастливцы, каким еще так недавно был и мистер Сент-Ив!) странствуют по этой дороге взад и вперед, останавливаются передохнуть, подкрепиться и накормить коня и глазеют друг на друга, словно в ожидании ярмарки, на которую они собрались со всей Англии. Нет, нигде в мире путешествие не доставляет такого удовольствия, как здесь. Но нам, как на грех, надо было ото всех людей скрываться, и вся эта стремительность и непрестанно сменяющиеся живописные картины были не про нас: мы тяжело тащились по горам и долам, окольными путями, каменистыми проселками, стиснутые с боков живыми изгородями. Лишь дважды на меня, так сказать, повеяло дыханием большака. В первый раз только я один ощутил его. Где это было, не знаю. Но темной ночью я брел, спотыкаясь в колеях, и вдруг издалека, над окружавшими нас безмолвными полями разнесся рожок почтальона, извещавший ближайшую почтовую станцию, чтобы готовили подставу лошадей. Это был точно голос дня в глухой ночи, точно голос вольного мира, пробившийся в темницу, точно крик петуха, услышанный посреди океана,— нет у меня слов, чтобы передать, что это было для меня, попробуйте вообразить это сами,— но, услыхав тогда рожок, я едва не зарыдал. Однажды мы припозднились: наши заморенные клячи еле передвигали ноги, неотвратимо наступало утро, подмораживало. Кинг нещадно

стегал лошадей, я поддерживал под руку старика полковника, майор, кашляя, замыкал шествие. Я думаю, Кинг немного забыл об осторожности, он был просто в отчаянии от своей упряжки и, несмотря на предутренний холод, так усердствовал, что от него несло жаром. Перед самым восходом солнца мы наконец добрались до вершины холма и увидели ровную ленту большака, что пересекал открытую местность, луга и подстриженные живые изгороди; увидели почтовую карету, запряженную четверкой лошадей, которые мчали ее плавным галопом, дилижанс с кондуктором, резво поспешающий вслед, и пассажира, что высунул голову из окошка,— то ли хотел вдохнуть рассветной свежести, то ли старался получше разглядеть почтовую карету. Словом, на мгновение мы насладились зрелищем свободной жизни, которая на дороге этой предстала нам в самом привлекательном свете,— в образе легкости, быстроты и комфорта. А вслед за тем, остро ощущая собственное убожество, мы вынуждены были вновь забраться в наше узилище на колесах.

Мы прибывали на стоянки в самые несусветные часы, и расположены они были в самых несусветных местах. Могу сразу сказать, что первый мой опыт оказался удачнее остальных. Больше нигде нас не принимали так хорошо, как у Берчела Фенна. Да и странно было бы в таком долгом и тайном путешествии ждать чего-либо иного. Во время первой стоянки мы пролежали шесть часов в сенном сарае, который одиноко стоял в чахлом, заболоченном фруктовом саду; чтобы сделать его более привлекательным в наших глазах, нам сказали, что однажды в нем было совершено чудовищное убийство и теперь здесь обитает призрак убитого. Но уже занималось утро, и мы чересчур утомились, чтобы пугаться привидений. На вторые или третьи сутки мы около полуночи сделали привал прямо на голой, поросшей вереском равнине, укрылись за редкими кустами терновника, развели костер, чтобы согреться, поужинали, точно нищие, хлебом и куском холодной свинины и, точно цыгане, уснули, протянув ноги к огню. Между тем Кинг вместе с повозкой скрылся неведомо куда, чтобы сменить лошадей, и лишь поздним хмурым утром, когда он наконец вернулся, мы смогли продолжать путь. В другой раз мы остановились посреди ночи в ветхом, выбеленном известкой двухэтажном домишке, его окружала изгородь из бирючины; морозная луна безучастно светила в окна второго этажа, но окна кухни были освещены пламенем очага; его отблески лежали на крыше и отражались от тарелок, висевших на стенах. Кинг долго барабанил в дверь; не сразу ему удалось разбудить старую каргу, которая дремала в кресле у очага вместо того, чтобы бодрствовать и поджидать нас; наконец нас впустили в дом и напоили горячим чаем. Старуха эта приходилась теткой Берчелу Фенну и безо всякой охоты помогала ему в его рискованном ремесле. Хотя дом стоял на отшибе, а час был вовсе не подходящий ни для прохожих, ни для проезжих, хозяйка разговаривала с Кингом только шепотом. В этом неизменно опасливом перешептывании было что-то гнетущее, словно в доме кто-то тяжко болен. Боязливость хозяйки невольно передалась и всем нам. Мы затаились и затихли, как мыши, когда кошка близко; стоило за едой кому-нибудь звякнуть ложкой, и все вздрагивали; когда, наконец, пришла пора отправляться, все мы облегченно вздохнули и забрались в повозку с ощущением, что опасность миновала и нам больше нечего бояться. По большей части, однако, мы закусывали, не таясь, в придорожных трактирах, обычно в самое неподходящее время дня, когда местные жители трудились на полях или на скотных дворах. Я непременно должен рассказать о последней нашей такой остановке и о том, сколь неудачно она для нас обернулась, но так как все это послужило мне сигналом расстаться с моими спутниками, я прежде должен довести до конца свой рассказ о них.

Во все время нашего путешествия не произошло ничего такого, что поколебало бы мнение, которое сложилось у меня о полковнике при первом знакомстве. Старый джентльмен сразу показался мне на редкость достойным человеком; оглядываясь назад, таким я вижу его и посейчас. Мне довелось наблюдать его во время тягчайших испытаний, когда мы голодали и холодали; он умирал, это видно было с первого взгляда, и, однако, я не припомню, чтобы хоть раз с его уст сорвалось грубое, резкое слово, чтобы он хоть раз вспылил. Напротив того, он был неизменно учтив и даже если во время беседы, случалось, заговаривался, речи его неизменно были кротки — он был словно очень добрый, уже несколь-

ко впавший в детство старый рыцарь, до последней минуты сохранивший верность своему знамени. Уж не решусь сосчитать, как часто, выйдя внезапно из своего оцепенения, старик снова и снова рассказывал нам о том, как он заслужил крест и как ему вручил эту награду сам император, или принимался в который уже раз вспоминать наивные и даже глупенькие слова своей дочери, когда она увидела этот крест у него на груди. Была у него еще одна история, которую он повторял, когда хотел упрекнуть майора, который без отдыха и срока поносил англичан и безмерно нам этим надоел. То была повесть о braves gens [1], у которых он одно время жил и столовался. Правда, он был натура столь бесхитростная и благородная, что самая обычная любезность трогала его до глубины души и надолго сохранялась в памяти; однако по тысяче пустячных, но убедительных подробностей я понял, что в этой семье его и в самом деле любили и окружали доброй заботой. Сыновья и дочери этого семейства постоянно поддерживали огонь в камине его спальни; писем из Франции эти чужестранные его попечители ждали, пожалуй, с не меньшим нетерпением, нежели он сам; и когда письмо наконец приходило, полковник вслух читал его в гостиной всему семейству, тут же переводя им каждую фразу: Познания полковника в английском языке были скудны, а письма его дочери уж, наверно, не слишком занимательны; и, рисуя себе эти долгие минуты в гостиной, я не сомневался, что полковник был близок всему этому семейству, и мне казалось, я в собственной груди ощущаю ту смесь мягкой насмешки и сочувствия, тот спор меж слезами и смехом, что шел в груди слушателей. Семья эта была добра к старику до последней минуты. Его побег, оказывается, не был для них тайной, его камлотовый плащ был спешно поставлен на теплую подкладку, и в кармане у него лежало письмо, которое дочка хозяев написала его дочери в Париж. В последний вечер, когда пришла пора всем разойтись по своим спальням, все знали, что более никогда его не увидят, но не обмолвились об этом ни словом. Он поднялся, сославшись на усталость, и обернулся к дочери, главной своей союзнице: «Позвольте мне, дитя мое, ...позвольте старому, не взысканному судьбой солдату... обнять вас... и да благословит вас бог за вашу доброту!» Девушка прильнула к нему и заплакала у него на груди; хозяйка дома тоже залилась слезами: «Et je vous le jure, le père se mouchait» [1],— проговорил полковник, лихо крутя ус, но и у него самого при одном воспоминании об этой минуте увлажнились глаза.

[1] Славных людях *(франц.)*.

Мне отрадно было знать, что в плену он обрел друзей и что в это роковое путешествие его проводили столь сердечно. Он нарушил слово офицера ради дочери; но я очень скоро потерял надежду, что у него достанет сил дожить до встречи с нею, вынести до конца все тяготы пути, превозмочь губительную усталость и безжалостный холод, сопровождавший нас в нашем паломничестве. Я делал все для него, все, что только мог: ухаживал за ним, укрывал, берег его сон, иногда, если дорога была особенно нехороша, поддерживал его, обняв за плечи.

— Шандивер,— сказал он однажды,— вы мне точно сын... точно сын.

Мне отрадно вспоминать эти его слова, хотя в ту минуту слышать их было мучительно. Все оказалось напрасно. Как ни быстро мы приближались к Франции, он приближался к уготованному ему концу еще быстрей. День ото дня он слабел, становился все равнодушнее к окружающему. В речи его вдруг зазвучал и становился все явственней простонародный выговор Нижней Нормандии, от которого он давным-давно избавился, появились и словечки, понятные лишь выходцу из тех краев. В самый последний день он вновь принялся рассказывать все ту же неизменную историю о кресте, что вручил ему сам император. Майор чувствовал себя особенно скверно, а быть может, находился в особенно дурном расположении духа и стал сердито протестовать.

— Pardonnez-moi, monsieur le commandant, mais c'est pour monsieur [2],— отвечал полковник.— Мсье еще не слыхал об этом случае, и он так добр, что сам хочет послушать.

Однако в самом скором времени он начал терять нить повествования и наконец сказал:

[1] И даю вам честное слово, отец семейства стал сморкаться *(франц.)*.

[2] Простите, господин майор, но я рассказываю не вам, а тому господину *(франц.)*.

— Qué que j'ai? Je m'embrouille! Suffit s'm'a la donné et Berthe en était bien contente [1].

Эти слова поразили меня — словно опустился занавес или затворились двери склепа.

Чуть погодя он и в самом деле уснул младенчески спокойным сном, из которого тихо перешел в небытие. В это время я как раз поддерживал его, но ничего не заметил,— он только чуть вытянулся — такая легкая смерть была дарована этому страдальцу. Лишь вечером на привале мы с майором обнаружили, что вместо третьего спутника нас сопровождают его бренные останки. Той ночью мы стащили лопату на ближайшем поле — кажется, где-то близ Маркет-Босуорта — и, отъехав еще немного, со слезами и молитвами, при свете фонаря, который держал Кинг, схоронили старого солдата империи в роще молодых дубков.

Не знай мы, что есть еще иной мир, мы бы непременно его выдумали: слишком горькие часы выпадают человеку в недолгий срок, отпущенный ему на земле!

Что до майора, я давно уже его простил. Он принес скорбную весть несчастной дочери полковника; сделал он это, как я слышал, со всей возможной мягкостью; да и в самом деле, кто бы мог передать подобное известие без слез! Ему тоже недолго осталось мучиться в земной юдоли, а так как мне не за что особенно его расхваливать, я умолчу об его имени. И полковника тоже называть не стану, ибо он нарушил слово офицера. Requiescat [2].

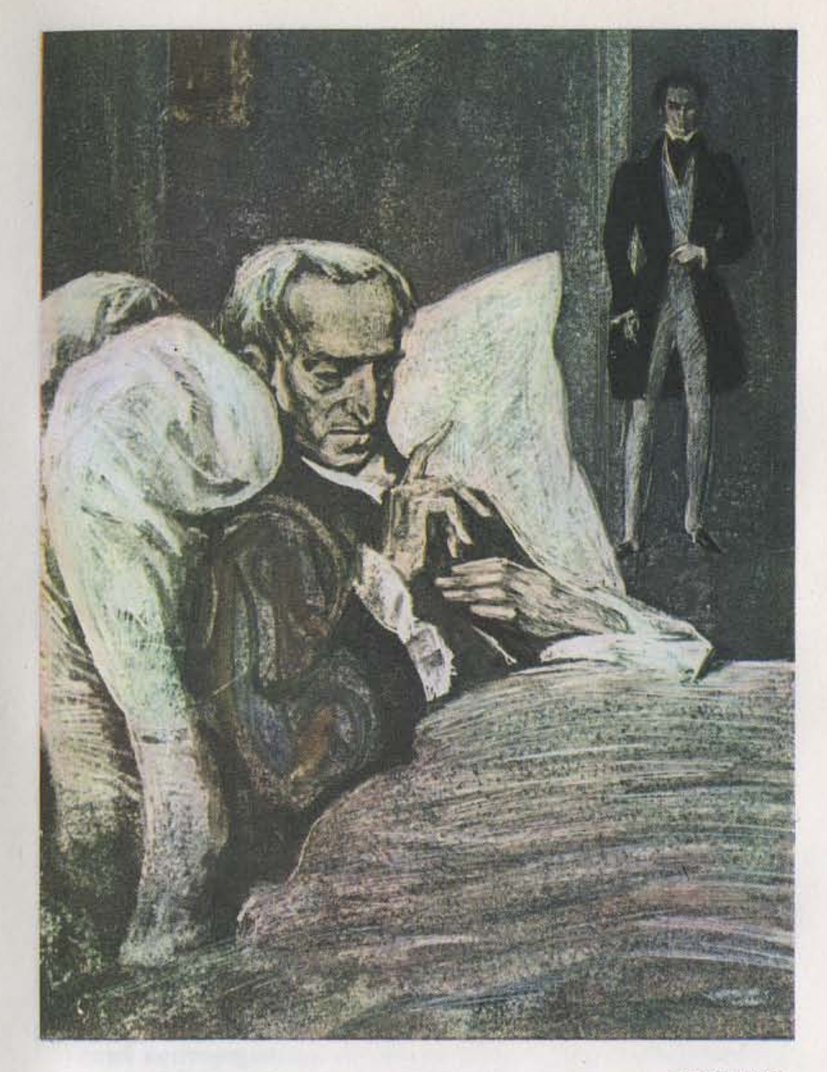
ГЛАВА XV

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА С КОНТОРЩИКОМ МИСТЕРА РОУМЕНА

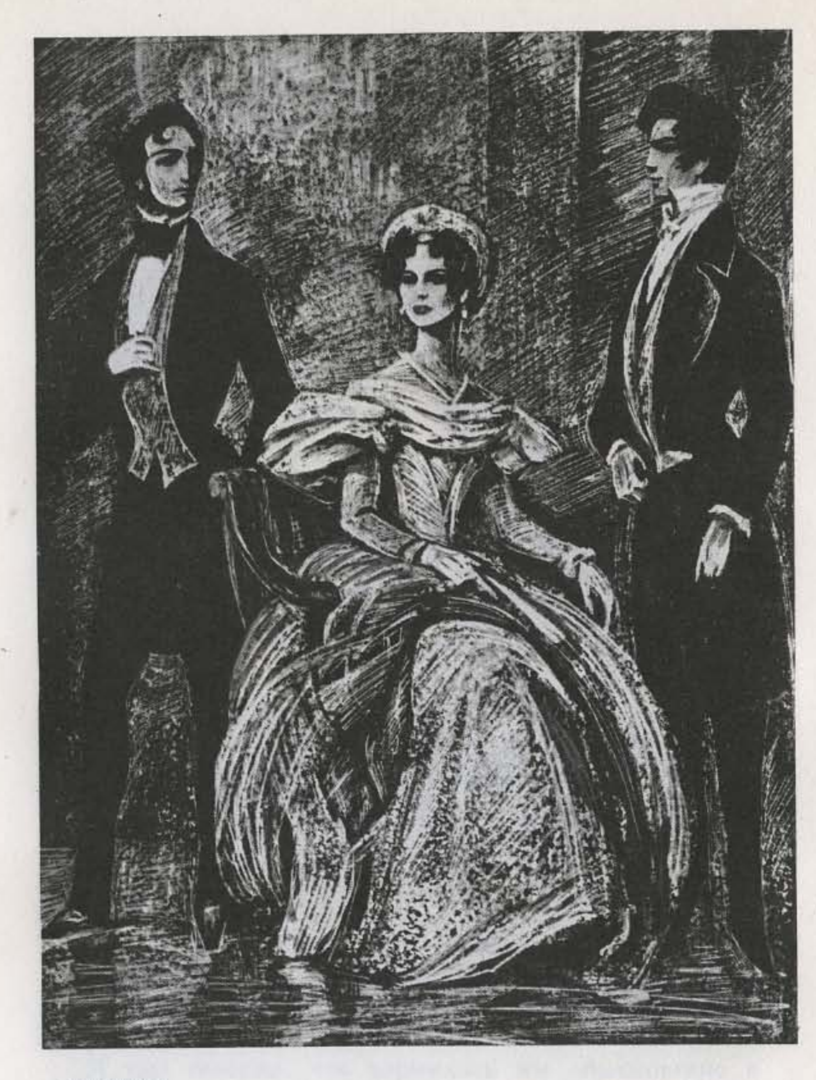
Я уже говорил, что кормились мы обыкновенно в плохоньких придорожных гостиницах, известных Кингу. Всякий день мы рисковали головой и ради ломтя хлеба ставили на карту свою жизнь. Иногда, чтобы несколько уменьшить опасность, мы вылезали из повозки еще за-

[1] Что это со мной? Я совсем запутался... Ничего, главное — я его получил, и моя Берта была очень довольна *(франц.)*.

[2] Да почиет в мире *(лат.)*.



«СЕНТ-ИВ»



«СЕНТ-ИВ»

годя, не доехав до гостиницы, заходили в нее поодиночке, и каждый заказывал, что ему вздумается, словно мы вовсе не были знакомы друг с другом. Таким же манером мы и уходили и встречались в заранее условленном месте, где-нибудь в полумиле от гостиницы, где нас уже поджидала наша повозка. Полковник и майор знали по-английски всего-то несколько слов, а об их выговоре и подумать страшно. Однако и этого хватало, чтобы заказать ветчину и какое-либо питье, а после потребовать счет; и, сказать по правде, в этих трактирах и гостиницах ни у кого не было охоты, да и знаний, чтобы обращать внимание на чью-то не слишком правильную речь.

Часов в десять вечера мучительный голод и холод привели нас в какой-то трактир на Бедфордширской равнине, неподалеку от Бедфорда. В кухне расположился длинный, тощий субъект лет сорока, весь в черном, лицо его сразу бросалось в глаза. Он сидел на скамье у очага и курил длинную-предлинную глиняную трубку. Шляпа его и парик висели позади на крючке, он был совершенно лыс и глядел проницательно, испытующе и недоверчиво. Смотрел он на всех свысока, явно полагая себя светским человеком, очутившимся среди неотесанной деревенщины, и отчаянно задирал нос — как выяснилось позднее, что называется, по долгу службы, ибо оказался секретарем некоего адвоката. Я взял на себя самую неблагодарную роль: явился последним; когда я переступил порог, майор сидел за боковым столиком и перед ним уже стояли какие-то блюда. Шел, видно, общий разговор, и я тотчас почувствовал, что атмосфера накалена. У майора в лице читалось волнение, у конторщика — торжество, а трое или четверо крестьян в холщовых рубахах (они разместились у очага и играли в этом представлении роль хора) не замечали, что трубки их погасли.

— Мое почтение, сэр,— обратился ко мне адвокатский конторщик.

— И мое вам, сэр,— отвечал я.

— Этот, пожалуй, подойдет,— подмигнув крестьянам, заявил конторщик, и едва я заказал ужин, вновь заговорил со мной: — Прошу прощения, сэр, куда держите путь?

— Я не из тех, сэр, кто на людях распространяется о причинах и цели своего путешествия.

— Хороший ответ,— сказал он,— и отличное правило. Вы, случаем, не говорите по-французски, сэр?

— Нет, сэр, к сожалению, не говорю,— отвечал я.— Вот немного по-испански — это пожалуйста.

— Но, быть может, вы сумеете признать французский выговор? — спросил конторщик.

— А как же! — воскликнул я.— Французский выговор? Да я с первых же десяти слов отличу француза.

— Тогда вот вам загадка! — сказал он.— У меня самого нет ни малейших сомнений, но кое-кто из здесь присутствующих еще себе этого не уяснил. Недостаток образования, знаете ли. А я смело скажу, что без достаточного образования и шагу толком ступить нельзя.

И он обратился к майору, у которого буквально кусок застрял в горле.

— Итак, сэр,— сказал ему конторщик,— я бы желал иметь удовольствие вновь услыхать ваш голос. Куда, вы сказали, вы направляетесь?

— Я напгавлаюс в Лондон, сэр,— отвечал майор.

Я едва не швырнул в него тарелкой: надо же быть таким ослом, такой бестолочью, чтобы не выговорить правильно двух слов на чужом языке, когда это всего важней.

— Ну, что скажете? — спросил меня конторщик.— Это ли не французский выговор?

— Боже милостивый! — воскликнул я, вскочив, словно только теперь признал старого знакомца.— Да неужто это вы, мистер Дюбуа? Кто бы мог подумать, что мне доведется встретить вас так далеко от дома? — Говоря все это, я горячо пожимал руку майору, а затем, повернувшись к нашему мучителю, произнес:

— О сэр, можете быть совершенно спокойны! Он безупречно честный малый, мой бывший сосед, мы с ним жили рядом в Карлайле.

Я думал, конторщик этим удовольствуется; не тут-то было!

— Но он все-таки француз? — не отставал упрямец.

— Ну да, конечно! — отвечал я.— Он из французских эмигрантов! Он не имеет ничего общего с шайкой Буонапарте. Ручаюсь, что по части политики он не уступит вам в благонадежности.

— Мне только немного странно,— спокойно произнес конторщик,— что сам мистер Дюбуа это отрицал.

Я принял удар и даже ухом не повел, но в душе потрясен был чрезвычайно и в следующей же фразе умудрился допустить ошибку в языке, что случалось со мною крайне редко. Все эти месяцы моя свобода и самая жизнь зависели от того, насколько бегло я изъясняюсь по-английски, и если в кои-то веки я оговорился, мне нет надобности подробно объяснять, в чем именно состояла моя ошибка. Довольно сказать, что оговорка была самая пустячная и в девяноста девяти случаях из ста сошла бы мне с рук. Но сей страж закона немедля ее заметил, словно был учителем языка.

— Ага! — воскликнул он.— Так вы тоже француз! Ваша речь вас выдает. Два француза в десять часов вечера приходят поодиночке в трактир в графстве Бедфордшир, случайно встречаются здесь и при этом поначалу друг друга не узнают! Нет, сэр, это вам так не пройдет! Оба вы беглые военнопленные, а то, может, и похуже. Считайте, что вы арестованы. И потрудитесь предъявить ваши бумаги.

— А где у вас ордер на арест, если уж на то пошло? — возразил я.— Мои документы! Как же, стану я показывать свои бумаги первому встречному в каком-то захудалом трактире!

— Так вы окажете сопротивление закону? — вопросил он.

— Не закону, сэр! Я для этого слишком верный подданный. А вот безымянному лысому незнакомцу в полосатых коротких штанах в обтяжку, разумеется, окажу сопротивление! Это мое право англичанина. И позвольте-ка спросить, как вы соблюдаете Magna Charta[1]?

— Уж постараемся соблюсти,— отвечал он и оборотился к слушателям: — Где живет ваш полицейский? — спросил он.

— Господь с вами, сэр! — воскликнул хозяин постоялого двора.— Что это вы вздумали? Звать полицейского в одиннадцатом часу! Да он уже часа два спит крепким сном в своей постели, а перед этим, как и полагается, изрядно выпил!

— Что верно, то верно,— вступил хор местных жителей.

[1] Великая Хартия вольностей (1215 г.) гарантирует (в известных пределах) неприкосновенность личности.

Адвокатский конторщик призадумался. О том, чтобы применить силу, не могло быть и речи; хозяин явно не рвался в бой, а крестьяне отнеслись ко всему с полнейшим равнодушием — они только слушали, разинув рты, и то чесали в затылках, то прикуривали трубки от уголька. С другой стороны, нас с майором не удалось взять на испуг и с точки зрения закона наши возражения были не вовсе беспочвенны. Подумавши, он предложил, чтобы я пошел с ним к некоему сквайру Мертону: этот человек самый уважаемый во всей округе, к тому же мировой судья, и живет он на этой же улице, всего за три квартала отсюда. Я отвечал докучному собеседнику, что ради него и пальцем не пошевельну, даже если бы речь шла о спасении его души. Тогда он предложил мне оставаться тут всю ночь, чтобы утром, протрезвившись, мною занялся полицейский. Я заявил, что уйду отсюда когда и куда мне вздумается; что мы честные, богобоязненные путники, верные слуги короля и кто-кто, а я никому не позволю вставать мне поперек дороги. Говоря так, я думал о том, что дело слишком затянулось, и решил тот же час положить ему конец.

— Послушайте,— сказал я, вставая, ибо до сей минуты не давал себе труда подняться,— есть только один способ разрешить подобный спор, только один истинно английский способ разрешить его, как положено мужчинам. Снимайте сюртук, сэр, и сии джентльмены увидят честный бой.

При этих моих словах в глазах конторщика мелькнуло выражение, в смысле которого нельзя было обмануться: в его образовании имелся один весьма существенный, особенно для англичанина, пробел: он не умел боксировать. Вы можете возразить, что и я не умел, но зато я оказался более дерзок, нежели он, вот и вызвал его на бой.

— Он говорит, я не англичанин, но чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать,— продолжал я. Тут я скинул сюртук и стал в стойку, это было чуть ли не единственное, что я знал в сем варварском искусстве.— Как, сэр, вы, кажется, не спешите принять мой вызов? — продолжал я.— Выходите, я жду, я задам вам жару... но, провалиться мне на этом месте, что же это за мужчина, если его надо уламывать помериться силами.— Я вынул из кармашка для часов ассигнацию и кинул ее хозяину.—

Вот заклад,— сказал я.— Раз это доставляет вам так мало удовольствия, будем драться всего лишь до первой крови. Если вы первый разобьете мне нос, пять гиней ваши и я пойду с вами к любому сквайру. Ну, а если я первый пущу вам кровь, вы, быть может, признаете, что правда на моей стороне, и уже не станете препятствовать мне отправиться по моему законному делу в любое время, какое я сочту для себя удобным. Что скажете, ребята, справедливо это, по-вашему? — обратился я к честной компании.

— Как же, как же,— хором ответили эти простаки.— Чего уж там, все верно, справедливей не придумаешь. Сымайте сюртук, мистер!

Итак, общественное мнение казалось теперь отнюдь не на стороне стража закона, чаша весов быстро склонялась в нашу пользу, и я, ободренный, решил гнуть свою линию. Майор уже расплачивался по счету с хозяином, который, видно, был вполне равнодушен к нашему спору, а с черного хода, бледный, встревоженный, заглядывал в кухню Кинг и делал нам знаки, что пора уносить ноги.

— Ого! — промолвил мой противник,— хитрая же вы лиса. Но меня вы не проведете, я вижу вас насквозь. Да-да, насквозь. Вы хотите запутать след, а?

— Быть может, я и прозрачен, сэр,— отвечал я,— но ежели вы соблаговолите подняться, вы убедитесь, что, невзирая на это, кулаки у меня достаточно увесистые.

— А я вовсе и не выражал в том ни малейшего сомнения, как вы, надо полагать, заметили,— возразил он.— Эй вы, простофили,— продолжал он, обращаясь ко всей компании,— да неужто вы не видите, что этот молодчик вас дурачит? Неужто не видите, что он все вывернул наизнанку? Я говорю, что он беглый военнопленный француз, а он отвечает, что умеет боксировать! Какое это имеет отношение к делу? Хоть бы он и танцевать умел — тоже не удивлюсь... они там все мастера шаркать по паркету. Я говорю, и от слов своих не отступлюсь, что он из этих, из французов. Он говорит, что я ошибаюсь. Что ж, тогда пусть покажет свои бумаги, если они у него есть! Если у него бумаги в порядке, отчего бы их и не показать? Отчего бы ему с охотой не отправиться к сквайру Мертону, которого

вы все хорошо знаете? Здесь собрались простые честные бедфордширцы, лучших судей я и не желаю. Вы не из тех, кого можно провести всякими там французскими фокусами, а у него их хоть отбавляй. Но позвольте мне сказать ему прямо: пусть побережет свои басни для другого места, здесь он никого не проведет. Нет, вы только поглядите на него! Поглядите на его ноги! Да разве у кого-нибудь здесь найдешь такую ногу? Поглядите, как он стоит! Да разве кто из вас так станет? Или, может, хозяин так стоит? Да ведь на нем вон эдакими буквами написано, что он француз, прямо как на вывеске!

Все это было прекрасно, и при других обстоятельствах его слова, вероятно, даже польстили бы мне, но я отлично понимал, что если позволю ему продолжать, он опять возьмет верх. Он мог быть профаном в боксе, но либо я сильно ошибаюсь, либо он прошел отличную школу адвокатского красноречия. Оказавшись в столь затруднительном положении, я не смог придумать ничего лучше, как выбежать из дома, якобы в приступе неукротимого гнева. То был отнюдь не самый остроумный выход, но выбирать не приходилось.

— Ах ты, трусливый пес! — вскричал я.— Ты не желаешь драться и еще смеешь называть себя англичанином! Нет, довольно, я сыт по горло! Не желаю оставаться в доме, где меня оскорбляют! Эй, сколько с меня! Берите, сколько требуется,— обратился я к хозяину, протягивая горсть серебра,— и воротите мою ассигнацию!

Следуя своему обыкновению угождать всем и каждому, хозяин не выказал мне никакого неудовольствия. Противник мой вновь очутился в весьма невыгодном положении. Двух моих товарищей он уже упустил. А теперь, того гляди, упустит и меня: надеяться на помощь сидящих здесь крестьян явно не приходилось. Искоса наблюдая за ним, я видел, что на миг он заколебался. Но тот же час схватил шляпу и свой черный парик из конского волоса, вытащил из-под лавки теплый плащ с капюшоном и саквояж. «Проклятие! — подумал я.— Неужто негодяй решил следовать за мной по пятам?»

Не успел я выйти из трактира, как страж закона был уже тут как тут. В лунном свете я хорошо видел его лицо; оно выражало непреклонную решимость и непоколебимое самообладание. Меня пробрала дрожь. «Дело серьезно,— подумал я.— Вы напоролись на человека с характером, мсье Сент-Ив! У него бульдожья хватка, и он коварен, точно хорек; как же сбить его со следу, как от него избавиться?» Кто он такой? Некоторые его выражения навели меня на мысль, что он из тех, кто околачивается в судах. Но в какой роли он там присутствует? Простой ли он зритель, или помощник адвоката, или завсегдатай скамьи подсудимых, или, наконец,— и это было бы хуже всего — один из молодчиков с Бау-стрит [1]?

Повозка, вероятно, будет ждать меня в полумиле отсюда, на дороге, по которой я уже иду. И я сказал себе, что, кто бы ни был мой преследователь, пусть даже сыщик, едва мы отойдем подальше от постоялого двора, он окажется всецело в моей власти. Тут я вовремя смекнул, что, как бы ни повернулось дело, одно бесспорно: этот навязчивый субъект ни в коем случае не должен видеть нашу повозку. Пока я не убил его или каким-либо иным способом от него не избавился, мне нельзя искать встречи с моими спутниками: я очутился совсем один, посреди Англии, на прихваченной морозом проселочной дороге, что вела в неизвестном мне направлении, по пятам за мною шла ищейка, и, кроме дубинки из падуба, не было у меня друга, чтобы помочь мне в беде!

Мы одновременно подошли к перекрестку. Дорога, уходящая влево, была по обочинам густо обсажена деревьями и утопала во тьме. Ни единый луч луны не проникал сюда, и я наобум пошел по этой дороге. Негодяй молча последовал за мной; некоторое время мы безмолвно шагали в потемках, только трещал под ногами ледок, затянувший бесчисленные лужи. Наконец преследователь мой обрел дар речи.

— Этот путь не ведет к мистеру Мертону,— с усмешкой произнес он.

— Вот как,— отозвался я.— Тем не менее он ведет туда, куда мне надобно.

— Стало быть, и мне туда же,— сказал он.

Мы снова умолкли и прошагали таким образом с полмили; тут дорога неожиданно повернула, и в лицо

[1] Сыщиков полицейского суда.

нам ударил яркий свет луны. Враг мой в зимнем плаще с капюшоном, в черном парике, с саквояжем в руках со спокойным упорством шагал по льду; теперь он был просто неузнаваем, разве что по-прежнему производил впечатление сухого педанта и спорщика, привыкшего проводить все дни напролет, сидя на высоком табурете за конторкой. Заметно было также, что саквояж у него тяжелый. Прикинул я все это, и в голове у меня созрел план.

— Ночка как раз по сезону, сэр,— сказал я.— Не пробежаться ли нам? Мороз пробрал меня до самых костей.

— С превеликим удовольствием,— был ответ.

Голос его прозвучал весьма уверенно, что мне сильно не понравилось. Однако ничего другого на ум не шло, кроме как пустить в ход кулаки, а с этим всегда лучше не торопиться. Недолго думая, я кинулся наутек, он — за мной; и некоторое время топот наших ног по мерзлой дороге отдавался, должно быть, за целую милю. Он взял старт на шаг позднее меня и на шаг позднее пришел к финишу. Был он много старше, бежал с тяжелым саквояжем в руках и, однако, не отстал больше ни на дюйм. Пусть с ним бегает наперегонки хоть сам дьявол, а с меня хватит!

И притом бежать так скоро мне вовсе не выгодно. Ведь если долго бежать, непременно куда-нибудь прибежишь. За любым поворотом можно очутиться у ворот какого-нибудь сквайра Мертона, либо посреди деревни, где полицейский трезв, или прямо напороться на ночную стражу. Что ж, пока не поздно, я должен от него отделаться, иного выхода нет. Я огляделся: место словно бы подходящее — нигде ни огонька, ни дома, одни только сжатые нивы, поля, вспаханные под пар, да редкие низкорослые деревья. Я остановился и при свете луны бросил на своего преследователя гневный взгляд.

— Ну, довольно глупостей! — сказал я.

Он поворотился и поглядел мне прямо в лицо,— был он очень бледен, однако явно не струсил.

— Совершенно с вами согласен,— сказал он.— Вы испытали меня в беге; можно еще испытать меня в прыжках в высоту. Это все равно. Так ли, эдак ли, конец будет один.

— Надеюсь, вы понимаете, каков будет этот конец! — сказал я.— Мы с вами здесь одни, час поздний, и я исполнен решимости. Вас это не пугает?

— Нет,— отвечал он,— нисколько. Я не умею боксировать, сэр, но если вы полагаете, что имеете дело с трусом, вы ошибаетесь. Быть может, если я объявлю вам с самого начала, что у меня есть оружие, это упростит дело.

Быстрее молнии я сделал ложный выпад — будто метил дубинкой ему в голову; но он столь же мгновенно отступил, и в руках у него блеснул пистолет.

— Довольно, мистер беглец! — сказал он.— Я вовсе не желаю идти из-за вас под суд за убийство.

— Клянусь честью, и я тоже! — сказал я, опустил дубинку и поглядел на него с некоторым даже восхищением.— А знаете,— продолжал я,— вы упустили из виду одно обстоятельство: ваш пистолет вполне может дать осечку.

— У меня их два,— возразил он,— никогда не пускаюсь в путь, не прихватив с собою пару этих верных псов.

— Честь вам и слава,— сказал я.— Вы способны позаботиться о себе, а это немалое достоинство. Но, господин хороший, давайте взглянем на сей предмет беспристрастно. Вы не трус, я тоже; оба мы люди здравомыслящие; у меня есть веские причины — неважно, какие именно,— никого не посвящать в свои дела и путешествовать в одиночестве. Теперь подумайте сами, похоже ли, что я стану и дальше все это терпеть? Похоже ли, что я и дальше стану терпеть ваше упорство и — уж извините — чрезвычайно дерзкое ingérence [1] в мои частные дела?

— Опять французское словечко,— невозмутимо заметил он.

— А, да подите вы к дьяволу вместе с вашими французскими словечками! — воскликнул я.— Похоже, что вы сами француз!

— У меня было немало случаев обогатить свои познания, и я их не упустил,— пояснил он.— Немного найдется людей, которые лучше меня были бы знакомы со сходством и различиями особенных оборотов и выговора сих двух языков.

[1] Вмешательство (*франц.*).

— А вы, оказывается, умеете разговаривать и высоким стилем!

— О, я понимаю, с кем имею дело, сэр,— отвечал он.— Я знаю, как разговаривать с бедфордширскими крестьянами, и, надеюсь, знаю, как приличествует изъясняться в обществе человека образованного, каковою вижу в вашем лице.

— Так ежели вы почитаете себя за джентльмена...— начал я.

— Прошу прощения,— перебил он,— я вовсе этого не утверждал. С титулованными господами и дворянами меня связывают одни только дела. Сам же я человек простой.

— Бога ради,— воскликнул я,— рассейте же мои сомнения! Заклинаю вас, откройте, кто вы и чем изволите заниматься.

— У меня нет причин стыдиться своего имени, сэр, или своих занятий,— отвечал он.— Томас Даджен, конторщик мистера Дэниела Роумена, лондонского стряпчего, к вашим услугам. Наш адрес: Хай Холборн-стрит, сэр.

Лишь по тому, какая огромная тяжесть свалилась с моих плеч при этих его словах, я понял, до чего был прежде напуган. Я отшвырнул палку.

— Роумен? — вскричал я.— Дэниел Роумен? Этакий старый скряга, краснолицый, с большой головой и одевается точно квакер? Дайте я вас обниму, друг мой!

— Эй, не подходите,— сказал Даджен, однако в голосе его уже не было прежней твердости.

Но я и слушать не стал. Недавнего страха как не бывало, и я разом ожил, словно все прочие опасности тоже остались позади, словно пистолет, все еще направленный на меня, был не грознее саквояжа, который Даджен держал в другой руке и теперь выставил вперед, как бы преграждая мне доступ к своей особе.

— Не подходите, буду стрелять! — крикнул он.— Ради бога, остерегитесь! Мой пистолет...

Он мог кричать до хрипоты. Хотел он того или нет, я крепко обнял его, прижал к своей груди, я принялся целовать его уродливую рожу, как никогда и никто ее, верно, не целовал и целовать не станет; даже шляпа с него слетела и парик сбился на сторону. Он что-то жалобно блеял в моих объятиях, словно овца в руках живодера. Оглядываясь назад, я понимаю, что все это было безрассудно и нелепо сверх всякой меры: я повел себя как безумный, когда кинулся обнимать Даджена, он же был поистине глуп, что не выстрелил в меня, едва я приблизился. Но все хорошо, что хорошо кончается; или, как поют и насвистывают в наши дни на улицах:

Есть милый херувимчик, высоко он сидит
И горемыку Джека заботливо хранит.

— Ну вот! — молвил я, несколько ослабив объятие, но все еще держа его за плечи.— Je vous ai bel et bien embrassé [1] — и это, как сказали бы вы, опять французское выражение.

Вид у Даджена был невообразимо жалкий и растерянный, парик съехал набок, закрывая один глаз.

— Веселей глядите, Даджен. Пытка окончена, больше я не стану вас обнимать. Но прежде всего, бога ради, спрячьте пистолет. Он уставился на меня, точно василиск; уверяю вас, рано или поздно он непременно выстрелит. Вот, возьмите вашу шляпу. Нет, уж позвольте мне самому водрузить ее на место, а прежде нее — парик. Никогда не допускайте, чтобы обстоятельства, даже самые крайние, мешали вам исполнить ваш долг перед самим собой. Ежели вам более не для кого наряжаться, наряжайтесь для господа бога!

Поправьте свой парик вы,
Чтоб плеши не сверкать,
И не гнушайтесь бритвы,
Штанов и сюртука!

— Нуте-ка, попробуйте за мною угнаться! Все, в чем состоит долг джентльмена перед самим собою, вместить в одно четверостишие! И заметьте, я по призванию отнюдь не бард и вирши сии излились из уст простого любителя.

— Но, дорогой мой сэр! — воскликнул он.

— Но, дорогой мой сэр! — эхом отозвался я.— Я никому не позволю остановить поток моих рассуждений. Извольте высказать свое мнение о моем четверостишии, не то, клянусь, мы поссоримся.

— Право же, вы завзятый оригинал! — сказал Даджен.

[1] Я облобызал вас всласть *(франц.)*.

— Вы не ошиблись,— отвечал я.— И сдается мне, мы с вами достойная пара.

— Что ж,— с улыбкой сказал он,— надеюсь, вы оцените если не за смысл, то за поэтичность такие строки:

Достоинство и честь — вот мера человека,
Иное ж — блеск пустой и мишура от века!

— Э, нет, так дело не пойдет — это же Поп! Это вы не сами сочинили, Даджен. Поймите,— продолжал я, ухвативши его за пуговицу,— первое, что требуется от поэзии,— это чтобы она была вашим кровным детищем, да, милостивый государь, кровным. Грудь мою распирает вдохновение, ибо — говоря начистоту и несколько изменяя высокому слогу — я чертовски рад тому, как обернулось дело. И, осмелюсь сказать, если вы не против, по-моему, вы тоже рады. Да, à propos, позвольте задать вам один нескромный вопрос. Строго между нами, случалось вам хоть раз стрелять из этого пистолета?

— А как же, сэр,— отвечал он.— Даже два раза... только по птичкам, по завирушкам.

— И вы стали бы стрелять в меня, кровожадный вы человек? — воскликнул я.

— Если уж вы об этом заговорили,— отвечал Даджен,— так ведь и вы не слишком осторожно размахивали своей палкой.

— Разве? Ну да ладно, дело прошлое; считайте, что все это было при короле Фарамоне[1] — вот и еще одно французское выражение, ежели вам охота собрать побольше улик,— сказал я.— Но теперь мы, по счастью, добрые друзья и желаем одного и того же.

— Прошу прощения, но вы слишком торопитесь, мистер...— сказал Даджен.— Ведь я до сих пор даже не знаю вашего имени.

— Ну еще бы! — сказал я.— Слыхом не слыхали!

— Объясните же хоть одним словом,— начал он...

— Нет, Даджен! — прервал я.— Будьте разумны. Я знаю, чего вы хотите, и имя этому — ужин. Rien ne creuse comme l'émotion[2]. Я тоже голоден, хоть и куда

[1] В незапамятные времена *(франц.)* — равноценно нашему «при царе Горохе».

[2] Ничто не вызывает такого аппетита, как волнения *(франц).*

более привычен к воинственным вспышкам, нежели вы, скромный стрелок по завирушкам. Давайте-ка я получше на вас погляжу; вот какое вам требуется меню: три ломтика хорошего холодного ростбифа, гренки с сыром, кружка крепкого пива и стаканчик-другой выдержанного портвейна старого бутылочного розлива — напиток, без которого немыслим настоящий англичанин.

Мне кажется, когда я перечислял все это, в глазах Даджена появился блеск и он разок-другой сглотнул слюну.

— Час еще не поздний, держу пари — самое начало двенадцатого,— продолжал я.— Где тут можно найти хорошую гостиницу? Только заметьте, я сказал «хорошую», ибо портвейн, под стать такому случаю, должен быть самого лучшего розлива, а не бурда какая-нибудь, от которой потом трещит голова.

— Надо отдать вам должное, сэр,— сказал он, слегка улыбаясь,— у вас весьма своеобразная манера добиваться своего...

— Почему вы все время отклоняетесь от главного? — воскликнул я.— Удивительно непостоянный ум! Разве с таким складом ума можно преуспеть в вашей профессии? Итак, гостиница?

— Ну и шутник же вы, сэр! Вижу, вы непременно сделаете по-своему. Если идти этою дорогой, до Бедфорда не будет и трех миль.

— Решено! — воскликнул я.— Идем в Бедфорд!

Я подхватил Даджена под руку, завладел его саквояжем и повлек его по дороге, причем он и не думал противиться. Вскорости, немного спустившись с холма, мы вышли на открытое место. Дорога была ровная, еще не схваченная морозом, лунный свет прозрачной, сияющей дымкой окутывал луга и обнаженные деревья. Я раз и навсегда мысленно покончил с крытой повозкой и ее пытками; до цели моей — именья дядюшки — было рукой подать; мистера Даджена я больше не боялся, иными словами, у меня вдоволь было поводов для веселья. К тому же в тот час мне казалось, что мы две крошечные, единственные во всем свете живые куклы, под огромным морозным куполом полуночи; комнаты прибраны, луна начищена до блеска, самые маленькие звезды и те зажжены, пол подметен и натерт, не хва-

тает лишь оркестра, чтобы начать танцы. Радость переполняла мое сердце, и я взял музыку на себя.

Весело плясала квакера жена,
Весело плясал сам квакер,—

запел я бойко весьма подходящую к случаю песенку, обхватил Даджена за талию и, приплясывая, пустился с ним вниз по дороге. Он стал было упираться, но задорная мелодия, сама ночь, мой пример увлекли и его. Должно быть, глиняный истукан — и тот не устоял бы, и Даджен доказал, что он тоже человек. Мы выделывали все более замысловатые антраша, тени от луны повторяли наши шутовские прыжки и жесты, и вдруг мне пришло на ум — и мысль эта была для меня точно бальзам,— как нелепа наружность человека, с которым я сейчас танцую, какая у него длинная желчная физиономия и плешь и сколько пренеприятнейших минут только что заставил меня пережить этот негодник.

Вскоре мы завидели огни Бедфорда. Мой высоконравственный спутник остановился и высвободился из моих объятий.

— Это, пожалуй, несколько infra dig [1], сэр, вы не находите? Любой встречный подумает, что мы изрядно выпили.

— А вы и правда выпьете, Даджен,— пообещал я.— Вы не только выпьете, старый вы лицемер, вы будете пьяны, милостивый государь, мертвецки пьяны, и коридорный уложит вас в постель! Как придем, сразу же его об этом и предупредим. Никогда не забывайте о предосторожностях! Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!

Но все его легкомыслие как рукой сняло. Мы прошагали остаток пути и вошли в гостиницу весьма чинно и степенно; тут было еще светло и царила суматоха из-за множества запоздавших путников; мы отдавали распоряжения быстро и с надлежащей суровостью, каковой невозможно было не подчиниться, и скоро уже сидели за боковым столиком у самого камина и уплетали при свечах такой ужин, о котором я мечтал долгие дни. Долгие дни я, как вы помните, прятался в крытой повозке, жертва холода и голода и всяких иных не-

[1] Сокращенное infra dignitatem *(лат.)* — ниже своего достоинства.

удобств, которые смутили бы любого храбреца; белые скатерти и салфетки, сверкающий хрусталь, огненные блики на бокалах, красные портьеры, турецкий ковер, портреты на стенах, безмятежные лица двух или трех засидевшихся гостей, которые все еще молча, неспешно наслаждались процессом пищеварения, и (последнее, но отнюдь не самое маловажное) стакан превосходного легкого сухого портвейна привели меня в то состояние, какое иначе как блаженством не назовешь. Мысль о полковнике, о том, как радовался бы он уютной комнате и буйному пламени камина, и о его холодной могиле в лесу близ Маркет-Босуорта явилась и даже задержалась было amari aliquid [1], как вкус, остающийся во рту после еды, но — со стыдом признаюсь — лишь в малой мере нарушила овладевшее мною ощущение довольства. В конце концов своя рубашка ближе к телу, так уж повелось в этом мире. Я, добровольный искатель приключений, только что довел до благополучного конца весьма трудное и волнующее приключение или, по крайности, завидел ему конец; и я глядел через стол на мистера Даджена, чьи щеки разгорелись от портвейна, а жесткие черты смягчила почти доверчивая, чуть даже глуповатая улыбка, в которой была не только ублаготворенность, но даже намек на доброту. Мошенник оказался отважен — качество, которое я оценил бы в самом дьяволе,— и даже если поначалу он был несговорчив, то теперь полностью искупил свою вину.

— Что ж, Даджен, пора объясниться,— начал я.— Я знаю вашего патрона, он знает меня, и он знает о моем странствии и одобряет его. Могу вам даже сказать, что направляюсь я в Эмершем.

— Ого! — промолвил Даджен,— я начинаю понимать.

— Сердечно рад,— сказал я, передавая ему бутылку,— ибо ничего более сказать я вам не могу. В остальном вы должны положиться на мое слово. Хотите верьте, хотите нет. Если не верите, наймем карету, и завтра вы привезете меня на Хай Холборн и представите пред светлые очи мистера Роумена; тем самым вы успокоите свою совесть... и смешаете все карты своего патрона. Если я верно о вас сужу (а я почитаю вас за неглупо-

[1] Некоторая горечь *(лат.)*

го малого), это вовсе не в ваших интересах. Сами знаете, как поступают с подчиненным, который сует нос не в свое дело; если мне не изменяет память, на лицо старика Роумена, когда он гневается, не так-то приятно смотреть; и я осмелюсь предсказать, что этот опрометчивый поступок всенепременно отразится на вашем еженедельном жалованье,— в том случае, если вам платят раз в неделю. Коротко говоря, либо предоставьте меня самому себе, и на том все кончится, либо везите в Лондон, и это будет только начало, причем, на мой взгляд, начало многих неприятностей. А теперь выбирайте.

— Тут и выбирать нечего,— сказал он,— отправляйтесь завтра в Эмершем или, если вам угодно, к самому дьяволу, я умываю руки. Нет уж, не стану я встревать между Роуменом и его клиентом! Отменно деловой человек, сэр, но безжалостный, что твой жернов. Я бы не удивился, если бы он выкинул меня за дверь! Но жаль, очень жаль,— прибавил он, вздохнул, покачал головой и с грустью отодвинул от себя стакан.

— Кстати,— сказал я,— меня разбирает любопытство, а вы можете его удовлетворить. Отчего вы привязались к бедняге Дюбуа? Отчего перенесли свое внимание на меня? И вообще с какой стати вы так всем докучали?

Мистер Даджен побагровел.

— Позвольте, сэр,— отвечал он.— Ведь существует же такое чувство — патриотизм!

ГЛАВА XVI

ВИКОНТ МИСТЕРА РОУЛИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ

Мы расстались с Дадженом на другое утро, часов в восемь. К этому времени мы уже чувствовали себя друг с другом как давние и добрые знакомые; мне очень не хотелось отпускать его от себя, я охотно взял бы его в Эмершем. Выяснилось, однако, что он должен воротиться в трактир, где мы с ним повстречались, ибо его туда призывали дела моего дядюшки, у которого в этой части графства находилось одно из отдаленных его име-

ний. Ежели бы прошлой ночью Даджен одержал надо мною верх, я был бы арестован на земле моего дядюшки и с помощью его же служащего — вот уж это было бы невезение так невезение!

Я нанял фаэтон и вскоре после полудня отправился к Данстейблу. При одном упоминании об Эмершеме всяк расплывался в улыбке и старался мне угодить. Имение и вправду было богатейшее, и дядя жил там на широкую ногу. По мере приближения к усадьбе слава ее росла, точно горная цепь: в Бедфорде, услыхав слово «Эмершем», ломали шапку, в Данстейбле — падали ниц. Я думал, хозяйка гостиницы бросится мне на шею: эта добрая женщина приняла меня с таким трепетным радушием, лицо ее то и дело озарялось такой счастливой улыбкой, она окружила меня таким трогательным вниманием и так засуетилась, что кудряшки ее пустились в пляс, а звон ключей разнесся по всему дому.

— Вас, верно, ждут в замке, сэр? Вам, уж конечно, лучше известно, сэр, как изволит себя чувствовать его светлость? У нас говорят, будто его светлость, мусью де Керуаль, очень плох. Ах, сэр, все мы будем об нем жалеть, больно он хороший да благородный джентльмен, бедняжка, а уж какой любезный — другого такого и не сыщешь! Говорят, сэр, богатство у него прямо сказочное, а до революции он был ну что твой принц! Но вы уж не взыщите, сэр, я совсем заболталась, а вы, небось, и без меня все знаете! По лицу видать, что вы ихнего роду, сэр. Я бы вас где ни встретила, враз бы признала, больно вы похожи на нашего дорогого виконта. Ах, бедняжка, у него, верно, сейчас так-то тяжело на сердце...

Из окна гостиницы я видел, что по улице прошествовал слуга в ливрее, какие носили у нас в доме, и какие, как вы, вероятно, полагаете, я не мог ни видеть, ни тем более запомнить. А мне нередко представлялось, что я стал маршалом или герцогом, что меня удостоили ордена Почетного легиона, и прочий подобный вздор, и что на пышных раутах в моем доме снуют толпы лакеев, одетых, как полагается, в ливреи цветов нашего рода. Но одно дело — воображать и совсем другое — увидеть наяву; одно дело, когда бы все эти ливрейные лакеи расхаживали по моему дому в Париже, и совсем другое — увидеть, как они щеголяют в этих ливреях в

самом сердце вражеской державы; и, боюсь, я поставил бы себя в смешное положение, если бы лакей шел не по другой стороне улицы, а окно в моем номере не оказалось слишком узко. Было что-то обманчивое в этом перемещении родовых богатств и почестей: ведь по самой природе своей они глубоко, всеми корнями уходили в ту, другую землю; что-то обманчивое было в чувстве, будто возвращаешься домой, когда на самом деле дом так далеко.

Начиная от Данстейбла подобные впечатления сыпались на меня чем дальше, тем пуще. Мало с чем можно сравнить английские замки или, вернее, загородные поместья английских аристократов и даже дворян помельче, и нигде не встретишь такого подобострастия, как у окрестного простонародья. Хотя ехал я всего лишь в наемном фаэтоне, все здешние жители уже знали, куда я направляюсь, и женщины, завидев мой экипаж, низко приседали, а мужчины уважительно кланялись. Когда я подъехал ближе, мне стало понятнее, чем вызвана эта всеобщая почтительность. От стены, окружавшей дядин парк, даже со стороны веяло царственным великолепием; а когда я увидел самый дом, меня обуяло своего рода тщеславие, гордость за дядю, и я буквально онемел и не мог отвести глаз от этого великолепного здания. Размерами дом был едва ли не с Тюильрийский дворец. Фасад его выходил прямо на север, и последние лучи солнца, которое, словно раскаленное докрасна пушечное ядро, тонуло в беспорядочно громоздящихся снежно-белых облаках, отражались в бесчисленных окнах. Портик, поддерживаемый дорическими колоннами, украшал фасад и сделал бы честь любому храму. Слуга, что встретил меня у дверей, был вежлив сверх всякой меры — я чуть было не сказал, оскорбительно вежлив; вестибюль, куда он провел меня, распахнув двустворчатые стеклянные двери, обогревался и уже отчасти освещался огромным камином, в котором ярко пылала груда буковых корней.

— Виконт Энн де Сент-Ив,— ответил я на вопрос слуги; тут он склонился еще ниже, отступил в сторону, и я оказался перед поистине грозным ликом дворецкого. На своем веку я повидал немало сановников, но всем им было далеко до сей замечательной личности, которая удостаивала отзываться на непритязательное имя Доусон. От него я узнал, что дядюшка совсем плох, доктор неотлучно находится при нем, с часу на час ждут мистера Роумена и нынче утром послали за моим кузеном, виконтом де Сент-Ивом.

— А что с ним, внезапный удар? — спросил я.

Нет, этого он бы не сказал. Постепенное угасание, сэр, но вчера его сиятельству и вправду внезапно стало много хуже, и он послал за мистером Роуменом, а несколько позднее дворецкий взял на себя смелость известить и виконта.

— Мне кажется, милорд,— прибавил он,— что пришел час, когда всей семье следует собраться вместе.

На словах, но отнюдь не в сердце своем я с ним согласился. Мне стало совершенно ясно, что Доусон печется об интересах моего кузена.

— Когда я могу надеяться увидеть графа, моего двоюродного деда? — спросил я.

Ввечеру — был ответ; а пока он проводит меня в мою комнату, которая уже давно меня дожидается, и, если мое сиятельство ничего не имеет против, через час нам с доктором подадут обед.

Мое сиятельство решительно ничего не имело против.

— Но в дороге со мною произошел досадный случай,— сказал я.— По несчастью, я лишился всего своего багажа, и у меня нет ничего, кроме того, что на мне. Ежели доктор строго придерживается светского обихода, я, право, даже не знаю, как быть, у меня нет никакой возможности явиться к столу в подобающем виде.

Дворецкий совершенно меня успокоил.

— Мы уже давно вас ожидаем, и все для вас готово,—сказал он.

Так оно и оказалось. Для меня была приготовлена комната внушительных размеров; в окна с частым переплетом проникали последние отблески зимнего заката и смешивались с игрою жаркого пламени в камине; постель была постлана, фрак и прочее платье проветривалось перед огнем, и из дальнего угла комнаты навстречу мне, искательно и робко улыбаясь, выступил слуга, совсем еще юнец. Мечта, которая издавна жила во мне, казалось, наконец-то исполнилась. Все было так, словно я лишь накануне покинул этот дом и эту комнату; я воротился домой и впервые в жизни понял силу слов «родной дом» и «добро пожаловать».

— Все ли здесь так, как вы бы желали, сэр? — спросил мистер Доусон.— А это Роули, он в полном вашем распоряжении. Он еще не то чтобы совсем обученный камердинер, но мусью Поуль, лакей господина виконта, преподал ему кой-какие уроки, и есть надежда, что из него выйдет толк. Коли вам что понадобится, сэр, вы только извольте приказать Роули, а я почту долгом приглядеть, чтобы все исполнено было самолучшим образом.

Изрекши все это, величественный и уже ненавистный мне мистер Доусон удалился и оставил меня наедине с Роули. Могу сказать, что сознание мое впервые пробудилось в тюрьме Аббатства, среди мужественных и честных людей, являвших собою зрелище порою прекрасное, а порою трагическое, которые в ожидании часа казни лишены были всякого комфорта, и я никогда не знал роскоши и удобств, привычных для человека моего круга. Мне прислуживали только в гостиницах. Своим туалетом я долгое время занимался на военный лад, по большей части в траншее, да и то наспех, пока не заиграют сигнал к атаке. И не удивительно, что я поглядел на своего камердинера с некоторой даже робостью. Но тут же вспомнил, что если он мой первый камердинер, то ведь и я его первый господин. Мысль эта меня подбодрила, и голосом, исполненным уверенности, я потребовал ванну. Ванная комната оказалась тут же, за стеною; вода была нагрета с неправдоподобной быстротой, и в скором времени, запахнувшись в халат и наслаждаясь ощущением довольства и комфорта, я откинулся на спинку кресла перед зеркалом, а Роули со смешанным чувством гордости и тревоги, мне вполне понятным, приготовлял все необходимое для бритья.

— Вот что, Роули,— заговорил я, еще не решаясь вверить себя столь неопытному командиру.— Надежное ли это дело? Ты хорошо владеешь своим оружием?

— Да, милорд,— отвечал он.— Уверяю вас, ваше сиятельство, можете на меня положиться.

— Прошу прощения, мистер Роули, но для краткости не называй меня, пожалуйста, вашим сиятельством, когда мы с тобою наедине,— сказал я.— Говори просто мистер Энн, этого вполне достаточно Так принято у меня на родине, и, я полагаю, тебе это известно.

Он поглядел на меня озадаченно.

— Но ведь вы такой же виконт, как виконт мистера Поуля, разве нет? — спросил он.

— Как виконт мистера Поуля? — со смехом повторил я.— Можешь быть совершенно спокоен, виконт мистера Роули ни в чем ему не уступит. Но, видишь ли, так как я происхожу от младшей ветви, я прибавляю к титулу свое имя. Ален — виконт, а я — виконт Энн. И, называя меня мистер Энн, ты нисколько не погрешишь против этикета.

— Как прикажете, мистер Энн,— послушно отвечал юноша.— А вот насчет бритья, сэр, будьте благонадежны и ничего не опасайтесь. Мистер Поуль говорит, я очень к этому делу способный.

— Мистер Поуль? — повторил я.— По-моему, это совсем не французское имя.

— Нет, не французское, сэр, конечно, нет, милорд,— в порыве откровенности отвечал мой слуга.— Конечно же, нет, мистер Энн, никакое оно не французское. По-настоящему-то его уж, верно, зовут мистер Поул.

— Стало быть, мистер Поуль — камердинер виконта?

— Да, мистер Энн,— отвечал он.— У него тяжелая должность, очень тяжелая. Виконт уж больно привередливый господин. Вы, по-моему, не такой, мистер Энн,— прибавил он, доверительно улыбаясь мне в зеркале.

Роули можно было дать лет шестнадцать; был он строен, лицо имел приятное, веселое, осыпанное веснушками, а в глазах у него плясали задорные огоньки. Глядел этот плут и робко-просительно и восхищенно — выражение, которое сразу показалось мне знакомым. Я вспомнил свое отрочество, вспомнил свои страстные, давно миновавшие восторги и предметы этих восторгов, давно развенчанные или покончившие счеты с нашим миром. Помню, как жаждал я всякий раз служить очередному обожаемому мною герою, как говорил себе, что рад бы пойти за него на смерть, и насколько значительней и прекрасней они мне казались, чем были на самом деле. И сейчас, глядя в зеркало на лицо Роули, я словно улавливал в нем чуть приметное отражение, отблеск того света, которым озарена была моя юность. Я всегда утверждал (отчасти наперекор своим друзьям), что прежде всего я человек бережливый и, уж конечно,

нипочем не расстанусь с такой великой ценностью, как мальчишеское преклонение.

— Послушай, мистер Роули,— сказал я,— да ты превосходный брадобрей!

— Спасибо на добром слове, милорд,— отвечал он.— Мистер Поуль нисколько не боялся, когда я его брил. Да разве я пошел бы на такую должность, сэр, ежели бы не был вполне в себе уверен по этой части. Мы ведь поджидали вас целый месяц и уж как готовились к вашему приезду! День ото дня поддерживали огонь в камине, и постель всегда была постлана, ну, и все прочее тоже! Как стало известно, что вы приедете, сэр, так меня и определили на эту должность, и уж с того часу я вертелся как белка в колесе. Только услышу, кто-то подъезжает к дому,— пулей к окну! Сколько раз, бывало, обманывался, а нынче только вы из фаэтона вышли, я враз признал, что это мой... что это вы и есть. Ну и ждали же вас! А уж нынче как приду ужинать, я буду в людской первый человек: всей прислуге страх как охота все про вас разузнать!

— Что ж,— сказал я,— надеюсь, ты дашь обо мне недурной отзыв: дескать, трезвый, серьезный, усердный, нрава спокойного и с наилучшими рекомендациями с последнего места службы!

Он смущенно засмеялся.

— У вас кудри больно хороши,— сказал он, видно, желая переменить разговор.— Правда, виконт тоже ходит весь в кудрях, только вот потеха, мистер Поуль говорит, волосы-то у него не сами вьются, от природы-то они прямые, ровно палки. Стареет наш виконт. Больно веселая у него жизнь, правду я говорю, сэр?

— Я, видишь ли, почти ничего о нем не знаю,— отвечал я.— Разные ветви нашего рода уже давно живут врозь, да притом я чуть не с детства солдат.

— Солдат, мистер Энн? — пылко воскликнул Роули.— И ранены были?

Не могу же я разочаровать человека, если он мною восхищается, это противу моих правил, а потому я спустил с плеча халат и молча показал шрам от раны, полученной в Эдинбургской крепости. Роули посмотрел на него с благоговейным страхом.

— Вон что,— продолжал он,— отсюда и разница! Все дело в том, как проживешь свой век. Тот виконт

только и знает, что скачки да игру в кости, и так всю жизнь. Что ж, это как полагается, но только я вот что скажу: толку от этого чуть. А вот...

— А вот — что, мистер Роули? — подбодрил я его, ибо он умолк.

— Да, милорд? — отозвался он.— Что ж, сэр, я и впрямь так говорил. А теперь, как вас увидел, и опять скажу!

Я не мог не улыбнуться при этом взрыве, и мошенник поймал в зеркале мою улыбку и улыбнулся мне в ответ.

— И опять скажу, мистер Энн,— вновь заговорил он.— Я ведь много чего понимаю. Я могу отличить, кто настоящий джентльмен, а кто нет. Пускай мистер Поуль катится куда подале вместе со своим хозяином! Прошу прощенья, мистер Энн, за этакие слова,— прибавил он, вдруг покраснев до ушей.— Мистер Поуль особливо предупреждал меня не болтать лишнего.

— Благопристойность прежде всего,— сказал я.— Бери пример со старших по чину.

После этих моих слов мы занялись одеванием. Я удивился, что все предметы туалета превосходно сидят на мне: не кое-как, подобно солдатскому обмундированию или готовому платью, а так хорошо пригнаны, словно они вышли из рук искусного, опытного художника, работавшего с любовью и для приятного ему заказчика.

— Поразительно! — воскликнул я.— Все мне как раз впору.

— А как же, мистер Энн, ведь у вас и рост и вся стать одинаковые,— сказал Роули.

— У кого у нас? О ком ты? — спросил я.

— О виконте,— отвечал он.

— Проклятие! Так что же, это платье тоже принадлежит виконту? — воскликнул я.

Но Роули поспешил меня успокоить. Едва стало известно, что я приезжаю, граф озаботился, чтобы моим гардеробом занялись его собственный портной и портной виконта; а так как, по слухам, мы друг с другом очень схожи, платье мне шили по меркам Алена.

— Все делалось нарочно для вас, мистер Энн. Уж не сомневайтесь, граф ничего не делает кое-как: огонь в каминах жгли день и ночь, платье заказали самолучшее, и слугу для вас тут же стали обучать.

— Что ж,— сказал я,— огонь хорош, платье лучше некуда, да и слуга под стать, мистер Роули!.. И надобно еще сказать о моем кузене — о виконте мистера Поуля,— фигура у него отменная.

— Да вы не верьте, мистер Энн,— заявил всезнающий Роули,— его затягивают в корсет, а то бы ему нипочем не влезть в свое платье.

— Ну, ну, мистер Роули,— сказал я,— это уж называется сплетничать и выносить сор из избы! Не обманывайся. Знаменитейшие мужи древности, в том числе и Цезарь, и Ганнибал, и папа Иоанн, были бы очень рады, ежели бы в наших с Аленом летах могли последовать его примеру. Это общая беда и, право же,— сказал я, отвешивая себе в зеркале поклон, словно собрался танцевать менуэт,— когда плод трудов так хорош, у кого повернется язык сказать худое слово?

С туалетом было покончено, и я отправился навстречу новым приятным неожиданностям. Моя комната, мой слуга, мое платье превзошли самые смелые надежды; обед — суп да и все прочие блюда — пробуждал аппетит. Кто бы мог подумать, что человеку под силу столько съесть за один раз! Я даже не предполагал, что на свете найдется гениальный повар, способный сотворить из обыкновенной говядины и баранины столь разнообразные и восхитительные деликатесы. Вино не уступало всему прочему, доктор оказался приятнейшим собеседником, и к тому же я не мог удержаться от мысли, что, быть может, именно я стану обладателем всего этого богатства, всей роскоши и изобилия. Это, разумеется, никак не походило ни на жизнь простого солдата и обед из солдатского котла, ни на жизнь узника и его скудный рацион, ни на прозябание беглеца и ужасы крытой повозки.

ГЛАВА XVII

СУМКА ДЛЯ БУМАГ

Едва отобедав, доктор извинился и поспешил к больному; почти тотчас позвали и меня и по широкой лестнице, а потом бесчисленными коридорами повели в спальню моего двоюродного деда. Не забудьте, что до сей минуты я еще не встречался с этим необыкновенным

человеком, видел лишь доказательства его богатства и доброты. Вспомните также, что с малых лет я слышал, как его бесчестят и поносят. В обществе, в котором вращался мой отец, первый эмигрант никак не мог рассчитывать на доброе слово. По рассказам, что до меня доходили, мне нельзя было составить о нем ясного понятия; даже Роумен нарисовал не слишком привлекательный его портрет, и, когда меня ввели в комнату графа, я поглядел на него критическим взором. Он полулежал, полусидел на подушках на узенькой кроватке, не шире походной койки, и словно не дышал. Ему было около восьмидесяти, и он не выглядел моложе своих лет; не то чтобы лицо его было слишком изборождено морщинами, но казалось, во всем теле его больше нет ни кровинки, все краски выцвели, выцвели даже глаза, которые он теперь уже почти не открывал, точно свет утомлял его. Однако в выражении его лица было столько насмешливого коварства, что мне стало не по себе, почудилось, будто, лежа вот так, со скрещенными на груди руками, он, точно паук, подстерегает жертву. Речь его была неспешна и учтива, но не громче вздоха.

— Приветствую вас, Monsieur le Viconte Anne[1],— сказал он, глядя на меня в упор поблекшими глазами, но не шевелясь на своих подушках.— Я посылал за вами и благодарю вас за любезность, с коей вы поспешили исполнить мою просьбу. На свою беду, я не могу встать, чтобы поздороваться с вами должным образом. Надеюсь, вам в моем доме оказали достойный прием?

— Monsieur mon oncle[2],— сказал я с низким поклоном,— я почел долгом явиться на зов старшего в роде.

— Превосходно,— сказал он.— Благоволите сесть. Я был бы рад услышать некоторые новости — если только можно назвать новостями события, которым минуло уже двадцать лет,— о том, чему в конечном счете я обязан удовольствием видеть вас здесь.

От нерадостных воспоминаний, которые нахлынули на меня при этих его словах, а также и от холодности его обращения мною овладело уныние. Мне казалось, я попал в пустыню, где нет ни единой близкой души, и

---

[1] Господин виконт Энн *(франц.)*.
[2] Досточтимый дядюшка *(франц.)*.

слова восторженной благодарности за оказанный мне прием замерли у меня на губах.

— Это недолгий рассказ, ваша светлость,— сказал я.— Сколько я понимаю, вам известно, как закончили свой жизненный путь мои несчастные родители? Остальное — всего лишь обычная судьба бездомного щенка.

— Вы правы,— сказал он.— Я знаком с этой прискорбной историей и сожалею о случившемся. Мой племянник, ваш отец, был из тех, кто не внемлет ничьим советам. Будьте любезны, просто расскажите мне о себе.

— Боюсь, поначалу я рискую оскорбить ваши чувства,— заговорил я с горькой улыбкой,— ибо повесть моя начинается у подножия гильотины. Когда в ту ночь огласили список и в нем оказалось имя моей матушки, я был уже достаточно взрослым, если не по годам, то по скорбному опыту, чтобы понять меру постигшего меня несчастья. Она...— На минуту я умолк.— Довольно будет сказать, что ее подруга, мадам де Шассераде, обещала ей позаботиться обо мне, и тюремщики наши соблаговолили разрешить мне остаться в Аббатстве. То было единственное мое убежище; во всей Франции не нашлось иного угла, кроме тюрьмы, где я мог бы приклонить голову. Я думаю, граф, вы не хуже меня представляете себе, что это была за жизнь и как там свирепствовала смерть. Прошло совсем немного времени, и в списке появилось имя мадам де Шассераде. Она препоручила меня заботам мадам де Нуайто, а та, в свой черед, передала меня мадмуазель де Брей; у меня было еще много попечительниц. Я оставался, а они сменялись, как облака; два-три дня они заботились обо мне, а потом приходилось прощаться навеки, и где-то в окружавшем нас бушующем Париже наступала кровавая развязка. Я был последнею любовью, единственным утешением этих обреченных женщин. Мне довелось участвовать во многих жестоких сражениях, милорд, но такого мужества я более не встречал. Все там делалось с улыбкой, как и полагается в высшем свете; belle maman[1] — так научили меня называть моих попечительниц, и день-другой новая «милая мамочка» лелеяла меня, развлекала, учила танцевать менуэт и читать молитвы, а потом, нежно обняв на прощание, с улыбкой отправлялась по пути своих предшественниц. Были и такие, которые плакали. И все это называлось детством! А тем временем мсье де Кюламбер не спускал с меня глаз и хотел взять из Аббатства под свою опеку, но мои «милые мамочки» одна за другой противились его желанию. Где я буду в большей безопасности, возражали они, и что станется с ними без их любимца? Что ж, скоро я узнал, какова она, эта безопасность! Наступил страшный день резни; в тюрьму ворвались толпы народа; на меня никто не обращал внимания, даже последняя моя «милая мамочка», ибо ее постигла ужасная судьба. Я бродил в совершенной растерянности, пока меня не отыскал какой-то человек, явившийся от мсье де Кюламбера. По-видимому, его нарочно за этим и отрядили; чтобы проникнуть внутрь тюрьмы, он, похоже, запятнал себя немалой кровью — такова была цена, заплаченная за ничтожное, хнычущее существо! Он взял меня за руку—его рука была влажная, и моя тотчас окрасилась алым,— и я без всякого сопротивления пошел с ним. Когда мы поспешно покидали тюрьму, я запомнил лишь одно: какою в эту минуту расставания увидел я мою последнюю «милую маму». Желаете, чтобы я рассказал вам об этом, граф? — с внезапной горячностью спросил я.

— Не вдавайтесь в неприятные подробности,— бесстрастно сказал граф.

И при этих его словах я столь же внезапно остыл. Еще минуту назад я был на него зол, я не хотел его щадить, а в это мгновение вдруг понял, что щадить некого. От природного ли бессердечия, оттого ли, что уж очень он был стар годами, но только душа не обитала в этом теле, и мой благодетель, который в ожидании меня целый месяц поддерживал огонь в моей комнате, единственный мой родич — если не считать Алена, оказавшегося наемным шпионом,— затоптал последнюю, еще теплившуюся во мне искру надежды и интереса.

— Да, разумеется,—сказал я.— К тому же и рассказ о том неприятном дне подходит к концу. Меня привели к мсье де Кюламберу — я полагаю, сэр, вам известен аббат де Кюламбер?

Граф кивнул, не открывая глаз.

— Он был на редкость храбрый и ученый человек...

[1] Милая мама, мамочка *(франц.)*.

— И поистине святой,— любезно прибавил дядя.
— И поистине святой, как вы справедливо заметили,— продолжал я.—В дни террора он делал бесконечно много добра и, однако, избежал гильотины. Он воспитал меня и дал мне образование. Это в его доме в Даммари, близ Мелена, я познакомился с вашим поверенным мистером Вайкери, который прятался там, но в конце концов пал жертвой банды chauffeurs.
— Бедняга Вайкери! — заметил дядя.— Он много раз бывал во Франции по моим поручениям, и это была его первая неудача. Quel charmant homme, n'est-ce pas[1]?
— Необыкновенно милый,— отвечал я.— Но мне не хочется далее затруднять вас этим рассказом, ведь подробности таковы, что вам, естественно, не слишком приятно будет их слушать. Довольно сказать, что по совету самого мсье де Кюламбера я восемнадцати лет распрощался с этим своим добрым наставником и его книгами и пошел служить Франции; с той поры я воевал и старался при этом не посрамить свой род.
— Вы недурной рассказчик; vous avez la voix chaude[2],— сказал дядя, поворотясь на подушках, словно бы желая получше меня разглядеть.— Мне дал о вас отменный отзыв мсье де Мозеан, которому вы помогли в Испании. Значит, аббат де Кюламбер, сам человек хорошего рода, дал вам образование. Да, вы вполне подходите. У вас отличные манеры, приятная внешность, а это никогда не лишнее. У нас в роду у всех приятная внешность, даже за мною числятся кое-какие победы, и память о них радует меня и по сей день. Я намерен, племянник, сделать вас своим наследником. Я не слишком доволен старшим моим племянником, мсье виконтом: он не оказывал мне должного уважения, а ведь это была бы всего лишь дань моим летам. Есть у меня и другие причины для недовольства.

Я готов был наотрез отказаться от этого столь холодно предложенного наследства. Однако же нельзя было не принять во внимание, что граф уже стар и, как-никак, мне родня; притом я был беден, как церковная мышь, находился в крайне затруднительном положении, а в сердце моем жила надежда, которая благодаря этому наследству могла, пожалуй, сбыться. Нельзя также забывать, что, несмотря на свою холодность, дядя мой с самого начала был чрезвычайно щедр и... я чуть было не написал — добр, но слово это к нему никак не идет. Нет, право же, я обязан ему некоторой благодарностью, и отплатить за его заботы оскорблением, да еще когда он лежит на смертном одре, было бы попросту неприлично.

[1] Милейший человек, не правда ли? *(франц.)*.
[2] Вы говорите с таким чувством *(франц.)*.

— Ваша воля, мсье, для меня закон,— сказал я с поклоном.
— Вы умны, monsieur mon neveu[1],— сказал он,— и ум ваш самого драгоценного свойства: вы не болтливы. Многие на вашем месте оглушили бы меня изъявлениями благодарности. Благодарность! — с каким-то особым выражением повторил он, снова опустился на подушки и улыбнулся про себя.— Но поговорим о материях более существенных. Вы ведь военнопленный — имеете ли вы право наследовать английские имения? Я этого не знаю; хоть я и прожил в Англии много лет, но не изучал их так называемые законы. С другой стороны, как быть, если Роумен не поспеет вовремя? Мне осталось совершить два дела: умереть и составить завещание,— и сколь бы я ни желал быть вам полезен, я не могу отложить первое дело ради второго — разве лишь на несколько часов.
— Что ж, сэр, в этом случае я постараюсь обойтись без наследства, как обходился прежде.
— Нет,— возразил граф.— У меня есть другая возможность. Я только что снял все деньги со своего счета в банке, сумма изрядная, и я намерен, не откладывая, вручить ее вам. Вы получите всю эту сумму, и тем самым меньше достанется тому...— Он умолк и так зло усмехнулся, что я был поражен.— Но передать вам эти деньги необходимо при свидетелях. У господина виконта нрав весьма своеобразный, и, если дар не будет засвидетельствован, сей господин без зазрения совести обвинит вас в воровстве.

Он позвонил, и на его зов тот же час явился какой-то человек, по всей видимости, камердинер, пользующийся особым доверием своего господина. Граф отдал ему ключ.

[1] Племянник (буквально — господин племянник) *(франц.)*.

— Лаферьер, принесите сумку для бумаг, что привезли вчера,— распорядился он.— Кроме того, засвидетельствуйте мое почтение доктору Хантеру и мсье аббату и попросите их на несколько минут пожаловать ко мне.

Кожаная сумка для бумаг оказалась весьма объемистой и туго набитой. Она была вручена мне на глазах у доктора и милейшего улыбающегося старика священника, причем владелец ее весьма ясно и определенно выразил свою волю; сразу после этого мсье де Керуаль отпустил меня, и я отправился к себе в сопровождении Лаферьера, который нес бесценную сумку, доктор же и священник задержались, чтобы вместе составить и подписать свидетельство о передаче мне денег.

Подле своей двери я взял у Лаферьера сумку, поблагодарил его и сказал, что он может идти. В комнате моей все уже было приготовлено на ночь: занавеси спущены, огонь в камине догорал, и Роули старательно стелил постель. Когда я вошел, он обернулся так радостно, что на душе у меня потеплело. Право же, сейчас, став обладателем целого состояния, я, как никогда прежде, нуждался в добром отношении, пусть даже не бог весть каком глубоком. В комнате дяди меня обдало холодом разочарования. Он осыпал меня золотом, но в его присутствии угасала без пищи последняя искра возвышающих душу чувств. От этой встречи сердце мое оледенело, и мне довольно было взглянуть на юное лицо Роули, чтобы тот же час проникнуться к нему доверием: Роули совсем еще мальчик, душа его не успела зачерстветь, в нем, конечно, еще живы и некоторая наивность и простые человеческие чувства; он может даже сболтнуть какую-нибудь глупость, это не машина, произносящая гладко отшлифованные фразы! Впрочем, мучительное впечатление от встречи с дядей уже рассеивалось, я начинал приходить в себя, и, увидав веселую, бездумную физиономию мистера Роули, который кинулся, чтобы взять сумку, мсье Сент-Ив снова стал самим собой.

— Ну-ну, Роули, не спеши,— сказал я.— Тут дело нешуточное. Ты находишься у меня в услужении с младых ногтей, уже около трех часов. Должно быть, ты успел заметить, что я человек суровый и не терплю даже намека на фамильярность. Мистер Поуль, или Поул, видно, оказался пророком и остерег тебя против сей опасности.

— Да, мистер Энн,— растерянно отозвался Роули.

— Но сейчас выпал один из тех редких случаев, когда я намерен отступить от своего правила. Дядя преподнес мне подарок, что называется, рождественский подарок, он в этой сумке. Каков этот подарок, я не знаю, и ты тоже не знаешь; возможно, меня надули, а возможно, я уже обладатель несметных богатств; в этом скромном на вид вместилище может оказаться пятьсот фунтов.

— Да неужто, мистер Энн! — воскликнул Роули.

— Так вот, Роули, протяни правую руку и повторяй за мною слова клятвы,— сказал я, положив сумку на стол.— Чтоб меня перекосило, чтоб мне почернеть и посинеть, если я когда-нибудь открою мистеру Поулю, или виконту мистера Поуля, или кому-либо из родни мистера Поуля, из его друзей и знакомых, не говоря уже о мистере Доусоне и о докторе, какие сокровища содержатся в сей сумке; чтоб мне провалиться в самые черные тартарары, если я не буду весь век охранять, блюсти, оберегать, любить и почитать нижепоименованного, вышеупомянутого (тут я спохватился, что назваться-то и позабыл) виконта Энна де Керуаля де Сент-Ива, попросту называемого виконтом мистера Роули, если я не буду повиноваться ему беспрекословно, служить верой и правдой, следовать за ним по всему свету, по земле, по воде и под землей. Быть по сему. Аминь!

Он повторил слова клятвы с той же преувеличенной серьезностью, с какой я их произносил.

— А теперь,— сказал я,— вот тебе ключ. Я же обеими руками буду держать крышку.— Роули повернул ключ.— Принеси все свечи, какие здесь есть, и поставь их рядом с этой сумкой. Что там может быть? Голова Горгоны? Чертик-попрыгунчик? Пистолет-самострел? На колени, сэр, и ждите чуда.

С этими словами я перевернул сумку вверх дном. И в изумлении застыл перед грудой золота и кредиток, что рассыпались на столе меж свечами и попадали на пол.

— О господи! — воскликнул Роули.— Ох, господи боже милостивый! — и кинулся подбирать упавшие на пол гинеи.— Ох, мистер Энн, да вы только поглядите,

сколько денег! Все равно как в книжке! Все равно как в сказке про Али Бабу и сорок разбойников.

— Ну, вот что, Роули, будем вести себя хладнокровно и по-деловому,— сказал я.— Богатство обманчиво, в особенности же когда оно несчитанное, и прежде всего надобно узнать, каково же мое... ну, скажем, скромное состояние. Ежели я не ошибаюсь, тут с лихвой хватит на то, чтобы ты до конца жизни ходил в ливрее с золотыми пуговицами. Собери золото, а я займусь кредитными билетами.

Итак, мы расположились на коврике перед камином, и некоторое время в комнате только и слышно было, что шелест ассигнаций да позвякиванье гиней, изредка прерываемые восторженными восклицаниями Роули. Подсчеты оказались долгими и кого другого, наверно, сильно бы утомили, но только не меня и не моего помощника...

— Десять тысяч фунтов,— провозгласил я наконец.

— Десять тысяч! — эхом отозвался Роули.

И мы уставились друг на друга.

У меня захватило дух — так огромно было это богатство. С такими деньгами мне не страшны никакие враги. В девяти случаях из десяти в тюрьму попадают не оттого, что полиция хитра и проницательна, но оттого, что у людей мало денег; а в сумке для бумаг, лежащей передо мною, хранились самые разнообразные возможности и ухищрения, которые обеспечивали мне совершеннейшую безопасность. Более того, вдруг подумал я — и при одной мысли об этом затрепетал от волнения,— обладая десятью тысячами, я становился весьма достойным женихом. Все ухаживания, что я позволял себе прежде, когда был простым солдатом в военной тюрьме или беглым военнопленным, можно было объяснить или даже извинить как поступки вконец отчаявшегося человека. Теперь же я могу войти в дом с парадного крыльца, могу приблизиться к грозному дракону в сопровождении стряпчего и предложить вполне солидное обеспечение. Несчастный военнопленный француз Шандивер ежеминутно опасался ареста, но богатый англичанин Сент-Ив, разъезжающий в собственной карете с туго набитой деньгами сумкой для бумаг, может ничего не бояться, может смеяться над тюремщиками. Я с торжеством повторил про себя пословицу: «Любовь смеется над замками». В одно мгновение, оттого только, что у меня появились деньги, любовь моя перестала быть запретной, она приблизилась ко мне, стала достижимой, и, возможно, таковы уж странности человеческой натуры, но от этого она разгорелась еще ярче.

— Роули,— сказал я,— будущее твоего виконта обеспечено.

— И мое тоже, сэр,— отвечал Роули.

— Да, и твое тоже,— согласился я.— И ты будешь плясать на моей свадьбе.— С этими словами я кинул в него пачкой кредиток, и только успел высыпать ему на голову горсть золотых, как дверь распахнулась и на пороге встал мистер Роумен.

ГЛАВА XVIII

МИСТЕР РОУМЕН РАЗНОСИТ МЕНЯ В ПУХ И ПРАХ

Застигнутый врасплох за таким занятием, я почувствовал себя последним дураком, неловко поднялся и поспешил приветствовать гостя. Он не отказался пожать мне руку, но сделал это с такой сдержанностью и холодностью, что я растерялся, и лицо его при этом выражало крайнюю озабоченность и суровость.

— Итак, сэр, вы здесь? — сказал он голосом, не предвещавшим ничего хорошего.— И ты здесь, Джордж? Можешь идти, у меня дело к твоему господину.

Он выпроводил Роули и запер за ним дверь. Потом опустился в кресло у камина и посмотрел на меня взглядом строгим и непреклонным.

— Право, не знаю, как начать,— заговорил он.— Вы завели нас в такой редкостный лабиринт грубейших промахов и препон, что я решительно не знаю, с чего начать. Пожалуй, лучше всего, если вы сперва прочитаете вот это сообщение.

И он протянул мне газету.

Заметка оказалась совсем краткой. Она извещала о том, что схвачен один из военнопленных, совершивших недавно побег из Эдинбургской крепости: имя его — Клозель. Далее говорилось, что он рассказал подробно-

сти случившегося недавно в крепости гнусного убийства и открыл имя убийцы:

«Это рядовой солдат Шандивер, он также бежал из крепости и, по всей вероятности, разделил судьбу своих товарищей. Несмотря на тщательные поиски вдоль залива Форт и по Восточному побережью, до сих пор не удалось обнаружить никаких следов шлюпа, который эти лиходеи захватили в Грейнджмуте, и теперь можно сказать почти с полной уверенностью, что они покоятся на дне морском».

При чтении этой заметки сердце у меня упало. Мигом рушились мои воздушные замки, и сам я, минуту назад всего лишь беглый военнопленный, обратился в преследуемого властями убийцу, которого ждет виселица; теперь нечего было и мечтать о возлюбленной, которая еще несколько мгновений назад казалась мне столь близкой и достижимой. Но отчаяние, охватившее было меня, длилось недолго. Я понял, что товарищам моим все же удалось осуществить их почти фантастический план и что считается, будто я был вместе с ними и погиб при кораблекрушении — по общему мнению, именно так и окончилось их дерзкое предприятие. Ежели полагают, что я покоюсь на дне Северного моря, я могу не опасаться, что ко мне станут особенно приглядываться на улицах Эдинбурга. Им нужен был Шандивер, а что у него общего с Сент-Ивом? Конечно, повстречайся я с майором Шевениксом, он безусловно меня узнает — на этот счет не могло быть никаких сомнений: он так часто меня видел, его интерес ко мне под конец так раз горелся, что его не обмануть никакими хитростями и маскарадами. Ну что ж, даже если и так, ему придется выбирать между объяснениями, которые я дал ему одному, и показаниями Клозеля. Он знает Клозеля, знает меня и, конечно же, решит в пользу человека чести. К тому же перед моим мысленным взором так ослепительно засиял образ Флоры, что я позабыл обо всех прочих соображениях; кровь во мне закипела, и я поклялся, что увижу и завоюю ее, хотя бы и ценою собственной жизни

— Да, это неприятно,— сказал я, возвращая газету мистеру Роумену.

— Вы полагаете это всего лишь неприятным? — спросил он.

— Если угодно, весьма досадным,— отвечал я.

— И это правда? — спросил он.

— Что ж, в известном смысле правда,— отвечал я.— Но, быть может, дело станет вам яснее, если я изложу все обстоятельства?

— Разумеется,— согласился он.

Я поведал ему все, что мне казалось необходимым, о нашей ссоре, дуэли и смерти Гогла и о том, что представляет собою Клозель. Мистер Роумен слушал мрачно и безмолвно, что отнюдь меня не радовало, и ничем не выдавал своих чувств, только при описании поединка на ножницах его багровый румянец заметно слинял.

— Надеюсь, я могу вам верить?—сказал он, когда я закончил свою повесть.

— В противном случае беседа наша окончена,— отвечал я.

— Неужто вы не в состоянии понять, что мы обсуждаем сейчас дела величайшей важности? Неужто вы не в состоянии понять, что я обременен тяжким грузом ответственности за вашу судьбу и что сейчас не время разыгрывать забияку, да еще перед кем — перед вашим же поверенным! Бывают минуты, от которых зависит вся дальнейшая жизнь, мистер Энн,— продолжал он сурово.— Вы совершили тяжкое уголовное преступление, оно носит поистине зверский характер и осложнено на редкость неприятными обстоятельствами: налицо этот Клозель, который (судя по вашему же отзыву) относится к вам с крайней враждебностью и способен под присягой утверждать, что черное есть белое; все прочие свидетели рассеяны по свету или утонули в море; прибавьте к этому естественное предубеждение против француза, да еще в придачу беглого военнопленного; все это в совокупности ставит перед вашим поверенным чрезвычайно трудную задачу, и ваше неисправимое легкомыслие и безрассудство нисколько ее не облегчают.

— Виноват, как вы сказали?!

— О, я весьма тщательно выбирал выражения,— отвечал он.— За каким занятием я застал вас, сэр, когда пришел объявить о сей катастрофе? Вы, точно неразумное дитя, сидели на ковре и играли со своим слугой, не так ли? И весь пол был усыпан золотом и кредитными билетами. Хороша картинка, нечего сказать! Ваше сча-

стье, что вошел я. А ведь с таким же успехом вместо меня мог войти кто угодно — хотя бы, скажем, ваш кузен.

— Мне нечего вам возразить, сэр,— признался я.— Я пренебрег всеми предосторожностями, и вы вправе негодовать. A propos, мистер Роумен, как вы-то сами оказались в этом доме и давно ли вы здесь? — прибавил я, задним числом удивившись, что не слышал, как он подъехал.

— Я приехал в карете, запряженной парой лошадей,— отвечал он— Любой мог бы меня услышать. Но вы, я полагаю, не прислушивались? Вы были веселы и беззаботны, несмотря на то, что находитесь в доме своего заклятого врага и к тому же вам грозит смертная казнь! Я здесь уже достаточно давно и успел уладить ваши дела. Да-да, я сделал это, бог мне судья, сделал, даже не спросив объяснений по поводу сей заметки. Завещание подготовлено было раньше, теперь оно подписано, и ваш дядя ничего не знает о вашем последнем художестве. Вы спросите, почему? Да потому, что я не желал тревожить его на смертном одре; могло оказаться, что обвинение ложное, а кроме того, по мне уж лучше убийца, нежели шпион.

Да, спору нет, поверенный был на моей стороне, однако столь же бесспорно, что дурное расположение духа и тревога за исход всего предприятия побуждали его выражаться весьма неделикатно.

— Быть может, вам покажется, что я излишне чувствителен,— заговорил я,— но вы употребили одно слово...

— Я употребляю слова, которые точно определяют суть дела, сэр! — воскликнул он, хлопнув ладонью по газете.— Вот тут все написано черным по белому. И напрасно вы так спокойны: суда ведь еще не было и вас еще не оправдали. Это — скверное дело, оно дурно пахнет. Сейчас все это весьма некстати. Я отдал бы на отсечение собственную руку... вернее сказать, я выложил бы сотню фунтов, лишь бы не иметь к этому никакого касательства Но при том, как все сложилось, нам надо действовать немедля. Выбора нет. Вам следует немедля покинуть Англию и отправиться во Францию, или в Голландию, или хоть на Мадагаскар.

— Я хотел бы сказать два слова.

— Ни единого звука,— возразил он.— Тут не о чем спорить. Все ясно как божий день. Вы умудрились поставить себя в такое чудовищное положение, что следует надеяться единственно на отсрочку разбирательства. Возможно, придет время, когда дело примет другой оборот. Но не сейчас, сейчас вам грозит виселица.

— Вы сильно заблуждаетесь, мистер Роумен,— сказал я.— Я вовсе не стремлюсь на скамью подсудимых. Напротив того, я не менее вас желаю отложить свое первое там появление. С другой стороны, я вовсе не намерен покинуть Англию: она чрезвычайно пришлась мне по вкусу. Я малый не промах, у меня хорошо подвешен язык, вполне приличный выговор, и благодаря дядюшкиному великодушию карманы полны денег. При столь удачном стечении обстоятельств странно было бы, ежели бы мистер Сент-Ив не обрел где-нибудь тихого пристанища, покуда власти тешат себя поисками Шандивера. Вы забываете, ничто не связует эти две личности.

— А вы забываете о своем кузене,— возразил Роумен.— Вот вам и связующее звено. Вот вам и ключ к загадке. Он-то знает, что Шандивер — это вы.— Роумен приставил ладонь к уху, словно прислушиваясь, и тут же воскликнул: — Пари держу, вот и он сам!

Со стороны подъездной аллеи донесся своеобразный звук — словно портной кинул штуку материи на стол и отрывает от нее кусок: то мчалась к дому карета четвериком. Слегка раздвинув шторы, мы увидели на пологом склоне холма огни фонарей, с каждым мгновением они становились все ярче.

— Да-а,— молвил Роумен, протирая стекло, чтобы лучше видеть.— Да-а, так гнать лошадей может только он, больше некому! Сыплет деньгами, дурак набитый! Швыряет золото каждому встречному и поперечному, лишь бы поскорей поспеть, а куда? В долговую яму, вот куда, а то и похуже — в уголовную тюрьму!

— Так вот он каков?! — спросил я, вглядываясь в фонари кареты, словно они могли открыть мне, что за человек мой кузен.

— Он таков, что иметь с ним дело опасно,— отвечал поверенный.— Для вас эти огни — грозный знак, будьте начеку. Да, вот заговорил о нем — и призадумался: какое почтение и трепет внушал он прежде, как был

представителен! И как близка минута, когда он будет повержен во прах! Здесь никто его не любит, скорее, мы даже ненавидим его, и, однако, у меня такое чувство... вряд ли в мои лета это можно назвать состраданием... вернее сказать, не хочется погубить нечто столь огромное и живописное, словно бы это даже не человек, а огромная фарфоровая ваза или огромная картина, которой нет цены. Ага, вот этого я и ожидал! — прибавил Роумен, когда замерцали огни второй кареты.— Теперь уже нет никаких сомнений. Первая карета была подпись, вторая — росчерк. Две кареты, во второй следует багаж — он всегда велик числом и увесист — и один из лакеев: без лакея виконт не может шагу ступить.

— Вы все повторяете «огромный»,— заметил я,— но вряд ли он такого уж крупного сложения.

— Нет,— отвечал поверенный,— он примерно вашего роста, я так и сказал портным и, как вижу, не ошибся. И, однако, он всюду и везде главенствует, у него во всем особенный размах, и своими каретами, скаковыми лошадьми, игрой в кости и уж не знаю, чем еще, он всю жизнь создает вокруг себя такой шум, что поневоле проникаешься к нему почтением. Мне кажется, когда комедия окончится и его запрут во Флитской тюрьме и больше некому будет поднимать в мире шум, кроме как Буонапарте, лорду Веллингтону да атаману Платову,— в подлунном мире станет куда тише и спокойнее. Но это к делу не относится,— прибавил Роумен с усилием и отворотился от окна.— Теперь мы под огнем, мистер Энн, как говорит ваш брат военный, и нам давно пора готовиться к бою. Виконт не должен вас видеть: это было бы губительно. Пока ему известно только, что вы на него похожи,— этого тоже сверхдостаточно. Если возможно, было бы очень хорошо, чтобы он не знал, что вы здесь, в доме.

— Уверяю вас, это совершенно невозможно,— сказал я.— Кое-кто из слуг явно держит его сторону, пожалуй, даже состоит у него на жалованье, к примеру, Доусон.

— Я тоже так думаю! — воскликнул Роумен.— И к тому же,— прибавил он в ту самую минуту, как лошадей первой кареты круто осадили перед портиком,— слишком поздно. Вот и он.

Мы стояли и тревожно прислушивались к разнообразным звукам, что возникли в безмолвном дотоле доме: хлопали, отворяясь и затворяясь, двери, совсем близко и в отдалении слышались торопливые шаги. Было очевидно, что для всех домочадцев приезд моего кузена — поистине событие, едва ли не торжество. И вдруг среди этой отдаленной и невнятной суматохи раздались быстрые, легкие шаги. Они приближались, становились все отчетливей — вот они уже на лестнице, в коридоре, вот затихли у моей двери, и тут же раздался негромкий, торопливый стук.

— Мистер Энн, мистер Энн! Впустите меня, сэр! — услышал я голос Роули.

Мы впустили его и мигом снова заперли дверь.

— Это он самый, сэр,— запыхавшись, вымолвил Роули.— Прикатил.

— То есть виконт? — переспросил я.— Мы так и полагали. Еще что, Роули? Выкладывай! У тебя еще какие-то новости, по лицу вижу!

— Верно, мистер Энн,— сказал мой слуга.— Мистер Роумен, сэр, ведь вы ему друг, правда?

— Да, Джордж, я ему друг,— отвечал Роумен и, к величайшему моему удивлению, положил руку мне на плечо.

— Так вот, стало быть,— сказал Роули,— мистер Поуль пристал ко мне с ножом к горлу! Чтоб я заделался доносчиком! Я знаю, он с самого начала метил меня к этому делу приспособить! С самого начала видать было, чего ему надо... все ходит вокруг да около, говорит все обиняками да намеками! А нынче ввечеру взял да напрямик и выложил! Чтоб я ему вперед говорил все, что вы собираетесь делать; и вон что дал, чтоб я не думал, будто задаром стараюсь.— И Роули показал нам монету в полгинеи.— Ну, я, понятно, взял! Почернеть мне и посинеть! — закончил он словами той шуточной клятвы и искоса глянул на меня.

Он совсем забылся и сам уже это почувствовал. Выражение его глаз мгновенно изменилось: из многозначительного стало умоляющим, то был уже не сообщник, а провинившийся, и с этой минуты перед нами предстал образцовый, отлично вымуштрованный слуга.

— Почернеть и посинеть?! — повторил стряпчий.— Он что, бредит?

— Нет,— возразил я,— просто он мне кое о чем напоминает.

— Что ж, надеюсь, на него можно положиться,— сказал Роумен.— Так, значит, ты тоже друг мистеру Энну? — спросил он юнца.

— С вашего позволения, сэр,— отвечал Роули.

— Это несколько неожиданно,— заметил Роумен,— но, мне кажется, ему можно верить. Я полагаю, он малый честный. Его родители — честные люди. Ну-с, Джордж Роули, можешь воспользоваться случаем и, не мешкая, отработать эту монету: поди скажи мистеру Поулю, что твой господин пробудет здесь самое малое до завтрашнего полудня, а то и дольше. Скажи, что у него здесь еще миллион дел, а еще того более — дел, которые нельзя должным образом оформить, иначе как у меня в конторе на Хай Холборн-стрит. Вот что... Давайте-ка с этого и начнем,— продолжал он, отпирая дверь.— Разыщи... мистера Поуля и все ему передай. И единым духом назад, я хочу поскорей расхлебать эту кашу.

Едва Роули вышел, адвокат взял понюшку табаку и взглянул на меня чуть подобревшим взглядом.

— Ваше счастье, сэр, что лицо ваше говорит само за себя, оно лучше любого рекомендательного письма. Возьмите хоть меня: я старый воробей, меня на мякине не проведешь, и я берусь за ваше весьма беспокойное дело; или возьмите этого деревенского паренька: у него достало ума не отказаться от подкупа и достало преданности прийти и рассказать вам об этом. И всему причиной, я думаю, ваша наружность. Хотел бы я знать, какое впечатление она произведет на присяжных!

— И как она понравится палачу, сэр? — спросил я

— Absit omen [1],— благочестиво произнес мистер Роумен.

И тут я услышал звук, от которого у меня душа ушла в пятки: кто-то осторожно нажимал на ручку двери — проверял, заперто ли. А мы до этого не слышали никаких шагов. С тех пор, как ушел Роули, в нашем крыле дома стояла полнейшая тишина. И у нас были все основания полагать, что, кроме нас, здесь никого нет, и тем самым, кто бы ни стоял сейчас под дверью, он

[1] Пронеси, господи! *(лат)*

прищел тайком, а стало быть, намерения у него недобрые.

— Кто там? — крикнул Роумен.

— Прошу прощения, это я, сэр,— послышался вкрадчивый голос Доусона — Я от виконта, сэр. Он бы весьма желал переговорить с вами по делу

— Передайте ему, Доусон, что я скоро приду,— сказал поверенный.— Сейчас я занят.

— Благодарю вас, сэр! — был ответ.

И мы услышали, как его шаги медленно удаляются по коридору.

— Да,— сказал мистер Роумен, понизив голос и сохраняя напряженную позу человека, который весь обратился в слух,— там и еще кто-то идет. Уж я не ошибусь!

— А ведь вы правы! — сказал я.— И вот что неприятно: мне кажется, второй остался где-то поблизости. Во всяком случае, по лестнице спускался только один.

— Гм... мы окружены? — спросил поверенный.

— Осада en règle! [1] — воскликнул я.

— Отойдемте подальше от двери,— предложил Роумен,— и обсудим положение, черт его дери. Безусловно, Ален сейчас подходил к двери. Он надеялся войти, словно бы случайно, и посмотреть, что вы за птица. Ему это не удалось, и теперь важно понять· остался ли он сам на часах у дверей или оставил Доусона?

— Вне всякого сомнения, он остался сам. Но с какой целью? Не собирается же он торчать под дверью всю ночь!

— Если бы только можно было ни на что не обращать внимания,— вздохнул мистер Роумен.— Но тут-то и сказывается уязвимость вашей позиции, будь она неладна. Мы ничего не можем предпринять в открытую. Я должен переправить вас из этой комнаты и из этого дома тайком, точно контрабандный товар; а как за это взяться, ежели к вашей двери приставлен часовой?

— Волнением делу не поможешь,— сказал я.

— Ни в коей мере,— нехотя согласился он.— И подумать только, не забавно ли, что в ту самую минуту, когда ваш кузен явился, чтобы увидать, с кем он имеет дело, я как раз говорил о вашей наружности? Если помните, я говорил, что ваше лицо нисколько не хуже ре-

[1] По всем правилам *(франц.)*

комендательного письма. Хотел бы я знать, окажет ли оно на мсье Алена то же действие, что и на всех нас... хотел бы я знать, какое впечатление вы произведете на него?

Мистер Роумен сидел в кресле у камина спиной к окнам, я же, опустившись на колени, машинально подбирал рассыпанные по ковру ассигнации, как вдруг в нашу беседу вторгся медоточивый голос:

— Самое наилучшее, мистер Роумен. Он просит включить его в тот круг поклонников, который, судя по вашим словам, уже существует.

ГЛАВА XIX

ВСЯ ПРАВДА О ТОМ, КАКАЯ КАША ЗАВАРИЛАСЬ В ЭМЕРШЕМЕ

В мгновение ока мы с поверенным вскочили на ноги. Мы позаботились закрыть и запереть главные врата нашей цитадели, но, к несчастью, оставили открытыми ворота для вылазок — ванную комнату; оттуда-то и прозвучали вражеские трубы. Наши оборонительные сооружения оказались без надобности: нас атаковали с тылу Я только и успел шепнуть мистеру Роумену: «Хороша картинка, нечего сказать!» — на каковые слова он ответил жалостным взглядом, словно бы говоря: «Не бейте лежачего». И я тут же обратил взор на своего врага.

На нем была шляпа чуть набекрень, с очень высокой тульей и узкими изогнутыми полями. Густые кудри выбивались из-под нее, точно у ярмарочного шута, и выглядело это просто неприлично. Он щеголял в просторном бобриковом пальто с капюшоном, какие носят ночные сторожа, зато подбито оно было дорогим мехом и слегка распахнуто, чтобы все видели сорочку тончайшего полотна, пестрый жилет и усыпанные драгоценными камнями часовую цепочку и брелок. Нога была обута — хоть сейчас на выставку. Поскольку самые разные люди, которых никак нельзя было заподозрить в сговоре, отмечали наше сходство, я, разумеется, не могу полностью его отрицать. Но, должен признаться, сам я его не заметил. Бесспорно, иные сочли бы, что кузен мой красив — красою картинной, пышной, в которой главную роль играла осанка, выразительный профиль и вызывающая манера держаться; легко представить, как эдакий франт, разодетый в пух и прах, красуется на трибунах во время скачек или с важным видом прогуливается по Пиккадилли и пожирает взглядом всякую проходящую мимо женщину, а все разносчики угля в восхищении пялят на него глаза. Сейчас лицо его, помимо воли, выдавало его чувства. Он был мертвенно-бледен, губы его кривила улыбка, вернее, злобный оскал, в котором явственно сквозила такая жгучая ненависть, что я был потрясен, но вместе с тем невольно собрал все мужество для предстоящей схватки. Он смерил меня взглядом, затем снял шляпу и отвесил поклон.

— Мой кузен, я полагаю? — сказал он.

— Имею честь состоять в сем лестном родстве,— отвечал я.

— Напротив, это мне весьма лестно,— возразил он, и голос его задрожал.

— Сколько я понимаю, мне следует принять вас со всем радушием,— сказал я.

— Вот как? — удивился он.— Эта скромная обитель спокон веку была моим домом. И вы напрасно утруждаете себя обязанностями хозяина. Право же, роль эта куда более к лицу мне. И, кстати, я не могу отказать себе в удовольствии сделать вам комплимент. Для меня приятная неожиданность видеть вас в платье джентльмена и убедиться,— при этом он глянул на рассыпанные по полу ассигнации,— что ваши нужды уже столь щедро удовлетворены.

Я поклонился ему, и улыбка моя, должно быть, дышала не меньшей ненавистью.

— Нуждающихся в нашем мире такое множество,— сказал я.— Благотворителю приходится делать выбор. И вот один облагодетельствован, а другому, который ничуть не богаче, а быть может, даже весь в долгу, как в шелку, приходится уйти ни с чем.

— Злоба — очаровательное свойство,— сказал он.

— И зависть, вероятно, тоже? — был мой ответ.

Виконт, по всей видимости, почувствовал, что в этом поединке ему не удастся взять надо мною верх; возможно, он даже испугался, что потеряет власть над собой, хотя с самого начала разговора изо всех сил дер-

жал себя в узде. Во всяком случае, при последних моих словах он резко отворотился от меня и с оскорбительным высокомерием спросил поверенного:

— С каких это пор вы позволяете себе распоряжаться в этом доме, мистер Роумен?

— Не возьму в толк, о чем вы говорите,— возразил Роумен.— Никаких распоряжений я не отдавал, по крайности таких, которые не входили бы в круг моих обязанностей.

— Тогда по чьему же приказу меня не впускают в комнату дяди? — вопросил мой кузен.

— По приказу доктора, сэр,— отвечал Роумен.— И я полагаю, даже вы согласитесь, что у него есть на это право.

— Поосторожней, мистер законник! — воскликнул Ален.— Не забывайтесь. Ваше положение отнюдь не так прочно, как вам кажется, милейший. Я нисколько не удивлюсь, ежели за нынешние ваши труды вам откажут от места, и в следующий раз я увижу вас где-нибудь у дверей трактира и швырну вам милостыню, чтоб вам было на что залатать ваши рваные локти. Так это доктор распорядился закрыть предо мною двери? Нет, меня не проведешь! Нынче вечером вы занимались с графом делами, и сей бедствующий молодой человек тоже получил аудиенцию, во время которой, как я рад заметить, самолюбие не помешало ему позаботиться о своей выгоде. Хотел бы я знать, чего ради вы понапрасну пытаетесь увильнуть от прямого ответа?

— Ну что ж, не стану отпираться,— сказал мистер Роумен,— или, как вам угодно было выразиться, увиливать. Приказание это исходит от самого графа. Он не желает вас видеть.

— И в этом я должен поверить на слово Дэниелу Роумену? — спросил Ален.

— За отсутствием свидетелей, внушающих вам большее доверие.— сказал Роумен.

От этих слов по лицу моего кузена прошла судорога, и я отчетливо слышал, как он заскрипел зубами, но заговорил он, к моему удивлению, почти добродушно:

— Послушайте, мистер Роумен, не будем мелочны! — Он пододвинул стул и сел.— Вы меня обошли, я понимаю. Вы представили своего наполеоновского солдата, и, ума не приложу, как это случилось, но он, видимо, был принят благосклонно Чтобы поверить этому, мне не требуется иных доказательств, довольно и того, что он в буквальном смысле слова осыпан деньгами — я полагаю, он их раскидал, обуянный восторгом, ведь он никогда еще не видывал столько золота. Перевес покуда на вашей стороне, но игра еще не окончена. Возникнут вопросы о беззаконном влиянии, и секвестре, и прочее; мои свидетели ждут только знака. Я говорю вам об этом без стеснения, ибо из моих слов вы не можете извлечь для себя никакой выгоды; и уж если до того дойдет, у меня есть все основания надеяться, что я возьму верх, а вас погублю.

— Поступайте, как угодно, воля ваша,— отвечал Роумен,— но вот мой совет: лучше вам ничего такого не затевать. Вы только выставите себя на посмешище, только понапрасну истратите деньги, которых у вас не так уж много, и покроете себя позором.

— Вот тут-то вы допускаете столь свойственную людям ошибку, мистер Роумен! — заметил Ален.— Вы презираете вашего противника. Сделайте милость, рассудите, сколько неприятностей я могу вам доставить, если пожелаю. Рассудите, как неприглядно выглядит ваш protégé [1] — беглый военнопленный! Но я крупный игрок. Я брезгую такими мелкими преимуществами.

При этих словах мы с Роуменом обменялись торжествующими взглядами. Очевидно, Ален еще ничего не знал о поимке Клозеля и о том, что негодяй меня изобличил. Страх наконец отпустил поверенного, и он тот же час переменил тактику. С видом самым небрежным он взял все еще валявшуюся на столе газету.

— Я полагаю, мсье Ален, что вами руководит некое заблуждение Поверьте мне, вы бьете мимо цели. Вы как будто намекаете на возможность какого-то соглашения. Я весьма от этого далек. Вы подозреваете, что я склонен вести с вами какую-то игру, скрывать от вас истинное положение дел. Но ведь я не вправе раньше времени или слишком подробно излагать вам то, что, вынужден заметить, чревато для вас крайне серьезными последствиями. Нынче вечером ваш дядя уничтожил свое прежнее завещание и составил новое в пользу вашего кузена Энна. Более того, если желаете, вы можете

[1] Подопечный *(франц.)*.

услыхать это из его собственных уст! Это я, во всяком случае, готов взять на себя,— прибавил поверенный, вставая.— Не угодно ли последовать за мною, господа?

Мистер Роумен так стремительно вышел из комнаты, и Ален так стремительно последовал за ним, что я едва успел подобрать оставшиеся деньги, сунуть их в сумку и запереть ее, после чего даже бегом насилу догнал их, пока они еще не скрылись в лабиринте коридоров дядюшкиного дома. Должен признаться, шел я с двойственным чувством, ибо стоило мне вспомнить, что мои сокровища остались под защитой всего лишь жалкой крышки и замка, который ничего не стоит отомкнуть или сломать, меня бросало в жар. Роумен привел нас в какую-то комнату, просил посидеть, покуда он посовещается с доктором, и скрылся за другой дверью, оставив нас с Аленом наедине.

Поистине Ален с первой минуты знакомства даже и не пытался снискать мое расположение: каждое его слово было проникнуто недружелюбием, завистью и тем презрением, которое можно сносить, не чувствуя себя униженным, ибо оно порождено злобой. Что до меня, я тоже не скрывал неприязни, однако вдруг ощутил жалость к этому человеку, хоть и знал, что он наемный шпион. Судьба обошлась с ним несправедливо — ведь он был воспитан в уверенности, что неизбежно и по праву получит это огромное наследство, а теперь, в самую последнюю минуту, его вышвыривают вон и бросают на произвол судьбы — нищего и в долгах, в тех самых долгах, о которых я только что так неблагородно ему напомнил. И, едва мы остались одни, я поспешил выкинуть флаг перемирия.

— Поверьте, кузен,— сказал я,— у меня нет ни малейшей охоты быть вам врагом.

Он остановился передо мною — он не сел, когда предложил ему поверенный, а ходил взад-вперед по комнате,— взял понюшку табаку и поглядел на меня чуть ли не с любопытством.

— Вот до чего дошло? — спросил он.— Неужто я так взыскан судьбой, что даже удостоился вашей жалости? Бесконечно вам признателен, кузен Энн! Но подобные чувства не всегда бывают взаимны, и предупреждаю: в день, когда я возьму вас за горло, пощады не

ждите, я сверну вам шею. Знакомо вам такое обращение? — спросил он с непередаваемой наглостью.

Это было уж слишком.

— Мне знакомы также пистолеты,— отвечал я, смерив его взглядом.

— Нет, нет, нет! — сказал он, предостерегающе подняв палец.— Когда и как вам отомстить — это уж я выберу по своему вкусу. Мы достаточно близкая родня и, вероятно, неплохо понимаем друг друга, и знаете, почему я не распорядился, чтобы вас арестовали, как только вы прибыли в этот дом, почему солдаты не ждали вас в засаде за первыми же кустами, чтобы не дать вам сюда проникнуть? Ведь я знал все; на моих глазах этот крючкотвор Роумен строил козни, стараясь меня вытеснить, но просто я еще не выбрал способ мщения.

Тут его прервал звон колокольчика. Мы удивленно прислушались и почти сразу услышали шарканье множества ног: какие-то люди поднимались по лестнице и проходили по коридору мимо нашей комнаты. Надо думать, нам обоим одинаково не терпелось отворить дверь и выглянуть, но в присутствии другого каждый сдерживал свое любопытство; и мы молча, не двигаясь, ждали до той минуты, покуда не воротился Роумен и не пригласил нас к дядюшке.

По узкому коридору с несколькими поворотами он наконец привел нас в комнату больного, к самому изголовью постели. Я, кажется, забыл сказать, что покои графа были весьма просторны. Сейчас здесь толпились слуги и все прочие домочадцы, от доктора и священника до мистера Доусона и экономки, от мистера Доусона до Роули и до самого последнего ливрейного лакея в белых чулках, до самой последней пухленькой горничной в опрятном платье и чепчике, до последнего конюха в кожаном фартуке. Вся эта разношерстная публика или почти вся (а я, право, был удивлен, увидав такое многолюдное сборище) чувствовала себя сейчас не в своей тарелке; растерянные и смущенные люди переминались с ноги на ногу, ошалело таращили глаза, а те, что жались по углам, подталкивали друг друга локтями и исподтишка ухмылялись. Дядюшка же, которого приподняли на подушках выше, нежели когда я видел его в первый раз, был поистине внушительно серьезен. Едва

мы появились у его изголовья, он громким голосом обратился ко всем присутствующим:

— Призываю вас всех в свидетели — вы меня слышите? — призываю вас всех в свидетели, что я признаю своим наследником и преемником вот этого джентльмена, которого все вы видите впервые, виконта Энна де Сент-Ива, моего племянника по младшей линии. И призываю вас также в свидетели, что по причинам весьма серьезным, о которых я предпочитаю умолчать, я отказался от своего прежнего решения и лишил наследства сего джентльмена, всем вам хорошо известного виконта де Сент-Ива. Я должен также объяснить, почему вынужден был столь неожиданно вас обеспокоить, я бы даже сказал, доставить вам неприятность, ибо оторвал вас от ужина. Мсье Алену угодно было угрожать мне тем, что он будет оспаривать мое завещание; он заявил, будто среди вас есть достойные доверия люди, которые готовы под присягой подтвердить все, что он им повелит. Я рад возможности помешать ему в этом и наложить печать молчания на уста его лживых свидетелей. Я бесконечно признателен вам за вашу любезность и имею честь пожелать вам доброй ночи.

В то время, как слуги, все еще крайне озадаченные, толпой выходили из комнаты больного — одни приседая другие отвешивая поклоны, неуклюже расшаркиваясь и тому подобное сообразно своему званию и положению,— я оборотился и украдкой взглянул на кузена. Этот сокрушительный удар, к тому же нанесенный ему на людях, он выдержал и глазом не моргнув. Он стоял очень прямо, скрестив руки на груди и устремив непроницаемый взгляд в потолок. В ту минуту я не мог не отдать ему снова дань восхищения. И еще более он восхитил меня, когда, дождавшись, чтобы все слуги и домочадцы вышли и оставили нас одних с дядей и поверенным, он приблизился на шаг к постели, с достоинством поклонился человеку, который только что обрек его на совершенную нищету, и заговорил.

— Милорд,— сказал он,— как бы вы ни обошлись со мною, моя благодарность и ваше нездоровье равно мешают мне обсуждать ваши поступки. Не могу лишь не обратить ваше внимание на то, сколь долгое время меня приучали рассматривать себя как вашего наследника. В качестве такового я считал бы даже противоестественным жить не так, как подобает вашему преемнику. Ежели теперь в благодарность за двадцать лет преданности меня оставляют без гроша, я оказываюсь не только нищим, но и банкротом.

То ли недавняя речь утомила дядю, то ли столь изобретательна была его ненависть, но он лежал закрыв глаза и сейчас так и не раскрыл их. «Без гроша!» — только и ответил он, и при этих словах по лицу его скользнула престранная улыбка, на миг озарила сухие черты и мгновенно угасла, и снова перед нами была прежняя непроницаемая маска, неизгладимая печать старости, коварства и усталости. Сомнений быть не могло: дядя наслаждался происходящим, как не часто случалось ему наслаждаться за последние четверть века. Огонь жизни едва тлел в этом бренном теле; ненависть же, точно она и вправду была бессмертна, оставалась попрежнему жгучей, годы ее не угасили.

Кузен мой, однако, упорствовал.

— Я нахожусь в весьма невыгодной позиции,— заговорил он снова.— Тот, кто занял мое место, все еще остается в вашей комнате — это, пожалуй, предусмотрительно, зато не слишком деликатно.— И он бросил на меня такой взгляд, каким можно было бы испепелить столетний дуб.

Я с радостью ушел бы оттуда и по лицу Роумена понимал, что он тоже хотел бы меня удалить. Но граф был непоколебим. По-прежнему едва слышно и все не раскрывая глаз, он приказал мне остаться

— Что ж,— сказал Ален,— тогда я не стану более напоминать вам о двадцати годах, которые мы провели с вами в Англии, и о том, что все это время я был вам не вовсе бесполезен. Мне это было бы отвратительно. Ваша светлость знает меня слишком хорошо, чтобы полагать, что я могу пасть столь низко. Я вынужден отказаться от всякой защиты — такова воля вашей светлости! Не знаю, чем я перед вами провинился; знаю лишь кару, которая на меня обрушилась, и она так страшна, что я теряю мужество. Дядюшка, я взываю к вам о милосердии: простите меня, хотя бы отчасти, не обрекайте меня — нищего должника — на пожизненное заключение в долговой тюрьме.

— Chat est vieux, pardonnez [1],— процитировал дядя

[1] Кот уже стар, простим его *(франц.)*.

Лафонтена и, открыв выцветший голубой глаз и глядя на Алена в упор, произнес даже не без выразительности: — La jeunesse se flatte et croit tout obtenir; la vieillesse est impitoyable [1].

Кровь бросилась Алену в лицо. Он оборотился к Роумену и ко мне, глаза его метали молнии.

— Теперь ваш черед,— сказал он.— Тюрьма за тюрьму, пусть пропадают оба виконта.

— С вашего позволения, мистер Ален,— прервал Роумен,— вы поторопились. Прежде всего надо обсудить кое-какие формальности.

Но Ален крупными шагами устремился к дверям.

— Остановитесь, остановитесь! — вскричал Роумен.— Вспомните ваш собственный совет: не презирать противника.

Ален круто повернулся.

— Если я и не презираю вас, то ненавижу! — крикнул он, более не сдерживаясь.— Знайте это вы оба.

— Сколько я понял, вы угрожаете мсье виконту Энну,— сказал поверенный.— На вашем месте я бы, право, этого не делал. Боюсь, очень боюсь, что, ежели вы поступите так, как намереваетесь, вы меня вынудите на крайние меры.

— По вашей милости я нищий и банкрот,— сказал Ален.— Какие еще могут быть крайние меры?

— В этом обществе я не хотел бы ничего называть точным именем,— отвечал Роумен.— Но есть вещи и пострашней банкротства и места похуже долговой тюрьмы.

Сказано это было столь многозначительно, что Алена пробрала дрожь; слова подействовали, как удар меча, и краску на лице его мгновенно сменила бледность.

— Я вас не понимаю,— сказал он.

— Полноте,— возразил Роумен.— Думаю, вы отлично меня поняли. Не предполагаете же вы, что все то время, покуда вы столько хлопотали, другие сидели сложа руки. Не воображаете же вы, будто оттого, что я англичанин, у меня не хватило ума навести некоторые справки. Сколь ни велико мое уважение к вашему роду, мсье Ален де Сент-Ив, но ежели я узнаю, что вы предпринимаете в этом деле какие-либо шаги, все равно

[1] Молодость тешит себя надеждами и думает всем завладеть но старость безжалостна (*франц.*).

прямые или косвенные, я исполню свой долг, чего бы это мне ни стоило, иными словами, я предам огласке настоящее имя бонапартистского шпиона, который помечает свои письма Rue Grégoire de Tours [1].

Признаюсь, к этой минуте я почти всецело был на стороне моего оскорбленного и несчастного кузена, и, если бы даже я не жалел его прежде, сейчас я уже не мог его не пожалеть — так страшно был он потрясен, поняв, что позор его перестал быть тайной. Он не мог вымолвить ни слова, схватился рукой за галстух, зашатался, мне показалось, он вот-вот упадет. Я кинулся, чтобы поддержать его, но тут он овладел собою, отпрянул от меня и стал, вытянув руки, словно защищаясь, как будто одно прикосновение мое уже было бы для него оскорбительно.

— Руки прочь! — через силу выговорил он.

— Теперь, надеюсь, вы понимаете свое положение,— как ни в чем не бывало ровным голосом продолжал поверенный,— понимаете, сколь осторожно вам надлежит себя вести. Вы, если можно так выразиться, находитесь на волосок от ареста, а так как я сам и мои агенты будем следить за вами денно и нощно, вы уж постарайтесь не сворачивать с прямого пути. При малейшем вашем сомнительном шаге я немедля приму меры.— Роумен взял понюшку табаку и окинул измученного Алена критическим взором.— А теперь позвольте вам напомнить, что ваша карета ждет у крыльца. Разговор наш волнует его светлость... вам он тоже не может быть приятен... так что, я полагаю, нет нужды его продолжать. В намерения графа, вашего дядюшки, не входит, чтобы вы провели еще одну ночь под его кровом.

Ален поворотился и без единого слова или знака пошел из покоев дяди, и я тут же последовал за ним. Должно быть, в глубине души я не чужд человеколюбия; во всяком случае, эта пытка, становившаяся с каждой минутой все невыносимей, это медленное убийство — словно у меня на глазах человека побивали камнями — заставили меня обратить мое сочувствие совсем в другую сторону. И дядя и его поверенный в этот миг стали мне отвратительны своей хладнокровной жестокостью.

[1] Улица Грегуар де Тур (*франц.*).

Перегнувшись через перила, я еще успел услышать торопливые шаги Алена в том самом вестибюле, где так недавно толпились слуги, чтобы почтить его приезд, и где сейчас, когда его изгнали из-под этого крова, не оказалось ни души. Еще миг — и уже только эхо звенело у меня в ушах да свистел ветер: то Ален захлопнул за собою дверь. Этот яростный грохот дал мне ощутить (а впрочем, я и без того это понимал) всю неистовую силу владевшего им гнева. В известном смысле я разделял его чувства; я понимал, с каким восторгом он сам выгнал бы за дверь дядюшку, Роумена, меня и решительно всех, кто был свидетелем его унижения.

ГЛАВА XX

ПОСЛЕ БУРИ

Едва кузен мой уехал, я принялся уныло прикидывать, каковы же могут быть последствия всех вышеописанных событий. Побито было немало горшков, и выходило, что платить за все придется мне! Этого гордого бешеного зверя раздразнили и опозорили наедине и на людях до того, что он уже ничего не видел, не слышал и не понимал, а затем отпустили на все четыре стороны, и теперь он мог строить планы самого жестокого отмщения. Я невольно подумал о том, как обидно, что всякий раз, едва я решу вести себя примерно, кому-либо из друзей непременно понадобится разыграть героическую сцену, в которой роль героя — или жертвы, что, в сущности, одно и то же,— всегда предназначается мне. Героем может быть лишь тот, кто выбрал эту роль по доброй воле. В противном случае никакой он не герой. И, право же, возвращался я в свою комнату отнюдь не в умиротворенном расположении духа: я думал о том, что дядя и мистер Роумен обратили в игрушку и мою жизнь и мое будущее, я клял их за это на чем свет стоит, и менее всего на свете желал бы сейчас повстречаться с тем или с другим; поэтому, когда я нос к носу столкнулся с поверенным, это был для меня, выражаясь языком боксеров, настоящий нокаут.

Роумен стоял в моей комнате, опершись на каминную доску, и я с радостью заметил, что он мрачен, задумчив,

словом, нисколько не похож на человека, который гордится делом рук своих.

— Ну? — сказал я.— Вы своего добились!

— Он уехал?

— Уехал,— отвечал я.— Мы еще наплачемся, когда он вернется.

— Вы правы,— сказал поверенный.— А отыгрываться мы можем только ложью и выдумками, как нынче вечером.

— Как нынче вечером? — переспросил я.

— Да, как нынче вечером! — отвечал он.

— Чем мы нынче отыгрывались?

— Ложью и выдумками.

— Помилуй нас, боже! — воскликнул я.— Неужто, сэр, вы способны на большее, чем даже я мог помыслить? Вы поистине поразительная личность! Что вы обошлись с ним жестоко, я знал и уже имел удовольствие этому порадоваться. Но чтоб это был еще и обман! В каком смысле, почтеннейший?

Я задал этот вопрос тоном самым оскорбительным, но поверенный и глазом не моргнул.

— Обман во всех смыслах,— серьезно отвечал он.— В том смысле, что все это неправда, и в том смысле, что мне нечего ему предъявить, и в том, что я просто похвастался, и в том, что я солгал. Как я могу его арестовать? Ваш дядюшка сжег все документы! Я говорил вам об этом, вы, видно, запамятовали... когда впервые встретился с вами в Эдинбургской крепости. То был акт великодушия. На своем веку я видел много подобных актов и всегда о них сожалел... всегда! «Вот это и есть его наследство»,— сказал граф, когда от бумаг остался один только пепел. Он и не предполагал, что наследство это окажется столь велико. А насколько оно велико, покажет время.

— Тысячу раз прошу прощения, почтеннейший, но, сдается мне, у вас хватает дерзости... при сложившихся обстоятельствах, можно даже сказать, бесстыдства чуть ли не опустить руки?

— Совершенно верно,— отвечал он.— Да. У меня опускаются руки. У меня буквально опускаются руки. Я чувствую себя совершенно безоружным против вашего кузена.

— Однако послушайте! — заговорил я.— Вы это серьезно? Уж не оттого ли вы осыпали беднягу всевозможнейшими оскорблениями? Не оттого ли так старались снабдить меня тем, в чем у меня нет ни малейшей нужды,— еще одним врагом? Не оттого ли, что вы против него совершенно безоружны? «Вот мой последний снаряд,— говорите вы,— мои боевые припасы совершенно исчерпаны, погодите минутку, сейчас я выпущу последний снаряд. Снаряд его раздразнит, но ранить не сможет. Вот, смотрите, он вне себя от бешенства, а я теперь безоружен, еще один укол, еще пинок ногой — ну вот, теперь он вконец обезумел! Укройтесь за моей спиной — я совершенно безоружен!» Я спрашиваю себя, мистер Роумен, какова подоплека этой своеобразной шутки, чем она вызвана и не есть ли это самое настоящее предательство?

— Ваши слова меня не удивляют,— сказал он.— История и в самом деле из ряда вон выходящая, счастлив наш бог, что она уже позади. И, однако же, это не предательство, нет-нет, мистер Энн, это не предательство. Если вы соблаговолите послушать меня всего лишь минуту, я сумею вам это доказать.— Казалось, он опять обрел прежнюю живость.— Почему я все это затеял? — вновь начал он.— Ваш кузен еще не читал ту газетную заметку, но, как знать, когда бы он ее прочел. Ведь эта проклятая газета могла оказаться у него в кармане, почем знать? Мы были... можно сказать, мы и сейчас еще зависим от воли случая, цена которому два пенни.

— А ведь верно,— согласился я.— Об этом я и не подумал.

— Вот видите,— воскликнул Роумен,— вы полагали, это пустяк — оказаться героем любопытной газетной заметки. Вы, вероятно, полагали, будто это тоже способ соблюсти тайну. Но вы глубоко заблуждались. Половина Англии уже твердит имя Шандивер, еще день-другой, и почта разнесет эту весть повсюду: такая у нас прекрасная машина для распространения новостей! Вы только подумайте, когда родился мой папенька... впрочем, я отвлекся. Вернемся к делу. У нас тут соединились такие горючие вещества, что мне и подумать страшно — ваш кузен и газета. Стоило ему бросить один только взгляд на это известие, и что бы теперь уже с нами

было? Спрашивать легко; отвечать куда сложнее, мой молодой друг. И позвольте вам сказать: виконт обыкновенно читает именно эту газету. Я уверен, она лежала у него в кармане.

— Прошу меня извинить, сэр,— сказал я.— Я погорячился. Я не понял, сколь велика опасность.

— Думаю, вы так никогда этого и не поймете,— сказал Роумен.

— Но, право же, это унижение на людях...— начал я.

— Это было безумием. Совершенно с вами согласен,— прервал Роумен.— Но так повелел ваш дядя, что мне оставалось делать, мистер Энн? Сказать ему, что вы убили Гогла? Едва ли это было возможно.

— Ну еще бы! — согласился я.— Это только подлило бы масла в огонь. Да, положение у нас было прескверное.

— Вы даже и сейчас не понимаете, насколько оно серьезно,— заметил поверенный.— Для вас было крайне важно, чтобы кузен ваш уехал — и немедля. Вам тоже необходимо уехать сегодня же вечером под покровом темноты, а как бы вы ухитрились это сделать, окажись виконт в соседней комнате? Значит, надо было его выпроводить, и как можно скорее. Задача нелегкая.

— Прошу прощения, мистер Роумен, но разве дядя не мог предложить ему покинуть дом? — спросил я.

— Нет, видно, придется вам объяснить, что это не так просто, как кажется,— отвечал он.— Это дом вашего дяди, говорите вы... совершенно верно. Но, в сущности, он принадлежит и вашему кузену тоже. У виконта здесь есть собственные покои; он располагается в них вот уже добрых тридцать лет, и там полным-полно всякого хлама — корсеты, право слово, и пуховки, и прочий вздор, который куда более пристал женщине,— однако никто при всем желании не мог бы доказать, что виконт не хозяин этому тряпью. У нас были все основания приказать ему покинуть дом, но он с таким же основанием мог ответить: «Хорошо, я уеду, но прежде заберу свои корсеты и галстухи. Мне надобно уложить девятьсот девяносто девять сундуков немыслимого барахла, которое накопилось у меня за тридцать лет, и на сборы уйдет по меньшей мере тридцать часов». А что мы могли бы на это возразить?

— Вы желали бы, чтобы ответ был остроумным? — спросил я.— Я предложил бы двух рослых лакеев и парочку крепких дубинок.

— Храни меня бог от умничающих профанов! — воскликнул Роумен.— Чтобы я с самого начала совершил беззаконие? Ну, нет! Тут был только один выход, и я им воспользовался и при этом пожертвовал своим последним патроном. Я его ошеломил. Это дало нам три часа времени, которыми надо поскорее воспользоваться, ибо если я в чем и уверен, так это в том, что завтра утром виконт снова будет здесь.

— Что ж,— сказал я.— Признаюсь, я глупец. Верно говорится: бывалый солдат что дитя! Ведь все это мне даже в голову не приходило.

— А теперь, когда вы поняли, вы по-прежнему не желаете уезжать из Англии? — спросил он.

— По-прежнему,— отвечал я.

— Но это необходимо,— возразил он.

— Это невозможно,— сказал я.— Доводы разума тут не помогут, и не тратьте их понапрасну. Довольно будет сказать, что речь идет о делах сердечных.

— Даже так? — промолвил Роумен, покачивая головой.— Да, в этом можно было не сомневаться. Засадите их в больницу, заприте в тюрьму, напяльте на них желтую куртку,— что бы вы ни делали, молодой Джессами все равно найдет свою Дженни. А, поступайте, как знаете; я слишком много повидал на своем веку и, конечно же, не стану спорить с молодым джентльменом, которому угодно было вообразить, будто он влюблен; нет уж, благодарю покорно, меня на мякине не проведешь. Я только хочу, чтобы вы понимали, на что идете: вас ждет тюрьма, скамья подсудимых, виселица и петля — ужасно грубая проза, мой молодой друг. Грубая и грязная, и все вполне всерьез — никакой поэзии!

— Что ж, вы меня предостерегли,— весело возразил я.— Просто невозможно было бы сделать это изящней и красноречивей. Но я по-прежнему стою на своем. Пока я вновь не увижу ту, к которой стремлюсь всем сердцем, ничто не заставит меня покинуть Великобританию. Кроме того...

Но тут я прикусил язык. Я чуть было не поведал ему про гуртовщиков, но слова замерли у меня на губах. Ведь многотерпению поверенного тоже может прийти

конец. В общей сложности я пробыл в Англии совсем недолго, причем большую часть времени находился в плену, в Эдинбургской крепости, и тем не менее, как уже признался поверенному, заколол человека ножницами, а сейчас едва не проговорился, что порешил другого дубинкой! На меня накатила волна благоразумия, холодная и глубокая, как море.

— Коротко говоря, сэр, тут замешаны чувства,— заключил я,— и ничто не удержит меня от поездки в Эдинбург.

Ежели бы я выстрелил ему в ухо из пистолета, он и то не так бы испугался.

— В Эдинбург! — повторил он.— В Эдинбург, где вас знает каждая собака?!

— Ну вот, теперь вам все известно,— произнес я.— Но бывает же, что смелость города берет, мистер Роумен! Учат же воинов появляться именно там, где враг меньше всего их ожидает! А где он ждет меня меньше всего?

— Клянусь честью, это не так уж глупо! — воскликнул поверенный.— В самом деле отлично придумано. Все свидетели, кроме одного, утонули, а этот один нам не страшен: он заперт в тюрьме. Вы же изменились до неузнаваемости... будем надеяться, что это так... и прогуливаетесь по улицам того самого города, где вы дали волю вашей... ну, скажем, вашему своеобычному нраву! Право, неплохо придумано!

— Так вы одобряете мою поездку? — спросил я.

— Одобряю?! — сказал он.— Какое уж тут одобрение! Я одобрил бы только одно: ваш немедленный отъезд во Францию.

— Ну, по крайней мере вы не вовсе не одобряете мою поездку? — поправился я.

— Нет, не вовсе. А если бы и вовсе не одобрял, это бы ничего не изменило,— отвечал Роумен.— Поступайте по-своему: вас не переубедишь. И я не думаю, что там вы будете в большей опасности, чем в любом другом месте в Англии. Дайте слугам уснуть, а тогда выходите на проселок и шагайте без роздыха ночь напролет, как поется в песенке. Утром наймите карету или, если угодно, садитесь в почтовый дилижанс и продолжайте путешествие, соблюдая все приличия, а также по мере сил и осторожность.

— Я пытаюсь представить себе эту картину,— сказал я.— Дайте срок, не торопите меня. Я хочу увидеть tout ensemble[1], а подробности мешают вообразить картину в целом.

— Шут! — пробормотал поверенный.

— Ну вот, теперь вижу. И вижу, что меня сопровождает слуга, и слуга этот именуется Роули,— сказал я.

— Чтобы вас связывала с дядей еще одна нить? — заметил поверенный.— Куда как благоразумно!

— Прошу прощения, но так оно и есть! — воскликнул я.— Благоразумно — самое подходящее слово. Я же не собираюсь прятаться всю жизнь. Ради одного ночлега незачем возводить каменные палаты. Это всего лишь палатка — мимолетное видение,— поглядели, восхитились, и вот оно уже исчезло. Короче говоря, тут требуется trompe l'oeil[2], которого бы хватило на двенадцать часов, проведенных в гостинице. Разве я не прав?

— Правы, но прав и я, когда вам возражаю. Если Роули будет с вами, опасность только возрастет,— сказал Роумен.

— Роули отлично выдержит испытание, когда его увидят издали на запятках несущейся по дороге кареты. Он выдержит испытание и в гостинице, когда его встретят в коридоре, поглядят вслед, спросят, кто таков, и услышат в ответ: «Лакей господина из четвертого номера»,— этакий проворный, воспитанный молодой человек. Он всюду выдержит испытание, только бы нам не встретился кто-нибудь, кто знает его в лицо. Ну, а в этом случае, дорогой сэр, что с него спрашивать? Понятно, ежели нам повстречается мой кузен или кто другой из тех, что присутствовали на нынешнем вечернем представлении (кстати сказать, весьма благоразумном), мы пропали, спору нет. Как ни удачен маскарад, всегда найдется уязвимое местечко; в этих случаях, если позволительно такое сравнение (оно само напрашивается при взгляде на карман вашего жилета), всегда прихватываешь с собою табакерку, полную случайностей. Если я возьму с собой Роули, она не станет ни на гран тяжелее. Короче говоря, малый он честный, любит меня, я ему доверяю, и в конце концов он же мой слуга.

[1] Все вместе, полностью *(франц.)*.
[2] Обман зрения, иллюзия *(франц.)*.

— Он может не согласиться,— возразил Роумен.

— Бьюсь об заклад на тысячи фунтов—согласится! — воскликнул я.— Но неважно, вы только отправьте его нынче ночью на перекресток, а остальное предоставьте мне. Уж поверьте, он охотно останется моим слугой и, поверьте, отлично справится.

Говоря это, я прошел в другой конец комнаты и принялся делать смотр своему гардеробу.

— Что ж,— сказал Роумен, пожав плечами,— одной опасностью больше, одной меньше... вы бы сказали: à la guerre comme à la guerre[1]. Пускай мальчишка едет, по крайности будет вам помощник.— И он уже собрался было позвонить, но тут заметил, что я роюсь в гардеробе.— Напрасно вы так любовно разглядываете все эти сюртуки, жилеты, галстухи и прочие доспехи. Вам незачем превращаться в щеголя. В конце концов это даже противу нынешней моды.

— Вам угодно шутить, сэр,— сказал я.— А меж тем вы по этой части не знаток. От туалетов зависит моя жизнь, они помогают моему маскараду; но взять с собою их все я не могу, а потому спешить с выбором было бы преглупо. Поймите наконец, что мне надобно. Я хочу быть незаметным, это первое; второе, я хочу быть незаметным в карете и с лакеем. Неужто вы не в состоянии понять, сколь сложно выбрать для этого подобающее платье? Все предметы моего туалета должны быть не слишком грубы и не слишком изысканны: rien de voyant, rien qui détonne[2]; я должен обратиться в состоятельного молодого человека приятной наружности, каких немало, который путешествует как ему и положено и о котором хозяин гостиницы позабудет в тот же день, а горничная, быть может, украдкой вздохнет, ну и бог с ней! Так одеться — искусство весьма тонкое.

— Я с успехом в нем упражняюсь вот уже полвека,— с усмешкой сказал Роумен.— Черная тройка и чистая сорочка — вот вам самое верное средство.

— Вы меня удивляете. Никак от вас не ожидал суждений столь поверхностных! — сказал я, обдумывая меж тем, какому из двух сюртуков отдать предпочтение.— Помилуйте, мистер Роумен, да разве у меня та-

[1] На войне, как на войне *(франц.)*
[2] Ничто не должно бросаться в глаза, ничто не должно нарушать гармонию *(франц.)*.

кая же седая голова? Или, быть может, вы путешествуете в собственной карете да со щеголеватым лакеем?

— Признаюсь, ни то, ни другое,— отвечал он.

— В том-то и соль,— продолжал я.— Мне надо быть одетым под стать щеголеватому лакею и кожаной сумке для бумаг.— Тут я замолчал. Подошел к сумке и поглядел на нее с некоторым сомнением.— Да,— продолжал я.— Да, и кожаной сумке для бумаг! Сразу видно, у хозяина ее и денежки водятся и земли тоже, а значит, и поверенный имеется. Сумке этой цены нет. Вот только лучше бы в ней было поменьше денег. Уж больно тяжка ответственность. Не разумнее ли взять с собою пятьсот фунтов, а остальное вверить вашему попечению, мистер Роумен?

— Если только вы убеждены, что они вам не понадобятся,— отвечал Роумен.

— Ничуть я не убежден,— возразил я.— Не убежден прежде всего как философ. У меня никогда еще не бывало таких денег, и, почем знать, вдруг мне вздумается пустить их на ветер? Не убежден и как беглец. Поди угадай, что мне может понадобиться? Вдруг того, что будет при мне, не хватит. Но тогда я вам напишу, чтобы вы прислали еще.

— Вы не понимаете,— возразил Роумен.— Отныне я порываю с вами все связи. Нынче вечером, прежде чем уехать, вы должны выдать мне доверенность и с этой минуты забыть о моем существовании до лучших времен.

Помнится, я стал было с ним спорить.

— Но подумайте хотя бы раз и обо мне! — сказал Роумен.— Считается, что до нынешнего вечера я вас в глаза не видал. Нынче мы встретились с вами впервые, вы дали мне доверенность, и нынче же вечером я вновь потерял вас из виду... Я знать не знаю, куда вы подевались, у вас свои дела, я не считал себя вправе задавать вам вопросы! И заметьте, это все куда более ради вашей безопасности, нежели ради моей.

— И мне даже писать к вам нельзя? — спросил я, несколько сбитый с толку.

— Я чувствую, что обрываю последнюю нить, которая связывает вас со здравым смыслом,— отвечал он.— И, однако, это просто и ясно: да, и писать нельзя. А ежели вы напишете, я не отвечу.

— Но ведь письмо...— начал я.

— Выслушайте меня,— перебил Роумен.— Что сделает ваш кузен, едва прочтет ту злосчастную газетную заметку? Предложит полиции досматривать мою корреспонденцию! Стало быть, как только вы мне напишете, считайте, что написали прямиком на Бау-стрит; а ежели вы послушаетесь моего совета, то отправите мне письмо лишь из Франции.

— Проклятье! — не выдержал я, ибо вдруг понял, что это может помешать мне в серьезном деле.

— Ну что еще? — спросил Роумен.

— Стало быть, до отъезда придется нам заняться еще кое-чем,— отвечал я.

— У нас впереди ночь,— сказал он.— Лишь бы только вы уехали до рассвета.

— Признаться, я так выиграл от ваших советов и забот, мистер Роумен,— сказал я,— что мне просто боязно порывать с вами все связи, и я даже попросил бы, чтобы вы нашли себе замену. Был бы крайне вам признателен, ежели бы вы дали мне рекомендательное письмо к кому-либо из ваших коллег в Эдинбурге — желательно, чтобы это был человек пожилой, искушенный в делах, весьма почтенный и умеющий хранить тайну. Можете вы снабдить меня таким письмом?

— Нет,— отвечал он.— Конечно, нет. Ничего подобного я не сделаю.

— Вы бы очень меня этим одолжили, сэр,— настаивал я.

— Я совершил бы грубую, непростительную ошибку,— возразил он.— Как? Дать вам рекомендательное письмо? А когда нагрянет полиция, забыть об этом, так, что ли? Ну, нет. И не просите.

— Вы правы, как всегда,— сказал я.— О письме не может быть и речи, я понимаю. Но имя адвоката вы могли просто обронить во время разговора, а, раз услыхав его, я мог воспользоваться случаем и самочинно явиться к оному адвокату; дело мое от этого только выиграет, а на вас не будет брошено ни малейшей тени.

— А что у вас за дело? — спросил Роумен.

— Я не говорил, что у меня есть какое-то дело,— отвечал я.— Это просто на всякий случай. Вдруг возникнет такая надобность.

— Хорошо,— сказал он, махнув рукой.— Я упомянул при вас мистера Робби, и хватит об этом!.. Хотя погодите! — прибавил он.— Я придумал, как вам помочь и самому при этом не запутаться.

Он написал на листке бумаги свое имя и адрес эдинбургского адвоката и сунул листок мне.

ГЛАВА XXI

Я СТАНОВЛЮСЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ МАЛИНОВОЙ КАРЕТЫ

Когда, упаковав все необходимое, подписав бумаги и разделив с Роуменом преотличный холодный ужин, я наконец готов был пуститься в путь, шел уже третий час ночи. Поверенный сам выпроводил нас через окно в той части дома, которая, как выяснилось, была неплохо знакома Джорджу Роули: окно это, по его словам, служило своего рода потайным ходом, через который слуги имели обыкновение уходить и возвращаться, ежели у них была охота весело провести вечерок без ведома хозяев. Помню, какую кислую мину скорчил поверенный при этом открытии, как он поджал губы, нахмурился и несколько раз повторил: «Надобно этим заняться! Завтра же поутру велю забрать окно решеткой!» Поглощенный этими заботами, он, по-моему, сам не заметил, как простился со мною; нам передали наш багаж, окно за нами затворилось, и тот же час мы затерялись в сторожкой ночной тьме, среди деревьев.

Мокрый снег сонно, словно бы нехотя падал на землю, переставал и снова принимался падать; казалось, так было от века — мокрый снег, короткая передышка, снова снег и темень, хоть глаз выколи. Мы то брели среди деревьев, то оказывались на краю огородов и, точно бараны, тыкались лбом в какие-то изгороди. Роули с самого начала отобрал у меня спички и оставался глух ко всем моим мольбам и угрозам.

— Нет уж, мистер Энн, сэр,— твердил он.— Сами знаете, он не велел зажигать огня, покуда не перевалим через холм. Теперь уж осталось всего ничего. Да что это вы, сударь, а еще солдат!

Но хотя я и солдат, а вздохнул с превеликим удовольствием, когда слуга мой наконец соизволил запалить трут. С его помощью мы тут же без труда засветили фонарь, и теперь уже по лабиринту лесных тропок нас вел его трепетный, мерцающий огонек. Оба в высоких сапогах, в дорожных плащах, в одинаковых цилиндрах, нагруженные кожаной сумкой, ящиком с пистолетами и двумя пухлыми саквояжами, мы, вероятно, более всего походили на братьев-разбойников, только что ограбивших Эмершемское поместье.

Наконец мы вышли на проселочную дорогу, где можно было шагать не гуськом, а рядом и без особых предосторожностей. До Эйлсбери — нашей ближайшей цели — оставалось еще девять миль; часы, составлявшие часть моего нового снаряжения, показывали половину четвертого утра, а так как мы порешили не появляться там до рассвета, спешить было некуда. Я распорядился замедлить шаг.

— Итак, Роули, пока все идет как по маслу. Я от души тебе признателен, что ты согласился донести мне саквояжи. Ну, а дальше что? Что мы станем делать в Эйлсбери? Вернее сказать, что станешь там делать ты? Мне предстоит дальний путь. Уж не намерен ли ты меня сопровождать?

Роули тихонько усмехнулся.

— Все уже уговорено, мистер Энн,— отвечал он.— Чего уж там, вон и пожитки со мной в саквояже... полдюжины сорочек и все прочее. Я готов, сэр, вы только приказывайте, а дальше сами увидите.

— Он готов, черт побери! — воскликнул я.— Ты, кажется, совершенно уверен, что тебя примут с распростертыми объятиями.

— Да уж, с вашего позволения, сэр,— сказал Роули.

Он поднял на меня глаза, и в мерцающем свете фонаря я увидел его лицо — такое по-мальчишески застенчивое и вместе с тем торжествующее, что во мне заговорила совесть. Нет, я не вправе позволить этому простодушному юнцу связать свою судьбу с моей, ведь мне на каждом шагу грозят опасности, даже гибель; я должен его предостеречь, но предостеречь не так-то просто, это — дело тонкое.

— Нет-нет,— сказал я.— Ты, должно быть, думаешь, что сделал выбор, но ты делал его вслепую, и на-

добно теперь все обдумать заново. Находиться в услужении у графа совсем неплохо, а на что ты хочешь променять свою службу? Не кажется ли тебе, что ты гонишься за журавлем в небе? Нет, не спеши мне отвечать. Ты думаешь, я богат и знатен, мой дядюшка только что объявил меня своим единственным наследником, и я вот-вот получу огромное состояние,— чего еще желать здравомыслящему слуге, где найти лучшего хозяина? Так, что ли? Ошибаешься, мой друг, я совсем-совсем не тот, за кого ты меня принимаешь.

Сказав это, я замолчал и посветил ему в лицо фонарем. Он стоял передо мною, ярко освещенный на фоне непроницаемого мрака ночи и медленно падающего снега, окаменев от неожиданности, с двумя саквояжами в руках, точно осел, навьюченный двумя кладями, а его разинутый рот зиял, точно дуло мушкетона. Мне еще не приходилось видеть лица, которое словно нарочно создано было, чтобы выражать удивление, выражать как нельзя лучше, и лицо это соблазнило меня, как соблазняет пианиста раскрытое фортепиано.

— Ничего подобного, Роули,— продолжал я заунывным голосом.— Это всего лишь видимость, пустая видимость. На самом деле я бездомный, гонимый скиталец, которому всякую минуту грозит погибель. Едва ли не каждый житель Англии мне враг. С этого часа я расстаюсь со своим именем, со своим титулом; я становлюсь человеком без имени, ибо имя мое объявлено вне закона. Моя свобода, самая жизнь моя висят на волоске. Ежели ты последуешь за мною, ты обрекаешь и себя тем же опасностям — тебя станут выслеживать, ты должен будешь скрываться под вымышленным именем, идти на всяческий обман и, быть может, разделить судьбу убийцы, за голову которого уже назначена цена.

До этой минуты лицо Роули, против ожидания, становилось все более и более трагически изумленным, на него, право же, стоило посмотреть, но при последних моих словах он внезапно просиял.

— А я ни капельки не боюсь! — сказал он, прыснул и продолжал, давясь от смеха.— Я ж так и знал с самого начала!

Мне захотелось его поколотить. Но я хватил через край, и пришлось теперь пустить в ход все свое красноречие и добрые две мили. чуть не полчаса, убеждать

его, что все сказанное не выдумка и не преувеличение. Я так увлекся описанием нынешних опасностей, что совсем перестал заботиться о дальнейшей безопасности, и не только рассказал ему про Гогла, но не удержался и выложил все про гуртовщиков, а под конец проболтался и о том, что я наполеоновский солдат и военнопленный.

Когда я начинал разговор, все это отнюдь не входило в мои намерения: длинный язык — всегдашний мой враг. Мне кажется, это самый излюбленный судьбою недостаток. Ну кто из вас, людей благоразумных, мог бы поступить так безрассудно и вместе так мудро: довериться мальчишке, у которого и молоко-то на губах еще не обсохло? Но разве я потом хоть раз об этом пожалел? Препоны, стоявшие на моем пути, были таковы, что ни один советчик не оказался бы лучше этого зеленого юнца. Зачатки зрелого здравого смысла освещались у него последними отблесками детского воображения, и он способен был предаться мне с той беззаветностью, с какой подростки предаются игре. Роули был словно нарочно создан для меня. Его безмерно манила всевозможная романтика, и втайне он преклонялся перед всеми солдатами и преступниками. Он прихватил с собою в путь дешевое издание жизни Уоллеса [1] и несколько таких же грошовых выпусков «Записок старого судьи», принадлежащих перу стенографа Гарни, и этот выбор как нельзя лучше раскрывал его внутренний облик. Вообразите же, сколь воодушевили этого пылкого юнца открывшиеся перед ним горизонты. Быть слугой и спутником беглеца, солдата и убийцы — и все в одном лице, постоянно прибегать к всевозможным уловкам, маскараду, прикрываться вымышленными именами, одеться оболочкою полуночной тьмы и тайны — оболочкою столь плотной, что хоть ножом ее режь,— все это, конечно же, манило его куда сильнее вкусной и сытной пищи, хоть он и не дурак был поесть и был, можно даже сказать, обжора. Меня же — средоточие и источник всей этой романтики — он отныне воистину боготворил и скорее пожертвовал бы собственной рукою, нежели отказался от чести мне служить.

[1] Уильям Уоллес (1272—1305) — шотландский герой и патриот.

Мы брели по дороге под снегом, который с приближением утра повалил всерьез, и, дружески беседуя, установили исходные позиции предстоящей кампании. Я выбрал себе имя Рейморни, вероятно, оттого, что оно походило на Роумен, а Роули, повинуясь неодолимой прихоти, нарек Гэммоном. На его отчаяние невозможно было смотреть без смеха; сам он не нашел ничего лучше, как выбрать себе скромное имя Клод Дюваль! [1]. Мы уговорились, как вести себя в различных гостиницах, где будем останавливаться, и до тех пор репетировали все во всех подробностях, покуда не уверились, что нас невозможно застать врасплох; и можете не сомневаться, что во всех этих сценках сумка для бумаг играла не последнюю роль. Кто станет брать ее, кто укладывать в карету, кто сторожить, а кто класть под голову на ночь — ничего-то мы не упустили, все заранее тщательно предусмотрели; мы уподобились сержанту, обучающему новобранцев, и вместе — ребенку, увлеченному новой игрушкой.

— Послушайте, мистер Энн, а ведь покажется чудно, коли мы с вами явимся на почтовую станцию со всем нашим багажом,— сказал Роули.

— Да, пожалуй,— отвечал я.— Но что тут поделаешь?

— А вот я вам скажу, сэр... вы только послушайте,— начал Роули.— По-моему, лучше вам явиться на станцию одному, без всякого багажа... ну, в общем, как положено джентльмену. И вы скажете, что ваш слуга ждет с багажом при дороге. Я так думаю, я уж как-нибудь да справлюсь с этими окаянными вещами один... по крайности, если вы сперва поможете мне пристроить их половчее.

— Ну нет, Роули,— воскликнул я,— этого я не допущу! Да ты же окажешься совершенно беззащитен! Любой разбойник с большой дороги, новичок, молокосос, и тот с легкостью тебя ограбит. А когда я прикачу в карете, ты скорее всего будешь уже валяться в канаве с перерезанным горлом. Впрочем, тут есть и здравая мысль, давай-ка проверим ее на опыте, не откладывая в долгий ящик.

---

[1] Знаменитый в Англии разбойник, жил во второй половине XVII века.

И вместо того, чтобы шагать прямиком к Эйлсбери, мы свернули на первом же перекрестке и направились боковой дорогой чуть севернее, к такому месту, где Роули мог бы спокойно дожидаться, покуда я не вернусь за ним в карете.

Снег все валил, кругом было белым-бело, и мы тоже были точно два бродячих сугроба, но едва стало светать, у обочины дороги завиднелся постоялый двор. Немного не доходя, за поворотом дороги и под прикрытием деревьев, я нагрузил Роули всем нашим имуществом и подождал, покуда он не добрел, спотыкаясь, до «Зеленого дракона» — так гласила вывеска этого заведения — и не скрылся благополучно в дверях. Тогда я бодро зашагал в Эйлсбери, радуясь свободе и отличному расположению духа, для которого, собственно, не было иной причины, кроме снежного утра, хотя, признаться, снег перестал задолго до того, как я вступил в Эйлсбери, и карнизы домов курились на солнце. Во дворе гостиницы стояло множество кабриолетов и фаэтонов, а в дверях ее и у входа в кофейную была нешуточная толчея. Я со всей очевидностью понял, что дорога эта весьма многолюдна, и меня охватило недоброе предчувствие: вдруг я не сумею раздобыть лошадей и вынужден буду задержаться в опасном соседстве с моим кузеном... Поэтому сколь ни был я голоден, а все же первым делом направился к почтмейстеру — он стоял в углу двора, рослый, ладно скроенный, сам несколько схожий с лошадью, и, поднеся к губам ключ, безмятежно что-то насвистывал.

Услыхав мою скромную просьбу, он встрепенулся.

— Экипаж и лошадей? — воскликнул он.— Да где же я их возьму? Вот лопни мои глаза, хоть бы какой тарантас, хоть бы одна завалящая кляча — ничего у меня нету! Я ведь их не делаю, экипажи-то да лошадей — я их нанимаю. Будь вы хоть сам господь бог, неоткуда мне их взять! — выкрикнул он и вдруг умолк, словно только теперь меня заметил, а потом заговорил доверительно, понизив голос: — Вы, я вижу, джентльмен, так вот что я вам скажу: ежели хотите не нанять, а купить, у меня для вас кое-что найдется. Экипажик лондонской работы, от Лицета. Подержанный, но только самую малость. Игрушечка, все по самой последней моде. Гарнитура вся как на подбор, на крыше сетка,

платформа для багажа, кобуры для пистолетов... Самый что ни на есть прекрасный, изысканный выезд, другого такого отродясь не видывал! И все за семьдесят пять фунтов! Прямо задаром!

— Что ж, по-вашему, я сам потащу его, точно уличный торговец тележку? — вопросил я.— Нет, любезный, уж если мне суждено здесь застрять, лучше я куплю дом с садом!

— Да вы только подите поглядите! — воскликнул он, подхватил меня под руку и потащил к службам полюбоваться этим чудом красоты.

Карета и вправду была такой, о какой я мечтал для своего путешествия: бесспорно богатая, изысканная и, однако, не бросалась в глаза, и, хотя почтмейстер вовсе не показался мне знатоком, я поневоле с ним согласился. Карета была густо-малиновая, а колеса — бледно-зеленые. Фонарь и стекла в окошках сверкали, как серебро, а весь экипаж в целом производил впечатление неприступной чопорности, которая у всякого отобьет охоту приставать с расспросами и обезоружит всякую подозрительность. С таким слугой, как Роули, и в такой карете можно преспокойно пересечь из конца в конец всю Англию, и всюду тебя станут встречать и провожать с низкими поклонами. Словом, товар пришелся мне по вкусу, и я, видно, не сумел этого скрыть.

— Ну как? — воскликнул почтмейстер.— Ладно, отдаю за семьдесят, лишь бы угодить хорошему человеку!

— А лошади? — возразил я.

— Что ж,— сказал он, глянув на свои часы.— Сейчас у нас половина девятого. Когда прикажете подать?

— И лошади будут, все, как полагается?

— И лошади и все, как полагается! — отвечал он — Долг платежом красен. Вы отдадите мне за карету семьдесят фунтов, а я уж вам и упряжку добуду. Давеча я вам толковал, что мне их взять неоткуда, но ради хорошего человека можно и расстараться.

Ну что вы на это скажете? Конечно же, это не самый разумный поступок — покупать экипаж всего в в каких-нибудь двенадцати милях от дядюшкиного дома, но таким способом я получал лошадей до следующей станции. А в любом другом случае, сдается мне, пришлось бы ждать. Так что я выложил деньги — переплатил, пожалуй, фунтов двадцать лишку, хотя экипаж и вправду сработан и снаряжен был на славу,— велел подать его не позднее чем через полчаса, и пошел подкрепиться завтраком.

Стол, за который я уселся, стоял в глубокой оконной нише, и отсюда открывался вид на крыльцо гостиницы, а там, словно бы для моего развлечения, не иссякал поток отъезжающих; были там и суетливые и беспечные, и скупцы и моты — в минуту прощания, когда непременно проявляется человеческий нрав, всяк вел себя согласно своей натуре; одних до самого стремени или до дверец кареты провожали чуть не все коридорные, горничные и лакеи, другие отъезжали без единого провожающего, ибо не сумели завоевать ничьего расположения. Меня заинтересовал один постоялец, проводы которого превратились в настоящее торжество: каждый спешил ему помочь, и на крыльце толпились не только мальчишки на побегушках, но и буфетчица и хозяйка гостиницы, явился даже мой приятель-почтмейстер собственной персоной. Видно было также, что всем провожающим весело: путешественник этот, судя по всему, за словом в карман не лез и не гнушался шутить в такой компании. Мне не терпелось увидать, что он за птица, я подался вперед, но тотчас отпрянул и спрятал голову за чайник. Постоялец, вызвавший эту суету, оборотился, чтобы помахать всем на прощание,— и кто бы, вы думали, это оказался? — мой кузен Ален! Он был неузнаваем: в Эмершеме я видел его взбешенным, мертвенно-бледным, теперь же щеки его разгорелись от только что выпитого вина, глаза блестели, голову венчала копна кудрей, он был точно сам Бахус; отлично владел собою и улыбался с невыносимым превосходством, как человек, который знает, что он здесь любим и уважаем. Он напомнил мне то ли герцога королевской крови, то ли слегка постаревшего актера, а быть может, и странствующего торговца, незаконного дворянского сынка. Еще минута — и вот он уже плавно и бесшумно несется по дороге к Лондону.

Я перевел дух. С превеликой радостью я подумал о том, как мне повезло, что я вошел в гостиницу со стороны конюшни, а не со стороны крыльца, и какой верный случай повстречаться со своим кузеном упустил, покупая малиновую карету. Но тут я вспомнил,

что в зале находился лакей. Он, конечно, видел, как я прятался за чайным прибором, и, конечно же, может по-своему истолковать этот странный и недостойный джентльмена поступок; надобно во что бы то ни стало сейчас же рассеять это впечатление.

— Послушай, любезный! — окликнул его я.— Это сейчас отбыл племянник графа Керуаля, я не ошибся?

— Он самый, сэр. Мы его называем виконт Керуаль,— был ответ.

— Так я и думал,— заметил я.— Ну-ну, будь они прокляты, все эти французы, вот что я тебе скажу!

— Ваша правда, сэр,— подтвердил лакей.— Они совсем не то, что наши английские господа.

— А что, очень уж нрав бешеный?

— Верное слово, страх какой он бешеный, этот виконт, сэр,— с чувством поддержал лакей.— Да что далеко ходить, вот только что нынче утром: сидит, завтракает и газету читает. И, видать, наткнулся на что-то про политику, а то про лошадей, да как хватит кулаком по столу, да как крикнет: «Кюрасо!» Я прямо чуть не подскочил, право слово, как он это закричал да хлопнул по столу. Нет, сэр, может, у них во Франции так и водится, а только я вовсе к такому обращению не приучен.

— Газету, говоришь, он читал? — спросил я.— Какую же это газету, а?

— Да вон она, сэр! — воскликнул лакей.— Он, видать, ее обронил.

И, подняв газету с полу, он подал ее мне.

Сказать по правде, я был готов к тому, что увижу, знал, чего ждать, но когда это предстало моим глазам, напечатанное черным по белому, сердце у меня оборвалось. Вот оно! Мрачное предчувствие Роумена не обмануло его: газета была раскрыта на том самом месте, где говорилось о поимке Клозеля. Да, сейчас я и сам не отказался бы от стакана кюрасо, но тут же передумал и приказал подать коньяку. Мне отчаянно захотелось выпить, и вдруг я увидел, что в глазах лакея блеснула словно бы догадка; конечно же, он подметил сходство между мною и Аленом, и только теперь меня наконец осенило, какого же я свалял дурака. Ежели Ален вздумает установить, не заезжал ли я в Эйлсбери, ему теперь с уверенностью скажут, что заезжал,

и, словно этого было еще не довольно, я сам дал ему примету ценою в семьдесят фунтов, с помощью которой он сможет проследить мой путь по всей Англии,— примету в виде малиновой кареты! Изысканный экипаж этот (который теперь уже казался мне немногим лучше красной повозки палача) тем временем подали к дверям; я встал из-за стола, не окончив завтрака, и отъехал. С тем же усердием, с каким Ален устремился на юг, я стремился на север, уповая (что же мне еще оставалось делать), что меня выручат противоположное направление и не меньшая скорость.

ГЛАВА XXII

НРАВ И ПОЗНАНИЯ МИСТЕРА РОУЛИ

Мне думается, только теперь я понял наконец, сколь опасно предприятие, которое я затеял. При виде моего кузена с непомерно пышными кудрями, в галстухе, повязанном столь искусно, будто он готовился завоевать сердце дамы, при взгляде на его лицо — такое красивое, такое словно бы веселое и, однако, ежели всмотреться получше, отмеченное печатью такой злобы (сей джентльмен, вне всякого сомнения, спешил на Баустрит, чтобы направить по моему следу ищеек и наводнить всю Англию афишками не менее смертельными, чем заряженный мушкет), мне впервые до конца открылось, что приключение это грозит мне гибелью. Признаться, я чуть ли не надумал на следующей же станции поворотить лошадей и ехать прямиком к побережью. Однако я очутился в положении человека, который бросил вызов льву, или, вернее, в положении человека, который с вечера, выпив лишнего, затеял ссору, а наутро, протрезвясь в холодном свете дня, должен держать ответ. И не потому, чтобы я меньше стремился к Флоре или хоть сколько-нибудь к ней охладел. Нет, но когда в то утро я мрачно курил сигару в углу кареты, мне прежде всего пришло на ум, что люди давно уже изобрели почту, и в глубине души я не мог не признать, что было бы куда проще написать ей, запечатать письмо, и пусть бы оно отправилось положенным путем, вместо того чтобы мне ехать самому

через всю страну и подвергать себя страшной опасности, ибо на каждом шагу меня подстерегала виселица или полицейские ищейки. Что до Сима и Кэндлиша, я о них, кажется, и не вспомнил.

На пороге «Зеленого дракона» меня поджидал Роули вместе с вещами и, не дав мне опомниться, ошеломил неприятной вестью.

— Угадайте, сэр, кто тут есть? — начал он, задыхаясь, едва карета отъехала.— Красногрудые.— И он многозначительно покачал головой.

— Красногрудые? — повторил я тупо, не вдруг поняв, что означает это не раз слышанное мною словцо.

— Ну как же! — сказал он.— Красные жилеты. Сыщики. Сыщики с Бау-стрит. Целых двое, и один из них сам Лейвендер. Я своими ушами слышал, второй сказал ему: «Как вам будет угодно, мистер Лейвендер». Они когда завтракали, сидели совсем рядышком со мной, ну, прямо как вон тот почтальон Бояться-то их нечего, они не за нами. Они за каким-то фальшивомонетчиком, и я не стал сбивать их со следу... Ну, нет! Я подумал, нам ни к чему с ними связываться, так что я сообщил им «весьма ценные сведения». Мистер Лейвендер так и сказал и дал мне шестипенсовик. Они едут в Лутон. Мне и наручники показали... только не Лейвендер, а другой, он даже защелкнул эти проклятые штуки у меня на запястье, и, вот ей-ей, я прямо едва без чувств не хлопнулся! Страх как тошно, когда они у тебя на руках. Прошу прощения, мистер Энн,— прибавил Роули, со свойственной ему милой непосредственностью обратившись из доверчивого мальчишки в вышколенного, почтительного слугу.

Что ж, похвалиться не могу, не скажу, чтобы разговор о наручниках пришелся мне по вкусу, и за оговорку (он забыл, как следует меня называть) я пробрал Роули куда строже, чем требовалось.

— Слушаюсь, мистер Рейморни,— сказал он, с поклоном приподняв шляпу.— Прошу прощения, мистер Рейморни. Но я допрежь того куда как был аккуратен, сэр, и уж не извольте беспокоиться, вперед тоже буду аккуратен. Я только разок оплошал, сэр.

— Дорогой мой,— сказал я как мог суровее,— у тебя не должно быть никаких оговорок. Потрудись запомнить, что на карту поставлена моя жизнь.

Я не воспользовался случаем и не стал рассказывать ему обо всем, что успел натворить сам. Уж такой у меня закон: командир всегда прав. Я видел однажды, как две дивизии выбивались из сил, две недели кряду пытаясь захватить никому не нужный и совершенно неприступный замок в ущелье; я знал, что мы делаем это, только чтоб соблюсти дисциплину, ибо так приказал генерал, и потом все не мог придумать, как бы обойти свой же приказ, и я безмерно восхищался силою его духа и все время считал, что рискую жизнью ради весьма достойного дела. С глупцами и детьми — а стало быть, и с Роули — особенно важно придерживаться этого правила. Я положил быть в глазах моего слуги непогрешимым и, даже когда он выразил удивление по поводу покупки малиновой кареты, сей же час поставил его на место. В нашем положении, объяснил я ему, надобно всем жертвовать впечатлению, которое мы производим; конечно же, наемный экипаж давал бы нам большую свободу, но зато какой у нас почтенный вид! Я был столь красноречив, что иной раз мне удавалось убедить даже самого себя. Но, поверьте, ненадолго! Мне так и виделось, что в окаянный экипаж уже набились сыщики с Бау-стрит, а сзади наклеена афишка с моим именем и перечислены все мои преступления. Хоть я и заплатил семьдесят фунтов, чтобы его заполучить, но не пожалел бы и семисот, лишь бы благополучно от него отделаться.

Если карета угрожала нашей безопасности, то сколько же хлопот было с сумкой для бумаг и ее золотым грузом! Я никогда не знал иных забот, кроме как получить жалованье и потратить его; я счастливо жил в полку, как в отчем доме, меня кормило интендантство великого императора, точно вездесущие птицы пророка Илии.., а если интендантство мешкало, я — ей-жеей! — весьма охотно насыщался за счет первого попавшегося крестьянина! Теперь же мне стало понятно и как тяжко бремя богатства и что такое страх нищеты. В кожаной сумке лежало десять тысяч фунтов, но я перевел их на французские деньги, и оказывалось, что у меня две с половиной тысячи терзаний; весь день я глаз не спускал с этой сумки, а ночью она преследовала меня во сне. В гостиницах я страшился уйти пообедать и страшился уснуть. Поднимаясь в гору, я не

решался отходить от дверец кареты. Случалось, я менял местоположение своих богатств: были дни, когда я носил при себе пять или шесть тысяч фунтов, и в кожаной сумке ехали только остатки; в эти дни я вдруг обретал солидную комплекцию, точь-в-точь мой кузен, и весь хрустел, обложенный кредитными билетами, и карманы мои чуть не лопались, набитые соверенами. А потом мне все это надоедало или становилось совестно, и я клал деньги на место: пусть смотрят прямо в лицо опасности, как обязывает благородство! Коротко говоря, я подавал Роули весьма дурной пример непоследовательности в поступках и уж вовсе не мог служить примером умения философически мыслить.

Но Роули все было нипочем, лишь бы не заскучать, и я еще не встречал человека, который бы с такой легкостью находил во всем развлечение. Сама жизнь наша, путешествие, собственная его роль в этой мелодраме были для него волнующе занимательны. С утра до ночи он смотрел из окошка кареты, и в нем то и дело вспыхивала восторженная любознательность, порою оправданная, порою нет, а так как мне приходилось ее разделять, она нередко меня утомляла. Я не прочь посмотреть на лошадей и на деревья тоже, хотя в восторг они меня не приводят. Но чего ради мне разглядывать хромую лошадь или дерево, напоминающее римскую цифру пять? Отчего мне радоваться, увидав домик «ну, совсем такого цвета, как тот, что рядом с домом мельника», где-то там, где я и не бывал-то никогда и о котором слышу первый раз в жизни? Грех жаловаться, но в иные минуты юный словоохотливый друг мой порядком тяготил меня своими излияниями. Он болтал без умолку, но, впрочем, был неизменно добродушен.

Задавая вопросы, он проявлял милую любознательность и своими мыслями делился тоже с милым простодушием. И отнюдь не скупился как на расспросы, так и на рассказы. Я вполне мог бы написать биографию мистера Роули, его батюшки и матушки, его тетушки Элизы и собаки мельника, и не делаю я этого единственно из жалости к читателю, да еще опасаясь обвинений в беззаконном заимствовании чужих сюжетов.

Мальчишка определенно решил во всем стать похожим на меня, а у меня не хватало духу воспрепятствовать ему. Он старался перенять мою осанку, с рабской

точностью подражал моей привычке пожимать плечами — и, признаться, лишь глядя на него, я заметил за собою эту привычку. Однажды я ненароком обмолвился, что я католик. Он тут же погрузился в раздумье, чем втайне меня порадовал. И вдруг...

— Прах меня побери! Я тоже стану католиком! — воскликнул он.— Научите меня, мистер Энн... Ох, я хотел сказать, мистер Рейморни.

Я всячески его отговаривал, ссылался на то, что сам плохо разбираюсь в основах и доктринах католического вероучения и что переходить из одной веры в другую совсем не такое уж благое дело.

— Конечно, католическая вера самая лучшая,— говорил я,— но исповедую я ее совсем не оттого, просто вся наша семья католики. А после смерти я хочу разделить участь своих родных, к этому же следует стремиться и тебе. Если нам предстоит попасть в ад, отправимся туда, как и подобает порядочным людям.

— Нет, я не про то,— заметил он.— По правде сказать, про ад-то я и не подумал. Там ведь всякие муки. Да, это не больно сладко!

— Сдается мне, ты вообще ни о чем не подумал,— сказал я, и после этого он отказался от намерения перейти в католичество.

Какое-то время он утешал себя игрой на дешевеньком флажолете — это было одним из любимых его развлечений, благодаря которому у меня выдавались спокойные часы. Впервые доставши флажолет из кармана в разобранном виде, этот хитрец спросил, играю ли я на этом инструменте. Я отвечал, что не играю; тогда он со вздохом отложил флажолет, будто огорчившись, что я не играю. Довольно долго он изо всех сил противился искушению, руки у него так и чесались достать флажолет, пальцы машинально шарили по карману, он даже перестал любоваться видом мест, по которым мы проезжали, и рассказывать ни с того ни с сего разные занимательные истории. Но вот дудочка вновь оказалась у него в руках; он собирал ее, разбирал, опять собирал и поначалу играл на ней беззвучно — как в пантомиме.

— Я-то немножко играю,— сказал он.

— Вот как? — заметил я и сладко зевнул.

И тут его прорвало.

— Мистер Рейморни, сэр, с вашего позволения, может, вам не помешает, если я сыграю песенку? — взмолился он.

С этого часу наш путь оживляло дуденье флажолета.

Более всего Роули увлекался описаниями сражений, поединков, вылазками лазутчиков и тому подобным. Слушая рассказы об этом, он спешил сравнить их с подвигами Уоллеса, единственного известного ему героя. Восторг его был велик и искренен. Узнав, что мы направляемся в Шотландию, он радостно выпалил:

— Ну вот, значит, я увижу, где жил Уоллес! — И тут же пустился в рассуждения: — Странное дело, сэр,— начал он,— и всегда-то меня заносит куда не надо. Ведь я англичанин, и еще как этим горжусь! Вот ей-ей! Еще как горжусь! Пусть бы эти ваши французишки только сунулись к нам, я бы им показал, уж будьте в надежде. Верно вам говорю, я ж англичанин до самых печенок. И на ж тебе — прилепился к этому Уильяму Уоллесу, и уж меня от него не оторвешь; я ведь даже не слыхал, что есть на свете такие люди! А потом вот повстречались вы, и я возьми да и прилепись к вам. А коли толком рассудить, так ведь вы оба мне заклятые враги! Я... я прошу прощенья, мистер Рейморни, но только нельзя ли как-нибудь так постараться, чтоб вам не делать ничего против Англии, покуда я при вас? — вдруг сорвалось у него с языка, точно мысль эта жгла его.

Я был тронут до глубины души.

— Будь спокоен, Роули,— сказал я.— Превыше всего я дорожу своей честью — и твою честь стану охранять не менее ревностно, чем свою. Просто мы с тобой побратались, как солдаты на линии огня. А едва горнист заиграет тревогу, придется нам сойтись на поле брани, мой мальчик, одному на стороне Англии, другому на стороне Франции, и да защитит бог правого!

Так я отвечал ему тогда, но хоть и не подал виду, а Роули попал мне в самое больное место. Еще долго после этого разговора слова его звучали у меня в ушах. Весь день меня мучила совесть, и ночью (мы провели ее, помнится, в Личфилде) я тоже не сомкнул глаз. Я задул свечу с твердым намерением уснуть, но в тот же миг перед внутренним взором моим вспыхнул свет, озарил все, точно в театре, и я увидел себя на сцене в самых низменных ролях. Мне вспомнились Франция и мой император, которые зависели теперь от воли победителей: униженные, поставленные на колени, они все еще противятся бесчисленным и разнообразным врагам. И меня опалило стыдом оттого, что я в Англии, и карманы у меня набиты английским золотом, и стремлюсь я к возлюбленной — англичанке, вместо того чтобы быть на родине, с мушкетом в руках защищать французскую землю и удобрить ее своим прахом, если мне суждено пасть. Ведь я принадлежу Франции, подумалось мне, за нее сражались все мои предки, и не один сложил за нее голову; мой голос, мои глаза, слезы, которых я не мог сейчас сдержать, весь я с головы до пят — детище французской земли и вскормлен матерью-француженкой; меня ласкали и лелеяли дочери Франции, самые прекрасные на свете, рожденные под самой несчастливою звездой, и я воевал и одерживал победы плечом к плечу с ее сынами. Солдат и дворянин самого гордого и самого храброго из народов Европы, я дошел до того, что о моем долге мне напомнила болтовня мальчишки-лакея, в английской карете, на английской земле.

Осмыслив все это, я не стал тратить время на колебания. Я не раздумывая решил для себя извечный спор между любовью и долгом. Ведь я — Сент-Ив де Керуаль, завтра же поутру я отправлюсь в Уэйкфилд, к Берчелу Фенну, как можно скорее сяду на корабль и отплыву на помощь моей угнетенной отчизне и моему осажденному императору. Подгоняемый этими мыслями, вскочил я с постели, зажег свечу, и, когда на погруженных во тьму улицах Личфилда ночной сторож прокричал половину третьего, я уже сидел за столом, приготовляясь писать прощальное письмо Флоре. И тут — то ли оттого, что вдруг потянуло холодом, то ли просто мне вспомнилось «Лебяжье гнездо», бог весть, но я вдруг услыхал лай овчарок и увидал пред собою тех двоих — нескладных, с желтыми от табака носами, закутанных в пледы, с грубыми посохами в руках, и мне сразу стало не по себе оттого, что я их позабыл и в последний раз вспоминал про них так беспечно.

Вот чем надобно заняться первым делом! Как частное лицо, я прежде всего не француз, не англичанин,

а нечто другое: честный, порядочный человек. Я не вправе оставлять Сима и Кэндлиша в беде, они не должны расплачиваться за мой злосчастный удар. Молча взывали они к моей чести, ждали от меня помощи, и не мог я ставить свои политические обязательства выше личных и частных, это было бы неким изощренным стоицизмом, глубоко чуждым моей натуре. Если только оттого, что на краткий срок Франция лишилась Энна де Сент-Ива, она потерпела поражение — значит, такова ее судьба! Но и странно и унизительно было мне сознавать, что столько времени я не выполнял такой ясный и недвусмысленный свой долг, столько времени им пренебрегал и даже не помнил о нем. Думаю, всякий благородный человек поймет меня, если я скажу, что когда я ложился спать, совесть меня уже почти не мучила, и проснулся я поутру с легким сердцем. Мысль, что помощь Симу и Кэндлишу сопряжена с опасностью, только прибавляла мне уверенности; ведь, чтобы спасти их (если уж предполагать самое худшее), мне надобно будет предстать перед судом присяжных, и о последствиях подобного шага я покуда предпочитал не думать; зато никто не вправе будет меня упрекнуть в том, что я выбрал путь самый легкий и простой, а разве лишь в том, что в сложном столкновении, когда долг призывал меня одновременно в две разные стороны, я поставил жизнь на карту ради того дела, которое не терпело ни малейшего отлагательства.

Отныне мы уже старались нигде не задерживаться лишку: мы ехали день и ночь и останавливались только, чтобы перекусить, а форейторов, по примеру кузена Алена, поторапливали чаевыми. Приплатив два пенса, я тут же ехал дальше и получал при этом четырех лошадей. Я спешил что есть мочи: пробудившаяся совесть не давала мне ни отдыха, ни срока. Но я опасался привлекать к себе внимание. Мы и так были слишком заметны с нашей малиновой каретой ценою в семьдесят фунтов, с этим предметом роскоши, от которого не чаяли избавиться.

А пока суд да дело, мне стыдно было смотреть в глаза Роули. Этот юнец каким-то образом заставил меня ощутить, что я за него в ответе; мне это стоило бессонной ночи и жестокого, целительного унижения; я был благодарен ему, однако же ощущал в его присутствии некоторую неловкость, а уж это никуда не годилось, это противоречило всем моим понятиям о дисциплине: если офицер вынужден краснеть перед рядовым, или господин перед слугой, только и остается, что уволить этого слугу либо умереть. И тут-то мне пришло на ум учить моего Роули французскому языку; а потому, начиная с Личфилда, я обратился в рассеянного учителя, а он — в ученика... ну, скажем, неутомимого, но лишенного вдохновения. Интерес его никогда не ослабевал. Он мог по сто раз слышать одно и то же слово, всякий раз ему радовался, словно при первой встрече, произносил его на самые разные лады, но все неверно, и всякий раз с баснословной быстротой снова его забывал. Ну взять хоть слово «школа».

— Нет, мистер Энн, вроде я такого слова не припомню, вроде как и не слыхал.

А когда я в сотый раз напоминал ему: «Ecole!» — он тут же восклицал:

— Ну да! Оно вертелось у меня на языке: леколь! — И он тут же перевирал, словно по какой-то роковой неспособности запомнить.— Как бы мне его теперь не запамятовать? Ну да это же проще простого — вроде нашего «легко ль»! Теперь-то уж я запомню, ведь что-что, а учиться в школе куда как нелегко!

И когда на другой день я спрашивал его, как будет по-французски «школа», можно было ждать, что он либо совсем забыл это слово, либо скажет что-нибудь вроде «тяжело». Но при этом он ничуть не падал духом. Он, видно, воображал, что так тому и быть должно. Изо дня в день он спрашивал меня с улыбкою:

— Ну как, сэр, примемся за французский?

И я принимался, задавал вопросы и подробнейшим образом все ему толковал и разъяснял, но ни разу не услышал от него ни единого дельного ответа. У меня опускались руки — прямо хоть плачь, до чего неспособный попался мне ученик. Когда я задумывался о том, что он покуда еще ровно ничему не научился, а изучить ему надобно еще ох как много, мне начинало казаться, что уроки эти будут длиться целую вечность, и я видел себя в роли учителя уже столетним старцем, а моего ученика Роули — девяностолетним, и мы попрежнему долбили азы! Несмотря на неизбежную в путешествии, несколько чрезмерную непринужденность от-

ношений, несносный мальчишка нисколько не избаловался. На станциях на него любо-дорого было смотреть: он мигом обращался в самого что ни на есть образцового слугу — проворный, учтивый, исполнительный, заботливый, то и дело кланяется, точно послушная марионетка, всем видом и службой своей стараясь поднять престиж мистера Рейморни в глазах гостиничного люда, и, казалось, нет на свете дела ему не по плечу, кроме того единственного, которое я для него избрал,— изучить французский язык!

ГЛАВА XXIII

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЛОЙ ПАРОЧКИ

С некоторых пор окрестный ландшафт стал меняться. Тысячи признаков указывали, что Шотландия совсем близко. Я угадывал это по облику гор, по лесам, которые становились все гуще, по чистому блеску ручьев, журчавших вдоль большака. Я мог бы подумать и о том, что мы приближаемся к месту, на свой лад прославленному в Англии,— к Гретна-Грин. По этой самой дороге, по которой мы скакали с Роули в малиновой карете под аккомпанемент флажолета и французских уроков, множество влюбленных пар устремлялось на север под музыку шестнадцати копыт, выстукивающих галоп. И какое множество разгневанных преследователей — родители, дяди, опекуны, отвергнутые соперники — мчались вдогонку, и прятали залитое краской лицо за окошком кареты, и щедро рассыпали золотые на почтовых станциях, и усердно заряжали и перезаряжали жаждущие мести пистолеты! Но я, кажется, и не вспомнил об этом, покуда случайная встреча на дороге не вовлекла меня в самую гущу такого приключения, и, к моему восторгу в тот час, а потом к недолгому, но глубокому сожалению, я оказался ангелом-хранителем людей, мне дотоле неведомых.

На косогоре, на крутом повороте дороги в канаве лежал на боку фаэтон; посреди дороги взволнованно спорили о чем-то мужчина и женщина, а два форейтора верхами, каждый с лошадью в поводу, глядели на них и смеялись.

— Силы небесные! Вот это трахнулись! — воскликнул Роули, оборвав на полуноте «Неприступный островок», и сунул флажолет в карман.

Я же острее ощутил в этом зрелище духовный крах, нежели физический — куда более разбитых карет меня трогают разбитые сердца,— ибо сразу же стало ясно как день, что у этой беглой парочки что-то неладно. Когда простолюдины смеются, это плохой знак: юмор у них и низкопробный и злой; если человек нанял четверку лошадей и, по-видимому, не смущается расходами, да еще едет с прелестнейшей девушкой, и при этом допускает, чтобы над ним потешались его же собственные форейторы, значит, он либо глупец, либо отнюдь не джентльмен.

Я сказал, что то были мужчина и женщина. Вернее сказать — мужчина и девочка. Она была не старше семнадцати лет, ангельски хороша, такая пухленькая, что перед ней не устоял бы и святой, и вся — от чулок до модного чепчика — в голубом всевозможных оттенков, что создавало весьма привлекательную гамму, самую глубокую ноту которой она бросила мне, одарив меня испытующим взглядом синих глаз.

Сомневаться не приходилось, я словно по книге читал. Прямо из пансиона, едва оторвавшись от парты, от фортепьяно, от сонатин Клементи, девочка эта, как в воду, кинулась в жизнь, в обществе мужлана без роду без племени, и уже не только сожалела о содеянном, но выражала свое сожаление с откровенной горечью.

Когда я вышел из кареты, они сразу же умолкли, но по лицам их явственно читалось, что я прервал неприятное объяснение. Я снял шляпу перед дамой и предложил им свои услуги.

Ответил мне мужчина.

— Что толку скрывать, сэр,— сказал он,— мы бежали, и ее отец нарядил за нами погоню — тут ведь дорога на Гретна-Грин, сэр. А эти простофили возьми да и вывали нас в канаву и фаэтон разбили!

— Весьма досадно,— заметил я.

— Уж и не знаю, когда еще мне было таково досадно! — воскликнул он и поглядел вдаль с нескрываемым страхом.

— Отец, надобно полагать, вне себя от ярости? — учтиво поинтересовался я.

— А как же! — воскликнул мужлан.— Что долго толковать, сами понимаете: нам бы только поскорей вырваться из этой западни, вот что... может, вы скажете, это бесцеремонно с моей стороны, да нужда свой закон пишет... Может, вы бы ссудили нам свою карету до ближайшей станции, нам бы только туда добраться, сэр.

— Признаюсь, это и вправду бесцеремонно,— отвечал я.

— Как вы изволили сказать, сэр? — вскинулся он.

— Я с вами согласился,— отвечал я.— Да, это и вправду бесцеремонность, а главное, все и ни к чему. Я полагаю, можно уладить дело по-другому и притом наилучшим образом. Вы, разумеется, ездите верхом?

Тут-то и стало ясно, о чем они только что спорили, и господин сей предстал перед нами в истинном свете.

— Так я ж ей это самое и твердил, чтоб ей пусто было! Надобно ехать верхом! — выкрикнул он.— Уж коли этот джентльмен того же мнения, черт возьми, чего ж вам еще надобно, поедете, и вся недолга!

Говоря так, он хотел схватить ее за руку, но она с ужасом отпрянула.

Я встал между ними.

— Нет, сэр,— сказал я,— леди не поедет верхом.

— А вы кто такой? Чего вмешиваетесь? — взревел он.

— Кто я такой, вас не касается,— отвечал я.— Будь я хоть сам дьявол или архиепископ Кентерберийский — не ваше дело. Главное, я могу вам помочь, а больше ведь, сколько я понимаю, помощи вам ждать неоткуда. Так вот что я предлагаю. Леди поедет в моей карете, конечно, ежели вы ответите любезностью на любезность и разрешите моему слуге ехать на одной из ваших лошадей.

Я думал, он набросится на меня с кулаками.

— Впрочем, у вас есть выбор: дожидайтесь тут, покуда приедет папенька,— прибавил я.

Он мигом утихомирился. Еще раз затравленно поглядел назад, на дорогу — и сдался.

— Ну, конечно, сэр, леди будет вам очень благодарна,— нехотя вымолвил он.

Я подал ей руку; она, как птичка, впорхнула в экипаж; Роули, ухмыляясь во весь рот, закрыл за нами дверцу; бесстыжие наглецы форейторы закричали нам вслед что-то одобрительное и громко захохотали, мой же с места пустил лошадей крупной рысью. Видно, все они сочли, что я лихо и дерзко похитил невесту у похитителя.

Меж тем я украдкой глянул на мою юную спутницу. Бедняжка была в отчаянном волнении, и лежащие на коленях руки ее в черных кружевных митенках дрожали.

— Сударыня...— начал я.

Но тут она, обретя наконец дар речи, воскликнула:

— Ах, что вы должны обо мне подумать!

— Сударыня, что должен подумать любой порядочный человек, когда он видит юность, красоту и невинность в беде? Я бы рад был, если бы мог сказать, что гожусь вам в отцы; к сожалению, это не так,— продолжал я с улыбкой.— Однако, мне кажется, то, что я сейчас скажу, успокоит ваше сердечко и докажет вам, насколько мое общество для вас безопасно. Я влюблен. Не знаю, позволено ли сказать так о самом себе — я не очень искушен во всех тонкостях английского языка,— но я верно и преданно влюблен! Есть на свете одна особа, я восхищаюсь ею, поклоняюсь и повинуюсь ей; она столь же добра, сколь прекрасна; будь она здесь, она заключила бы вас в свои объятия; считайте, что это она послала меня вам на помощь, сказала: «Иди, будь ее рыцарем!»

— Ах, я знаю, уж верно она очень хорошая, она уж верно достойна вас! — воскликнула малютка.— Она бы никогда не забыла приличия... никогда не сделала бы такой ужасной erratum [1], как я!

При этих словах голос у ней зазвенел, и она разрыдалась.

Слезы ее нисколько не помогли делу; напрасно просил я ее успокоиться и рассказать мне все по порядку об ее злоключениях; вместо этого она лепетала какой-то немыслимый вздор, обличавший в ней и примерную школьницу и несчастную наивную девушку, попавшую в ложное положение: в ее лепете чувствовалась приви-

[1] Здесь: ошибка, промах (*лат.*).

тая воспитанием строгая добропорядочность и прирожденная непоследовательность.

— Ну, конечно, всему виной моя слепота,— всхлипывала она.— Как же я этого не увидала? Но ведь не увидала. А он совсем не такой, правда? А потом пелена спала с моих глаз... Ах, какая ужасная минута! Но про вас я сразу поняла; только вы показались из своего экипажа, и я поняла. Ах, какая же она, должно быть, счастливица! И с вами мне не страшно, ни чуточки не страшно... я совершенно вам доверяюсь.

— Сударыня,— сказал я,— пред вами джентльмен.

— Ну да, об том я и говорю... вы джентльмен! — воскликнула она.— А он... а этот... он — нет. Ах, как же я осмелюсь поглядеть в глаза папеньке! — Тут она обернула ко мне свое заплаканное личико и трагически всплеснула руками.— И я совсем опозорена, что теперь скажут девицы из нашего пансиона!

— Ну-ну, все не так уж плохо! — воскликнул я.— Вы преувеличиваете, дорогая мисс... Прошу извинить мою нескромность, но я не знаю вашего имени.

— Мое имя Дороти Гринсливз, сэр. Зачем мне его скрывать? Боюсь, теперь оно только на то и годится, чтобы стать притчей во языцех, а ведь я совсем не о том мечтала! Кажется, во всем нашем графстве ни одна девица так не старалась заслужить всеобщее одобрение, как я. И до чего же я низко пала! Ах, господи, какая же я грешница, и упрямая какая, и во всем, во всем сама виновата! А теперь мне уж не на что надеяться! Ах, мистер...

Тут она прервала свою речь и осведомилась, как меня звать.

Мне нет нужды превозносить себя до небес, я ведь пишу не похвальное слово для академии, а потому признаюсь, что совершил непростительную глупость — назвал ей свое настоящее имя. Ежели бы вы оказались на моем месте и увидели ее, такую хорошенькую, совсем еще девочку и годами и умом, услышали бы, как она говорит — прямо как по-писаному, и во всей ее повадке столько детской благовоспитанности и вместе простодушного отчаяния,— вы бы и сами не устояли и назвались настоящим именем. Она повторила его, чтобы лучше запомнить!

— Я всю жизнь стану за вас молиться,— сказала она.— Каждый вечер перед сном буду поминать вас в своих молитвах.

Недолго спустя мне удалось убедить ее, чтобы она поведала мне свою историю, которая оказалась примерно такой, как я и ожидал: то был рассказ о пансионе, об огороженном стеною парке, о плодовом дереве, в тени которого пряталась скамейка, о дерзком, беспутном франте, которого она приметила в церкви, о том, как они обменивались цветами и клятвами, об ее глупенькой подружке-наперснице, о карете четверкой и о том, как она быстро и полностью разочаровалась в своем избраннике.

— А теперь уже ничего не поделаешь! — горестно всхлипнув, заключила она.— Я поневоле должна признать, что совершила непоправимую ошибку. Ах, мсье де Сент-Ив, ну кто бы мог подумать, что я окажусь такой слепой, такой упрямой дурочкой, такой грешницей!

Мне следовало бы сказать это прежде, только я, право, не знаю, когда это произошло: Роули, мистер Белами (так звали мужлана) и два наши форейтора, все верхами, догнали нас и образовали своего рода конный эскорт; они скакали то впереди кареты, то позади, и Белами то и дело красовался перед окошком и пытался развлечь нас разговором. Принимали его так дурно, что, помня, с какой высоты он падал и как всего несколько часов назад юная леди, смущенная и пылкая, сама кинулась в его объятия, я чуть ли не пожалел его. Что ж, безжалостные удары судьбы обыкновенно приходятся на долю недостойных, так что теперь я был вправе ему сочувствовать, а форейторы — над ним смеяться!

— Мисс Дороти,— сказал я,— желаете вы избавиться от этого человека?

— Ах, неужели это возможно? — воскликнула она.— Но только по-хорошему.

— Ну, разумеется, сударыня,— отвечал я.— Что может быть проще! Мы с вами в цивилизованном государстве, человек этот преступник и...

— Ах, нет, ни за что! — воскликнула она.— И думать не смейте! У него много слабостей, но он совсем не преступник, я-то знаю.

— Но что бы вы ни говорили, в этой истории виноватый он; как ни поверни, а он пошел наперекор закону,— возразил я.

И тот же час я окликнул своего форейтора — все четверо всадников как раз сильно опередили нас — и осведомился у него, кто здесь поблизости мировой судья и где он живет. Архидиакон Клитрой, отвечал он, лицо весьма высокопоставленное, и живет он всего в миле или двух в сторону,— надо повернуть назад и свернуть на первый, не то на второй проселок.

— Везите леди туда да скачите во всю прыть,— распорядился я и показал ему золотой.

— Слушаюсь, сэр! Домчу единым духом, только держитесь! — отозвался форейтор.

И не успел я и глазом моргнуть, как он заворотил экипаж, и мы галопом поскакали на юг.

Верховая свита наша вмиг заметила этот маневр, в свой черед поворотила коней и, что-то громко крича, пустилась за нами вдогонку, так что изящная мирная картина — карета и провожатые верхами,— которую мы являли всего лишь минуту назад, в мгновение ока преобразилась в подобие шумной и беспорядочной травли, будто на охоте за лисицей. Оба форейтора и мой веселый плутишка-слуга были, разумеется, просто незаинтересованными участниками этой комедии — их гнал вперед один только спортивный интерес; они держались все вместе, громко хохотали, размахивали шляпами и выкрикивали все, что придет в голову:

— Ату его!

— Держи вора!

— Разбойник! Разбойник!

Совсем иное дело Белами. Едва заметив, что мы изменили направление, он тут же поворотил коня, да так круто, что бедное животное чуть не повалилось на бок, и пустил его в карьер вслед за нами. Когда он нагнал нас, лицо у него было белое, как полотно, и в поднятой руке он держал пистолет. Я быстро обернулся к бедняжке невесте, вернее, к той, что была лишь недавно невестою, но более не желала ею быть, она, со своей стороны, отворотясь от окошка, рванулась ко мне.

— Ах, спасите, он убьет меня! — вскричала она.

— Не бойтесь,— сказал я.

Лицо ее было искажено страхом. Точно малое дитя, она обеими руками безотчетно вцепилась в мою руку. Тут карета круто накренилась, пол ушел у меня из-под ног, нас кинуло вповалку на сиденье. И почти в тот же миг в окне, которое малютка так и не закрыла, появилась голова Белами.

Вы только вообразите себе эту картину! Мы с малюткой падаем, верней, только что упали на сиденье, что, конечно же, выглядело со стороны несколько двусмысленно. Карета с бешеной скоростью мчится по большаку, неистово подскакивая и кренясь то вправо, то влево. В этот шаткий ковчег Белами просунул голову и руку с пистолетом; но конь его несся еще быстрей, нежели карета, и он вынужден был в тот же миг ретироваться. Он исчез, но успел выстрелить — с умыслом или по нечаянности, я так никогда и не узнаю, но думаю, скорее всего ненароком. Быть может, он только хотел нас напугать в надежде, что мы остановимся. Но одновременно с выстрелом малютка вскрикнула, и, решив, что пуля угодила в нее, господин сей припустился по дороге, точно за ним гнались фурии, свернул на первом же повороте, с ходу перемахнул через колючую изгородь и мгновенно исчез в полях.

Роули жаждал погнаться за ним, но я его не пустил, ведь мы на удивление легко отделались от мистера Белами — царапиной у меня пониже локтя и пулевым отверстием в левой стенке кареты. И теперь уже потише, не во весь дух, мы продолжали путь к дому архидиакона Клитроя. Благодаря этой драматической сцене и моей царапине, которую малютке угодно было окрестить раной, восторг ее и благодарность не знали границ. Ей непременно надобно было перевязать меня своим носовым платком, и при этом она чуть не плакала. Я прекрасно мог обойтись без ее слез, ибо терпеть не могу попадать в смешное положение, да и пострадал я не более, чем если бы меня оцарапала кошка. Право, я охотно попросил бы ее направить свои милые заботы на рукав моего плаща, который пострадал куда более руки, но у меня достало ума не свести эту драматическую историю к обыденному происшествию. Чтобы вновь обрести утраченное самоуважение, малютке было куда как важно, что ее спас настоящий герой, что, защищая ее, герой этот был ранен, и рану его она перевязала собственным платком (на кото-

ром, кстати сказать, даже не видно было следов крови); мне уже слышалось, как она рассказывает об этом событии «девицам из своего пансиона», следуя лучшим образцам сочинений миссис Радклиф, и обращать ее внимание на порванный рукав было бы не только невоспитанно, но, пожалуй, даже и бесчеловечно.

Вскоре мы завидели и усадьбу архидиакона. У крыльца стояла карета, запряженная четверней курящихся паром лошадей: она несколько отъехала в сторону, давая нам дорогу, и едва мы высадились, в дверях дома показался рослый священник, а рядом с ним краснолицый и, сразу видно, упрямый человек, который явно был в страшном волнении и размахивал над головой каким-то свитком. При виде этого человечка мисс Дороти упала на колени и обратила к нему, называя его папенькой, самые трогательные мольбы: она уверяла, что совершенно излечилась от своего недуга, глубоко раскаивается в своем непослушании и умоляет ее простить; очень скоро я понял, что ей нечего опасаться особой суровости со стороны мистера Гринсливза,— судя по всему, человек он был шумный, любящий, жадный до ласки и щедрый на слезы.

Желая не уронить своего достоинства, да и не замешкаться с отъездом, едва к тому представится возможность, я поворотился к форейторам Белами, чтобы с ними рассчитаться. Они не могли предъявить мне ни единой претензии, кроме той, о которой и сами не ведали,— что я беглец. Хуже всего в моем фальшивом положении было то, что, прежде чем отблагодарить кого-нибудь, мне всякий раз надобно было как следует подумать. Приходилось помнить, что не годится оставлять на своем пути ни недовольных, ни слишком благодарных. Но во всей этой истории с самого начала было столько шуму и треску, а пятый акт, где были и выстрелы, и примирение отца с дочерью, и похищение почтовой лошади, так отзывался мелодрамой, что сохранить это в тайне не было никакой надежды. Конечно же, будет теперь судить и рядить об этом на кухне прислуга всех гостиниц и постоялых дворов на тридцать миль вокруг по меньшей мере добрых полгода. А потому мне оставалось только отблагодарить всех так, чтобы благодарность моя вызвала как можно меньше толков,— достаточно щедро, чтобы никто не ворчал, и достаточно скромно, чтобы никто не стал

хвастать. Решение мое было скорое, но недостаточно мудрое. Один из молодцов плюнул на свои чаевые, как он выразился, «на счастье»; другой, вдруг обнаружив нежданное благочестие, стал пылко просить господа одарить меня своею милостью. Я понял, что вот-вот начнутся шумные изъявления благодарности, и вознамерился как можно скорее унести ноги. Приказав моему форейтору и Роули быть готовыми в путь, я поднялся на веранду и со шляпой в руке предстал перед мистером Гринсливзом и архидиаконом.

— Надеюсь, вы меня извините,— начал я,— мне совестно нарушать приятные излияния родственных чувств, которым я в некотором роде имел честь способствовать.

И тут разразилась буря.

— В некотором роде! В некотором роде, сэр! — воскликнул папенька.— Да что это вы такое говорите, мистер Сент-Ив! Ежели я получил назад мою голубку, ежели ее в целости-сохранности вырвали из лап этого мерзкого негодяя, я уж знаю, кого благодарить! Вашу руку, сэр, я по уши у вас в долгу! Хоть вы и француз, но, ей-богу, вы хорошей породы. И, ей-богу, сэр, ничего для вас не пожалею, просите, что хотите, хоть бы и руку Долли!

Все это он пророкотал громовым басом, весьма неожиданным в столь крохотном человечке. И каждое его слово доносилось и до слуг, которые вслед за господами высыпали из дому и толпились теперь вокруг нас на веранде, и до Роули и пятерых форейторов, стоявших внизу, на посыпанной гравием подъездной дороге. Чувства, выраженные отцом, были всем понятны, и какой-то осел, которого не иначе как бес попутал, предложил трижды прокричать «ура» в мою честь, что и было тотчас же с охотою исполнено. Услышать, как имя твое отдается в Уэстморлендских горах, среди приветственных кликов, наверно, даже лестно, но в ту минуту, когда (как я полагал) полицейские афишки уже неслись вслед за мною со скоростью ста миль в день, это было совсем некстати.

Мало того. Воздать мне хвалу пожелал и архидиакон, и ему понадобилось всенепременно угостить меня вест-индским хересом, так что он повел нас в превосходную просторную библиотеку и там представил своей высокородной супруге. Покуда мы сидели в библиотеке за хересом, на веранде всех обносили элем. Наконец, речи были

произнесены, мы обменялись рукопожатиями, малютка по настоянию папеньки подарила мне на прощание поцелуй, и все общество вышло на веранду проводить меня, и, пока моя карета не скрылась у них из глаз, все махали платками и шляпами и громогласно желали мне доброго пути, а во всех окрестных горах им усердно откликалось эхо.

Мне же горы твердили другое: «Глупец, ну и натворил же ты дел!»

— Выходит, они разузнали ваше имя, мистер Энн,— сказал Роули.— Только уж на этот раз я не виноват.

— Это одна из тех случайностей, которые невозможно предвидеть,— отвечал я с достоинством, которого вовсе не ощущал.— Кто-то из них меня узнал.

— Кто же это, мистер Энн? — спросил негодник.

— Бессмысленный вопрос. Какая разница кто? — отвечал я.

— И впрямь, не все ли равно! — воскликнул Роули.— Я говорю, мистер Энн, сэр, ну и каша заварилась, а? Вот уж, как говорится, дали маху, правда?

— Я перестаю тебя понимать, Роули.

— Да я просто хотел спросить, что же нам теперь делать вот с ним.— И Роули кивнул на форейтора, который маячил перед нами и в такт идущей рысью лошади то приподнимался на стременах (и тогда видны были заплаты на штанах), то снова опускался.— Нынче поутру, когда вы на его глазах садились в карету, вы звались мистер Рейморни... помните, сэр, я все время исправно вас так величал, ...а теперь опять сели в карету и уже зоветесь мистер Сент-Ив, а когда станете выходить из кареты, у вас, может, будет еще какое новое имя? Вот что меня заботит, сэр. Коли вы меня спросите, так, по-моему, стратегия у нас сейчас самая никудышная.

— Parrrbleu! [1]. Оставишь ты меня наконец в покое! — не выдержал я.— Мне надобно поразмыслить. А ты никак не возьмешь в толк, что твоя дурацкая трескотня мне докучает.

— Прошу прощения, мистер Энн,— сказал он и тут же прибавил: — А французским вы сейчас не желаете заняться, мистер Энн?

[1] Проклятие, черт побери! *(франц.)*.

— Мне не до французского! Поиграй-ка на своем флажолете.

Нечистая совесть и в самом деле обращает всех нас в трусов! Я так был удручен своим необдуманным поведением нынче утром, что прятал глаза от своего мальчишки-слуги, и даже в его безобидном дуденье мне чудилась насмешка.

Я взял иголку с ниткой, снял плащ и по солдатской привычке сам принялся его чинить. Нет занятия лучше, когда требуется поразмыслить, особливо же в трудных обстоятельствах, и за шитьем я и вправду мало-помалу обрел ясность мыслей. Прежде всего надобно немедля избавиться от малиновой кареты. Продать ее на следующей же станции, сколько бы за нее ни дали. После этого мы с Роули выйдем на дорогу и немалое время вынуждены будем шагать на своих на двоих, а потом, уже под новыми именами, сядем в дилижанс, направляющийся в Эдинбург! Столько хлопот и трудов, такой огромный риск, такие расходы, такая потеря времени — и все оттого, что не удержался и сболтнул лишнее малютке в голубом!

ГЛАВА XXIV

ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ В КЕРКБИ-ЛОНСДЕЙЛЕ

До этого времени мне ясно было, как нам следует себя вести, и этот дорогой моему сердцу замысел мне отчасти удалось исполнить. Мы с Роули выходим из малиновой кареты, два безупречно одетых оживленных молодых человека с блестящими глазами, два молодца из хорошего, хоть и не слишком знатного дома, которые заняты только своими собственными делами и разговаривают единственно друг с другом, да к тому же наилюбезнейшим и наиучтивейшим образом. Сквозь небольшую толпу, собравшуюся у дверей, мы проходим рассеянно-озабоченные, как и подобает хорошо воспитанным людям, сохраняя на лучший английский манер необидное для окружающих высокомерие, и скрываемся в доме, провожаемые восхищенными и завистливыми взглядами,— образец идеального господина и столь же идеаль-

ного слуги. И когда мы подъехали к гостинице в Керкби-Лонсдейле, мне трудно было примириться с мыслью, что сцена эта будет разыграна в последний раз. Увы! Знал бы я, как неудачно она окончится!

Я неблагоразумно щедро рассчитался с форейторами чужой четверни. И вот предо мною с протянутой рукой предстал мой собственный форейтор, тот самый, в заплатанных штанах,— глаза его горели алчностью. Он явно предвкушал, что уж ему-то я отвалю pourboire [1] целое состояние. Принимая во внимание все наши марши и контрмарши, стычку с мистером Белами, когда в ход пошло огнестрельное оружие, и пример глупейшей расточительности, который я показал, расплачиваясь с другими форейторами, мне и вправду следовало бы одарить его по-царски. Но чаевые — дело тонкое, особливо для чужеземца: дашь чуть меньше — и прослывешь скупцом, а дашь чуть больше — и уже попахивает подкупом за молчание. Все еще под впечатлением сцены во дворе у архидиакона и ликуя при мысли, что вот сейчас наконец-то разделаюсь с малиновой каретой, грозящей столькими опасностями, я положил в руку форейтора пять гиней, но это лишь разожгло его аппетит.

— Что это вы, сэр, неужто хотите отделаться от меня эдакой малостью? Ведь я, небось, видал, как в вас стреляли! — вскричал он.

Прибавить ему было невозможно, поступи я так, я тут же стану в Керкби-Лонсдейле притчей во языцех, а потому я твердо, но с улыбкой поглядел ему прямо в глаза и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Ежели тебе эта малость не по вкусу, верни ее мне.

С быстротой фокусника он засунул деньги в карман и, как истый сын лондонских задворок, с места в карьер принялся поливать меня грязью.

— Ладно, будь по-вашему, мистер Рейморни... То бишь, мистер Сент-Ив, или как там еще вы прозываетесь. Видали такую чертовщину? — воззвал он к конюхам.— Вот уж впрямь чертовщина, по-другому и не скажешь. Взялся я его возить, а он, треклятый сукин сын, как желает, так себя и прозывает, а на поверку выходит, он чертов мусью. Цельный день я его катал взад-вперед, и девиц увозили, и из пистолетов палили, и херес распивали и эль. И чего же он мне дает за все мои труды? Да чтоб ему, такому-сякому-разэтакому...

[1] Чаевые, «на чай» *(франц.)*.

И он стал выражаться так забористо, что я не осмеливаюсь воспроизвести здесь его художества.

Тут я заметил, что Роули весь дрожит от ярости, еще минута — и он окончательно поставит меня в смешное и дурацкое положение: схватится с форейтором врукопашную.

— Роули! — с упреком воскликнул я.

Строго говоря, мне следовало назвать его Гэммоном, но в эту минуту всем было не до того, и, надеюсь, промах мой никем не был замечен. В тот же миг я перехватил взгляд почтмейстера. Был он высок, тощ, лицо имел желчное и неприветливое; сразу видно, палец в рот не клади, человек смекалистый. Он тот же час приметил, что я в затруднении, не мешкая выступил из толпы, вмиг прогнал форейтора и уже снова был подле меня.

— Обед прикажете подать прямо в номер, сэр? Будет исполнено. Джон, в номер четвертый! Какое изволите заказать вино? Будет исполнено, сэр. Свежую упряжку, сэр? Нет, сэр? Как вам будет угодно.

Каждую фразу он сопровождал чем-то вроде поклона и каждой предпосылал нечто вроде улыбки, без чего я отлично мог бы обойтись. Любезность его не была искренней, прикрываясь ею, он недоверчиво меня изучал — он, конечно же, взял на заметку и сцену, разыгравшуюся у его крыльца, и беспорядочные выкрики форейтора, и когда меня наконец ввели в мой номер, я со страхом подумал, что неприятностей не миновать. Я чуть было не решил отказаться от своего намерения. Но, сказать по правде, теперь, когда имя мое стало всеобщим достоянием, страх мой перед почтовым дилижансом, который вез афишки, вырос безмерно, и я чувствовал, что мне кусок в горло не пойдет, пока я не избавлюсь от малиновой кареты.

И вот, кое-как отобедав, я велел коридорному передать мой поклон содержателю гостиницы и просить его выпить со мною стаканчик. Он явился: мы обменялись положенными любезностями, и я приступил к делу.

— Кстати,— сказал я,— нынче поутру у нас в дороге произошла стычка. Вы, я полагаю, уже слыхали о ней?

Он кивнул.

— Мне не повезло: пуля угодила прямиком в стенку моей кареты,— продолжал я.— И, сами понимаете, она мне теперь без надобности. Не найдется ли у вас на нее охотника?

— Оно, конечно,— отвечал хозяин гостиницы,— я сейчас ее оглядел, карета ваша почитай что вовсе погублена. Известное дело, никому не по вкусу, ежели экипаж продырявлен пулей.

— Слишком попахивает «Лесным романом»? — подсказал я, вспомнив мою давешнюю малютку, которая, без сомнения, зачитывалась сочинениями миссис Радклиф.

— Вот это верно,— сказал он.— Может, они правы, а может, и нет, не мне судить. Но вообще-то оно понятно: приличным людям сам бог велел желать, чтобы и вещи у них выглядели прилично; дырки от пуль, лужи крови, господа с вымышленными именами — это им все без надобности.

Я поднял стакан вина и поглядел его на свет — пускай хозяин видит, что рука моя не дрожит.

— Да,— согласился я,— наверно, вы правы.

— У вас, конечно, имеются бумаги, какое-нибудь свидетельство, что карета эта ваша? — спросил хозяин гостиницы.

— Вот счет с печатью и подписью,— отвечал я и перебросил ему через стол бумагу.

— И это все? — спросил он, взглянув на счет.

— Довольно и этого,— сказал я.— Здесь сказано, где я купил вещь и сколько за нее заплатил.

— Право, не знаю,— сказал хозяин.— Обыкновенно требуется бумага, удостоверяющая личность.

— Личность кареты? — удивился я.

— Нет, зачем же: вашу личность,— отвечал он.

— Вы забываетесь, любезный,— сказал я.— Документы, устанавливающие мое право на поместье, хранятся вот в этой кожаной сумке, но неужто вы думаете, что я позволю вам их смотреть?

— Видите ли, эта ваша бумага подтверждает, что некий мистер Рейморни заплатил за некий экипаж семьдесят фунтов,— сказал хозяин.— Что же, прекрасно! Ну, а кто мне докажет, что вы и есть мистер Рейморни?

— Почтеннейший! — воскликнул я.

— К вашим услугам,— сказал он.— Всей душой. Это дела не меняет. Я, может, и почтеннейший, а может, и навязчивый и дерзкий, ежели вам так желательно... ну, а вы-то кто? Я слыхал, что у вас два имени; слыхал, что вы похищаете молодых девиц и что вас приветствуют как француза, это ли не диво? И повторяю, покажу хоть под присягой: когда форейтор давеча принялся про вас всякое рассказывать, у вас прямо поджилки тряслись. Коротко сказать, сэр, может, вы и порядочный господин, да я-то слишком мало вас знаю, а потому желаю поглядеть ваш документ, а не то пожалуйте к судье. Так что выбирайте: со мной вам объясняться невместно, так уж судья-то вам, надо полагать, ровня.

— Л-лю-безный,— произнес я, заикаясь; я с трудом обрел дар речи, но еще не пришел в себя.— Ваши требования весьма странны и грубы. Что же, у вас в Уэстморленде это в обычае — оскорблять благородных людей?

— Смотря кого,— отвечал он.— Ежели есть подозрение, что человек — шпион, так в обычае, и обычай этот не так уж и плох. Э, нет! — крикнул он, заметив, что у меня дернулась рука.— Обе руки на стол, господин хороший! Мне дырки от пуль в стенках без надобности.

— Право, сэр, вы ко мне на редкость несправедливы! — сказал я, уже вполне овладев собой.— Вы же видите, я само спокойствие; надеюсь, вы не примете за обиду, ежели я налью себе еще вина?

Я занял эту позицию просто из отчаяния. У меня не было никакого плана, никаких надежд. Я собирался потянуть еще немного и сдаться, ничего другого мне не оставалось. Но уж торопиться-то я, во всяком случае, не желал.

— Так, стало быть, вы не согласны? — спросил он.

— Вы имеете в виду ваше деликатное предложение? — отозвался я.— Стало быть, как вы изволили выразиться, почтеннейший, я не согласен. Разумеется, я не стану показывать вам свои бумаги, и, разумеется, я не желаю вставать из-за стола и плестись к вашим судьям. Я слишком дорожу своим пищеварением и слишком мало интересуюсь мировыми судьями.

Он перегнулся через стол, поглядел на меня в упор и протянул руку к шнуру от звонка.

— Послушайте, приятель,— заявил он,— видите этот шнур? Так знайте же, что внизу ждет мальчишка: только я дерну — и он по первому же звонку побежит за полицейским.

— Вот как? — сказал я.— Что ж, о вкусах не спорят! Я не любитель проводить время в обществе полицейских, но ежели вам вздумалось получить такового в качестве десерта...— Тут я слегка пожал плечами.— Знаете,— прибавил я,— это весьма забавно. Я человек светский и, уверяю вас, с интересом слежу за тем, какой еще стороной повернется ко мне ваша в высшей степени своеобычная натура.

Он по-прежнему молча изучал мое лицо, рука его по-прежнему сжимала шнур, а глаза буквально впились в мои глаза. То была решающая минута. Мне казалось, что под его взглядом лицо мое слиняло, выражение изменилось, улыбка (ибо вначале я улыбался) обернулась гримасой мученика, пытаемого на дыбе. Притом меня терзали сомнения. Человек ни в чем не повинный уже давно положил бы конец всем этим дерзостям, а раз я терплю, я тем самым подписываю и скрепляю печатью свое признание; силам моим пришел конец.

— Вы не возражаете, ежели я засуну руки в карманы панталон? — спросил я.— Прошу прощения, что я заговорил об этом, но всего минуту назад вы изволили очень уж взволноваться.

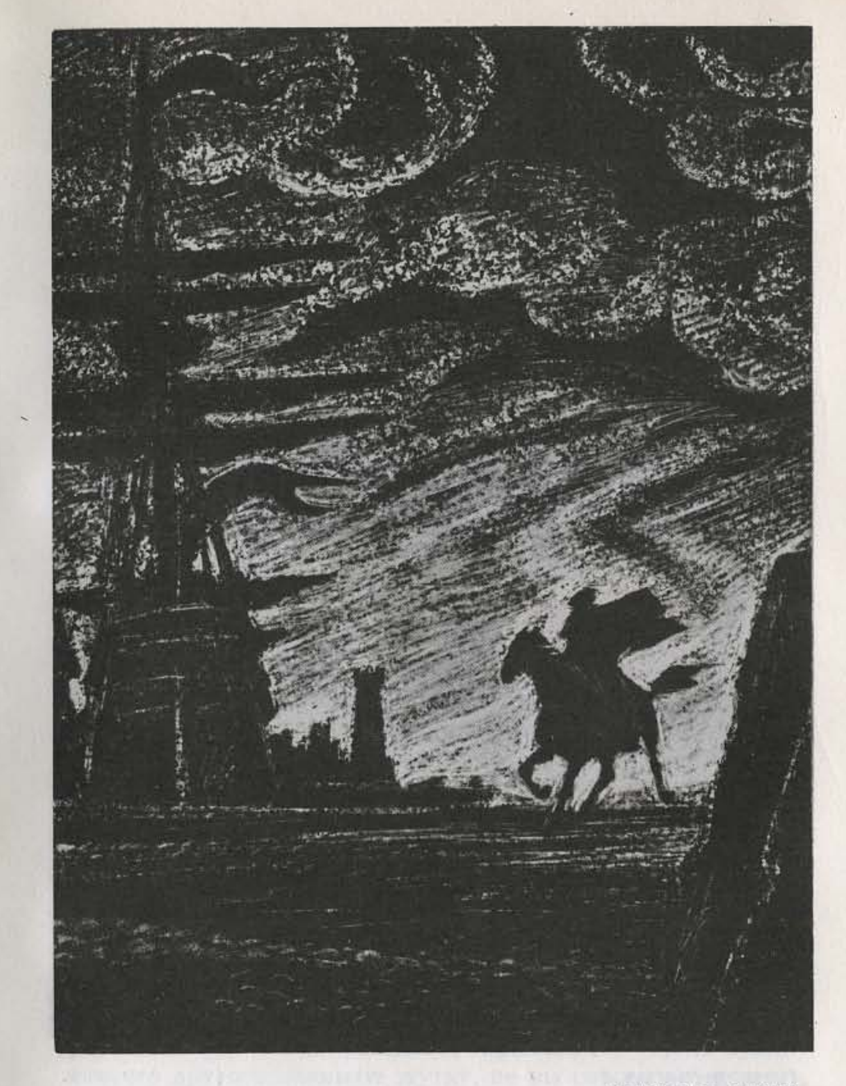
Голос мой звучал не совсем так, как мне хотелось бы, но вполне сносно. Сам я слышал, как он дрожит, но содержатель гостиницы, по всей видимости, не мог этого заметить. Он отворотился и перевел дух, и можете не сомневаться, что я мигом последовал его примеру.

— Что ж, вы по крайней мере не робкого десятка, а я таких люблю,— сказал он.— Кто бы вы там ни были, а я обойдусь с вами по чести. Возьму у вас карету за сто фунтов, и обед сюда же войдет.

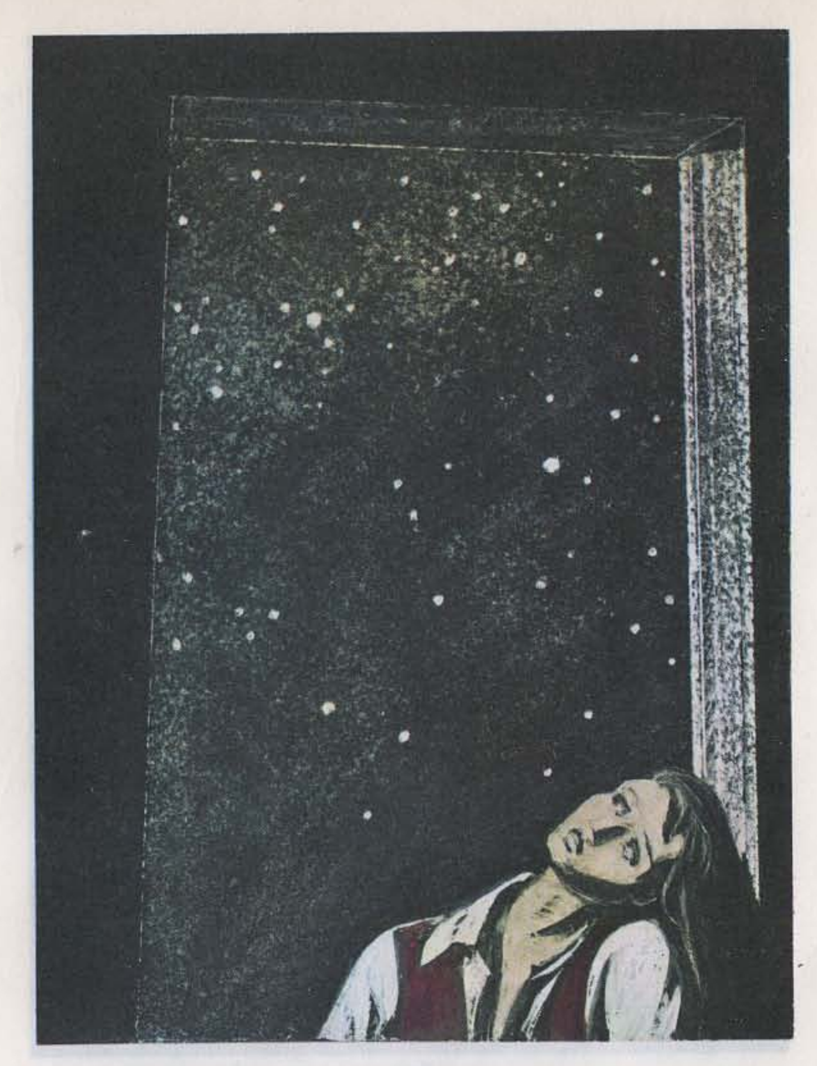
— Как вы сказали? — воскликнул я, пораженный этой загадочной речью.

— Вы заплатите мне сто фунтов,— разъяснил он,— а я избавлю вас от кареты. Это ведь лишь немногим больше, чем она стоит,— прибавил он, ухмыляясь,— и сами знаете, вам надо поскорей сбыть ее с рук.

Кажется, я уже давно так не веселился, как услыхав это наглое предложение. Оно и вправду было на



«БУРНАЯ НОЧЬ»



«ПЕРЕД СНОМ»

редкость забавно, хотя ничуть не соблазнительно. Однако же я крайне ему обрадовался, ибо оно давало мне случай посмеяться. И уж посмеялся я всласть, покуда по щекам у меня не потекли слезы; немного поуспокоясь, я взглядывал в лицо своему собеседнику — и меня одолевал новый приступ смеха.

— Ай, шутник, да вы ж меня уморите! — воскликнул я наконец, утирая слезы.

Содержатель гостиницы окончательно растерялся; он не знал, куда девать глаза, что сказать; впервые он заподозрил, что принял меня не за того.

— Вы, видать, любитель посмеяться, сэр,— вымолвил он наконец.

— О, да! Я известный оригинал,— отвечал я и снова расхохотался.

Вскорости, совсем переменив тон, он предложил мне двадцать фунтов; я запросил двадцать пять, но кончил тем, что согласился на двадцать: по правде сказать, я рад был получить за эту карету хоть что-нибудь и торговался не ради денег, но единственно для того, чтобы любой ценой обеспечить себе безопасное отступление. Ибо хотя военные действия и были приостановлены, но в любую минуту могли начаться вновь: собеседник мой все полон был подозрительности, я читал это в его хмуром взгляде, вновь и вновь на меня устремлявшемся.

Наконец подозрения его вылились в слова.

— Ну ладно,— сказал он,— испытание вы выдержали лучше некуда, но как хотите, а мне надобно исполнить свой долг.

Теперь мне только и оставалось, что взять его на испуг и хоть покуражиться над ним напоследок, а там будь что будет!

— Подите прочь,— сказал я, вставая.— Это уже слишком. В своем ли вы уме? — И словно бы тут же устыдившись такой вспышки, прибавил: — Я не хуже всякого другого понимаю шутку, но вы совсем забылись. Пошлите-ка мне моего слугу и счет.

Оставшись один, я сам подивился своей отчаянной выходке. Я его оскорбил, выгнал вон, вот теперь-то ему и кликнуть полицейского. Но по некоему прирожденному вероломству он невольно избегал прямых путей. И при всей своей ловкости он на сей раз упустил отличную возможность прославиться. Мы с Роули взяли свой

багаж и, туманно объяснив, что направляемся «полюбоваться озерами» — какими и где мы пояснять не стали,— пешком покинули дом моего любезного друга, и он нам не препятствовал, лишь, опершись подбородком на руку, провожал нас угрюмым взором, все не зная, не дал ли он маху.

Я полагаю, что с блеском вышел из трудного положения. Я был уличен, изобличен, и мне предложено было поступить, как поступил бы всякий на моем месте, но этот естественный и неизбежный, казалось бы, шаг был бы для меня роковым. Однако я не потерял головы, выдержал характер и против всякого ожидания снова вырвался на свободу — и вот шагаю по большой дороге. Случай этот послужил мне уроком никогда не отчаиваться и в то же время помог уяснить, какая в моем положении требуется предусмотрительность и сколь неверное, сложное, чреватое всяческими неожиданностями предприятие — мой побег! Пример сей — когда жизнь моя висела на волоске из-за сущего пустяка, из-за pourboire — наглядно показывал, сколько опасностей подстерегает нас на каждом шагу. Хотя, строго говоря, самую первую ошибку я совершил еще прежде: ежели бы я не позволил себе сверх меры разоткровенничаться с малюткой Долли, не было бы и всех этих треволнений в Керкби-Лонсдейлской гостинице. Я накрепко запомнил урок и обещал себе не давать отныне волю чувствам. Какое мне, собственно, дело до сломанных фаэтонов и до потерпевших крушение путешественников! У меня и так хватает забот, и безопаснее всего проявлять чуточку больше вполне естественного себялюбия и чуточку меньше неразумного добросердечия.

ГЛАВА XXV

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С ВЕСЕЛЫМ СУМАСБРОДОМ

О следующих пятидесяти или шестидесяти лье рассказывать не стану. Читателю, верно, уже прискучили дорожные сцены, да и у меня нет причины с удовольствием вспоминать эту часть пути. Мы с Роули больше занимались тем, что старались запутать наши следы, но, как оказалось, отнюдь в этом не преуспели, ибо кузен

Ален без всякого труда проследил путь малиновой кареты до Керкби-Лонсдейла, где хозяин гостиницы, должно быть, кусал себе локти, узнав, кого он упустил, а потом — и до ворот почтовой конторы в Эдинбурге. Судьба не благоволила мне, и зачем стану я рассказывать о взятых нами предосторожностях, если они никого не обманули, и об утомительных ухищрениях, которые ни к чему не привели?

Мы въехали с Роули в Эдинбург на склоне дня, под волнующие звуки сторожевой трубы и цоканье копыт по мостовой. Вот я и на поле битвы: в том уголке земли, где сидел в плену, где совершил свои знаменитые подвиги, откуда бежал; в городе, где живет моя любимая. Сердцу сделалось тесно в груди, редко я чувствовал себя таким героем, как в эту минуту. Я сидел подле кучера, скрестив руки на груди, с каменным лицом, смело смотрел в глаза встречным и каждое мгновение готов был к тому, что кто-нибудь узнает меня и поднимет тревогу. Сотни жителей Эдинбурга бывали в Крепости, где до появления Флоры я имел привычку держаться на виду, и мне кажется просто непостижимым, что меня не узнали. Но выбритый подбородок уже сам по себе неплохой маскарад, и человек, носивший зеленовато-желтую одежду арестанта, совсем иначе выглядит, когда на нем тонкая сорочка, отлично сшитый мышиного цвета плащ, подбитый черным мехом, узкие панталоны модного покроя и шляпа с неподражаемо изогнутыми полями. В конце концов куда скорее сам я мог узнать кого-либо из наших посетителей, нежели они — опознать несчастного узника в таком щеголе.

Я рад был оказаться наконец на вымощенном плитами тротуаре и скрыться из глаз толпы, которая дожидалась почты. И вот на склоне субботнего дня, в канун пресловутого шотландского воскресенья, мы идем по новому городу Эдинбургу, обремененные своим багажом. Мы все несем сами. Я не пожелал нанимать извозчика и даже от услуг носильщика отказался — ведь он потом мог послужить связующим звеном между моей квартирой и почтовой станцией, а тем самым между мною, малиновой каретой и Эйлсбери. Я твердо решил окончательно оборвать цепь улик и во всем, что касается соблюдения осторожности, начать жизнь сначала, на новый лад. Первым долгом надобно было поскорее подыскать квар-

тиру. Это было всего важнее, ибо в тот час и в том квартале, где нам встречались по большей части люди состоятельные — денди, щеголи, светские барышни—или почтенные адвокаты, доктора и иная ученая публика, направлявшаяся домой обедать, мы в своем модном платье и с громоздкой ношей, без сомнения, бросались в глаза.

На северной стороне Сент-Джеймс-сквер, в окне четвертого этажа, мне посчастливилось приметить объявление о сдаче комнат. Цена и удобства моего жилища были мне равно безразличны; при выборе его я придерживался единственного правила: «в бурю хороша любая гавань», и потому мы с Роули, не мешкая ни минуты, вошли в подъезд и поднялись по лестнице.

Двери нам отворила угрюмая особа в бомбазиновом платье; вид у ней был такой, словно ее всю жизнь гнетет тяжкий груз бессчетных потерь и последнюю утрату она понесла, быть может, лишь накануне нашего приезда, так что, обратясь к ней, я невольно понизил голос. Она отвечала, что да, комнаты сдаются, и даже показала нам их — гостиную и спальню en suite [1], из которых открывался превосходный вид на Ферт-оф-Форт; комнаты были просторные, уютно обставленные, на стенах картины, на каминной полке раковины, на столе несколько книг — все, как я увидел после, религиозного содержания и все подарены «моей духовной сестре» или «моему благочестивому другу во Христе, Бетии Макрэнкин». Но дальше этого мы не пошли; моя «духовная сестра» никак не желала совершить самый, казалось бы, естественный и приятный поступок на свете — назвать цену, а только стояла и качала головой, да время от времени как-то постанывала, точно голубь, вся — олицетворение уныния и настороженности. Такого сварливого голоса я еще отродясь не слыхал, и у меня звенело в ушах, когда она громоздила перед нами гору затруднений и препятствий.

Никаких услуг она нам не обещает.

— На это у меня есть слуга, сударыня,— возразил я.

— Это он-то? — переспросила она.— Да полноте! Неужто он и впрямь вам слуга?

— Мне очень жаль, сударыня, что вы его не одобряете.

[1] Смежные *(франц.)*.

— С чего это вы взяли? Только вот больно молод. Небось, мастер все ломать да колотить. Сдается мне, вы с ним хлопот не оберетесь. А богу молиться он не забывает?

— Как можно, сударыня! — с восхитительной находчивостью ужаснулся Роули и, мигом, словно по привычке, закрыв глаза, не слишком проникновенно, зато с необычайной быстротой пробормотал двустишие:

Лука, Марк, Иоанн, Матфей,
Мой сон благословите поскорей!

Дама хмыкнула, и в комнате повисла зловещая тишина.

— Что же, сударыня? — прервал я молчание.— Мне кажется, эдак мы с вами никогда и не начнем договариваться, а о том, что кончим, я уж и не мечтаю. Назовите же ваши условия — и мы либо останемся, либо уйдем.

Она не спеша разлепила губы и спросила трубным голосом:

— А кто вас рекомендует?

Я раскрыл бумажник и показал ей пачку кредиток.

— Полагаю, сударыня, это и есть самые лучшие рекомендации.

— А завтрак вам надобно подавать поздно? — был ответ.

— Завтрак надобно подавать, когда вам будет угодно, сударыня, от четырех утра до четырех пополудни! — отвечал я.— Только назовите наконец вашу цену, если у вас достанет силы ее выговорить!

— А нынче я не могу подать вам ужин,— отозвалась она.

— Мы поужинаем в другом месте, несносное вы создание! — воскликнул я, готовый смеяться и плакать.— Ну-с, пора положить этому конец! Я желаю снять у вас квартиру — и все тут, и поставлю на своем. Не желаете назначать цену? Отлично, обойдемся без этого! Я вам доверяю! Нет, не умеете вы разглядеть хорошего квартиранта, зато уж я-то сразу вижу хорошую хозяйку! Роули, распаковывай саквояжи!

Будут ли мои слова оценены по заслугам?.. Эта сумасшедшая принялась выговаривать мне за мое неблагоразумие! Но битва была уже выиграна, то звучали ее

последние залпы, и скорее не враждебные, а приветственные. В конце концов хозяйка соизволила назвать цену — вполне умеренную,— и мы с Роули пустились на поиски ужина. Однако же на все эти переговоры ушло немало времени, солнце уже село, на улицах засветились тусклые фонари, и на соседней Лит-роуд уже слышалась колотушка сторожа. Когда меня впервые привезли в Эдинбург, я приметил неподалеку отсюда, за городской регистратурой, закусочную. Туда-то мы и направили свои стопы и в одиночестве уселись за столик, собираясь насладиться поздним обедом. Но едва мы успели его заказать, как дверь отворилась и пропустила рослого молодого человека; он огляделся и несколько нетвердой походкой подошел к нашему столику.

— Желаю вам доброго вечера, почтенные и высокочтимые сеньоры! — сказал он.— Позволено ли будет страннику, вернее паломнику... одним словом, паломнику, взыскующему любви... ненадолго бросить якорь в вашей гавани? Признаюсь не стыдясь, мне глубоко отвратителен обычай, достойный зверя,— поглощать пищу в одиночестве.

— Добро пожаловать, сэр,— отвечал я.— Если только я могу взять на себя роль хозяина в публичном месте.

Мои слова его несколько ошеломили, и, садясь, он устремил на меня туманный и пристальный взгляд.

— Вижу, сэр, вы не чужды образования! Что будем пить, сэр?

Я отвечал, что заказал черного пива.

— Напиток скромен... Но неплохо утоляет жажду,— заметил он.— Что ж, почему бы и мне не обратиться к сему скромному напитку. Я бы не сказал, что нахожусь сейчас в добром здравии. Усердные занятия воспалили мой мозг, а не менее усердные хождения утомили мои... н-да, пожалуй, более всего утомили мой взор!

— Осмелюсь спросить, далеко ли вы ходили? — поинтересовался я.

— Не столь далеко, как много,— отвечал он.— По городу, сэр... в котором вы, мне кажется, человек чужой? За ваше доброе здоровье, сэр, и за наше дальнейшее знакомство! Так вот, есть в сем граде Данидине[1]

[1] Старинное название Эдинбурга.

несколько улиц, которые заставляют с величайшей похвалой вспоминать его создателя и трактирщиков: через каждую сотню шагов стоит Его Величество питейное заведение, так что натурам созерцательным не надобно брести на край света, ежели им придет охота освежиться. Вот я и спешил в этот благословенный квартал — благословенный природой и искусством. Несколько избранных друзей, все приверженцы уединения, любители острого словца и доброго вина, почтили меня своим обществом. «По безучастной и уединенной Реджистерстрит шел наш нелегкий путь», сэр.

— То-то, когда вы вошли, мне вроде как в нос ударило...— начал я.

— Чего уж там, не церемоньтесь! — прервал он.— Разумеется, вам в нос ударило! И, признаться, мне чертовски повезло, что я сам не ударился. Когда я вошел, я весь так и сиял «обилием и великолепием недавних возлияний», как выразился однажды Грей. Могучий бард! А человек жеманный, весь свой век избегал женского пола и вина, не мужчина, сэр, нет, не мужчина! Прошу прощения, что причиняю вам столько беспокойства, но куда, к дьяволу, я подевал свою вилку? Крайне вам признателен. Сижу и ем я в лондонском тумане, сэр. Надо бы привести с собой мальчишку-факельщика, и я непременно привел бы, не будь это племя таким грязным. Я надумал основать Благотворительное Общество мытья достойных бедняков и бритья солдат. Рад отметить, что, хоть выправка ваша и смахивает на военную, вы отлично выбриты. В моем реестре добродетелей бритье идет вслед за умением выпить. Настоящий джентльмен может быть пошлым негодяем, без гроша в кармане, но он всегда будет чисто выбрит. Взять хоть меня — вообразите, что я поднялся ни свет ни заря, ну, скажем, за четверть часа до полудня! Первым делом, даже не помыслив о добродетельном, но никуда не годном пиве или о пользительной, но безвкусной содовой воде, я тут же нетвердою рукой хватаюсь за смертоносную бритву; я скольжу по краю вечности. Мысль эта меня бодрит! Быть может, прольется кровь, но раны мои не смертельны. Щетины как не бывало, и я выхожу из своей спальни спокойный и торжествующий. Воспользовавшись избитым выражением, скажу: мне теперь сам черт не брат. Я тоже

пренебрег опасностью, быть может, пролил кровь в сражении с грозным противником — прибором для бритья.

Таким вот разговором этот напыщенный фат занимал меня во все время обеда, и так как сам он не умолкал ни на минуту, то по свойственной всем пьяницам ошибке решил, что нашел собеседника себе под стать. Он сообщил мне свое имя, свой адрес, выразил надежду, что мы встретимся снова, и под конец предложил поехать с ним на днях за город обедать.

— Обед будет торжественный,— пояснил он.— Учинители и советники Крэмондской академии — заведения, коего я имею честь состоять профессором чепухистики,— собираются в старом трактире «Крэмондский мост», дабы почтить нашего друга Икара. Одно место свободно, обворожительный незнакомец, и я предлагаю его вам!

— А кто такой этот ваш друг Икар? — спросил я.

— Взмывший в небо сын Дедала! — отвечал он.— Ужели вам неведомо такое имя — Байфилд?

— И вправду неведомо.

— Ужели слава столь ничтожна? — воскликнул он.— Байфилд — аэронавт, сэр. Он позавидовал славе Люнарди и собирается предложить вниманию местной публики... прошу прощения, окрестному дворянству... некое зрелище: он желает вознестись на небеса. Я также принадлежу к местному дворянству, но, да позволено мне будет заметить, зрелище сие нисколько меня не трогает. Мне нет никакого дела до его вознесения. И шепну вам на ушко, я отнюдь не единственный. Все это уже не ново, сэр, у этой истории длинная борода. Люнарди уже взмывал в небеса и явно перестарался. Тщеславный глупец и причудник, судя по всему, что про него известно. Сам-то я в ту пору еще качался в колыбели. Но с нас довольно и одного раза. Пусть бы Люнарди поднялся, а потом снова спустился на землю — и преотлично. Мы предпочитаем... Мы не желаем видеть, как этот опыт повторяют ad nauseam [1] и Байфилд, и Спифилд, и Храпфилд, и Пропадифилд. Чтоб им взмыть в небо и не воротиться! Но это весьма сомнительно. Крэмондская академия с радостью воздает хвалу свойству человеческой натуры, а вовсе не самому этому деянию, а Байфилд хоть и сущий невежда, но выпить не дурак и компании не

[1] До тошноты *(лат.)*.

портит. После доброго возлияния он может даже сойти за острослова.

Как выяснилось в дальнейшем, все это касалось меня куда более, нежели я мог предположить в ту минуту. А меж тем мне не терпелось уйти. Пока мой новый знакомец продолжал нести околесицу, налетел порыв ветра, разверзлись хляби небесные, по окнам забарабанил дождь — и при этом безжалостном знаке я спохватился, что меня ждут в другом месте.

ГЛАВА XXVI

«ЛЕБЯЖЬЕ ГНЕЗДО» НОЧЬЮ

В самых дверях меня чуть не сбил с ног яростный порыв ветра, и нам с Роули пришлось буквально прокричать друг другу слова прощания. И всю дорогу, пока я шел по Принцесс-стрит к «Лебяжьему гнезду», ветер подгонял меня в спину и свистел в ушах. Город, казалось, тонул в дожде, который лил как из ведра и оставлял на губах солоноватый привкус,— ведь океан был совсем близко. На улице поминутно светлело и вновь темнело: шквалистый ветер то чуть не задувал все фонари на длинной улице, то вдруг стихал, и огни оживали, множились и опять отражались на мокрых тротуарах, и темнота становилась прозрачнее.

Когда я добрался до угла Лотиан-роуд, идти стало много легче. Во-первых, теперь ветер дул мне в бок, во-вторых, я вошел под сень моей бывшей тюрьмы — Эдинбургского замка, да и ярость ветра понемногу утихала. К тому же я вспомнил, зачем и куда иду, и мне сразу стало легче бороться с непогодой. Что за важность, если тебя и шатанет порывом ветра или сбрызнет холодным дождем, когда впереди такая Цель! Мне представилась Флора, и я вообразил ее в своих объятиях, и сердце мое заколотилось. Но тут же я спохватился: как нелепы и несбыточны мои мечты! Я должен считать себя счастливцем, если мне удастся увидеть хоть огонек свечи в ее спальне.

Мне предстояло пройти еще около двух лье, раскисшая под дождем дорога почти все время поднималась в гору. Я оставил позади последний фонарь, и меня обсту-

пила тьма, лишь кое-где пронизанная огоньками, что теплились за окнами редких домишек; собаки, задирая морды к небу, уныло выли, когда я проходил мимо. Ветер стихал: он еще налетал порывами, но без прежней силы. Однако ливень не унимался, и очень скоро я промок до нитки. Я все шагал и шагал впотьмах, думая свои невеселые думы под заунывный вой собак. Я не мог понять, что их тревожит, отчего они не спят и чутко ловят в однообразном шуме дождя звук моих негромких шагов. Мне припомнились страшные сказки, слышанные в детстве. Наверно, где-то поблизости бродит убийца, и псы чуют исходящий от него еле уловимый запах крови; и вдруг содрогнулся от мысли, что это я и есть убийца.

Да, для влюбленного я был слишком мрачно настроен! Шел ли кто-нибудь на свидание в подобном расположении духа? — спросил я себя и едва не повернул обратно. Весьма опасно и неразумно приступать к решительному объяснению, когда дух твой угнетен, одежда забрызгана грязью и руки мокры от дождя! Но бурная ночь, казалось, благоприятствовала моим намерениям; я должен сегодня найти способ поговорить с Флорой, быть может, другого случая никогда не представится. А если я сумею повидаться с ней сегодня, думал я, пусть и в промокшей одежде, пусть угнетенный и подавленный, встреча эта, уж наверно, будет не последней.

Я вошел в сад «Лебяжьего гнезда» и сразу же убедился, что обстоятельства мне отнюдь не благоприятствуют. Огонь горел только в гостиной, сквозь круглые отверстия закрытых ставней струился свет свечей, все остальное тонуло во мраке. Деревья и кусты стояли насквозь промокшие от дождя, под ногами у меня чавкало. Изредка вновь налетал порыв ветра и над головой с треском сталкивались ветви дерев, а дождь гулко и непрестанно хлестал по саду. Я подошел к самому окну гостиной и попытался разглядеть, который час. Мои часы показывали половину восьмого; да, тут лягут спать не ранее десяти, а может, даже и в полночь. Дожидаться этого будет не слишком приятно! Меж двумя порывами ветра до меня донесся голос Флоры, что-то читавшей вслух; слов различить я, конечно, не мог, слышалась лишь размеренная речь — спокойная, мягкая, сдержанная, прекрасная, как песня, но более задушевная, более покоряющая, в самом звуке этой речи явственно сквозил

ее милый нрав. И вдруг налетел новый яростный порыв ветра, голос Флоры утонул в его реве, и я поспешил покинуть свою опасную позицию.

Теперь мне предстояло набраться терпения и сносить злобу разбушевавшихся стихий еще по меньшей мере три мучительных часа. Я припомнил самую неприятную из своих обязанностей в бытность солдатом: мне случалось стоять на часах в такую же мерзкую погоду, притом зачастую без ужина и без всякой надежды на завтрак; куда вероятней было, что на мою долю достанется мушкетная пуля, но и те часы казались мне менее томительными, чем нынешнее бдение. Так уж странно устроен человек: любовь к женщине в нем куда сильнее, чем любовь к жизни.

Наконец я был вознагражден за свое терпеливое ожидание. Свет в гостиной погас и минуту спустя засветился в комнате над нею. Я был основательно подготовлен к предстоявшей операции и знал, что логово дракона помещается там, где сейчас вспыхнул свет. Знал я также, где находится спальня моей красавицы и как удачно она расположена — в первом этаже за углом дома, и так далеко от спальни грозной тетушки, что та ничего не услышит. Оставалось лишь получше воспользоваться этими сведениями. Я был в дальнем конце сада, я пришел сюда, чтобы, с позволения сказать, согреться, ибо тут можно было расхаживать взад и вперед, не опасаясь быть услышанным, и тем самым избежать бесславной смерти. Ветер наконец утих совсем, дождь, хоть и не перестал, тоже шумел не так сильно, с дерев падали тяжелые капли. Когда я снова подходил к дому, среди этого затишья вдруг заскрипела оконная рама и в каких-нибудь двух шагах от меня тьму прорезал сноп света. Он падал из окна Флоры, она его распахнула в ночь и теперь сидела перед ним в лучистом ореоле двух свечей, что освещали ее сзади; распущенные по плечам волосы обрамляли и затеняли задумчивое лицо; в одной руке она держала гребень, а другая небрежно покоилась на железной решетке.

Ветер стих; под покровом темноты и однозвучного шума вновь усилившегося дождя я тихонько подходил все ближе, стараясь ступать не по усыпанной гравием дорожке, а по жухлой траве, и наконец очутился у самого окна; протяни я руку, я мог бы коснуться Флоры. Но

я не в силах был нарушить ее задумчивость дерзостной речью, это показалось мне чуть ли не святотатством! И я только стоял и смотрел и не мог наглядеться: при мерцающих свечах ее волосы были, точно нимб, пряди их переплетались, свивались и (это казалось мне всего восхитительней) волной сбегали на плечи, поминутно меняя цвет. Вначале я смешался: красота Флоры словно окутывала ее ореолом утонченности; я робел перед нею, как перед неземным видением или — что, боюсь, было для меня почти то же самое — перед современной светской девицей. Однако же я не сводил с нее глаз и мало-помалу приободрился и вновь обрел надежду; я позабыл свою робость, позабыл о том, что на плечах у меня отвратительная, тяжелая, насквозь промокшая одежда,— кровь снова заиграла в моих жилах.

А Флора все еще меня не замечала, все глядела прямо перед собою на полосу света от окна, на прямые тени оконной решетки, на поблескивавший под луной гравий дорожки, в непроницаемую тьму сада и вздымавшихся за ним холмов... Но вот она глубоко вздохнула, и вздох этот отозвался у меня в душе, как мольба.

— Отчего вздыхает мисс Гилкрист? — шепнул я.— Уж не вспоминает ли она далеких друзей?

Флора быстро повернула голову в мою сторону; больше ни единой малостью не выдала она своего изумления. Я ступил в полосу света и низко поклонился.

— Вы! — сказала она.— Здесь?

— Да, я здесь,—отвечал я.— Я пришел из далекого далека, отшагал, наверно, добрых сто пятьдесят лье, чтобы увидеть вас. Я ждал в вашем саду весь долгий вечер. Не протянет ли мисс Гилкрист руку другу в беде?

Она просунула руку сквозь прутья решетки, я упал на колени прямо на мокрую землю и дважды поцеловал эту руку. После второго поцелуя рука внезапно ускользнула от меня. Кажется, то был первый знак испуга. Я поднялся с колен, и оба мы некоторое время молчали. Мною вновь с удесятеренной силой овладела робость. Я пытливо вглядывался в лицо Флоры: не сердится ли она,— но глаза ее смущенно опустились пред моим взглядом, и я понял, что все хорошо.

— Надо быть безумцем, чтобы явиться сюда! — вдруг вырвалось у Флоры.— Уж куда-куда, а в «Лебяжье гнездо» вам нельзя было являться. А я-то как раз

сидела и думала, что вы у себя во Франции, где вам ничто не грозит!

— Вы думали обо мне! — вскричал я.

— Мистер Сент-Ив, вы сами не понимаете, в какой вы здесь опасности,— сказала Флора.— Я все знаю, но не могу решиться вам рассказать. Об одном умоляю вас — уходите!

— Думаю, что и я все знаю. Но я не из тех, кто дорожит жизнью, если это лишь бесцельное, жалкое существование. Я прошел школу войны; конечно, это не слишком благородное учебное заведение, но там, по крайности, человек научается легко принимать смерть и не задумываясь расстанется с жизнью во имя чести или ради дамы сердца. Вы пытаетесь меня напугать — напрасно. Я приехал в Шотландию, отлично понимая, что рискую, ибо хотел видеть вас и говорить с вами, быть может, в последний раз. Повторяю, я знал, на что иду, и ежели не устрашился с первого шага, неужто отступлю сейчас?

— Вы не все знаете! — вскричала Флора с возрастающим волнением.— Эта страна, даже этот сад таят для вас смертельную опасность. Одна я верю в вашу невиновность, все остальные убеждены, что вы преступник. Если они нас услышат, если услышат хоть шепот, страшно подумать, что случится. Уходите, скорее, сейчас же, заклинаю вас!

— Дорогая мисс Флора, не отказывайте мне в том, ради чего я проделал этот далекий-далекий путь, и вспомните: в целой Англии, кроме вас, нет ни единой души, кому я смел бы довериться. Против меня весь мир, вы — мой единственный друг и союзник. Мне надобно с вами говорить, и вы должны меня выслушать. Все, что обо мне рассказывают, и правда и в то же время ложь. Да, я убил человека по имени Гогла — ведь вы это подразумевали?

Флора смертельно побледнела и лишь кивком подтвердила мою догадку.

— Но я убил его в честном поединке. И до этой дуэли никогда никого не убивал, кроме как в бою, так ведь на то я солдат. Но я был благодарен, страстно благодарен той, что посочувствовала мне, той, чья ангельская доброта превзошла мои самые смелые мечты, той, что, словно утренняя заря, рассеяла мрак моей тюрьмы, и

вот ее-то оскорбил этот Гогла. Меня он оскорблял не раз, это было его любимое развлечение, и мне, жалкому арестанту, приходилось все сносить. Но оскорбить ту, перед кем я благоговел... нет, это я не мог оставить безнаказанным, я бы до самой смерти себе этого не простил. И мы дрались, и он был убит, и я ни о чем не сожалею.

Я умолк и жадно ждал ответа. Теперь худшее было высказано, и я тот же час понял, что Флора уже про это слышала, но я не мог продолжать, покуда она не скажет мне хоть что-нибудь.

— Вы меня осуждаете?

— Нет, ничуть. Об этом мне нельзя судить. Это не женское дело. Но я уверена, что вы правы, и всегда так говорю... Рональду. Конечно, с тетушкой я не могу об этом спорить, ей я не возразила ни единым словом. Не сочтите меня неверным другом... и даже с майором... я еще не сказала вам, он... майор Шевеникс стал большим другом нашей семьи... и он так полюбил Рональда! Ведь это он сообщил нам, что этого ужасного Клозеля поймали, и передал нам все, что тот говорил. Я была просто возмущена. Я сказала... я, кажется, позволила себе сказать лишнее и заверяю вас, что майор отнесся к этому очень добродушно. Он сказал: «Мы с вами друзья Шандивера и знаем, что он невиновен. Но что толку об этом говорить?» Мы с майором беседовали в укромном уголке гостиной, в отдалении от всех. А потом он сказал: «Позвольте мне поговорить с вами наедине, мне так много надобно вам сказать». И мы поговорили, и он мне все рассказал в точности, как вы сейчас, что это было дело чести и что на вас нет никакой вины. Да, майор Шевеникс мне нравится!

Тут меня обуяла жгучая ревность. Мгновенно я вспомнил, как майор заинтересовался Флорой, когда увидел ее впервые, и с невольным восхищением подумал, что хитрец ловко воспользовался нашим знакомством, чтобы вытеснить меня из сердца Флоры. В любви, как на войне, все средства хороши. И, конечно, теперь я жаждал сам поведать Флоре о превратностях моей судьбы — жаждал столь же пылко, как совсем недавно стремился услышать ее. Так я мог, по крайности, отогнать подальше ненавистную тень майора Шевеникса. И вот я принялся рассказывать ей о моих злоключениях. Вы их уже знаете, только ей я говорил не столь подробно,— ведь цель моя теперь была иная. Каждая мелочь обрела особенный смысл, и все дороги вели в Рим, то есть к Флоре.

При первых же словах я опустился на колени на гравий дорожки, облокотился на подоконник и понизил голос до еле слышного шепота. Флоре тоже пришлось опуститься на колени по другую сторону решетки, так что головы наши почти соприкасались, их разделяли только железные прутья. Так мы оставались столь близкие и все же разлученные, и эта близость и мой ни на минуту не смолкавший молящий шепот все сильней, все повелительней волновали ей душу, а быть может, и мою тоже. Ведь такие чары всегда обоюдоостры. Дудка птицелова завораживает глупых птиц, хотя это всего-навсего сухой тростник, и ничуть не трогает его самого. Не то с влюбленными! Я говорил, говорил, и решимость моя крепла, и в голосе появлялись новые ноты, лица наши невольно придвигались ближе к прутьям решетки и одно к другому; не только она, но и я поддался очарованию этой минуты и загорелся ее колдовским огнем. Мы стремимся пленить любимую и сами при этом пленяемся еще безвозвратней. Покорить сердце можно только сердцем.

— А теперь я вам скажу, чем вы можете мне помочь,— продолжал я.— Спору нет, положение мое сейчас не безопасно, однако ж вы и сами понимаете, что для человека чести это неизбежно. Но если... Если случится худшее, я не намерен обогащать ни моих врагов, ни принца-регента. У меня с собой почти все деньги, которые я получил от дядюшки. Тут больше восьми тысяч фунтов. Возьмите их на хранение. Забудьте, что это всего лишь деньги, храните их как память о друге или как дорогую вам частицу его самого. Возможно, они мне очень скоро понадобятся. Знаете ли вы старую легенду о великане, который отдал свое сердце на сохранение жене, потому что больше надеялся на ее любовь и преданность, нежели на собственную силу? Флора, я и есть этот великан, хоть я совсем невелик,— так не согласитесь ли вы стать хранительницей моей жизни? Вместе с этими деньгами я вверяю вам мое сердце. Перед богом я предлагаю вам сейчас мое имя, если только вы согласитесь его принять, и вручаю вам мое состояние. Если случится худшее, если у меня не останется ни малейшей

надежды назвать вас женою, позвольте мне, по крайности, думать, что вы распорядитесь наследством моего дядюшки, как моя вдова.

— Нет, нет,— прошептала Флора,— только не это.

— Что же тогда? — спросил я.— Как же иначе, мой ангел? Да и что для меня слова? Я хочу знать тебя только под одним именем, Флора, любовь моя!

— Энн! — шепнула она.

Что может быть слаще для уха влюбленного, нежели его собственное имя, впервые слетевшее с уст любимой!

— Милая! — шепнул я в ответ.

Ревнивая решетка, накрепко заделанная в камень и известь, помешала нам полностью вкусить восторг этой минуты, но я обнял Флору и притянул ее к себе, насколько позволили железные прутья. Она не уклонилась от моих поцелуев. Руки мои обвивали ее стан, и она сама с нежностью прильнула ко мне. Так мы стояли, прижавшись друг к другу и в то же время разделенные, и, сами того не замечая, обжигали лица о холодную решетку. И тут насмешка судьбы — или, скорее, зависть богов — вновь обрушила на нас злобу стихии. В кронах дерев засвистал ветер, с неба хлынули потоки ледяного дождя, и, как на грех, с крыши дома из не замеченного нами прежде желоба низвергнулся мне на голову и на плечи целый водопад. Вздрогнув, мы с Флорой отпрянули друг от друга и вскочили на ноги, словно застигнутые врасплох непрошеным свидетелем. Через мгновение мы оба снова приблизились к оконной решетке каждый со своей стороны, но на колени уже не опустились.

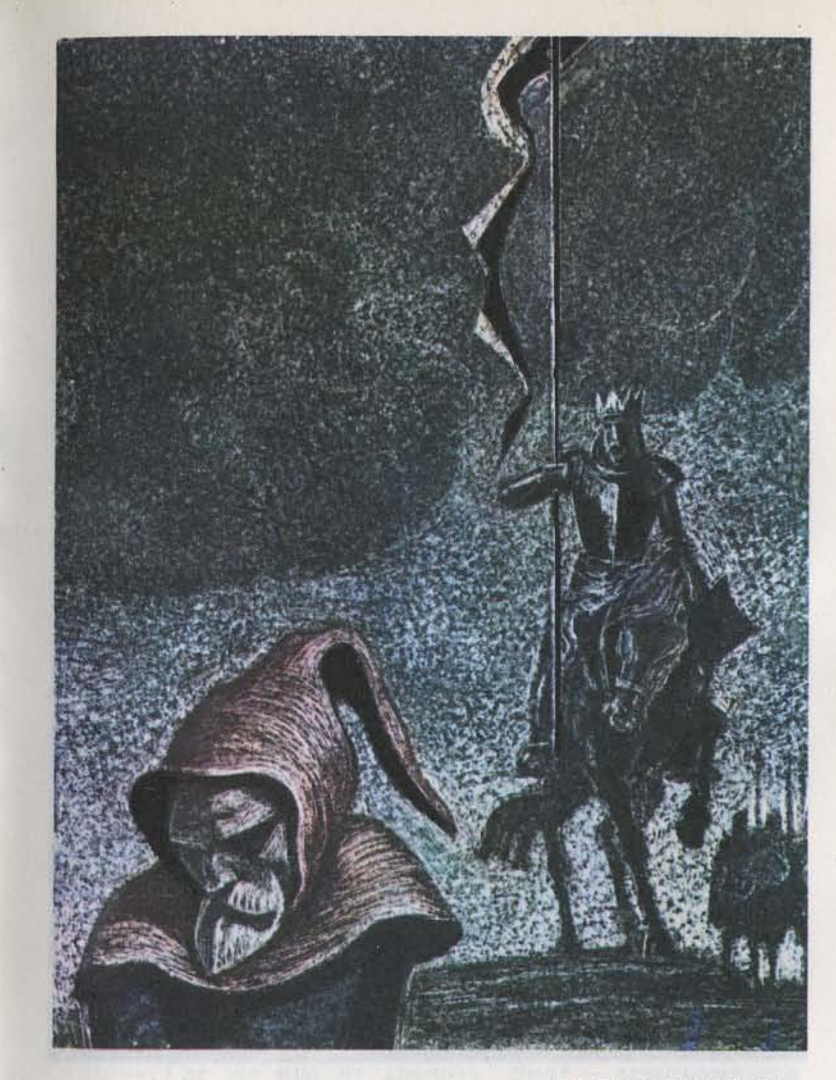
— Флора,— заговорил я,— я не в силах предложить тебе легкую, беззаботную жизнь.

Она взяла мою руку и прижала ее к своей груди.

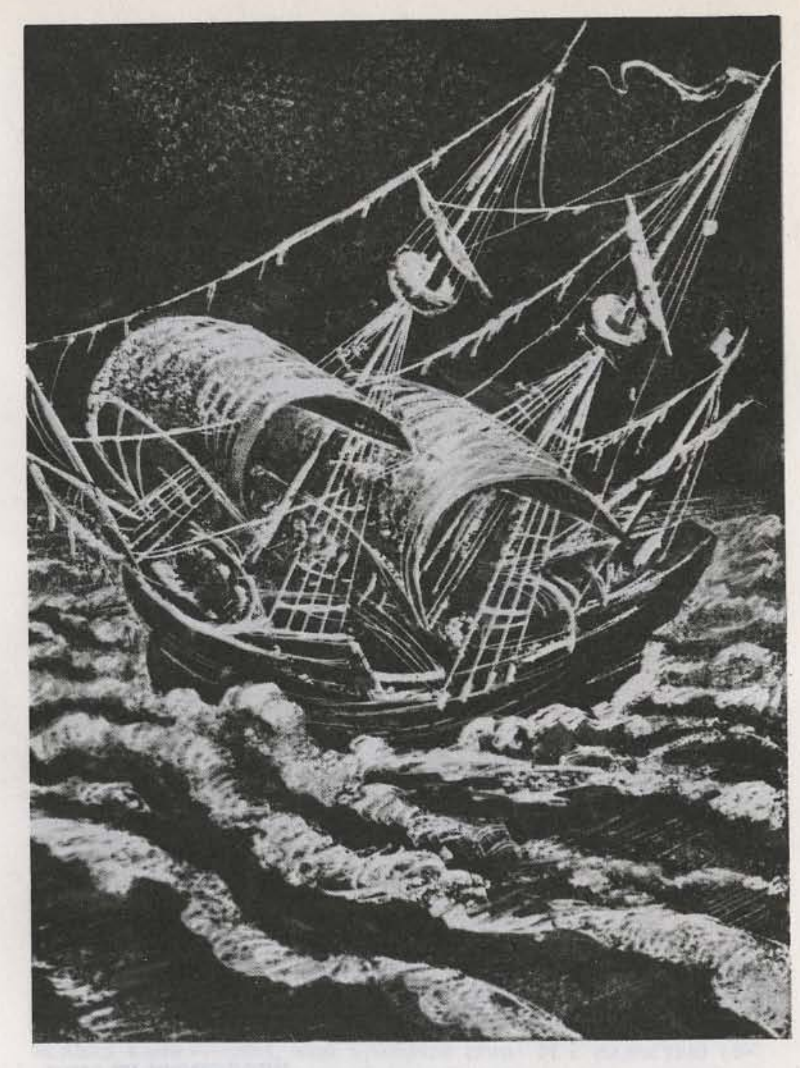
— Лучшего не пожелала бы даже королева,— сказала она, и ее прерывистое дыхание было красноречивей всяких слов.— Энн, мой храбрый Энн! Я с радостью согласилась бы стать твоей служанкой, я готова завидовать твоему Роули. Впрочем, нет, никому я не завидую... Зачем? Ведь я твоя!

— Моя навсегда,— сказал я.— Отныне и навеки моя!

— Вся твоя,— повторила Флора.— Вся и до гробовой доски.



«ВЕРЕСКОВЫЙ МЕД»



«РОЖДЕСТВО В МОРЕ»

И если некий ревнивый бог и вправду нам завидовал, то в ту минуту он, верно, был горько разочарован, ибо увидел, что бессилен помешать нашему счастью, счастью простых смертных. Я стоял под ливнем, Флора тоже промокла насквозь — я обнимал ее мокрыми руками, дождь хлестал в окно. Свечи давно задуло ветром, нас окружала тьма. Только глаза моей любимой сверкали во мраке ее спальни. Она же, верно, видела лишь мой силуэт в ореоле дождя и струй, низвергавшихся из старинного готического водостока.

Мало-помалу мы опомнились и стали разговаривать более трезво, а когда последний порыв бури утих, уже обсуждали, что делать дальше и где искать помощи. Обнаружилось, что Флора знакома с мистером Робби, к которому меня словно бы мимоходом адресовал Роумен, и даже приглашена к нему в дом на вечер в понедельник; она метко обрисовала мне нрав почтенного джентльмена, проявив при этом незаурядную проницательность, и сведения эти очень скоро пришлись мне весьма кстати. Мистер Робби оказался страстным коллекционером всяческих древностей, особливо же увлекался геральдикой. Я счастлив был это узнать, ибо и сам благодаря мсье Кюламберу приобрел основательные познания в этой области и недурно знал гербы большинства знатных родов Европы. И, слушая Флору, я порешил (хотя отнюдь не собирался заранее ставить ее об этом в известность) непременно добиться приглашения в дом мистера Робби на понедельник вечером и встретиться там с моей любимой.

Я отдал Флоре все мои деньги. Разумеется, я принес с собою только ассигнации и объявил, что это моя часть по нашему брачному контракту.

— Неплохое приданое для вольноопределяющегося солдата,— смеясь, сказал я и протянул ей деньги сквозь решетку.

— Где же мне их хранить, Энн? — встревожилась Флора.— А вдруг тетушка их найдет? Что я ей скажу?

— Храни их у себя на сердце,— посоветовал я.

— Тогда ты всегда будешь рядом со своим богатством! — воскликнула Флора.— Ведь ты всегда у меня в сердце.

И вдруг темноты как не бывало. Небо очистилось от облаков и засверкало звездами. Я взглянул на часы и поразился — было уже около пяти утра.

ГЛАВА XXVII

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мне давно пора было покинуть «Лебяжье гнездо», но куда пойдешь в такой час? Накануне вечером я велел Роули сказать нашей квартирной хозяйке, что повстречал друга и ночевать домой не ворочусь. Придумано было неплохо, но теперь все так обернулось, что я не мог явиться домой даже утром. Прежде следовало найти какое-нибудь пристанище, где можно было бы высушить у огня насквозь промокшую одежду, да еще постель, чтобы тем временем хоть немного отдохнуть.

И тут судьба мне улыбнулась. Не успел я добраться до вершины ближайшего холма, как слева от меня, шагах в трехстах, мелькнул огонек. Я сразу подумал, что там, верно, кто-нибудь болен, отчего бы иначе в такой глуши и в такую рань гореть огню? Потом до меня едва слышно донеслось пение; по мере того, как я приближался, оно звучало все громче, и наконец я смог даже разобрать слова — песня эта на диво подходила и к неурочному часу и к настроению невидимых певцов. «Петух закричит, и займется заря»,— пели они, да так нестройно и фальшиво, с таким надрывом и чувствительностью, что я сразу же понял: тут выпито никак не меньше трех бутылок.

Я дошел до неказистого деревенского дома при дороге; над дверью красовалась вывеска, а изнутри в предутреннюю мглу струился свет, и мне удалось разобрать, что она гласила: «Привал охотников. Содержатель Александр Хендри. Пиво и английские спиртные напитки. Ночлег».

Едва я постучал в дверь, пение смолкло, и хмельной голос спросил:

— Кто там?

— Честный путник.

Тот же час послышался стук отодвигаемого засова, и глазам моим предстала компания таких рослых парней, каких я никогда еще не видывал. Все они были пьянехоньки, но одеты вполне прилично, а один (пожалуй, самый упившийся) держал в руке сальную свечу и преспокойно орошал тающим салом всех своих собутыльников без изъятия. При виде этой компании я невольно улыбнулся про себя: а я-то их боялся!

Они весьма благожелательно, хотя и косноязычно приветствовали и меня самого и мою наспех состряпанную историю, будто я шел из Пиблса да заплутался, и, теснясь и толкаясь, провели меня в комнату, где только что пили: то был обычный грязный пивной зал, в камине пылал огонь, на полу валялась пропасть пустых бутылок. Мне объявили, что теперь я произведен на время в члены Клуба Шестифутовых верзил — спортивного сообщества молодых людей из высшего света, которые частенько удостаивают «Привал охотников» своим присутствием. Они сказали мне, что я застал их во время «ночного бдения», которому предшествовало дневное пешее хождение за сорок миль, и что к полуденной церковной службе, кажется, в Коллингвуде, если мне не изменяет память, все они будут «свеженькие, как огурчики». Услыхав это, я чуть было не рассмеялся, но почел за благо сдержаться. Ибо, хотя мерилом для них и служили шесть футов росту, все они намного его превышали — и, глядя на них снизу вверх, я вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, который не знает, чего ждать от эдаких верзил. Но они хотя и были сильно на взводе, нрава оказались весьма добродушного. Хозяин «Привала охотников» и все слуги давным-давно спали. То ли они были наделены этим даром от природы, то ли привыкли и притерпелись, но под невообразимый шум и гам, заполнивший весь дом, они безмятежно почивали на кухне, улегшись в ряд, недвижные, точно египетские мумии, и только мерный храп не смолкал ни на минуту, будто гудение волынки. И вот верзилы ворвались в их сонное царство, пересчитали койки и спящих, а потом предложили мне улечься в постель к одной из служанок либо согнать какую-нибудь с постели, чтобы освободить для меня место; при этом они поминутно натыкались на стулья и подняли такой грохот, что разбудили бы и мертвых. Всю эту сцену освещал, но теперь уже двумя свечами, истекавшими салом, тот же молодой факельщик, и он быстро начал походить на занесенного снегом путника. Наконец ложе для меня было найдено, мокрая одежда развешана перед огнем в зале, и, к величайшему моему облегчению, я остался один.

Проснулся я часов в девять утра, оттого что солнце било мне прямо в глаза. На мой зов явился хозяин, принес мою высушенную и даже недурно вычищенную одежду и сообщил приятную весть: Шестифутовые наконец угомонились и теперь отсыпаются после бурно проведенной ночи. Сперва я не мог понять, где же они все разместились, но, бродя по саду в ожидании завтрака, случайно наткнулся на большой сарай и заглянул туда: в куче соломы там и сям виднелись багровые физиономии, словно сливы в пудинге.

— Уж и покуролесили они прошлой ночью! — сообщила здоровенная, мужеподобная служанка, которая принесла мне кашу и посоветовала кушать, пока не остыла.— Но вы не думайте, парни они славные и ничего худого никому не делают. Вот только как быть с сюртуком Форби Форбса, ума не приложу,— прибавила она со вздохом,— теперь его нипочем не отчистить.

Поняв, что Форбс и есть факельщик, я тоже про себя вздохнул.

Когда я вновь вышел на дорогу, утро было отличное: солнце так и сияло, в воздухе пахло весной, прямо как в апреле или в мае, и в рощах заливались какие-то бесшабашные пичуги. В то удивительное утро мне о многом надобно было подумать и за многое возблагодарить судьбу; и все же сердце мое стучало тревожно. Войти в Эдинбург при ярком свете дня было для меня все равно, что в полный рост шагать прямиком на вражескую батарею: каждый встречный будет для меня не менее опасен, чем дуло пистолета. И мне вдруг пришло на мысль, что я бы меньше бросался в глаза, добудь я себе хоть какого-нибудь спутника.

Возле самого Мерчистона мне посчастливилось заметить господина весьма солидной комплекции в платье тонкого черного сукна и в гамашах, который, согнувшись в три погибели, разглядывал какой-то камень в стене. Уж, конечно, я не упустил желанного случая и, подойдя поближе, осведомился, что интересного он тут нашел.

Джентльмен поднял голову, и оказалось, что лицо у него под стать его широкой спине.

— Понимаете, сэр, стою и диву даюсь, до чего же я глуп: хожу мимо всю свою жизнь, каждую неделю — разумеется, в хорошую погоду — и ни разу не приметил

этого камня! — И толстяк легонько постучал по камню крепкой дубовой тростью.

Я взглянул. Камень был вставлен в стену меж другими как-то боком, и на нем ясно виднелись следы геральдических знаков. И меня вдруг осенило: джентльмен этот с виду в точности таков, каким Флора описала мне мистера Робби, если же он притом еще и знаток фамильных гербов, то, несомненно, это Робби и есть. А ведь что может быть удачнее, нежели случайное знакомство с человеком, которого я непременно должен разыскать на другой же день, чтобы поведать ему о гуртовщиках, и которому мне во что бы то ни стало надобно прийтись по душе!

Я тоже склонился над камнем.

— Шеврон на трех рыбах? — сказал я задумчиво.— Похоже на герб Дугласов, не правда ли?

— Вот именно, сэр, вы совершенно правы. Как две капли воды похоже на герб Дугласов; впрочем, тут все так сбито и обломано, да и краски так выцвели, что я не решился бы это утверждать. Но позвольте мне высказать свое удивление, сэр: ныне, когда культура день ото дня падает все ниже, редко встретишь подобную осведомленность!

— Видите ли, образованием своим я обязан наставнику моей юности,— отвечал я,— то был пожилой джентльмен, друг нашей семьи и, можно сказать, мой опекун, но с той поры я многое позабыл. Ради бога, не подумайте, сэр, что я стремлюсь показаться знатоком, я всего лишь невежественный любитель.

— Что ж, скромность украшает и знатоков,— любезно возразил мой новый знакомец.

Коротко говоря, дальше мы двинулись вдвоем и, весьма дружески беседуя, прошли остаток проселочной дороги, предместья нового города и вступили на его улицы, безлюдные, тихие, точно вымершие. Лавки были закрыты, ни извозчиков, ни экипажей, одни кошки опрометью носились по залитой солнцем старой мостовой; наши голоса и шаги гулко отдавались от стен молчаливых домов. Вот оно, престранное завершение бурной деятельности, в которой Эдинбург пребывал всю неделю и которая неуклонно нарастала день ото дня, подобно морскому приливу; то был апофеоз воскресенья, и, признаюсь, картина была величественная, хоть и на редкость

унылая. Не всякий религиозный обряд производит столь глубокое впечатление. Итак, мы шли и разговаривали в совершенном одиночестве, как вдруг во всем городе зазвонили колокола и улицы мгновенно заполнились благочестивыми прихожанами, спешащими в церковь.

— Вот и колокола,— сказал мой спутник.— Вы человек приезжий, сэр, а посему позвольте предложить вам мою скамью в церкви. Быть может, вы не знакомы с нашими шотландскими богослужениями; тогда я покажу вам в молитвеннике, какие нынче будут псалмы. Я прихожанин храма Святой Девы, а наш пастырь, доктор богословия, преподобный Генри Грей,— один из лучших проповедников в городе.

Это предложение повергло меня в ужас. Я вовсе не собирался идти на такой риск. На улице мимо нас пройдут десятки людей, кое-кто, возможно, разок на меня оглянется, но и только; если же я просижу на церковной скамье долгую службу, на меня посмотрят и в третий и в четвертый раз и в конце концов признают. Довольно случайного поворота головы, чтобы привлечь внимание людей. «Кто бы это мог быть? —спросят они себя.— До чего знакомое лицо». И так как в церкви думать решительно не о чем, меня станут разглядывать и еще до конца богослужения припомнят, кто я такой. Но будь что будет! Я поблагодарил моего нового друга за любезность и покорно пошел за ним.

Мы направились в северо-восточную часть города, где в живописном новом предместье стояла недавно построенная просторная и красивая церковь. И вскоре я уже восседал на скамье рядом с моим добрым самаритянином, и на меня глядели словно бы с угрозой все многочисленные прихожане храма. Сперва я непрестанно думал об опасности и сидел как на иголках, но понемногу уверился, что страшиться нечего, ибо, видно, служба так и не оживится арестом французского шпиона, и принялся усердно слушать проповедь преподобного Генри Грея.

Но и это испытание кончилось, мы вышли из церкви, и моего спутника окружила толпа друзей и знакомых; я с радостью услышал, что они называли его, как я и предполагал, мистером Робби.

Лишь только мы вновь остались одни, я поклонился и спросил:

— Мистер Робби, если не ошибаюсь?

— Он самый, сэр,— отвечал этот достойный джентльмен.

— И, кажется, адвокат?

— Присяжный стряпчий его величества, к вашим услугам.

— Сама судьба нас свела! — воскликнул я.— У меня с собою карточка, адресованная вам. Ее вручил мне поверенный нашего семейства. Когда я уезжал, он на прощание просил меня передать вам низкий поклон и выразил надежду, что вы извините ему такой неположенный способ представить меня вам.

И я подал ему листок мистера Роумена.

— А-а, старый друг Дэниел,— сказал Робби.— И как же поживает мой старый друг?

Я заверил его, что мистер Роумен находится в добром здравии.

— Да, вот уж поистине прихоть случая,— продолжал мистер Робби.— Но поскольку знакомство наше состоялось, чем я весьма польщен, давайте, не откладывая, его закрепим. Позвольте пригласить вас перекусить перед дневною проповедью в храме и распить бутылочку моего излюбленного вина, а если никто нам не помешает, потихоньку побеседуем о гербах, мистер Дьюси. (Я еще прежде назвался этим именем в тщетной надежде, что в ответ и он назовет себя.)

— Прошу прощения, сэр, должен ли я понять ваше предложение в том смысле, что вы приглашаете меня к себе в дом? — спросил я.

— Именно это я и пытался сделать,— отвечал адвокат.— Город наш славится гостеприимством, и я желал бы, чтобы вы вкусили от моего радушия.

— Мистер Робби, я искренне надеюсь им насладиться, но только не теперь,— сказал я.— Прошу вас, поймите меня правильно. Дело, которое привело меня в Эдинбург, не совсем обычного свойства. Сначала выслушайте мою историю, ибо иначе меня будет мучить мысль, будто я обманом втерся к вам в дом.

— Ну что ж,— сказал Робби, несколько суше прежнего.— Будь по-вашему, хотя говорите вы так, что можно подумать, будто вы совершили убийство. Теряю на этом только я: мне придется обедать в одиночестве — что весьма пагубно для человека моих привычек,— удо-

вольствоваться пинтой разливного кларета и ожидать беседы с вами. Однако о вашем деле: ежели оно и вправду столь необычно, оно, вероятно, не терпит отлагательства?

— Должен признаться, сэр, дело крайне спешное.

— В таком случае встретимся завтра, скажем, в половине девятого утра,— предложил мистер Робби, — и я надеюсь, когда вы выполните свою миссию и успокоитесь — а ваше к этому отношение делает вам честь,— вы все же разделите со мной временно отложенную трапезу и разопьете бутылочку. Есть у вас мой адрес? — прибавил он и дал мне его, а мне только того и надобно было.

Наконец где-то возле Йорк-Плейс мы учтивейшим образом распростились, и сквозь толпы народу, возвращавшегося из церкви, я стал пробираться к себе на Сент-Джеймс-сквер.

Я дошел почти до самого дома и тут нагнал мою квартирную хозяйку в невообразимо строгом и чопорном наряде, которая влекла за собою не кого иного, как Роули; на шляпе у него красовалась кокарда, а сапоги были с элегантными отворотами. Впрочем, говоря, что миссис Макрэнкин влекла его за собою, я несколько преувеличил; напротив того, это он с неподражаемым достоинством вел ее под руку. Втихомолку улыбаясь, я поднялся вслед за ними по лестнице.

Увидев меня, оба поспешили со мною поздороваться, и миссис Макрэнкин тот же час осведомилась, где я был. Я хвастливо отвечал, что посетил такую-то церковь и слушал такого-то проповедника, по своему невежеству надеясь возвысить себя в ее глазах. Но она не замедлила меня разубедить. В нраве жителей Шотландии есть такие извивы и хитросплетения, которых человеку пришлому не только не понять, но и не разглядеть: он постоянно ходит меж пороховых бочек, и лучше всего ему сразу сдаться на милость победителя. «Вот я весь тут, в твоей власти» — как гласит стих из любимого псалма миссис Макрэнкин.

Она презрительно фыркнула; ошибиться в значении этого звука было столь же невозможно, как изобразить его на бумаге, и я мигом прибегнул к упомянутому выше стратегическому маневру.

— Не забывайте, что я человек пришлый,— промолвил я.—И ежели я сделал что-нибудь не так, сударыня,

то единственно по невежеству. Нынче же вечером, ежели вы соблаговолите взять меня с собою, я буду иметь честь сопровождать вас в вашу церковь.

Но успокоить миссис Макрэнкин оказалось не так-то просто, и она удалилась в свои комнаты, ворча что-то себе под нос.

— Итак, Роули, ты тоже был в церкви? — спросил я.

— С вашего позволения, сэр,— сказал он.

— Что ж, значит, нам обоим равно не повезло,— заметил я.— И как же ты справился с шотландским богослужением?

— Да что, сэр, трудновато пришлось, чуть вовсе не осрамился,— отвечал Роули.— Не пойму даже, с чего бы это, но, сдается мне, тут уж больно все переменилось со времен Уильяма Уоллеса. Ну и чудная же эта церковь, куда она меня водила, мистер Энн! Прямо диву даюсь, как я высидел всю службу до конца, может, потому, что она мне то и дело совала леденцы. Она ведь добрая душа, наша хозяйка, хоть и налетит другой раз, что твой коршун, и уж больно беспокойная, а только, право слово, мистер Энн, она это все не со зла. Да вот нынче утром как напустится на меня, прямо беда! Понимаете, вчера она меня позвала ужинать, а я, сэр, с вашего позволения, осмелился да и сыграл ей песенку-другую на флажолете, и она ничего, вроде даже довольна была. Ну вот, я утром-то нынче и стал потихоньку наигрывать сам себе, а она как взовьется, да как закричит на меня, да все попрекает и попрекает, дескать, нынче воскресенье!

— Видишь ли, Роули, они тут все немного не в себе, и нам надобно им угождать,— сказал я.— Смотри же, не ссорься с миссис Макрэнкин, а пуще всего остерегайся с ней спорить, не то будет худо. Что она тебе ни скажет, ты знай кланяйся да тверди: «Как вам будет угодно, сударыня» либо «Прошу прощения, сударыня». И еще вот что: мне тебя, конечно, очень жаль, но придется тебе и к вечерней службе с ней сходить. Ничего не поделаешь, мой милый, это наш долг.

Как я и ожидал, с первым звуком вечернего колокола к нам явилась миссис Макрэнкин, чтобы препроводить нас в церковь; я вскочил и с готовностью предложил ей руку. Роули поплелся следом. Я уже начинал привыкать к опасностям моего пребывания в Эдинбурге,

и мне показалось даже забавным предстать перед новой паствой в новой церкви. Правда, к концу службы я не забавлялся более, ибо если поутру преподобный доктор Грей был весьма многоречив, то мистер Маккроу оказался еще куда многоречивей, да притом говорил сумбурно и невразумительно, и проповедь его состояла из одних лишь нападок на все иные вероисповедания, включая и мое; поэтому меня клонило ко сну, и я несколько оживлялся лишь, когда проповедник позволял себе открытые оскорбления в адрес инаковерующих. Словом, я изо всей мочи таращил глаза и время от времени колол Роули булавкой в бок, чтобы и он не задремал, так что оба мы с грехом пополам высидели всю службу до конца.

Миссис Макрэнкин была совсем покорена нашим «благочестием», но, боюсь, в этом не последнюю роль сыграли соображения земного толка. Прежде всего ей лестно было шествовать в церковь об руку с элегантным молодым джентльменом, да еще в сопровождении щеголеватого слуги с кокардой на шляпе. Это явствовало из того, как она хлопотала вокруг нас, указывая нам в молитвеннике нужные места, шепотом сообщила мне имя проповедника, совала мятные конфетки — я немедля передавал их Роули,— и поминутно украдкой поглядывала по сторонам, чтобы убедиться, что на нас смотрят. Роули был недурен собой, и я тоже не совсем урод, да простит мне читатель такую нескромность. Если сами вы уже не молоды, как светлеет комната, как озаряется все вокруг, едва вашему взору предстанут юность, изящество, здоровье и миловидность! Вам уже нет в них никакой корысти, вы не стремитесь ими завладеть даже для вашего сына, и, однако же, с улыбкой ими любуетесь, и при одном воспоминании о таких минутах вновь невольно улыбаетесь. Попробуйте испытать это или хоть вспомнить — и не улыбнуться от безграничного, сокровенного и притом вполне бескорыстного удовольствия! Вот такое чувство и владело нашей почтенной миссис Макрэнкин, или уж я вовсе не понимаю женщин. Во-первых, она шла в церковь в сопровождении слуги с кокардой; во-вторых, дом ее осветился присутствием двух красивых представителей сильного пола, которые всегда учтиво и уважительно с нею обходились и никогда не вступали в спор.

Такие чувства надобно было поощрять, и потому по пути домой из церкви (если это можно назвать церковью) я пустил в ход самую коварную уловку, чтобы еще сильней воспламенить ее интерес к нам: я доверил ей свою сердечную тайну. Стоило мне заикнуться о юной леди, которой я отдал свое сердце, как миссис Макрэнкин обратила на меня взор, исполненный устрашающей серьезности.

— Она хороша собой? — спросила сия достойная особа.

Я от всей души заверил ее в этом.

— А какой она веры? — последовал новый вопрос, и от неожиданности я совсем оторопел.

— Право, не знаю, сударыня, я как-то не спрашивал! — воскликнул я.— Знаю лишь, что она истинная христианка, и этого мне довольно.

— Да, но тверда ли она в своей вере? — со вздохом произнесла миссис Макрэнкин.— Ведь истинные христиане есть во всяком вероисповедании. Встречаются они и среди макглашанитов, есть и среди гласситов, а сколько их среди макмилланитов, и даже в англиканской церкви найдутся.

— Я знавал даже иных весьма благочестивых католиков, если уж на то пошло! — подхватил я.

— Мистер Дьюси, постыдитесь, сэр! — воскликнула миссис Макрэнкин.

— Помилуйте, сударыня! Я ведь только...— начал было я.

— Не годится шутить в серьезных делах,— наставительно молвила она, не дав мне даже договорить.

Вообще же, когда я рассказывал ей про нашу с Флорой любовь то немногое, что счел нужным рассказать, она чуть ли не облизывалась, точно кошка перед горшком со сметаной, и, как ни странно — вот что значит пылкое чувство! — мне и самому было столь же приятно излить свою любовь перед этой твердокаменной слушательницей. Меж нами сразу же образовались крепкие узы: с той минуты мы точно спаялись в единую семью, и мне не стоило никакого труда уговорить миссис Макрэнкин откушать с нами чаю и сидеть при этом во главе стола. Престранная это получилась компания: миссис Макрэнкин, Роули и виконт Энн! Но я согласен с апостолом, если только слегка изменить его изречение

«Все —женщинам!». И пусть в тот день, когда я не смогу более угодить даме, меня удавят моим собственным галстухом!

ГЛАВА XXVIII

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ПОНЕДЕЛЬНИК. ВЕЧЕР У МИСТЕРА РОББИ

На другое утро, ровно в половине девятого, я уже звонил у дверей адвокатской конторы на Касл-стрит, где ждал меня мистер Робби; он удобно расположился за письменным столом; по стенам его кабинета сверху донизу тянулись полки, уставленные зелеными папками с делами. Поздоровался он со мною, как со старинным другом.

— Слушаю вас, сэр, слушаю,— сказал он.— Это все равно, что рвать зуб, и я, ваш дантист, обещаю вам, что операция пройдет безболезненно.

— Позвольте мне в этом усомниться, мистер Робби,— возразил я, пожимая ему руку.— Но по крайности постараюсь не отнять у вас ни одной лишней минуты.

Пришлось мне сознаться в том, что я бродил с двумя гуртовщиками и их стадом, что прикрывался вымышленным именем, что убил или смертельно ранил человека в драке и допустил, чтобы двое ни в чем не повинных людей просидели немалое время в тюрьме по обвинению, от которого я с легкостью мог бы их избавить. Все это я выложил мистеру Робби с самого начала, чтобы худшее поскорее осталось позади, и все это он выслушал очень серьезно, однако не высказывая ни малейшего удивления.

— А теперь, сэр,— продолжал я,— пришла мне, видно, пора расплачиваться за мои неудачные похождения, но я очень бы хотел, ежели возможно, устроить это, не появляясь самолично на сцене, и так, чтобы даже мое настоящее имя не было упомянуто. За все время моего сумасбродного бродяжничества у меня хватило ума называться вымышленным именем; мои родичи до крайности бы встревожились, дойди до них какие-либо слухи. Однако же, если рана этого Фэя приведет к роковому исходу и против Сима Тодда и Кэндлиша будет возбуждено еще и дело об убийстве, я отнюдь не намерен спокойно смотреть со стороны, как их станут допекать или еще, чего доброго, покарают, а потому вверяю свою судьбу вам: ежели вы полагаете нужным, отдайте меня под суд, а ежели нет, приготовьтесь защищать Тодда и Кэндлиша в суде. Надеюсь, сэр, что вы не сочтете меня Дон-Кихотом, но я решился во что бы то ни стало добиться справедливости.

— Прекрасно сказано,— отвечал мистер Робби.— Все это, правда, не совсем по моей части, что, без сомнения, подтвердил бы вам и ваш друг мистер Роумен! Я редко берусь за уголовные дела и стараюсь не иметь к ним касательства. Но для вас, молодой человек, я мог бы, пожалуй, сделать исключение и смею надеяться, что в этом случае сумею вам помочь скорее, нежели кто-либо другой. Я незамедлительно отправлюсь в канцелярию государственного прокурора и наведу нужные справки.

— Одну минуту, мистер Робби,— возразил я.— Вы забываете о расходах. Я полагал для начала вручить вам тысячу фунтов.

— Соблаговолите подождать, уважаемый сэр, покуда я предъявлю вам счет,— строго сказал мистер Робби.

— Но мне казалось, что раз уж я свалился к вам как снег на голову и навязал дело столь для вас необычное, некая солидная гарантия моей добропорядочности...— начал я.

— У нас в Шотландии так дела не делаются, сэр,— тоном, не допускающим возражений, прервал мистер Робби.

— И все же прошу вас, мистер Робби, позвольте мне договорить,— продолжал я.— Я имею в виду не только расходы по ведению моего дела; я думаю также о Тодде и Кэндлише. Это весьма достойные люди, и из-за меня им пришлось немалое время пробыть в тюрьме. Прошу вас, сэр, не жалейте средств для того, чтобы их вызволить. Вот почему я хочу вручить вам тысячу фунтов,— прибавил я с улыбкой.— Я желал бы дать вам понятие, какими капиталами располагаю для успешного проведения моих дел.

— Прекрасно понимаю, мистер Дьюси,— отвечал адвокат.— И чем быстрей я приступлю к делу, тем больше у нас надежды на успех. Мой секретарь проводит вас в приемную; полистайте, если угодно, свежие

номера «Каледонского Меркурия» и «Реджистера», это поможет вам скоротать время до моего возвращения.

Мистер Робби отсутствовал часа три, не менее. Наконец я увидел в окно, как он выходит из кареты, и почти тут же меня вновь пригласили к нему в кабинет; держался он на сей раз столь сурово, что у меня душа ушла в пятки от самых дурных предчувствий. У него достало жестокости начать с пространного нравоучения о том, сколь неправдоподобно глупы, чтобы не сказать безнравственны, были все мои поступки.

— Мне тем приятнее откровенно высказать вам свое мнение, что, кажется, вам все сойдет с рук,— сказал он наконец, и, право же, на мой взгляд, именно с этого ему и следовало начать.

— Вашего Фэя выпустили, он совершенно излечился, а приятели ваши Тодд и Кэндлиш давным-давно вышли бы из тюрьмы, не будь они так безгранично вам преданы, мистер Дьюси... то бишь мсье Сент-Ив, видимо, так мне следует теперь вас называть? Эти два старых дурака словечка не проронили, ни единым намеком не дали понять, что есть на свете некто Сент-Ив, а когда им предъявили версию Фэя о том, что́ произошло, они вдруг заговорили совсем несообразно, наперекор и прежним своим показаниям и друг другу, вовсе сбили прокурора с толку, и он вообразил, будто за этим кроется что-то серьезное. Ну, разумеется, я высмеял его подозрения и с легкостью их рассеял. А затем имел удовольствие наблюдать, как обоих ваших друзей освободили и они с радостью воротились к своим гуртам.

— Ах, сэр! — вскричал я.— Почему вы не привели их обоих сюда?

— Вы не давали мне такого поручения, мистер Дьюси,— отвечал мой адвокат.— Как я мог знать, что вы пожелаете возобновить знакомство, которое наконец столь благополучно пришло к концу? И, по совести говоря, я бы воспротивился, даже если бы вы мне это поручили. Пусть себе идут своей дорогой! Им уплачено, они вполне довольны и почитают мистера Сент-Ива величайшим своим благодетелем. Когда я выдал каждому по пятьдесят фунтов — как вам угодно, мистер Дьюси, а этого более чем достаточно,— Тодд стукнул посохом оземь и сказал (вообще-то я только его голос и слышал, второй уж вовсе ни разу рта не раскрыл): «То-то, я ж говорил, он самый настоящий джентльмен!» А я ему в ответ: «Знаете, Тодд, то же самое мистер Сент-Ив говорит про вас».

— Словом, обмен любезностями, как в великосветской гостиной!

— Нет, право, мистер Дьюси, эти самые Кэндлиш и Тодд ушли из вашей жизни — и скатертью дорога! Конечно, они на свой лад превосходные люди, но вам не компания, и, сделайте милость, обещайте мне оставить наконец свои проказы и не связываться более с гуртовщиками, разбойниками, мастеровыми и прочим сбродом, а наслаждайтесь жизнью, подобающей вашим летам, богатству, уму и, ежели мне позволено об этом упомянуть, вашей наружности. И первым шагом на этом пути будет холостяцкий обед у меня дома,— докончил он, глядя на часы.

За обедом, кстати говоря, отменно вкусным, мистер Робби продолжал развивать свою мысль.

— Вы, без сомнения, любитель потанцевать? — спросил он меня.— Так вот, в четверг состоится бал в Благородном собрании. Вы непременно должны там быть, и позвольте мне к тому же выполнить долг чести и от имени нашего города послать вам приглашение. Я твердо верю, что молодой человек всегда и во всем остается молодым человеком, но заклинаю вас, хотя бы из уважения ко мне: довольно гуртовщиков и разбойников! Кстати, мне вдруг пришло на мысль,— я ведь и сам был молод когда-то! — что у вас может на бале не оказаться дамы, и потому, ежели только вас соблазнит скучнейшее семейное чаепитие в холостяцком доме стряпчего в обществе его племянниц и племянников, внучатых племянников и племянниц, а также его подопечных и многочисленных родственников его бывших клиентов, то загляните ко мне сегодня часу в седьмом. Надеюсь, мне удастся представить вас двум или трем барышням, на которых стоит посмотреть, и затем на бале в Благородном собрании вы пригласите их потанцевать.

И мистер Робби принялся описывать мне девиц, по его мнению, подходящих, с которыми я могу познакомиться у него дома.

— И еще у меня будет мой задушевный друг, мисс Флора,— сказал он под конец.— Но ее я даже не пытаюсь вам описать. Увидите сами.

Вы, конечно, понимаете, что я с радостью принял приглашение и, воротясь домой, поскорее занялся туалетом, достойным той, кого мне предстояло повстречать вечером, а также тех добрых вестей, которые я готовился ей сообщить. Туалет, полагаю, удался на славу. Мистер Роули отпустил меня, сказав на прощание:

— Вот это да! Вы, мистер Энн, прямо картинка!

Даже твердокаменная миссис Макрэнкин была — как бы это получше выразиться? — ослеплена и в то же время скандализирована моим видом, и хотя она, разумеется, скорбела о моем суетном тщеславии, однако же не могла не восхищаться его плодами.

— Ох, мистер Дьюси, дурное это занятие для богобоязненного христианина! — сказала она с укоризной.— Когда Христа презирают и отвергают во всех краях земли, а Завет совсем позабыт, вам больше пристало бы преклонить колена и молиться. Впрочем, не скрою: наряд вам очень к лицу. И ежели вы собираетесь к тому же повидать нынче вечером вашу милую, придется мне, верно, вас простить. Молодость — она и есть молодость,— прибавила миссис Макрэнкин со вздохом.— Помню, когда мистер Макрэнкин приходил поухаживать за мной — ох, давненько это было! — я надевала зеленое платье, все расшитое бисером, и люди говорили, шло оно мне на диво! Я, правда, не была, как нынче говорят, хорошенькая, а все-таки интересная, бледная такая, на меня сразу внимание обращали.

И склонясь со свечой над перилами лестницы, она глядела мне вслед, пока я не скрылся из виду.

Вечер у мистера Робби оказался совсем скромный; не то, чтобы малолюдный, нет, гостей было полнымполно, но никто не старался их принимать и развлекать. В одной комнате приготовлены были карточные столы, и гости, пожилые, солидные, самозабвенно предались игре в вист; в другой, что попросторнее, собралась молодежь и довольно скучно развлекалась: дамы сидели на стульях в ожидании кавалеров, а молодые люди стояли вокруг в различных позах, от совершенно равнодушных до вкрадчиво-льстивых. Единственным занятием здесь были разговоры, да еще порою молодые люди брали со столов разложенные на них многочисленные альбомы со стихами и рисунками либо иллюстрированные рождественские сборники и принимались показывать девицам картинки. Сам хозяин дома почти все время пребывал в карточной комнате и только время от времени, выйдя из игры и замешавшись в общество молодежи, весело, вразвалочку, переходил от одного к другому — этакий добродушный всеобщий дядюшка.

Случилось так, что в тот день Флора повстречала его на улице.

— Приходите нынче пораньше, мисс Флора,— сказал ей мистер Робби.— Я хочу познакомить вас с чудом совершенства, неким мистером Дьюси, моим новым клиентом, в которого я, клянусь вам, попросту влюбился.

И добряк в нескольких словах описал меня, да так верно, что Флора сразу же заподозрила истину. Поэтому она приехала на вечер, вся трепеща от волнения и тревожных предчувствий, и выбрала себе место у самой двери, где я и нашел ее, едва переступив порог, окруженную толпой прескучных желторотых юнцов. Когда я подошел к ней, Флора вся подалась мне навстречу и самым непринужденным образом произнесла, должно быть, заранее приготовленное приветствие.

— Как поживаете, мистер Дьюси? — сказала она.— Мы с вами не видались целую вечность!

— Мне многое нужно вам рассказать, мисс Гилкрист,— отвечал я.— Разрешите к вам подсесть? — ибо плутовка догадалась сохранить один стул подле себя свободным: усевшись у двери, она как бы ненароком бросила на него свою пелерину

Теперь она на диво естественным движением освободила этот стул для меня, и у толпившихся вкруг нее юнцов хватило смекалки скромно удалиться. Как только я сел, Флора подняла веер и, прикрываясь им, шепнула:

— Вы сошли с ума!

— Только от любви,— отвечал я,— но ни в каком ином смысле.

— Вы несносны! Неужто вы не понимаете, каково мне? — продолжала Флора.— Чем вы объясните ваше здесь появление Рональду, майору Шевениксу, моей тетушке?

— Тетушка? — содрогнувшись, ахнул я.— Поделом мне, грешному! Неужто она здесь?

— В карточной комнате играет в вист,— отвечала Флора.

— Пожалуй, она просидит там весь вечер? — с надеждой спросил я.

— Быть может. Обычно так и бывает.

— Что ж, значит, мне надобно держаться подальше от карточной комнаты,— сказал я.— Собственно, я и не собирался туда заглядывать. Не за тем я сюда пришел, чтобы играть в карты, а за тем, чтобы досыта наглядеться на одну молодую особу, если только сердце мое может когда-либо насытиться ее созерцанием, и сообщить ей кое-какие добрые вести.

— А Рональд и майор? — воскликнула Флора.— Они-то не станут весь вечер сидеть за картами. Рональд будет бродить по всем комнатам, а майор Шевеникс... он ведь...

— Всегда держится поближе к мисс Флоре? — прервал я.— И они беседуют о несчастном Сент-Иве? Я так и предполагал, дорогая, и мистер Дьюси пришел положить этому конец! Но ради бога успокойтесь: мне не страшен никто, кроме вашей тетушки.

— Почему же именно тетушки?

— Потому что она женщина, дорогая моя, и женщина очень умная, и, как все умные женщины, склонна к поступкам опрометчивым,— пояснил я.— От таких женщин неизвестно чего ждать, разве что удастся застигнуть ее в каком-нибудь укромном уголке, вот как я сейчас застиг вас, и убедительно и серьезно с нею поговорить, вот как я сейчас говорю с вами. Ваша тетушка не постесняется поднять самый страшный скандал: она будет равнодушна к тому, сколь это опасно для меня и в каком положении окажется наш добрейший хозяин.

— Ну хорошо,— согласилась Флора.— А как же Рональд? Уж не думаете ли вы, что он неспособен поднять скандал? Вы, верно, еще плохо его знаете.

— А я как раз убежден, что прекрасно его знаю,— возразил я.— Просто мне надобно первым заговорить с ним, не дать ему начать разговор, вот и все.

— Тогда подите и поговорите с ним сейчас же! — умоляюще сказала Флора.— Вот он — видите? — в другом конце залы, разговаривает с девушкой в розовом.

— Но ведь я потеряю место рядом с вами, а я еще не передал вам мои добрые вести! — вскричал я.— Нет! Ни за что! И, кроме того, милая, подумайте хоть немного обо мне и моих новостях. Я-то полагал, что гонец, несущий добрые вести,— всегда желанный гость. И я даже надеялся, что ему немного обрадуются и ради него самого! Подумайте: у меня ведь в целом свете есть только один-единственный друг! Так позвольте же мне остаться подле него. И я жажду услышать лишь одно-единственное слово — так дайте же мне его услышать!

— Ах, Энн! — вздохнула Флора.— Ежели бы я вас не любила, отчего бы мне так тревожиться? Я стала совсем трусихой, милый! Представьте себе на минуту, что все приключилось наоборот: вы живете совершенно спокойно, а я в смертельной опасности — и что бы вы чувствовали?

Она еще не договорила, а я уже клял свою безмерную тупость.

— Да простит мне бог, дорогая! — поспешно молвил я.— Мне, признаться, и невдомек, что у этой медали тоже две стороны!

И я поведал ей все, как мог короче, и поднялся, чтобы разыскать Рональда.

— Вот видите, дорогая, я вам во всем послушен,— сказал я.

Взгляд, который бросила мне Флора, уже был немалою наградой, и, когда я отворотился от нее с таким чувством, будто отворачиваюсь от солнечного света, взгляд этот остался у меня в душе, подобно ласке.

Девица в розовом оказалась лукавым кокетливым созданием: она строила Рональду глазки и сверкала белыми зубками, играла плечиками и трещала без умолку. Судя по виду Рональда, он боготворил даже стул, на котором она восседала. Но я был беспощаден. В ту минуту, как он склонился над нею, словно курица над цыпленком, я опустил руку ему на плечо.

— Можно вас на минутку, мистер Гилкрист? — сказал я.

Рональд вздрогнул, круто обернулся и только рот раскрыл от изумления, не в силах выговорить ни слова.

— Да, да, представьте, это я,— продолжал я.— Простите, что нарушил столь приятный tête-à-tête, но, понимаете, дружище, первейший наш долг — не ставить в затруднительное положение нашего любезного хозяина, мистера Робби. Негоже рисковать тем, что в чужой гостиной разыграется неприятная сцена; вот почему мне

прежде всего надобно было вас предупредить. И заметьте на всякий случай, меня теперь зовут Дьюси.

— Н-ну, знаете! — вскричал Рональд.— Что вы тут делаете, черт побери?

— Тише, тише! — сказал я.— Здесь не место, дружище, здесь не место. Приходите ко мне, если угодно, нынче же вечером прямо отсюда либо завтра поутру, и мы все обсудим за хорошей сигарой. Но здесь, вы и сами понимаете, надобно соблюдать приличия.

И прежде чем он нашелся что ответить, я уже дал ему свой адрес на Сент-Джеймс-сквер и вновь замешался в толпу гостей. Но увы! Мне не суждено было так легко воротиться к Флоре. На пути моем встал мистер Робби; он был неиссякаемо словоохотлив, он болтал и болтал, а я глядел, как мою богиню вновь окружают прескучные желторотые юнцы, и проклинал свою судьбу и речистого хозяина. Он вдруг припомнил, что мне еще предстоит в четверг присутствовать на бале в Благородном собрании и что мой нынешний выезд в свет — лишь подготовка к этому балу. А потому он вздумал познакомить меня еще с одной молодой особой, но разговор с нею я повел столь искусно, что, оставаясь безукоризненно учтив и даже сердечен по отношению к сей девице, ухитрился в то же время удержать возле себя Робби и, едва представился случай, отошел от нее вместе с ним. Мы двигались по зале рука об руку, как вдруг я заметил издали моего старого приятеля, майора Шевеникса: он приближался к нам, прямой, как шомпол, и, как всегда, до тошноты лощеный.

— А, вот с кем я очень желал бы познакомиться,— сказал я, сразу беря быка за рога.— Пожалуйста, мистер Робби, представьте меня майору Шевениксу.

— Извольте, мой милый,— сказал Робби и закричал: — Майор! Подойдите-ка сюда и разрешите представить вам моего друга мистера Дьюси; он ищет чести с вами познакомиться.

Майор заметно покраснел, но ничем иным не выдал своего замешательства и пренизко мне поклонился.

— Мне что-то сдается, мы уже встречались? — сказал он.

— Да, но не были друг другу представлены,— отвечал я, возвращая ему поклон.— И я с нетерпением ждал случая и удовольствия свести с вами знакомство по всем правилам.

— Вы очень добры, мистер Дьюси,— сказал майор.— Не поможете ли освежить мою память? Где я имел удовольствие...

— Ну, это значило бы раскрывать тайны мадридского двора,— со смехом возразил я,— да еще в присутствии моего адвоката!

— Бьюсь об заклад, Шевеникс, что когда вы встречались с моим клиентом, а прошлое нашего друга мистера Дьюси — черная бездна, полная ужасающих тайн,— бьюсь об заклад, вы знали его под именем Сент-Ива,— вмешался мистер Робби и изо всех сил толкнул меня локтем в бок.

— Ошибаетесь, сэр,— отвечал майор, поджав губы.

— Что ж, надеюсь, вы не обнаружите за ним особенных грехов,— продолжал адвокат, и никогда еще веселая шутка не была столь некстати — Сам-то я вовсе его не знаю. По мне, он может быть авантюристом, недаром у него столько разных прозвищ. Напрягите-ка свою память, майор, и как только припомните, где и когда вы с ним встречались, всенепременно мне об этом расскажите.

— Положитесь на меня, сэр,— сказал майор.

— А за хлопоты — с него! — крикнул Робби, удаляясь, и помахал нам рукою.

Едва мы остались одни, майор с обычной своей невозмутимостью поглядел на меня в упор.

— Да,— сказал он,— смелости вам не занимать.

— Смелость моя столь же неоспорима, как ваша честь, сэр,— отвечал я с поклоном.

— Могу ли поинтересоваться: вы ожидали застать меня здесь? — осведомился он.

— Во всяком случае, как вы сами видели, я просил меня вам представить,— отвечал я.

— И не побоялись? — спросил Шевеникс.

— Я был совершенно спокоен. Я знал, что предо мною джентльмен. Это могло бы послужить вам даже эпитафией.

— Но вас ищут и другие,— возразил он,— и эти другие нимало не заботятся о чести. Разве вы не знаете, дорогой сэр? Полицейские прямо с ног сбились, разыскивая вас.

— Весьма невежливо с их стороны,— заметил я.

— Видели вы уже мисс Гилкрист? — спросил майор, явно желая переменить разговор.

— Ту, чьей благосклонности, как я понимаю, мы равно добиваемся? — в свой черед, спросил я.— Да, я ее видел.

— А я как раз искал ее, когда мы с вами встретились,— сказал Шевеникс.

Я уже с трудом сдерживал гнев; думаю, он испытывал то же. Мы смерили друг друга взглядом.

— Забавное положение,— заметил майор.

— Вы правы,— отвечал я.— Но позвольте сказать вам прямо: ваши усилия будут напрасны, и предупредить вас об этом мой долг, ибо вы были добры к узнику Шандиверу.

— Вы хотите сказать, что сердце молодой леди уже занято и судьба оказалась благосклоннее к вам? — заметил Шевеникс с усмешкой.— Весьма признателен. Но откровенность за откровенность: выслушайте же и вы меня. Честно ли это, деликатно ли, достойно ли порядочного человека — компрометировать молодую девушку вниманием, которое, как вы и сами прекрасно понимаете, ни к чему хорошему привести не может?

Я молчал: я просто не находил слов.

— Прошу прощения, но я вас покидаю,— продолжал Шевеникс.— Надо полагать, разговор наш бесплоден, а меня ждет беседа более приятная.

— Да,— сказал я.— Вы правы, говорить нам с вами не о чем. Вы бессильны, связаны по рукам и ногам путами чести. Вы знаете, что меня обвиняют ложно, да если бы и не знали, вы мой соперник, и потому у вас только два выхода: либо молчать, либо совершить подлость.

— Этого я бы не сказал,— возразил майор, побледнев.— Мое терпение может лопнуть.— И он направился туда, где среди унылых желторотых юнцов сидела Флора, мне же оставалось лишь последовать за ним да по пути немилосердно корить себя за недостаток самообладания.

Замечали ли вы когда-нибудь, как тушуются молодые люди, еще не достигшие двадцати лет, при одном появлении мужчин постарше — лет двадцати пяти и более? Едва подошли мы с майором, как желторотые юнцы бежали с поля брани, даже не подумав сопротивляться; правда, иные еще помешкали неподалеку с видом глупейшим и беспомощным, но затем скрылись и они, и перед Флорой остались только мы двое. В этом углу залы от дверей слегка тянуло сквозняком, и Флора накинула пелерину на обнаженные плечи и руки; обшитый темным мехом край пелерины оттенил ее дивную кожу, и она как бы засияла в лучах света, а лицо от волнения вспыхнуло румянцем... Поистине Флора была ослепительна! Какую-то долю секунды она переводила взор с одного поклонника на другого и словно колебалась. А затем обратилась к моему сопернику.

— Вы, разумеется, приедете на бал в Благородное собрание, майор Шевеникс? — спросила она.

— Боюсь, что нет; в этот вечер я, вероятно, буду занят,— отвечал Шевеникс.— Долг превыше всего, превыше даже удовольствия танцевать с вами, мисс Флора.

Несколько времени мы беседовали о каких-то безобидных пустяках,— кажется, о погоде — потом разговор как-то коснулся войны. Никто в этом не был повинен, просто война была у всех на языке, и упоминания о ней не удалось избежать.

— С театра военных действий поступают хорошие вести,— сказал майор.

— Вести эти хороши, пока положение не меняется,— возразил я.— Но не выскажет ли нам мисс Флора свое мнение о войне? Конечно, она восхищается победителями, но не примешивается ли сюда и малая толика жалости к побежденным?

— О да, сэр! — с живостью отвечала Флора.— И отнюдь не малая. Мне кажется, с девушками о войне говорить не следует. Я ведь волей-неволей .. как бы это сказать... не воин. Зачем же напоминать мне о том, что приходится совершать другим, и о том, как они страдают? Это просто несправедливо.

— У мисс Гилкрист нежное, истинно женское сердце,— заметил майор.

— Напрасно вы так в этом уверены! — вскричала Флора.— Я была бы очень рада, если бы мне позволили сражаться!

— На чьей же стороне? — спросил я.

— Вы еще спрашиваете! — горячо воскликнула она.— Ведь я шотландка.

— Она шотландка,— повторил майор, выразительно

глядя на меня.— Она вас жалеет, но в этом вам никто не позавидует.

— А я упиваюсь каждой каплей ее жалости,— возразил я.— Ведь жалость — сестра любви.

— Что ж, давайте спросим у нее самой. Мисс Гилкрист решать, а нам — покорно склоняться перед ее решением. Скажите, мисс Флора, что ближе к любви. восхищение или жалость?

— Полноте,— прервал я,— будем говорить прямее. Нарисуйте перед дамой всю картину, без утайки: опишите вашего кавалера, а я опишу моего — и пусть мисс Флора сделает выбор.

— Кажется, я вас понимаю,— сказал Шевеникс.— Что ж, попробуем. Вы полагаете, что женское сердце прежде всего подвластно жалости и родственным ей чувствам. Нет, я более высокого мнения о женщинах. Я убежден, что тот, кого женщина полюбит, должен сначала завоевать ее уважение: он тверд, ему смело можно довериться; он горд; если угодно, быть может, суховат... но превыше всего тверд. Вначале она будет глядеть на него с сомнением, но под конец поймет, что лицо его, суровое для остального мира, смягчается для нее одной. Прежде всего доверие, говорю я. Так любит женщина, достойная героя.

— О да, сэр, он у вас большой честолюбец и несомненный герой,— сказал я.— Мой кандидат проще и, смею думать, человечнее. Он и сам не особенно уверен в себе и не обладает столь необыкновенной твердостью, чтобы ею восхищаться; он видит прекрасное лицо, слышит милый голос — и вот без всяких пышных слов он уже влюблен. О чем же ему просить, как не о сострадании, о сострадании к его слабости, к его любви, которая составляет всю его жизнь! Для вас женщина всегда в подчинении у героя, она должна глядеть на него снизу вверх, а он стоит, точно мраморное изваяние, задравши нос! Но господь бог мудрее вас, и даже самый непоколебимый ваш герой может в конце концов оказаться всего лишь человеком. А теперь выслушаем приговор королевы,— закончил я, оборотясь к Флоре, и низко пред нею склонился

— Но как же королеве судить, кто из вас прав? — спросила Флора.— Мне придется дать ответ, который вовсе не послужит ответом на ваш вопрос. Кто прика-

жет ветру, куда дуть? Кто прикажет девушке, кого любить?

Говоря это, она закраснелась, и мои щеки тоже вспыхнули, ибо я услышал в ее словах признание, и сердце мое переполнилось радостью. Шевеникс же побледнел.

— Вы превращаете жизнь в весьма опасную лотерею, сударыня,— сказал он.— Но я не стану отчаиваться. Наперекор всему я отдаю предпочтение чести и безыскусственности.

И должен признать, что в эту минуту он был на диво хорош и в то же время презабавно походил на мраморную статую с задранным носом, с которою я его сравнил.

— Просто понять не могу, как это у нас зашел такой разговор,— молвила Флора.

— Из-за войны, сударыня,— сказал майор Шевеникс.

— Все дороги ведут в Рим,— заметил я.— О чем же еще мы с мистером Шевениксом можем разговаривать?

Тут я ощутил позади себя в комнате какое-то оживление, суету, но отнесся к этому без должного внимания — и совершенно напрасно! Флора переменилась в лице, поспешно замахала веером; глаза ее жалобно молили меня о чем-то; я с несомненностью понял, что она от меня чего-то ждет... Неужто она хочет, чтобы я отступил и оставил поле брани сопернику? Ну нет, не бывать этому! Наконец она в нетерпении поднялась.

— Мне кажется, вам пора откланяться, мистер Дьюси,— сказала она.

Но я не видел к тому никакой причины и так прямо и сказал.

— Моя тетушка вышла из карточной комнаты,— был устрашающий ответ.

Во мгновение ока я откланялся и был таков. В дверях я на секунду оглянулся и имел честь узреть величественный профиль и лорнет в золотой оправе: миссис Гилкрист выплывала из карточной комнаты. При виде ее у меня словно выросли крылья, сам не помню, как я вылетел вон; через минуту я уже стоял на тротуаре на Касл-стрит, а надо мною сияли освещенные окна, в которых, точно в насмешку, мелькали тени тех, кто остался на вечере у мистера Робби.

ГЛАВА XXIX

ЧТО ПРОИЗОШЛО ВО ВТОРНИК. СЕТЬ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Этот день начался с неожиданности. Сев завтракать, я обнаружил у своего прибора письмо, адресованное «его милости Эдуарду Дьюси», и в первое мгновение перепугался свыше всякой меры. Поистине нечистая совесть всех нас обращает в трусов! Я вскрыл письмо; это оказалась всего лишь записка от мистера Робби, а в нее вложен был пригласительный билет на четверг на бал в Благородное собрание. Вскоре после завтрака, когда я курил сигару у окна гостиной и понемногу приходил в себя, а Роули, выполнив свои немногочисленные обязанности, сидел неподалеку и с воодушевлением дудел на флажолете, явно питая пристрастие к самым высоким нотам, нежданно явился Рональд. Я предложил ему сигару, пододвинул для него кресло к камину и заставил сесть... я чуть было не сказал, удобно расположиться в нем, да не хочу грешить против истины: Рональд сидел как на иголках, долго не мог решить, взять ли у меня сигару или отказаться, а когда, наконец, взял, то снова очутился перед неразрешимой задачей, то ли ее закурить, то ли вернуть мне. Я сразу же понял, что ему надобно о чем-то со мной поговорить и притом не по своей воле, и готов был побиться об заклад, что тут не обошлось без майора Шевеникса.

— Ну вот вы меня навестили,— заметил я с холодной любезностью, ибо отнюдь не желал облегчать ему разговор. Если он и вправду выполняет поручение моего соперника, я поведу с ним честную игру, но уж, конечно, не дам никаких преимуществ.

— Собственно, я бы хотел побеседовать с вами наедине,— начал Рональд.

— Извольте,— сказал я.— Роули, поди-ка в спальню. Однако, дружище,— продолжал я, обращаясь к Рональду,— такое начало меня пугает. Надеюсь, ничего дурного не случилось?

— Скажу начистоту,— отвечал Рональд.— Я, и правда, очень встревожен.

— Держу пари, я знаю причину! — вскричал я.— И держу пари, что могу вас выручить!

— Что вы хотите сказать? — спросил озадаченный Рональд.

— У вас, верно, нужда в деньгах,— пояснил я,— и могу вас заверить, вы пришли как раз туда, куда нужно. Если вам понадобился какой-нибудь пустяк — ну, скажем, сотня фунтов или около того, вам стоит только заикнуться. Они всегда к вашим услугам.

— Это, конечно, очень любезно с вашей стороны,— отвечал Рональд.— По совести сказать, хоть я и не пойму, как вы догадались, я и правда поиздержался. Только я пришел говорить с вами совсем не об этом.

— Конечно, конечно! — вскричал я.— Об этом и говорить нечего. Но помните, Рональд: я всегда готов помочь вам всем, чем могу. Помните, в свое время вы оказали мне такую услугу, что я вам друг навеки. И раз уж мне посчастливилось получить изрядное наследство, вы меня очень обяжете, если хоть столь малую его долю станете считать своею.

— Нет,— сказал Рональд.— Я не могу принять от вас эти деньги, право, не могу. Да и пришел я к вам совсем по другому делу. Речь пойдет о моей сестре, Сент-Ив,— тут он покачал головой и поглядел на меня с угрозою.

— Вы уверены, что деньги вам сейчас не нужны? — настаивал я.— Они здесь, при мне, и к вашим услугам, извольте, хоть пятьсот фунтов, хотите? Ну, да ладно, когда они вам понадобятся, просто приходите и берите.

— Ах да перестаньте вы ради бога! — с досадой вскричал Рональд.— Я пришел для весьма неприятного разговора, а как мне к нему приступить, если вы не даете слова сказать? Я уже говорил, речь пойдет о моей сестре. Вы и сами понимаете, дальше так продолжаться не может. Своим вниманием вы ее только компрометируете, это все равно ни к чему не приведет, и вообще я бы ни одной моей родственнице не позволил с вами знаться, неподходящий вы человек, вы и сами должны это понимать. Мне до крайности неприятно говорить вам все это, Сент-Ив... как будто бьешь лежачего... и я сразу сказал майору, что все это мне ужасно претит. Но так или иначе вам пришлось бы это выслушать. Ну, а теперь все сказано и, надеюсь, нам больше незачем об этом говорить, мы ведь оба джентльмены.

— Компрометирует... ни к чему не приведет... непод-

ходящий человек...— повторял я задумчиво.— Да, кажется, я вас понимаю и потому не замедлю поступить en règle.

Я встал и отложил сигару.

— Мистер Гилкрист,— продолжал я с поклоном,— в ответ на ваши вполне естественные замечания имею честь просить у вас руки вашей сестры. У меня есть титул,— этому у нас во Франции не придают особого значения, но род мой очень древний, а это высоко ценится в любой стране. Могу предъявить вам герб, на котором запечатлены тридцать два союза между безупречно родовитыми семействами моих предков. Мне предстоит получить весьма недурное состояние: доход моего дядюшки— примерно тридцать тысяч фунтов в год, хотя, признаюсь, я не удосужился узнать точнее. Во всяком случае, не менее пятнадцати тысяч, а пожалуй, ближе к пятидесяти.

— Сказать можно что угодно,— заметил Рональд и снисходительно улыбнулся.— К сожалению, все это пока еще воздушные замки.

— Извините, вполне земные,— в Бакингемшире,— тоже с улыбкой возразил я.

— Видите ли, дорогой мой Сент-Ив, вы же ничего не можете доказать,— продолжал Рональд.— А вдруг все это вовсе не так? Вы меня понимаете? Вы не можете представить нам свидетеля, который подтвердил бы ваши слова.

— Ах вот оно что! — воскликнул я, вскочил и кинулся к столу.— Прошу прощенья.— Я написал на листке бумаги адрес Роумена.— Вот мои доказательства, мистер Гилкрист. И до тех пор, пока вы не напишете ему и не получите отрицательный ответ, я имею право на то, чтобы со мною обходились, как с джентльменом, более того, я на этом настаиваю.

Рональду ничего не оставалось, как переменить тон.

— Простите меня, Сент-Ив,— сказал он.— Поверьте, я вовсе не хотел вас оскорбить. Но в том-то ведь и беда: что́ я бы ни сказал вам об этом деле, всякое мое слово звучит оскорбительно. Еще раз прошу прощенья, это не моя вина. Но, во всяком случае, вы и сами должны понять, что ваше предложение просто... просто немыслимо, дружище! Это вздор какой-то! Наши страны воюют друг с другом, да вы еще вдобавок военнопленный!

— Мой предок во времена Лиги женился на гугенотке из Сентонжа, проехал двести миль по вражеской стране, чтобы увезти свою невесту, и это оказался очень счастливый брак.

— А еще...— начал Рональд, посмотрел на огонь в камине и умолк.

— Что же еще? — спросил я.

— Еще эта история с... с Гогла,— пробормотал Рональд, все еще глядя на жар в камине.

— Что?! — вскричал я, резко выпрямляясь в кресле.— Что вы сказали?

— История с Гогла,— повторил Рональд.

— Рональд,— сказал я,— это не вы придумали. Это не ваши слова. Я знаю, откуда они идут: вам вложил их в уста какой-то негодяй!

— Как-то трудно с вами говорить, Сент-Ив! — воскликнул Рональд.— Ну зачем вы меня мучаете? И какой толк оскорблять других? Повторяю вам ясным и понятным языком: ни о каком браке с моей сестрой не может быть и речи, я и слушать не стану, пока вас обвиняют в таком ужасном преступлении. Как же вы сами этого не понимаете? В жизни не слыхал ничего нелепее! И вы еще заставляете меня пререкаться с вами!

— Значит, вы, молодой солдат или почти солдат, отвергаете мое предложение только потому, что я дрался на дуэли и в честном поединке имел несчастье убить противника? Так ли я вас понял? — вопросил я.

— Но послушайте! — взмолился Рональд.— Конечно, вы можете истолковать мои слова, как вам вздумается. А я должен верить вам на слово, что это была настоящая дуэль. Конечно, я не могу сказать вам, что... то есть.... ну, вы же понимаете, в том-то и суть! Так ли все это было на самом деле? Ведь я-то ничего этого не знаю!

— А я имею честь вам это сообщить,— сказал я.

— Но поймите, другие говорят прямо противоположное!

— Они лгут, Рональд. Придет время, и я вам это докажу.

— Короче говоря, человек, которому настолько не повезло, что о нем ходят такие толки, не может стать моим зятем! — в отчаянии вскричал Рональд.

— А знаете, кто будет моим первым свидетелем в суде? Артур Шевеникс,— объявил я.

— Мне все равно! — закричал он, вскочил с кресла и вне себя принялся шагать по комнате.— Чего вы добиваетесь, Сент-Ив? Что это такое в самом-то деле? Право, дурной сон какой-то! Вы сделали предложение моей сестре, и я вам отказал. Мне оно не нравится, я не согласен; да хоть бы я и согласился, что за важность... согласился или отказал. Тетушка все равно и слушать об этом не станет! Поймите же, другого ответа вам не будет!

— Не забывайте, Рональд, что мы играем с огнем,— сказал я.— Предложение руки и сердца — предмет деликатный, с этим надо обходиться с осторожностью. Вы мне отказали и объяснили свой отказ несколькими причинами. Первая — я мошенник, вторая — наши страны воюют между собой, третья... Нет, дайте мне договорить, вы ответите, когда я кончу. Итак, третья — я бесчестно убил — по крайности так про меня говорят — этого Гогла. Так вот, мой милый, приводя подобные доводы, вы ступаете на скользкую почву. Надо ли говорить, как бы я принял эти обвинения из любых других уст, но сейчас руки у меня связаны. Я исполнен столь глубокой благодарности к вам, не говоря уже о моей любви к вашей сестре, что вы можете оскорблять меня совершенно безнаказанно. Мне больно слушать вас, очень больно, но я должен все это сносить и не могу защищаться.

Поначалу Рональд все пытался меня перебить, когда же я кончил, он долго молчал.

— Знаете, Сент-Ив,— сказал он наконец,— пожалуй, мне лучше уйти. Все это было весьма неприятно. Я, собственно, вовсе не собирался говорить вам ничего такого и прошу меня извинить. Я глубоко вас уважаю, так глубоко, как только джентльмен может уважать джентльмена. Я лишь хотел сказать вам... хотел объяснить, что́ повлияло на мое решение, короче говоря, этот брак невозможен. Но в одном не сомневайтесь: сам-то я ничего против вас не сделаю. Хотите пожать мне руку на прощанье? — вдруг выпалил он.

— Да,— сказал я.— разговор был не из приятных, согласен, но кто старое помянет, тому глаз вон. До свидания, Рональд.

— До свидания, Сент-Ив,— ответил юноша.— Мне от души жаль. — И он ушел.

Окна моей гостиной выходили на север, но из окна прихожей открывалась площадь, и я видел, как Рональд вышел из дома и уныло побрел по тротуару и как вскоре к нему подошел — кто бы вы думали? — майор Шевеникс собственной персоной! Тут я еле удержался от улыбки, ибо им тоже, конечно, предстоял пренеприятный разговор, и я, казалось, слышал их голоса, холодные и резкие, точно скрещивающиеся клинки, и старый, как мир, припев: «Говорил я вам!» и «А я говорил вам: не надо!» Конечно, они почти ничего не выиграли от этого посещения, но ведь и я от него только проиграл, да вдобавок разгорячился и пал духом. Рональд упорно стоял на своем и отказал мне. Правда, иного я и не ожидал, но от этого положение мое не стало лучше. Теперь я твердо знал, что в то время, покуда я вынужден находиться во Франции, здесь воспользуются любыми средствами, перевернут небо и землю, лишь бы убедить Флору отвергнуть навязчивого француза и стать женой Шевеникса. Конечно, она будет противиться. Но все же мысль эта не давала мне покоя, и я решил предупредить Флору и подготовить ее к борьбе за наше счастье.

Напрасно было пытаться увидеть ее сейчас же, но я дал себе слово, что вновь отправлюсь в «Лебяжье гнездо» едва стемнеет. А пока надобно было собираться в дальний путь. Здесь, в Эдинбурге, я находился в четырех милях от моря, и, однако, мысль обратиться с улыбкой на устах и с камнем за пазухой к первым встречным рыбакам настолько меня отталкивала, что я уже готов был вновь отправиться в северные графства и еще раз постучаться к Берчелу Фенну. Но для этого понадобятся деньги; после того, как я отдал все ассигнации Флоре, у меня оставалось еще около тысячи пятисот фунтов. Вернее, я ими и располагал и не располагал, ибо после обеда у мистера Робби поместил все эти деньги, кроме тридцати фунтов мелочью, в банк на Джордж-стрит на имя Роули. Я рассудил, что это будет мой ему подарок на случай, если мне придется внезапно уехать. Теперь же, обдумав все как следует, я отправил моего преданного слугу в полном облачении и с кокардой на шляпе взять эти деньги из банка.

В скором времени он воротился, весь красный, и отдал мне назад чековую книжку.

— Ничего не вышло, мистер Энн,— сообщил он.
— Как так не вышло?
— Понимаете, сэр, найти-то я тот банк нашел, это уж будьте благонадежны, да тут-то и перепугался насмерть! У двери стоял один человек, и я его мигом признал. Угадайте, кто, мистер Энн! Тот самый сыщик. Ну тот, с которым я тогда вместе завтракал возле Эйлсбери.
— А ты уверен, что не обознался? — спросил я.
— Еще как уверен! — отвечал Роули.— Не мистер Лейвендер, нет, сэр; а тот, другой, который был с ним. Вот я и говорю себе: а что это он здесь околачивается? Нет, тут дело нечисто!
— Ты совершенно прав, Роули.
И я зашагал из угла в угол, напряженно размышляя. Этот сыщик мог, конечно, оказаться здесь по чистой случайности, но трудно вообразить столь редкостную цепь совпадений, чтобы человек, который разговаривал с Роули в «Зеленом драконе», близ Эйлсбери, случайно очутился в Шотландии, где у него и дел-то никаких быть не может, да еще у самых дверей банка, где открыт счет на имя Роули.
— Надеюсь, он тебя не заметил, Роули? — спросил я.
— Не извольте беспокоиться,— ответствовал мой слуга.— Да ведь если бы он меня заприметил, мистер Энн, сэр, уж вы-то меня больше век бы не увидели! Я ведь не дурак, сэр!
— Что ж, дружок, спрячь чековую книжку обратно в карман. Больше она не понадобится тебе до тех самых пор, покуда ты не останешься здесь один. Смотри же, не потеряй ее: это твоя доля из мешка Санта-Клауса — полторы тысячи фунтов в твоем полном распоряжении.
— Прошу прощенья, мистер Энн, а что мне с ними делать? — спросил Роули.
— Откроешь трактир,— отвечал я.
— И опять же извините меня, сэр, но трактир мне вовсе ни к чему! — решительно возразил Роули.— И потом, сдается мне, сэр, молод я еще для этаких-то дел. Я ваш телохранитель, мистер Энн, и больше я никто.
— Хорошо, Роули, тогда послушай, отчего я даю тебе эти деньги. Они — за очень дорогую услугу, которую ты мне оказал и о которой я не хочу, да и не смею говорить. За твою преданность, за то, что ты не унываешь, мой дружок. Деньги эти все равно предназначались тебе, а теперь, по правде говоря, иначе и нельзя, придется тебе их взять. И раз тот сыщик ждет подле самого банка, их нельзя трогать, покуда я отсюда не уеду.
— Уедете? — эхом отозвался Роули.— Вот что я вам скажу, мистер Энн, сэр! Никуда вы без меня не уедете.
— Нет, мой дружок, придется нам расстаться, и в очень скором времени,— отвечал я.— Быть может, даже завтра. Это надобно ради моей безопасности, Роули! Поверь мне, если у того сыщика были причины караулить у дверей банка, то ждал он там, конечно, не тебя. Как они ухитрились так быстро пронюхать о счете в этом банке, просто ума не приложу. Быть может, нас спугнуло какое-то дурацкое совпадение, но надобно считаться с обстоятельствами... И еще одно, Роули: мало того, что я вынужден на время с тобой распрощаться, я еще вдобавок должен просить тебя не выходить из дому до нового моего распоряжения. Только так ты и можешь сейчас сослужить мне службу.
— Да вы только слово скажите, сэр, и я для вас в лепешку расшибусь! — вскричал мой верный слуга.— У меня такое правило — ничего не делать вполовину! Я ваш телом и душой и пойду за вас в огонь и в воду!
Теперь я до заката солнца ровно ничего не мог предпринять. Выход был один: как можно скорее повидаться с Флорой, моим единственным надежным банкиром, а до наступления темноты об этом нечего было и думать. Оставалось лишь кое-как убить время над «Каледонским Меркурием», где напечатаны были дурные для Франции вести о военных операциях да запоздалые документы о нашем отступлении из России. И вот я сижу у камина, порой встрепенусь от злости и горькой обиды из-за этих дурных вестей, а порой снова начинаю клевать носом над пустопорожними заметками о мелких событиях в Эдинбурге. И вдруг меня точно ударило:
«Недавно в Эдинбург прибыл виконт де Сент-Ив; он остановился в отеле Дамрека»,— прочитал я.
— Роули!
— К вашим услугам, сэр,— с готовностью откликнулся мой слуга, опуская флажолет.

— Поди-ка взгляни,— сказал я и протянул ему газету.

— Вот те на! — вскричал Роули.— Заявился собственной персоной, сэр.

— Да, собственной персоной,— подтвердил я.— Напал на след. И уже почти догнал нас. Готов поклясться, они приехали вместе, он и тот сыщик у банка. Так что охота в полном разгаре: и доезжачие, и егеря, и гончие, и охотники — все собрались тут, в Эдинбурге!

— Что ж вы теперь будете делать, сэр? Знаете что? Дайте-ка, я все возьму в свои руки, сделайте милость! Вот только одну минутку, я переоденусь, чтоб не узнали, и схожу в этот Дам... ну, в этот отель, и выведаю, что́ он там затевает. Вы уж на меня положитесь, мистер Энн, я проворный, в руки никому не дамся, всегда улизну, коли что.

— Ты отсюда и носа не высунешь,— твердо сказал я.— Ты пленник, Роули, запомни это хорошенько. И я тоже пленник или без пяти минут пленник. Я показал тебе газету, чтобы тебя остеречь: если ты выйдешь на улицу, ты меня погубишь.

— Как вам будет угодно, сэр,— покорно отвечал Роули.

— Пожалуй, сделаем так: ты простыл или вроде этого. Незачем вызывать подозрения у миссис Макрэнкин.

— Простыл? — воскликнул Роули, мгновенно оживляясь.— Это я могу, мистер Энн!

И он принялся чихать, кашлять и сморкаться, да так натурально, что я поневоле улыбнулся.

— На этакие уловки я мастак, уж вы мне поверьте, мистер Энн,— гордо заявил он.

— Что ж, весьма кстати,— отвечал я.

— Пойду-ка я испробую их на нашей старушке, ладно? — спросил Роули.

Я его отпустил, и он убежал такой ликующий, точно торопился на футбол глядеть. А я опять взялся за газету и продолжал рассеянно ее просматривать; мысли мои вновь и вновь возвращались к нависшей надо мною опасности, и вдруг я наткнулся на следующую заметку:

«В связи с недавним злодейским убийством в Замке нас просят опубликовать следующее сообщение: полагают, что убийца — солдат по имени Шандивер — находится где-то неподалеку от Эдинбурга... Его приметы: среднего роста или чуть ниже, приятной наружности и весьма учтив в обращении. В последний раз его видели в модном платье жемчужно-серого цвета и в светло-коричневых башмаках. Он чисто говорит по-английски, называет себя Рейморни. Его сопровождает слуга лет шестнадцати. За поимку преступника обещана награда».

Я кинулся в соседнюю комнату и стал лихорадочно стаскивать с себя жемчужно-серый сюртук.

Признаться, теперь я был не на шутку встревожен. Нелегко оставаться спокойным и невозмутимым, когда чувствуешь, как сеть медленно, но неумолимо затягивается вокруг тебя, и я рад был, что Роули не видит моей растерянности. Лицо мое пылало, дышал я прерывисто и тяжело, еще никогда в жизни не был я так растерян.

И при всем том ничего нельзя было поделать — только выжидать, спокойно обедать и ужинать и поддерживать разговор с чересчур словоохотливым Роули, притворяясь, будто я вполне владею собой. Правда, беседу с миссис Макрэнкин поддерживать не приходилось, но от этого мне становилось только еще горше. Что случилось с моей квартирной хозяйкой? Отчего она держится гордо и отчужденно, не желает со мною разговаривать, глаза у нее красные и по дому непрестанно разносится ее страдальческий голос? Либо я сильно ошибался, либо она прочитала злополучную заметку в «Меркурии» и узнала обличающий меня жемчужно-серый сюртук. Теперь мне припомнилось, что она с каким-то странным выражением лица подала мне в то утро газету и объявила, хмыкнув то ли сочувственно, то ли с вызовом: «Вот вам ваш «Меркурий»!»

Однако же с этой стороны я не ждал непосредственной опасности: трагический вид миссис Макрэнкин выдавал ее волнение, ясно было, что она борется со своей совестью и исход этой борьбы еще не решен. Я терзался и не знал, что делать. Коснуться столь сложного и таинственного механизма, как внутренний мир моей квартирной хозяйки, я не осмеливался, ибо от первого же моего слова он мог, словно неумело сработанная петарда, вспыхнуть и рвануть совсем не в ту сторону. И я, превознося теперь свою осмотрительность — ведь с пер-

вых же шагов я ухитрился расположить к себе миссис Макрэнкин самым дружеским образом,— я все же не понимал, как вести себя сейчас. Более обыкновенного выказывать знаки внимания, пожалуй, столь же опасно, как и пренебрегать этим. Одна крайность покажется ей дерзостью и только ее рассердит, вторая будет, в сущности, признанием вины. Короче говоря, я обрадовался, когда на улицах Эдинбурга стало смеркаться, а заслышав голос первого сторожа, отправился в путь.

Когда я добрался до холма, на котором стояло «Лебяжье гнездо», еще не было семи часов; я стал взбираться по крутому склону к садовой ограде и вдруг с изумлением услышал собачий лай. Прежде здесь собаки лаяли только у хижины на вершине холма. Но этот пес был в саду «Лебяжьего гнезда», он рычал, задыхался от ярости, прыгал и рвался с цепи. Я дождался, чтобы он немного поутих, потом с крайней осторожностью вновь стал приближаться к ограде. Но не успел я заглянуть поверх нее в сад, как пес разразился лаем еще пуще прежнего. В ту же минуту дверь отворилась, и из дому вышли с фонарем Рональд и майор Шевеникс. Они стояли как раз передо мною, немного ниже, яркий свет фонаря падал на их лица, и я отчетливо слышал каждое их слово. Майор успокаивал собаку, и теперь она только глухо ворчала, лишь изредка снова разражаясь лаем.

— Как удачно, что я привел Таузера! — заметил майор.

— Черт его побери, где же он? — нетерпеливо сказал Рональд, поводя фонарем и тревожа ночную мглу причудливой игрой света и тени.— Пойду-ка я, пожалуй, на вылазку.

— Не надо,— возразил Шевеникс.— Помните, Рональд, я согласился прийти сюда и помочь вам караулить дом лишь на одном условии: условие это — военная дисциплина, мой мальчик! Мы ходим дозором только по этой дорожке у самого дома. Лежать, Таузер! Хороший пес, хороший... Тише, тише,— продолжал он, лаская треклятое чудовище.

— Подумать только! Может быть, этот наглец нас сейчас слышит! — вскричал Рональд.

— Вполне вероятно,— отвечал майор.— Вы здесь, Сент-Ив? — прибавил он отчетливо, но негромко.— Я хочу сказать вам одно: идите-ка вы домой. Мы с мистером Гилкристом будем караулить посменно всю ночь напролет.

Больше играть в прятки было ни к чему.

— Beaucoup de plaisir [1],— отвечал я в тон ему.— Il fait un peu froid pour veiller; gardez-vous des engelures! [2].

Должно быть, майора охватил неодолимый приступ бешенства: минутой ранее он столь рассудительно уговаривал Рональда соблюдать дисциплину, а сейчас выпустил из рук цепь — и собака стрелой метнулась по косогору вверх к ограде. Я сделал шаг назад, подобрал с земли камень фунтов в двенадцать весом и приготовился встретить врага. С разгона пес прыгнул на стену, и в тот же миг я изо всей силы ударил его камнем по голове. Он сдавленно взвизгнул и свалился обратно в сад, тяжелый камень с грохотом покатился следом. И тут раздался отчаянный вопль Шевеникса:

— А, дьявол! Неужто он убил мою собаку!

Я почел за благо ретироваться, покуда цел.

ГЛАВА XXX

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СРЕДУ. КРЭМОНДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Я пробудился с чувством растерянности, чуть ли не ужаса, и несколько часов не вставал с постели, обдумывая создавшееся положение. Но, куда бы я ни направлял свои мысли, нигде не брезжило ни малейшей надежды, и все приводило меня в отчаяние. За «Лебяжьим гнездом» неусыпно следят, завели огромного свирепого сторожевого пса... разве что я его вчера вечером прикончил, а если так, его неутешный хозяин в отместку за утрату станет еще усердней караулить дом. Чтобы блеснуть перед Флорой своей преданностью и любовью, я отдал ей почти все деньги, мне казалось, что это великолепный жест — гонимый странник является к своей возлюбленной и, точно сам Юпитер, осыпает ее золотым дождем — тысячами фунтов. Затем, в минуту невообразимой глупости, я похоронил все, что у меня еще оставалось, в банке на Джордж-стрит. Теперь же мне

[1] Желаю приятно провести время *(франц.)*.
[2] К утру, вероятно, станет прохладно; смотрите, как бы вам не обморозиться *(франц.)*.

надобно вернуть либо то, либо другое, но все-таки что же именно и каким образом?

Я беспокойно ворочался в постели, и наконец предо мною предстали три возможных пути, причем все они на каждом шагу грозили гибелью. Во-первых, Роули мог и ошибиться и за банком вовсе не следят, тогда он все-таки сумеет взять оттуда деньги. Во-вторых, я могу вновь обратиться к мистеру Робби. И, наконец, можно поставить все на карту, отправиться на бал в Благородное собрание и поговорить с Флорой на глазах у всего Эдинбурга. Последний путь всего опаснее, и, кроме того, придется ждать еще двое суток, поэтому я тот же час отверг эту мимолетную мысль и вновь принялся обдумывать другие два пути. Вероятнее всего, Робби уже предупрежден, что со мною не следует иметь никакого дела. Поведение семейства Гилкрист определяет сейчас майор Шевеникс, и он, конечно же, не мог не подумать о столь очевидной предосторожности. Если же он ее все-таки упустил, тогда все в порядке: Робби, конечно, найдет способ повидать Флору, и к четырем часам я буду уже спешить на юг, и притом свободным человеком. Наконец я решил сам убедиться воочию, верно ли, что банк на Джордж-стрит находится под наблюдением.

Я позвал Роули и допросил его с пристрастием о наружности того сыщика у банка.

— Расскажи-ка мне, Роули, каков он с виду,— спросил я, начиная одеваться.

— Каков с виду? — повторил Роули.— Да уж и не знаю, как вам описать, мистер Энн. Красотой-то он не блещет, прямо скажу.

— Высок ростом?

— Высок? Нет, этого бы я не сказал, мистер Энн.

— Так, значит, он маленького роста?

— Маленького? Нет, пожалуй, маленьким его не назовешь, сэр. Нет, сэр, он не то чтобы уж очень маленький.

— Стало быть, среднего роста?

— Можно сказать и так, сэр, да только тоже не особенно среднего.

Я едва удержался, чтобы не выбраниться.

— Он бритый? — начал я снова.

— Бритый? — повторил Роули с выражением простодушного усердия.

— Господи, да что ты повторяешь мои слова, как попугай? — воскликнул я.— Расскажи мне, каков он с виду, мне это очень важно, чтобы узнать его с первого взгляда.

— Я и то стараюсь, мистер Энн. А вот насчет бритья... Что-то я ничего такого не разглядел. Вот сейчас, думается мне, вроде он такой и есть, а потом, как подумаю, вроде бы и нет. Нет, верно, коли вы мне скажете, что у него вроде малость баки отпущены, я и то не удивлюсь.

— А лицо у него красное? — громовым голосом и раздельно, по слогам выговорил я.

— Ну чего это вы гневаетесь, мистер Энн? — отвечал Роули.— Я и так стараюсь все вам разобъяснить, что видел, ничего не пропускаю. Красное лицо? Да нет, пожалуй, не такое уж оно красное.

Мною вдруг овладело убийственное спокойствие.

— А может, он совсем бледный? — осведомился я.

— Этого я как-то не могу сказать, мистер Энн. Да ведь, по совести говоря, я особенно и не примечал, бледный он или нет.

— Как тебе показалось, похож он на пьяницу?

— Уж чего нет, того нет. С вашего позволения, сэр, он больше смахивает на обжору.

— А, так, значит, он толстяк?

— Да нет, сэр, он и не то чтобы такой уж толстый. Нет, толстяком его не назовешь. Даже, я бы сказал, скорее он вроде тощий.

Думаю, что незачем описывать далее этот разговор. Под конец я совсем разъярился, но ничего путного так и не узнал, только довел Роули до слез. Выяснил я одно: росту сыщик то ли высокого, то ли маленького, то ли среднего, как вам угодно; сложения то ли плотного, то ли худощавого; лицо, может, бритое, а может, бородатое; цвет его волос, по словам Роули, назвать никак невозможно, зато глаза вроде синие, даже более того — единственно в этом Роули был твердо уверен. «Вот хоть под присягой скажу, глаза у него синие-пресиние»,— повторял он чуть не со слезами. В действительности глаза оказались черные, как угли, очень маленькие и очень близко посаженные. Вот вам и показания даже столь бесхитростного свидетеля! Чего же я в конце концов добился? Описания не самого сыщика, а его одежды.

На нем были короткие штаны и белые чулки, куртка вроде «какая-то светловатая или, верней сказать, то ли светлая, то ли темная». И еще молескиновый жилет. Казалось бы, довольно с меня? Так нет же, Роули в крайнем волнении вытащил меня из-за стола, когда я завтракал, и указал на какого-то солидного господина весьма почтенной наружности, который в эту минуту пересекал площадь.

— Это он самый и есть, сэр! — воскликнул мой преданный слуга.— Он самый, точь-в-точь! Правда, этот вроде получше одет и, может, капельку повыше ростом, да ведь и лицо у него, пожалуй, не такое, даже вовсе не похоже. Нет, я теперь и сам вижу, это и не он совсем.

— Болван! — выбранился я, и, право, даже наистрожайший блюститель хорошего тона меня бы за это не осудил.

Тем временем появилась наша квартирная хозяйка, и ко всем моим мукам прибавилась еще одна. Миссис Макрэнкин, очевидно, провела бессонную ночь, и лицо ее опухло от слез. Прислуживая мне за столом, она то и дело вздыхала, охала, всхлипывала и качала головой. Коротко сказать, она была опасна, точно петарда с тройным зарядом истерики, и я не решился с нею заговорить; после завтрака я на цыпочках улизнул из дому и бегом сбежал с крыльца в страхе, что она вот-вот меня окликнет и надобно будет воротиться. Да, в таком непрестанном напряжении долго существовать немыслимо!

Первым делом я отправился на Джордж-стрит, и тут мне повезло: банковский служитель как раз опускал железные шторы, и с ним разговаривал человек в белых чулках и молескиновом жилете; вид у этого субъекта был самый что ни на есть разбойничий. Все это, несомненно, сходилось с signalement [1], которое мне дал Роули: как вы помните, он утверждал, что чем-чем, а красотою сподвижник великого Лейвендера отнюдь не отличается.

От банка я двинулся прямиком к дому мистера Робби и в скором времени уже звонил у его двери. Мне открыла служанка и объявила, что адвокат занят, чего я, впрочем, и ожидал.

— Как передать, кто его спрашивал? — настойчиво осведомилась она.

[1] Описание, приметы *(франц.)*

— Мистер Дьюси,— отвечал я.

— Тогда, верно, это для вас.— И она подала мне письмо, лежавшее на столике в прихожей. Письмо гласило:

«Дорогой мистер Дьюси! Единственный совет, который я могу вам дать,—quam primum [1] отправляйтесь на юг.

Искренне ваш, Т. Робби».

Коротко и ясно. И, по крайности, на одном пути мне не осталось ни малейшей надежды. От Робби уже ничего более не добиться; дорого бы я дал, чтобы узнать, что ему обо мне наговорили. Надеюсь, не чересчур много, ибо законник этот пришелся мне очень по душе, хотя он меня сейчас и бросил на произвол судьбы. Я все-таки верил в порядочность Шевеникса. Конечно, пощады от него не жди, но, с другой стороны, и возводить напраслину из одной только жестокости он тоже не станет.

Итак, я воротился на Джордж-стрит, чтобы проверить, все ли еще Молескиновый жилет караулит банк. На тротуаре его не оказалось. Тут я приметил почти напротив банка отворенную дверь дома и за дверью лестницу — вот отличный наблюдательный пункт! Я пересек улицу, с деловым видом вошел в подъезд — и столкнулся нос к носу с Молескиновым жилетом. Я остановился и вежливо извинился перед ним, он отвечал тем же, выговор у него был, безусловно, английский, так что если у меня и были какие-то сомнения, то теперь они рассеялись без следа. Мне оставалось одно: подняться на верхний этаж, позвонить у какой-то двери и осведомиться, здесь ли живет мистер Вавасур; получив ответ, что о таковом здесь и не слыхивали (это меня не слишком удивило), я спустился по лестнице и, учтиво поклонясь сыщику, снова вышел на улицу.

Теперь волей-неволей надобно было испробовать последний путь — бал в Благородном собрании. Робби от меня отказался. За банком следят, и Роули нельзя даже близко подпустить к Джордж-стрит. Значит, остается только дождаться завтрашнего вечера и явиться на бал, а там будь что будет. Но, честно говоря, решение это мне стоило немалой внутренней борьбы: впервые за все время мужество мне едва не изменило. Нет, решимость моя ничуть не поколебалась, мне не пришлось се-

[1] Безотлагательно, немедленно *(лат.)*.

бя уговаривать, как это было, когда я бежал из Замка; просто мужество более меня не поддерживало, словно остановились часы или перестало биться сердце. Разумеется, я пойду на бал, разумеется, мне нынче же с утра надобно заняться своим туалетом. Все это было решено. Но почти все здешние лавки располагались за рекой, в так называемом Старом городе, и я с изумлением убедился, что попросту не в силах перейти Северный мост! Точно предо мною разверзлась бездна или морская пучина. Ноги наотрез отказывались нести меня в сторону Замка!

Я говорил себе, что это всего лишь преглупое суеверие; я заключил сам с собою пари — и выиграл его: я все-таки пошел на Принцесс-стрит, где неизменно прогуливается лучшее общество Эдинбурга, прошелся по ней, остановился и постоял один, на виду у всех, поглядел поверх садовой решетки на старые, замшелые стены крепости, где начались все мои мытарства. Я заломил шляпу, подбоченился и, словно бы нимало не опасаясь быть узнанным, дерзко прохаживался по панели. Убедившись, что все это мне вполне удается, я ощутил прилив бодрящей веселости, даже некоторый crânerie[1], и это подняло меня в собственных глазах. И все же на одно я так и не сумел подвигнуть ни дух свой, ни тело: я не смог перейти по мосту и вступить в Старый город. Мне казалось, что уж там-то меня сей же час арестуют и придется мне шагать прямиком в сумрачную тюремную камеру, а оттуда прямиком в безжалостные объятия палача и пеньковой веревки. И, однако же, я не в силах был идти вовсе не от осознанного страха пред тем, что меня там ждет. Я просто не мог. Конь мой заартачился — и ни с места!

Да, мужество покинуло меня. Нечего сказать, приятное открытие для того, над кем нависла столь грозная опасность, кто ведет столь отчаянную игру и знает, что выиграть ее можно лишь с помощью постоянной удачи и безудержной смелости! Струна была натянута слишком туго и слишком долго, и мужество мое не выдержало. Мною овладел тот страх, что зовется паникой: я видывал такое у солдат, когда среди ночи внезапно нагрянет враг; я поворотился спиною к Принцесс-стрит и едва ли не бегом пустился наутек, точно за мной гнались

[1] Удаль, лихость *(франц.)*.

все дьяволы преисподней. Смутно припоминаю, что на площади Сент-Эндрю кто-то меня окликнул. Даже не оглянувшись, я, как одержимый, помчался дальше. Почти тотчас на плечо мое опустилась тяжелая рука, и я едва не лишился чувств. На мгновение в глазах у меня потемнело, а когда я очнулся, предо мною стоял веселый сумасброд! Страшно подумать, каков я был в ту минуту: верно, побледнел как полотно, весь дрожал, точно осиновый лист, и, пытаясь что-то сказать, беззвучно шевелил помертвевшими губами. И это солдат Наполеона и джентльмен, который намерен завтра вечером танцевать на бале в Благородном собрании! Я описываю свой позор так подробно потому, что во всей моей жизни то был единственный случай, когда я совершенно потерял власть над собою, а для офицеров это может послужить хорошим уроком.

Никому на свете я не позволю назвать меня трусом, не раз доказывал я свою храбрость так, как может доказать далеко не всякий. И, однако же, я — потомок одного из благороднейших родов Франции, с младых ногтей приученный к опасностям,— минут десять, а то и двадцать являл собою столь отвратительное зрелище на улицах Нового города.

Едва сумев перевести дух, я тот же час попросил сумасброда извинить меня. Дело в том, сказал я, что в последнее время, а особливо сегодня, я что-то до крайности подвержен волнению; малейшая неожиданность совершенно выводит меня из равновесия.

Он слушал, казалось, с искренним участием.

— Да, здоровье ваше, видно, из рук вон плохо,— заметил он.— Ну и я хорош — надо ж было эдак подурацки вас напугать! Покорнейше прошу извинить! А на вас и вправду глядеть страшно. Вам надобно посоветоваться с доктором. Дорогой сэр, даю вам самолучший рецепт: клин клином вышибать! Стаканчик джина пойдет вам на пользу. Или вот что: час еще ранний, но что за беда! Заглянемте к Дамреку, перехватим по бараньей отбивной и разопьем бутылочку — идет?

Я наотрез отказался: терпеть не могу эти роскошные отели! Но затем, напомнив мне, что в этот день заседает Крэмондская академия, он предложил прогуляться с ним за город (всего-то пять миль) и отобедать в обществе юных оболтусов вроде него самого. И тут я согла-

сился. Надо же как-то дождаться завтрашнего вечера, а обед с «академиками» поможет мне скоротать нескончаемые тягостные часы до бала, подумал я. Да, лучше всего, пожалуй, скрыться за городом, к тому же прогулка превосходно успокаивает нервы. Но тут я вспомнил беднягу Роули, который дома старательно прикидывается больным под неусыпным надзором нашей грозной и теперь-то уж, конечно, что-то заподозрившей хозяйки, и спросил веселого сумасброда, нельзя ли мне взять с собою слугу.

— Бедняга совсем с тоски погибает в одиночестве,— пояснил я.

— Великодушный человек добр даже к своему ослу,— нравоучительно заметил мой новый приятель.— Сделайте милость, возьмите его, отчего же нет?

Слуга-сиротка нес за ним
Последнюю отраду — арфу.

— Покуда мы будем трапезничать, этот сиротка, разумеется, получит на кухне кусок холодного мяса.

Итак, окончательно оправясь после моего постыдного приступа слабости (правда, перейти Северный мост я все равно не согласился бы ни за какие блага мира), я заказал себе в лавке на Лит-стрит, где мне постарались угодить, вечерний костюм, извлек Роули из его заключения и в начале третьего часа ждал вместе с ним в условленном месте, на углу Дьюк-стрит и Йорк-плейс. Академию представляли одиннадцать человек, включая нас, аэронавта Байфилда и верзилу Форбса, уже знакомого мне по тому воскресному утру, когда он весь был закапан свечным салом в трактире «Привал охотников» Меня представили всем прочим, и мы тронулись в путь через Ньюхейвен и далее по берегу моря; вначале мы шли живописными проселочными дорогами, потом — мимо бухточек поистине волшебной красоты и, наконец, добрались до цели — до крохотной деревушки Крэмонд-на-Элмонде, приютившейся на берегу крохотной речушки, под сенью лесов, и глядящей на широкую песчаную отмель, на море и маленький островок вдали. Все это было крохотное, прямо игрушечное, но полно своеобразной прелести. Воздух ясного февральского дня был бодрящий, но не холодный. Всю дорогу мои спутники резвились, дурачились и острили, и у меня точно гора

с плеч свалилась, я повеселел, шутил и дурачился вместе со всеми.

Я обратил внимание на Байфилда не потому, что он меня заинтересовал: просто я слышал о нем раньше и видел его афиши. Это был смуглый, темноволосый человек, желчный и на редкость молчаливый; держался он холодно и сухо, но чувствовалось, что его снедает неугасимый внутренний жар. Он оказался столь любезен, что почти не отходил от меня и при всем своем немногословии одного меня удостаивал разговором, за что я в тот час нимало не чувствовал к нему признательности. Знай я тогда, какую роль суждено ему вскорости сыграть в моей судьбе, я бы отнесся к нему повнимательней.

В Крэмонде в каком-то убогом трактире для нас была уже приготовлена комната, и мы уселись за стол.

— Здесь нет места чревоугодию и лакомству,— предупредил мой веселый сумасброд, который, кстати, звался Далмахой.— Вам не подадут ни черепахового супа, ни соловьиных язычков. Да будет вам известно, сэр, девиз Крэмондской академии: «Ешь попроще, а пей побольше».

Профессор богословия прочитал застольную молитву на какой-то изуверской латыни, и я не понял ни слова, уловил только, что молитва была рифмованная, и догадался, что она, должно быть, не столь благочестива, сколь остроумна. Затем «академики» принялись за грубую, но обильную еду: тут была вяленая пикша с горчицей, баранья голова, телячья требуха, заправленная овсяной мукою, луком и перцем, и прочие истинно шотландские деликатесы. Все это запивалось крепчайшим черным пивом, а как только со стола были убраны остатки еды, вмиг появились стаканы, кипящая вода, сахар и виски и началось приготовление пунша. Я с наслаждением уплетал одно блюдо за другим, не отказывался и от напитков и по мере сил и умения состязался с прочими в остроумии и в шутках, которыми обильно сдобрен был обед. Как ни дерзко это покажется с моей стороны, я даже отважился пересказать этим шотландцам излюбленную историю Сима о собаке его друга Туиди и, видно, так мастерски подражал говору гуртовщиков (на их взгляд, редкий подвиг для южанина!), что они незамедлительно избрали меня в «Совет шотландцев», и с этой минуты я стал полноправным членом Крэмондской ака-

демии. Вскорости я уже развлекал их песней; а еще через малое время — впрочем, может, и не такое уж малое — мне пришло в голову, что, пожалуй, выпил я предостаточно, и пора незаметно удалиться. Сделать это было нетрудно, ибо никого не интересовало, чем я занят и куда иду; все от души веселились, и оттого всем было не до подозрений.

Я преспокойно вышел из комнаты, гудевшей хмельными голосами этих ученых мужей, и вздохнул с облегчением. Весь день и вечер я провел приятнейшим образом и остался цел и невредим. Увы! Я заглянул в кухню — и обомлел. Эта глупая обезьяна, мой слуга, вдребезги пьяный, стоял, пошатываясь, на кухонном столе, и трелями своего флажолета услаждал слух всех трактирных служанок и кучки деревенских жителей.

Я вмиг стащил его со стола, нахлобучил ему на голову шляпу, сунул флажолет ему в карман и поволок за собою в город. Руки и ноги у него были как ватные, он ничего не соображал; приходилось вести его и поддерживать, ибо он шатался из стороны в сторону, и поминутно снова ставить на ноги, когда он и вовсе валился наземь. Поначалу он распевал во все горло либо ни с того ни с сего разражался дурацким хохотом. Но постепенно бурное веселье сменилось беспричинной грустью; минутами он принимался жалобно хныкать, а то вдруг останавливался посреди дороги, твердо объявляя: «Нет, нет, нет!» — и тут же падал навзничь или же непослушным языком торжественно взывал ко мне: «М-милорд!» — и для разнообразия валился ничком. Боюсь, у меня не всегда хватало терпения обходиться с дурнем кротко, но, право же, это было невыносимо. Мы продвигались вперед черепашьим шагом и едва успели отойти примерно на милю от Крэмонда, как позади послышались крики: «Академический совет» в полном составе спешил за нами вдогонку.

Кое-кто из них еще сохранил человеческий облик, но и остальные по сравнению с Роули казались благочестивыми трезвенниками, однако же настроены все были до крайности игриво, шумно резвились, и чем ближе к городу, тем очевиднее становилась для меня опасность. Они горланили песни, бегали наперегонки, фехтовали своими тростями и зонтиками; казалось, пора бы устать и угомониться, но не тут-то было: с каждой пройден-

ной милей их веселость становилась все бесшабашней. Хмель засел в них прочно и надолго, как огонь в торфянике, хотя, справедливости ради, надобно признать, что дело тут было не только в опьянении: попросту они были молоды и в отличном расположении духа, вечер удался, ночь стояла прекрасная, под ногами отличная дорога, и весь мир и вся жизнь впереди!

Не прошло и часу с тех пор, как я довольно бесцеремонно их покинул; не мог же я сделать это во второй раз, да притом мне так надоело возиться с Роули, что я обрадовался подмоге. Но, когда впереди на горе засияли огни Эдинбурга, мне стало весьма не по себе, а когда мы вступили на освещенные улицы, я положительно встревожился. Спутники мои заговаривали с каждым встречным и поперечным, а многих даже окликали по имени. Наконец, Форбс остановил какого-то солидного господина.

— Сэр,— сказал он.— От имени советуса Крэмондской академии я присваиваю вам ученое звание доктора прав.— И с этими словами нахлобучил шляпу ему на нос. Вообразите, каково было злосчастному Сент-Иву бродить по городу, где его разыскивала и полиция и заклятый враг — кузен, в компании этих разгулявшихся лоботрясов! Правда, пока еще мы продолжали свой путь беспрепятственно, хотя и поднимали на улицах шум, способный разбудить и мертвого, но вот наконец, кажется, на Эберкромби-плейс — во всяком случае, за садовыми оградами выстроились полумесяцем весьма респектабельные дома — мы с Байфилдом остановились как вкопанные: мы с ним вдвоем тащили Роули и изрядно поотстали, и вдруг наши проказники принялись срывать звонки и дощечки с именами владельцев!

— Ну, знаете, это уже слишком! — сказал Байфилд.— Черт возьми, я все-таки человек почтенный, на виду у широкой публики. Я не могу позволить себе попасть в полицию.

— Совершенно то же самое должен сказать о себе,— отозвался я.

— Вот что, давайте сбежим от них,— предложил Байфилд.

Мы поворотили назад и вновь стали спускаться под гору.

И как раз вовремя: послышались громкие тревож-

ные голоса, зазвонил колокол, там и сям застучали колотушки ночных сторожей; было очевидно, что Крэмондская академия вот-вот вступит в стычку с полицией города Эдинбурга! Мы с Байфилдом, увлекая полубесчувственного Роули, торопливо удалялись от места происшествия и остановились лишь через несколько кварталов, там, куда шум и гам уже почти не доносились.

— Ну-с, кажется, пронесло, сэр! — сказал Байфилд.— Видали вы когда-нибудь этаких дикарей?

— Поделом нам, мистер Байфилд,— отвечал я.— Напрасно мы связались с этой оравой.

— Совершенно справедливо, сэр, вполне с вами согласен. Возмутительно! А ведь на пятницу объявлен мой полет! — вскричал он.— Вот был бы скандал! Воздухоплаватель Байфилд в полицейском участке! Ай-яй-яй! Ну, как, сэр, теперь вы доберетесь до дому с этим негодником один, без меня? Разрешите вручить вам мою визитную карточку. Я остановился в отеле Уокера и Пула и буду рад, ежели вы меня навестите.

— С превеликим удовольствием, сэр,— не слишком искренне отвечал я, и, когда глядел вслед удаляющемуся аэронавту, у меня и в мыслях не было продолжать это знакомство.

Мне предстояло еще одно испытание. Я втащил мой бесчувственный груз на крыльцо, и дверь мне отворила миссис Макрэнкин в белоснежном высоком ночном чепце и с лицом чернее тучи. Со свечой в руках она проводила нас в гостиную и, когда я усадил Роули в кресло, сурово сделала мне книксен. Нет, положительно, от этой женщины пахло порохом! Голос ее дрожал от еле сдерживаемых чувств.

— Прошу вас съехать с квартиры, мистер Дьюси,— сказала она.— В домах порядочных людей...

Но тут самообладание, видно, совсем изменило ей, и она удалилась, не прибавив более ни слова.

Я оглядел комнату, осоловелого Роули, который тупо таращил на меня мутные глаза, погасший камин: мне вспомнились все нелепые происшествия этого нескончаемого, долгого дня, и я горько, невесело рассмеялся... [1].

---

[1] Здесь обрывается рукопись Р. Л. Стивенсона; дальнейшее дописано английским писателем и литературоведом А. Квиллер-Кучем.

ГЛАВА XXXI

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЧЕТВЕРГ. БАЛ В БЛАГОРОДНОМ СОБРАНИИ

Проснулся я, едва забрезжила заря холодного утра, и уже не нашел в себе сил рассмеяться хотя бы и невеселым смехом. Накануне я ужинал с советниками Крэмондской академии, это я помнил твердо. А сегодня четверг, будет бал в Благородном собрании. Но, судя по пригласительному билету, он начнется только в восемь, и надобно как-то убить еще целых двенадцать мучительных часов. Эта мысль и заставила меня без промедления вскочить с постели и позвонить, чтобы Роули принес воды для бритья.

Однако же Роули, видно, не спешил явиться на зов. Я снова дернул шнур звонка. Ответом был стон: в дверях стоял или, точнее, покачивался, мой верный телохранитель, помятый, нечесаный, без воротничка, лицо страдальческое, словом, и стыдно, и тошно, и голова болит. Руки у него тряслись так, что горячая вода лилась из кувшина прямо ему на ноги. Я было разразился грозной речью, но вид у него был до того несчастный, что пришлось умолкнуть. Виноват-то, в сущности, был я сам, а паренек вел себя прямо как герой: ведь он сумел преодолеть тошноту и пришел на мой звонок.

— Хорош! — сказал я.

— Прошу вас, мистер Энн, ругайте меня, ругайте крепче, я кругом виноват. Но чтоб я когда-нибудь еще... да чтоб мне посинеть и почернеть, если я...

— Что ж, сейчас ты такой зеленый, что, пожалуй, уж лучше посинеть,— возразил я.

— Век больше не буду, мистер Энн.

— Конечно, Роули, конечно. Один раз такое может со всяким случиться, а дальше как бы легкомыслие не перешло в распущенность.

— Да, сэр.

— Вчера с тобой пришлось изрядно повозиться. Мне еще предстоит разговор с миссис Макрэнкин.

— Что до нее, мистер Энн,—сказал мой слуга, пытаясь подмигнуть налитым кровью глазом,— она уже принесла мне поджаренного хлеба и полный чайник чаю.

Если позволите так выразиться, сэр, старуха только лает, но не кусает, то бишь она ничего, сэр, добрая.

— Этого-то я и опасался,— отвечал я.

Одно было несомненно: доверить ему в то утро бритву и собственный подбородок я не мог. Поэтому я велел ему снова лечь в постель и не вставать, пока я не разрешу, а сам тщательно занялся своим туалетом. Несмотря на все заверения Роули, предстоящий разговор с миссис Макрэнкин отнюдь меня не радовал.

Да, столь мало он меня радовал, что, когда она вошла в комнату с «Меркурием» в руках, я принялся усердно ковырять в камине кочергою, а когда принесла завтрак, я не менее усердно читал этот самый «Меркурий». Миссис Макрэнкин грохнула поднос на стол, уперла руки в боки и с вызывающим видом остановилась у моего стула.

— Что скажете, миссис Макрэнкин? — начал я, оторвавшись от газеты и обратив к ней притворно-невинный взор.

— Ах, что я скажу? Гм!

Я поднял с подноса салфетку и увидел большую кривую рогульку из теста — явный намек на мое криводушие.

— Роули вел себя вчера преглупо,— неодобрительно заметил я.

— С кем поведешься, от того и наберешься.— Миссис Макрэнкин указала на крендель.— Больше вы ничего не получите, мистер... Дьюси, коли вас и вправду так зовут.

— Сударыня,— и я поднял рогульку двумя пальцами,— примите ее обратно вместе с моими извинениями — Я положил рогульку на поднос и вновь прикрыл ее салфеткой.— Вы хотите, чтобы мы уехали из вашего дома, это ясно. Что ж, подождите всего лишь день, дайте Роули прийти в себя, и завтра вы от нас избавитесь.— И я потянулся за шляпой.

— Куда это вы идете?

— Искать другую квартиру.

— Но я же не сказала .. И вам не стыдно, молодой человек? А я-то всю ночь глаз не сомкнула! — она рухнула в кресло.— Нет, мистер Дьюси, вы не должны так поступать. Подумайте об этом невинном ягненке.

— Об этом поросенке, хотите вы сказать.

— Он еще совсем дитя, рано ему помирать,— всхлипнула моя хозяйка.

— В общем, я с вами согласен, но никто и не требует его смерти. Скажите лучше, что он слишком молод, чтобы стать для меня свидетелем обвинения.— Я отошел от двери.— Вы, видно, добрая женщина, миссис Макрэнкин. И, конечно, вам любопытно узнать, что происходит. Поэтому прошу вас, успокойтесь и выслушайте меня.

Я вновь уселся на свое место, наклонился к ней через стол и поведал ей свою историю, ничего не утаив и не преувеличив. Когда я рассказывал о своей дуэли с Гогла, у нее перехватило дыхание, а когда описывал, как спускался со скалы, она, кажется, совсем перестала дышать. Об Алене она сказала: «Видала я таких!»,— а о Флоре дважды повторила: «Хоть бы поглядеть на нее разочек!» Все остальное она выслушала в молчании, а когда я кончил, встала и так же молча пошла к двери. На пороге она оборотилась.

— Больно все это чудно. Коли покойный мистер Макрэнкин поднес бы мне этакую историю, я бы ему прямо в глаза сказала: враки, мол.

Через две минуты наверху загремел ее голос — от его раскатов дрожали стены. Петарда наконец взорвалась, и палка ударила по беспомощному Роули.

Чем же мне занять часы бездействия? Я уселся и прочитал «Меркурия» от корки до корки. «Беглый французский солдат Шандивер, которого разыскивают в связи со зверским убийством, происшедшим недавно в Замке, все еще не пойман...», и далее повторялось то, что было уже напечатано во вторник. «Не пойман!» Я отложил газету и принялся разглядывать книги миссис Макрэнкин. Тут были «Физическая и астрономическая теология» Дерхэма, «Библейская доктрина первородного греха» некоего Тейлора, доктора богословия, «Арифметические таблицы готовых расчетов, или верный спутник коммерсанта» и «Путь в преисподнюю с двенадцатью гравюрами на меди».

Чтобы хоть немного рассеяться, я стал шагать взад и вперед по комнате, повторяя про себя те памятные латинские изречения, о которых мсье Кюламбер много лет назад говорил мне· «Сын мой, настанет день, когда слова эти вновь вспомнятся тебе и ты найдешь в них

если не красоту, то утешение». Добрый человек! Я шагал по ковру в такт строкам из Горация: «Virtus recludens immeritis mori Caelum... raro antecedentem scelestum deseruit pede Poena claudo» [1].

Я остановился у окна. Это могло бы показаться неблагоразумным, но снаружи по стеклам струился холодный дождь, а теплый воздух в комнате затуманил их изнутри. «Pede Poena claudo»,— выводил я пальцем по стеклу.

Вдруг зазвонил колокольчик у входной двери, и я в испуге отпрянул к камину. Потянулись нескончаемые минуты, и наконец в комнату вошла миссис Макрэнкин — от портного принесли фрак. Я удалился в спальню и разложил все на постели; фрак был оливково-зеленый, с золочеными пуговицами и отделкой муарового шелка, панталоны тоже оливково-зеленые, жилет белый и расшит голубыми и зелеными незабудками. Я разглядывал все это до полудня, а там настала пора обедать.

Часы трапезы дважды благословенны: для узников и для людей, страдающих отсутствием аппетита; они вехи в сером, однообразном течении времени. Я сидел над бараньей отбивной и пинтой крепкого портера так долго, что миссис Макрэнкин успела уже дважды с каменным лицом войти в столовую, чтобы убрать со стола; наконец она нарушила свое противоестественное молчание и осведомилась, не собираюсь ли я просидеть за столом до самой ночи.

Настали сумерки, и она вновь явилась — принесла чай. В шесть часов я удалился в спальню одеваться.

Теперь вообразите: я выхожу оттуда, фрак сидит на мне отлично, панталоны подчеркивают стройность ног; благородная простота моей осанки (весьма подобающая отпрыску опального рода) чуть скрашена франтовским жабо и вновь подчеркнута белоснежным жилетом, усыпанным незабудками (знак постоянства) и застегнутым на кораллово-розовые пуговицы (знак надежды). Оглядев себя, я остался совершенно доволен и отправился в резиденцию новоявленного Рыцаря печального образа — мистера Роули. Он был уже не такой

[1] «Раскроет доблесть небо достойному... богиня мщенья все ж догонит, хоть и хромая, порок ушедший». *(Перевод с латинского Н. И. Шатерникова).*

зеленый, но все такой же несчастный, а у постели его сидела миссис Макрэнкин и начиняла его подобающими случаю поучениями из Книги притч Соломоновых.

При виде меня Роули оживился.

— Вот это да, мистер Энн, вот это наряд так наряд, всем щеголям на зависть!

Миссис Макрэнкин захлопнула книгу и окинула меня сурово-одобрительным взглядом.

— А вы еще недурно выглядите, прямо скажу.

— Да, кажется, сидит неплохо.

Я самодовольно повернулся, чтобы они могли как следует меня разглядеть.

— Я говорю, по вас незаметно, что вы вчера перехватили. Не то, что, бывало, мой Макрэнкин.

— Поговорим о деле, сударыня. Прежде всего рассчитаемся за наше жилье и пансион.

— Этим я занимаюсь по субботам.

— Пусть так. Возьмите сколько следует из этих денег.— Я протянул ей двадцать пять гиней; теперь у меня оставалось всего пять гиней и крона.— Остального хватит на содержание Роули и его расходы. Надеюсь, он вскоре сможет взять из банка деньги, которые лежат там на его имя, он об этом знает.

— Но ведь вы вернетесь, мистер Энн? — вскричал мой слуга.

— Кто знает, дружок. Нет, нет, спокойствие! — поспешно прибавил я, видя, что он готов тут же вскочить с постели и кинуться за мной.— В Эдинбурге ты мне всего нужнее. От тебя требуется только выждать и в подходящую минуту незаметно отыскать мистера Робби с Касл-стрит или мисс Флору Гилкрист из «Лебяжьего гнезда». От одного из них или от обоих ты узнаешь, что тебе делать дальше. Вот их адреса.

— Если мальчик нужен вам только для этого,— сказала миссис Макрэнкин,— он тут проест, а тем паче пропьет больше того, что сам стоит.— Роули поморщился.— Уж лучше я возьму его к себе.

— Но, дорогая миссис Макрэнкин...

— Он мне пригодится: будет топить печи и чистить ножи.

Никаких возражений она и слушать не пожелала. Пришлось оставить Роули нести у нее эту двойную службу, сам же я, согласившись надеть галоши покой-

ного мистера. Макрэнкина, вышел из дому на залитую дождем улицу.

Адрес на пригласительном билете привел меня к Баклей-плейс, чуть в стороне от Джордж-сквер; здесь, под полосатым тентом под двумя фонарями собралась насквозь промокшая толпа. Из-под тента на покрытый лужами тротуар падал сноп света. Гости уже съезжались. Я проскользнул внутрь, показал свое приглашение и поднялся по лестнице, украшенной флагами, зеленью и государственными гербами. На верхней площадке лестницы меня встретил лакей весьма внушительного вида.

— В гардероб пожалуйте налево, сэр.

Я повиновался; у меня взяли плащ и галоши и дали взамен круглый металлический жетон.

— Как прикажете о вас доложить, сэр? — промурлыкал лакей, склонясь над моим пригласительным билетом, пока я медлил в вестибюле, оглядывая залу — поле предстоящего сражения, и вдруг, откашлявшись, гаркнул во всю мочь: — Мистер Дьюси!

Совершенно как на сцене: «Звучат фанфары. Входит переодетый виконт». По правде говоря, переступить порог залы было страшновато. Только что окончился очередной танец, и музыканты на галерее принялись настраивать скрипки. Половина стульев, расставленных вдоль стен, еще пустовала, и в зале чувствовалась некоторая натянутость, как всегда бывает, покуда веселье еще не разгорелось. Съехались пока только второстепенные гости, и теперь они толпились в дальнем конце залы и с нетерпением поглядывали на входную дверь, ожидая появления гостей более именитых. Поэтому я тотчас попал под перекрестный огонь взглядов и замечаний, и это меня очень встревожило. Казалось, на меня глядели даже зеркала, экраны и канделябры, а когда я шел по сверкающему паркету, он тоже как бы подмигивал мне, словно говоря: «А я тебя узнал!» От группы гостей отделился распорядитель бала, маленький и круглый, как бутоньерка у него в петлице, и с вкрадчивой улыбкой подлетел ко мне, точно скользя по льду.

— Мистер... э-э-э... Дьюси, если я правильно расслышал? Полагаю, вы приезжий, новичок в нашей северной столице и, надеюсь, танцор?

Я поклонился.

— Доставьте мне удовольствие, мистер Дьюси, позвольте найти вам даму.

— Быть может, вы будете столь любезны и представите меня вон той молодой особе, что стоит под галереей оркестра.

Я сразу узнал в ней предмет страсти молодого Рональда, барышню в розовом, которую я видел на вечере у мистера Робби; только сейчас она была в яблочно-зеленом туалете.

— Мисс Макбин? Мисс Камилле Макбин? Охотно. Однако вы проявляете отменный вкус, сэр. Благоволите следовать за мною.

Он подвел меня к мисс Камилле и представил. Она отвечала на мой поклон игривым движением плеч и, в свою очередь, представила меня своей матушке, чопорной усатой даме в черном платье и черном чепце, украшенном маками.

— Разумеется, всякий, кто друг мистеру Робби...— проворковала миссис Макбин, любезно склонив голову.— Камилла, посмотри, дорогая, приехали сэр Уильям и леди Фрейзер... Да, она в сиреневой тафте! Как ей к лицу эта брильянтовая диадема! Нынче они что-то рано. Так вот, я и говорю, мистер ..

— Дьюси.

— Ах да, конечно. Так вот, я и говорю, всякий, кто друг мистеру Робби... Мы с ним знакомы с незапамятных времен... Ах, если бы вам удалось отучить его от холостяцких привычек! Вы надолго в Эдинбург?

— Боюсь, что мне завтра же придется уехать, сударыня.

— Надеюсь, вы видели всех наших львов? И замок тоже? Ах, достопримечательности Лондона! Нет, нет, не качайте головой, мистер Дьюси, уж я-то никогда не ошибусь, всегда отличу истинного лондонца. Впрочем, и мы тут в Эдинбурге не такие уж провинциалы, поверите ли, мы ничуть не отстаем от века. Камилла, посмотри, дорогая, эта мисс Скраймгур отделала свое платье из китайского крепа теми самыми лентами, которые мы видели вчера в новой лавке,— черный шелк с перламутровой кромкой; на подоле широкие, по шесть пенсов ярд, а вокруг лифа — по три пенса три фартинга. Скажите, мистер Дьюси, правда ли, что в Лондоне и в Бате отделка лентами — последний крик моды в этом году?

Но тут загремел оркестр, и я увлек Камиллу на середину залы — впрочем, она ничуть не сопротивлялась. Когда танец окончился, дамы любезно похвалили мое умение танцевать и покорно дали увести себя к чайному столу. Теперь поминутно прибывали новые гости, и у дверей залы лакей выкрикивал одно имя за другим, но то, которое я жаждал услышать, еще не было названо. Флора, конечно, приедет, и, конечно, никто из ее провожатых, будь то родня или добровольный страж, не ожидает увидеть здесь меня. Время шло, и я вынужден был препроводить мать и дочь Макбин на их места под галереей.

— Миссис Гилкрист, мисс Флора Гилкрист, мистер Рональд Гилкрист! Мистер Робби! Майор Артур Шевеникс!

Первое имя ошеломило меня, как выстрел, я вскочил и замер. Но едва лишь было выкрикнуто последнее имя, я покинул мать и дочь там, где они бросили якорь, и ринулся в атаку. Надо было видеть в ту минуту лица вновь прибывших! Флора вспыхнула, и с уст ее сорвался премилый возглас удивления. Мистер Робби взял понюшку табаку. Рональд покраснел, а майор Шевеникс побледнел. Только неустрашимая миссис Гилкрист и бровью не повела.

— Как прикажете это понимать? — грозно вопросила она, останавливаясь и разглядывая меня через лорнет в золотой оправе.

— Можете считать это попыткой оттеснить противника, сударыня,— отвечал я, бросив взгляд на майора.

— Миссис Гилкрист,— начал тот,— надеюсь, вы не станете...

Но я не дал ему договорить.

— С каких это пор, сударыня, доблестный майор стал поверенным вашего семейства вместо мистера Робби?

Миссис Гилкрист только хмыкнула. Само по себе это прозвучало не столь успокоительно. Но при этом она оборотилась к мистеру Робби.

— Дражайшая миссис Гилкрист,— сказал тот в ответ на ее вопросительный взгляд.— Сей весьма неразумный молодой человек, по-видимому, сжег все свои корабли, и его, кажется, ничуть не тревожит, что это героическое пламя обжигает и наши пальцы. Впрочем, как ваш семейный поверенный,— он произнес эти слова с ударением, и я сразу понял, что они с Шевениксом, этим непрошеным советчиком, друг друга терпеть не могут,— я не советовал бы вам затягивать сию сцену в присутствии такого множества свидетелей. Не угодно ли вам сыграть в карты, сударыня?

Миссис Гилкрист оперлась на его руку, и они величественно удалились, оставив с нами пунцового и мрачного Рональда и бледного, но непреклонного майора.

— Шесть минус четыре — остается два,— сказал я, без лишних слов предложил Флоре руку и увлек ее прочь от молчащих вражеских батарей.

— А теперь, дорогая,— сказал я, когда мы нашли два свободных стула в укромном уголке,— прошу вас, ведите себя так, будто мы встретились впервые или хотя бы всего второй раз в жизни. Раскройте веер — вот так. Слушайте: мой кузен Ален тут, в Эдинбурге, он остановился в отеле Дамрека. Нет, не опускайте веер.

Флора послушно подняла веер повыше, ее маленькая ручка дрожала.

— Это еще далеко не все. Он привез с собою сыщиков, и в эту самую минуту они, верно, рыщут по всему городу, разыскивая меня.

— А вы медлите и показываетесь здесь, на балу, где столько народу! Это — просто безумие! Ну почему вы так безрассудны, Энн?

— Да потому, что я ужасно сглупил, дорогая. Я вложил все, что у меня оставалось, в банк на Джорджстрит, а за этим банком следят. Без денег мне на юг не пробраться Вот я и стал искать вас, чтобы попросить вернуть мне те деньги, которые вы были так добры взять на сохранение. Приезжаю в «Лебяжье гнездо» и вижу: вас стережет майор Шевеникс, да еще с помощью зверя по кличке Таузер. Кстати, я его, наверно, убил. Если он и в самом деле отправился к своим четвероногим праотцам, то, возможно, преданный майор вскоре составит ему там компанию. Этот господин начинает мне не в меру надоедать.

Веер бессильно опустился; уронив руки на колени, Флора жалобно глядела на меня, и в ее прекрасных глазах я увидел море сожаления и раскаяния.

— А я-то как раз сегодня впервые за все время с ними рассталась! Я одевалась на бал, сняла их с себя и

заперла дома. Ох, я вас обманула, я недостойна вашего доверия!

— Не печальтесь, любовь моя, надеюсь, еще ничего не потеряно. Когда вы воротитесь нынче домой, суньте их незаметно в какой-нибудь тайник, ну, скажем, в дальнем конце сада, в самом углу у стены.

— Обождите, мне надобно подумать.— Она снова закрылась веером и задумалась, глаза ее потемнели.— Знаете холм при дороге неподалеку от «Лебяжьего гнезда»? У него, кажется, нет никакого названия, но мы с Рональдом еще в детстве прозвали его Рыбья спина,— по его хребту тянется еловая рощица, совсем как плавник. На восточном его склоне есть заброшенная каменоломня. Я постараюсь встретить вас там поутру в восемь часов и принесу деньги.

— Но зачем вам подвергать себя такой опасности?

— Прошу вас, Энн, умоляю, позвольте и мне сделать хоть что-нибудь! Ежели бы вы знали, каково это — сидеть дома сложа руки в то время, как самый... самый дорогой...

— Виконт Сент-Ив!

Имя это прозвучало, как удар набатного колокола, и заглушило робкий голос Флоры. Рональд, который разговаривал с мисс Макбин совсем близко от нас, круто обернулся, потом вновь медленно поворотился ко мне: в лице его была оторопь. Скрыться не оставалось времени. И до карточной комнаты и до той, где пили чай, надобно было пройти с десяток шагов на виду у всех. Мы сидели как раз против входной двери, и там уже стоял с моноклем в глазу мой ненавистный кузен, разряженный, расфуфыренный, и от него так и разило помадой и дурным вкусом. Он в тот же миг нас увидел, поворотился на каблуках, сказал два слова кому-то в прихожей, вновь оборотился и направился к нам с видом напыщенным и вместе развязным, еле скрывая злорадство. Я встал ему навстречу, Флора тихонько ахнула.

— Добрый вечер, кузен! Я узнал из газет, что вы осчастливили Эдинбург своим присутствием,— сказал я.

— Да, я остановился у Дамрека, но вы, дорогой Энн, еще не доставили мне удовольствия своим визитом.

— Я полагал, что вы стремитесь любезно меня опередить,— сказал я.— Так, значит, здесь мы встретились случайно?

— Нет, отчего же! По правде говоря, секретарь бального комитета позволил мне нынче днем заглянуть в список приглашенных. Видите ли, кузен, я до крайности разборчив и люблю заранее знать, не рискую ли оказаться в неподходящей компании.

Какой же я осел! Опасность эта была так очевидна, а я о ней и не подумал!

— Я как будто видел на улице одного из ваших новых приятелей.

Мой кузен поглядел на меня и самодовольно рассмеялся.

— Да, пришлось мне за вами погоняться, любезный мой Энн. Вы обладаете удивительной способностью петлять, как заяц. И, право, я, кажется, начинаю вас понимать,— докончил он, окидывая Флору наглым взглядом.

Его-то можно было бы разыскать без труда, учуяв по запаху! От него так и разило духами.

— Представьте же меня, mon brave [1].

— Скорее пусть меня расстреляют.

— Сдается мне, честь эту оказывают только солдатам,— словно бы раздумчиво молвил он.

— Во всяком случае, эта честь не распространяется на...— Я прикусил язык. Верх брал Ален, а если уж проигрывать, то с достоинством.— Сейчас начнется контрданс,— продолжал я.— Найдите себе даму, и я обещаю танцевать с вами vis-à-vis.

— В хладнокровии вам не откажешь, кузен.

Он поклонился и пошел разыскивать распорядителя бала. Я подал руку Флоре.

— Ну, как вам понравился Ален? — спросил я.

— Он красивый мужчина,— отвечала она.— Ежели бы ваш дядюшка обошелся с ним иначе, мне кажется...

— А мне кажется, что ни одна женщина на свете не может отличить настоящего джентльмена от учителя танцев! Две-три красивые позы — и вы уже обмануты. Дорогая моя, что вы в нем нашли?!

Флора молчала. Теперь-то я знаю, почему она тогда промолчала. Представьте, оказывается, то же самое сказал ей как-то этот болван Шевеникс обо мне!

---

[1] Здесь: мой дорогой *(франц.)*.

Дверь была совсем рядом; когда мы проходили мимо, я мельком глянул в прихожую. Как и следовало ожидать, у выхода на лестницу стоял мой старый знакомец в молескиновом жилете и разговаривал со своим сообщником, еще более уродливым, чем он сам,— рыжим долговязым негодяем в сером.

Итак, я очутился в западне. Оборотясь, я поймал устремленный на меня из толпы взгляд Алена и его злорадную усмешку. Даму он себе уже нашел — то была ни много ни мало леди Фрейзер в лиловой тафте и с бриллиантовой диадемой.

Казалось, для меня все было кончено, но, сам не знаю отчего, я вдруг воспрянул духом, более того, возликовал. Заверяю вас, я вывел Флору на середину залы с веселостью, быть может, в этих обстоятельствах противоестественной, однако же отнюдь не напускной. Это можно бы назвать веселостью обреченного на смерть. Как говорится в песне — не помню, знал ли я ее тогда или прочитал позднее в одной из книг моей жены, да это и неважно —

Так беззаботно весело
Вступает в круг лихой танцор,
Приплясывает, кружится,
Забыв про смертный приговор,—

не помню уж, что там дальше. Оркестр играл, я танцевал, а мой кузен следил за мною с угрюмым одобрением. В кадрили есть одна нелепая фигура — кажется, она называется La pastourelle — кавалер держит за руки двух дам и быстро водит их взад и вперед (совсем как тот англичанин из анекдота, который выставлял напоказ в Смитфилде двух своих жен, чтобы повыгоднее их продать), а второй танцор в это время то выходит вперед, то отступает, руки у него болтаются точно неживые и вид такой, словно он и рад бы купить этих жен, да не решается.

Провел в бою всю жизнь свою,
А гибну от измены...

Я с вызовом улыбался Алену, покуда он пятился, отступая пред нами, а едва танец окончился, он под каким-то предлогом покинул леди Фрейзер и поспешил в прихожую, чтобы убедиться, что его ищейки на посту.

Я смеясь опустился на стул подле Флоры.

— Энн, кто там на лестнице? — прошептала она.

— Два сыщика.

Видели ли вы когда-нибудь голубку, попавшую в силки?

— Черный ход! — подсказала она.

— За ним, разумеется, тоже следят. Но проверим на всякий случай.

Я вышел в гостиную, где подавали чай, и подозвал лакея. Сторожит ли кто-нибудь черный ход? Этого он не знает. А быть может, за гинею он потрудится узнать? Лакей вышел и мигом вернулся. Да, там стоит полицейский.

— Одного молодого джентльмена хотят посадить в яму за долги,— пояснил я, припомнив это дикое и все еще не очень понятное мне выражение.

— Я не шпион,— возразил лакей.

Я воротился в залу и с возмущением обнаружил, что на моем месте подле Флоры сидит наглец Шевеникс.

— Дорогая мисс Флора, вам дурно? — Она и вправду побледнела и вся дрожала, бедняжка.— Майор, она сейчас лишится чувств. Скорее отведите ее в гостиную, а я пойду за миссис Гилкрист. Ее надобно увезти домой.

— Не беспокойтесь,— пролепетала Флора.— Это ничего, пройдет. Прошу вас, не...— Тут она подняла на меня глаза и все поняла.— Да, да, я поеду домой.

Она оперлась на руку майора, а я поспешил в карточную комнату. Мне посчастливилось: старая дама как раз поднималась из-за стола, крытого зеленым сукном, после очередного роббера. Ее партнером был наш милейший поверенный, и я увидел на столе пред нею кучку серебра,— она выиграла, и я мысленно возблагодарил судьбу, впервые за этот вечер мне повезло.

— Миссис Гилкрист,— шепнул я,— мисс Флоре нездоровится: в зале так душно...

— Что-то я не заметила никакой духоты. Здесь вполне хватает воздуху.

— Но мисс Флора желала бы ехать домой.

Старая дама хладнокровно пересчитала свой выигрыш и по одной опустила монеты в бархатный ридикюль.

— Двенадцать шиллингов и шесть пенсов,— объявила она.— Вы недурно играете, мистер Робби. А теперь,

мусью виконт, пойдемте поглядим, что там такое приключилось.

Я повел ее в гостиную, мистер Робби последовал за нами. Флора полулежала на софе в самом плачевном состоянии, едва ли не в обмороке, майор суетился подле нее с чашкой чаю в руках.

— Я послал Рональда за каретой,— сказал он.

Миссис Гилкрист хмыкнула и загадочно на него поглядела.

— Что ж, дело ваше,— сказала она.— Подайте-ка мне эту чашку да благоволите принести нам из гардеробной шали. Жетоны ведь у вас. Ждите нас на лестнице.

Едва майор удалился, невозмутимая старуха помешала ложечкой чай и преспокойно выпила его, не сводя, впрочем, глаз с племянницы. Осушив чашку, она поворотилась на миг спиною к мистеру Робби, и лицо ее престранно сморщилось. Быть может, как говорят дети, чай попал у нее не в то горло?

Но нет, мне почудилось,— да помогут мне Аполлон и все девять муз! — мне почудилось — хотя я не осмелился и никогда не осмелюсь ее о том спросить,— что миссис Гилкрист изо всех сил старалась мне подмигнуть!

Тут вошел Рональд и объявил, что карета подана. Я проскользнул к двери и огляделся. Толпа в зале ничуть не поредела, все самозабвенно танцевали, кузен мой оживленно подпрыгивал спиною к нам. Флора оперлась на руку брата, и все мы, осторожно продвигаясь вдоль стены, чтобы не помешать танцующим, добрались до двери и вышли в прихожую, где нас уже ждал нагруженный шалями майор Шевеникс.

— Вы с Рональдом посадите нас в карету и возвращайтесь танцевать,— сказала старая дама майору.— А когда повеселитесь вдосталь, кликнете извозчика, он доставит вас домой.— Взгляд ее остановился на сыщиках, они о чем-то шептались за спиной у майора; она оборотилась ко мне и чопорно кивнула.— Доброй ночи, сэр, весьма вам признательна. Впрочем, обождите. Не будете ли вы столь любезны проводить нас до кареты? Майор, передайте-ка мистеру, как бишь вас, мою шаль.

Я не осмелился поблагодарить ее даже взглядом. Мы двинулись вниз по лестнице — впереди миссис Гилкрист, за нею Флора, поддерживаемая братом и мистером Робби; мы с майором замыкали шествие. Когда я шагнул на первую ступеньку, рыжий сыщик рванулся было вперед. Я не сводил взгляда с какого-то завитка на узорной шали миссис Гилкрист, но уголком глаза заметил, как он тронул меня за рукав. Это прикосновение обожгло меня, точно раскаленным железом. Но тут второй — Молескиновый жилет — дернул рыжего за руку, и они опять зашептались. Я шел без шляпы, без плаща. Видно, они рассудили, что я ни о чем не подозреваю, просто провожаю дам до кареты и, несомненно, вернусь в залу. И они дали мне пройти.

Едва мы оказались на шумной улице, я обежал карету и остановился у той ее дверцы, которую не видно было с крыльца. Рональд поспешил к кучеру (то был садовник Руби).

— Мисс Флоре дурно. Гони домой во весь дух! — И он отскочил назад к крыльцу.

— Вот тебе гинея, только погоняй! — крикнул я с другой стороны и в темноте, под дождем сунул монету в мокрую ладонь Руби.

— Это еще что? — Кучер оборотился на козлах, всматриваясь во тьму, но я успел отпрянуть к подножке, однако дверцу уже захлопнули.

— Вперед!

Возможно, мне только померещилось, но одновременно с этим криком послышался голос Алена — он изрыгал проклятья где-то на лестнице Благородного собрания. Руби стегнул лошадей, и в тот же миг я рванул дверцу, на ходу впрыгнул в карету и... оказался на коленях у миссис Гилкрист.

Флора подавила крик. Я быстро пересел на кучу ковров, лежавших на сиденье напротив, и захлопнул дверцу. Миссис Гилкрист не проронила ни звука.

Разумеется, мне следовало извиниться. Колеса с грохотом подпрыгивали на булыжной мостовой. Эдинбурга, карету немилосердно трясло, стекла дребезжали. Свет уличных фонарей не проникал внутрь, только грозный профиль моей покровительницы всякий раз смутно вырисовывался на тусклом желтеющем четырехугольнике окошка и вновь тонул в непроглядной тьме.

— Сударыня, позвольте мне объясниться... хоть

сколько-нибудь смягчить ваше негодование... вполне естественное, разумеется...

Ухаб, другой... И по-прежнему в карете мертвая тишина! Я не знал, что делать. Руби гнал во всю мочь, и мы уже оставили позади последние редкие островки света на Лотиан-роуд.

— Я надеюсь, сударыня, еще пять минут... и если только вы позволите...

Для вящей убедительности я протянул руку. В темноте она коснулась руки Флоры. Наши трепетные пальцы сомкнулись. Прошло пять, десять блаженных секунд. В этой душной тишине кровь в наших жилах, казалось, пела в едином ритме: «Люблю, люблю тебя!»

— Мусью Сент-Ив,— раздался наконец размеренный голос. (Флора вырвала свою руку из моей.) — Насколько я могу разобраться в ваших делах — ежели в этой путанице вообще можно разобраться, в чем я сильно сомневаюсь,— я как будто только что оказала вам услугу, и притом уже вторую.

— Услугу эту, сударыня, я не забуду до самой смерти.

— Будем надеяться. Но только благоволите и сами не забываться.

Мы проехали еще мили полторы-две в полном молчании, и тут миссис Гилкрист с треском опустила окошко и высунула в ночь голову в круглом чепце.

— Руби!

Кучер натянул поводья.

— Здесь джентльмен выйдет.

Это было очень мудро, ибо мы приближались к «Лебяжьему гнезду». Я поднялся.

— Миссис Гилкрист, у вас доброе сердце, а женщины умнее я никогда еще не встречал.

— Хм,— только и услышал я в ответ.

Выходя из кареты, я оборотился, чтобы в последний раз пожать руку Флоре, и нога моя запуталась в чем-то мягком, что потянулось за мною и выпало на дорогу. Я нагнулся, поднял это, и тут дверца с треском захлопнулась.

— Сударыня... ваша шаль!

Но кони взяли в галоп, меня обдало грязью, и я так и остался стоять на холодной пустынной дороге.

Я не сводил глаз с удалявшихся красных фонариков кареты, а когда они в последний раз подмигнули и исчезли, вновь послышался стук колес, и на дороге со стороны Эдинбурга замерцали две пары больших желтых фонарей. Я едва успел метнуться вбок, перескочить через какой-то забор на размокший под дождем луг и притаиться, скрючившись, причем в моих бальных туфлях хлюпала вода, как тотчас мимо вскачь промчались два наемных экипажа, в косых струях дождя мелькнули их огни, кучера бешено нахлестывали лошадей.

ГЛАВА XXXII

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ПЯТНИЦУ УТРОМ. ГОРДИЕВ УЗЕЛ РАЗРУБЛЕН

Я вытащил часы. Слабый луч луны, едва заметный отсвет, упал на циферблат. Четырнадцать минут второго!

«Второй час ночи, темно и пасмурно!»

Мне вспомнился зычный голос ночного сторожа: вот так же выкликал он в ночь нашего побега из Замка, и это эхом отозвавшееся воспоминание, казалось, отметило последний час одного бесконечно долгого рокового дня моей жизни. И в самом деле, с той далекой ночи стрелки словно описали полный круг и вернулись к исходной точке. Я пережил зарю, встретил день, я грелся в лучах людского уважения и вновь — игрушка в руках судьбы — очутился в ночном мраке, в зловещей тени проклятого Замка, все так же преследуемый законом, а надежды на спасение стало еще меньше, и мне негде было приклонить голову — разве что укрыть ее яркой узорной шалью миссис Гилкрист. И я подумал, что за долгий, долгий день этот я столько странствовал, подвергался стольким опасностям,— и все лишь для того, чтобы сменить горчично-желтую одежду арестанта на узорную шаль и фрак, который никак не вязался ни с шалью, ни со здешним климатом. Веселый задор, овладевший мною на балу, воинственный дух, трепет прощального прикосновения руки Флоры — все погасло. С моря наползал туман, и я почувствовал себя белкою в колесе, ибо все усилия мои оказались тщетны. Да, то был час безрадостных раздумий.

Вернее сказать, не один, а семь безрадостных часов,— ведь Флора должна была прийти только в восемь, да и то, если ей удастся обмануть двойной кордон соглядатаев. А куда податься и что делать до восьми? В город идти нельзя. По соседству — ни одной знакомой души, правда, где-то поблизости «Привал охотников». Но даже если я его найду (хотя в таком тумане это будет нелегко), могу ли я рассчитывать на теплый прием, когда подниму хозяина с постели и он увидит, что весь мой багаж состоит из шерстяной узорной шали? Еще, чего доброго, подумает, что я ее украл! Ведь я нес ее вниз по лестнице прямо на глазах у сыщиков, а узор этот ни с каким другим не спутаешь, и уж, верно, во всей округе второй такой шали не сыщется, ее, конечно, все знают, изображенную на ней орифламму, которая развевается над натюрмортом из разных молочных продуктов и солодовых напитков, трактирщик, разумеется, тот же час узнает и ничего хорошего обо мне не подумает. Такую шаль никак не посчитаешь частью моего туалета, и она уж никак не может сойти за дар любви. Правда, под этим кровом собираются подчас всевозможные сумасброды — взять, к примеру, Шестифутовых верзил. Но какой это охотник появится среди ночи в жабо и жилете, расшитом незабудками? Кроме того, за «Привалом охотников», возможно, следят. Да следить станут и за всеми остальными домами в округе.

Кончилось тем, что я всю ночь просидел на раскисшем от дождя склоне холма. Превосходнейшая миссис Гилкрист! Я завернулся в мантию этой дамы, отличавшейся истинно спартанским духом, и скорчился на большом валуне, а дождь поливал мою непокрытую голову и стекал по носу, он наполнял мои бальные туфли, пробирался за шиворот и даже игриво струился по спине. Безжалостный лисенок — нечистая совесть — терзал меня немилосердно, и я никак не мог от него отделаться и лишь крепче стискивал зубы, когда он вгрызался мне в самое сердце. Один раз я даже с укором воздел руки к небесам. И словно открыл душ. Небеса щедро окатили глупца потоком слез, а он сидел весь мокрый и думал: до чего же он глуп! Однако те же небеса милостиво скрыли его жалкую фигуру от всего остального мира, и я приподниму лишь уголок этой завесы.

Ночь была наполнена воем ветра в скрытых тьмою оврагах и ропотом струй, что сбегали по склону холма. Дорога тянулась у моих ног, ярдах в пятидесяти ниже камня, на котором я сидел. Часу в третьем (как я прикинул) в той стороне, где лежало «Лебяжье гнездо», появились фонари, они быстро приближались, и наконец подо мною с грохотом прокатили два наемных экипажа и скрылись во влажной опаловой дымке, окутавшей вдали огни Эдинбурга. Я слышал, как бранился один из кучеров, и понял, что мой щедрый кузен испугался непогоды и преспокойно отправился с бала прямо в отель Дамрека, чтобы улечься в постель, предоставив погоню за мной своим наемникам.

После этого — представьте! — я урывками засыпал и вновь просыпался. Я следил, как луна в туманном ореоле катилась по небу, и вдруг видел перед собою багровое лицо и угрожающий перст мистера Роумена, и принимался объяснять ему и мистеру Робби, что, предлагая мне заложить мое наследство за летающее помело, они не принимают в расчет действующую модель Эдинбургского замка, которую я, прихрамывая, таскал с собою на цепи, точно каторжник ядро. Потом я мчался вместе с Роули в малиновой карете, и мы прорывались сквозь тучу красногрудых малиновок... и тут я пробудился: птицы и вправду щебетали вокруг, а над холмом вставала заря.

Говоря по чести, силы мои почти иссякли.

В этот час, когда мужество мне изменило, да еще холод и дождь, будто сговорясь, обрушились на меня, я едва не лишился рассудка; к тому же самый обыкновенный голод терзал меня ничуть не меньше угрызений совести. Наконец, закоченевший, измученный, не в силах думать, действовать, чувствовать, я поднялся с камня, на котором претерпел такую муку, и сполз вниз, на дорогу. Оглядевшись вокруг, не видно ли где сыщиков, я заметил на расстоянии двух пистолетных выстрелов или даже менее того дорожный столб, на котором что-то белело — какая-то полуоторванная афишка. Чудовищная мысль! Неужто за голову Шандивера объявлена награда? Поглядим хотя бы, как его там расписывают. Впрочем, по правде сказать, влекло меня туда не любопытство, а самый низменный страх. Я думал, что после этой ночи ничто уже не заставит меня дрожать, но, по-

куда шел к висевшей на столбе бумажонке, понял, что глубоко заблуждаюсь.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДЪЕМ В ВОЗДУХ НА ГИГАНТСКОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «ЛЮНАРДИ»!!!

Дипломированный профессор Байфилд, всемирно известный представитель наук Аэростатики и Аэронавтики, имеет честь сообщить знатным и благородным господам Эдинбурга и его окрестностей...

Это было внезапное и радостное потрясение — я снова почувствовал почву под ногами, как выразился бы воздухоплаватель Байфилд. Я воздел руки к небесам. Я разразился сатанинским смехом, который оборвался рыданием. От смеха и рыданий мое изможденное тело дрожало, как лист, и я брел по полю неверными шагами, качаясь из стороны в сторону под напором неудержимой бессмысленной веселости. Один раз посреди очередного приступа смеха я вдруг стал как вкопанный и невольно подивился звуку собственного голоса. Просто непостижимо, как у меня хватило воли и соображения доплестись наконец до условленного места встречи с Флорой. Впрочем, тут ошибиться было невозможно: сквозь туман вырисовывались очертания продолговатого низкого холма, увенчанного еловой рощицей, которая к западу сходила на нет, как спинной плавник огромной рыбины. Я не раз прежде смотрел на него с другой стороны, а в день, когда Флора стояла рядом со мною во дворе Замка и показывала на дымок, вьющийся из трубы «Лебяжьего гнезда», я глядел прямо сквозь эти ели. Только с этой стороны вдоль того, что можно было бы назвать рыбьим хвостом, тянулась трещина, а по ней шла тропа в старую каменоломню.

Я добрался туда чуть ранее восьми. Каменоломня лежала влево от тропки, которая вилась дальше вверх по северному склону холма. На тропке мне показываться не следовало. Я отошел от нее ярдов на пятьдесят и шагал взад и вперед, от нечего делать считая шаги, ибо стоило мне хоть на минуту остановиться, как холод вновь пробирал меня до костей. Раза два я сворачивал в каменоломню и стоял там, разглядывая прожилки

в вырубленной породе, потом вновь принимался мерить шагами свои шканцы и поглядывать на часы. Десять минут девятого! Вот глупец, вообразил, что ей удастся провести стольких соглядатаев! А голод все сильней давал себя знать...

Покатился камешек... легкие шаги по тропинке... Сердце мое екнуло. Это она! Она пришла, и земля снова расцвела, точно под легкой стопою богини природы, ее тезки. Объявляю вам со всей серьезностью: едва она появилась, погода стала улучшаться.

— Флора!

— Мой бедный Энн!

— Шаль мне весьма пригодилась,— сказал я.

— Ты умираешь с голоду!

— Как это ни грустно, ты недалека от истины.

— Я так и знала. Взгляни, дорогой.— Из-под грубой серой шерстяной шали, накинутой на голову и плечи, Флора достала корзиночку и торжествующе протянула мне.— Лепешки еще не остыли, я завернула их в салфетку сразу, как только сняла с огня.

Она повела меня в каменоломню. Я благословлял ее догадливость; в ту пору я еще не знал, что первое побуждение женщины, когда любимый человек в беде,— накормить его.

Мы разостлали салфетку на большом камне и разложили на ней наши яства: лепешки, овсяный пирог, крутые яйца, поставили бутылку молока и фляжку шотландского виски. Наши руки не раз встречались, пока мы накрывали этот нехитрый «стол». То был наш первый в жизни семейный завтрак, первый завтрак нашего медового месяца, шутил я: «Да, я умираю от голода, но пусть умру, а все равно не прикоснусь к еде, коль ты не разделишь ее со мною». И еще: «Я что-то запамятовал, сударыня, пьете ли вы сладкий чай». Мы склонились друг к другу над камнем, что заменил нам стол, и лица наши сблизились. Много, много дней пришлось мне потом жить одними лишь воспоминаниями об этом первом поцелуе, о каплях дождя на ее прохладной щеке и влажном локоне... воспоминание это живо и по сей день.

— Просто диву даюсь, как тебе удалось от них убежать? — спросил я.

Флора отложила лепешку, от которой для виду откусывала крохотные кусочки.

— Дженет, наша работница с молочной фермы, ссудила мне платье, шаль и эти башмаки. Она всегда в шесть часов выходит доить коров, а нынче я вышла из дому вместо нее. Туман тоже мне помог. Они ужасные.

— Ты права, дорогая. Шевеникс...

— Я не про него, я об этих тряпках. А бедные коровы так и остались недоенными.

— Коровы молчать не станут...— Я поднял стакан.— Будем надеяться, что они сумеют привлечь внимание двух наемных сыщиков и двух доброхотов.

— Скорее надо надеяться на тетушку,— возразила Флора и улыбнулась своей удивительной, прелестной улыбкой, которая тут же угасла.

— Но нам нельзя терять времени, Энн. Их так много против тебя одного, и они ведь совсем близко! О, будь же серьезен!

— Ты говоришь сейчас совсем как мистер Роумен.

— Ради меня, милый! — Она с мольбой сжала руки. Через «стол» я взял их в свои, разжал и поцеловал ладони.

— Любимая,— сказал я,— покуда туман не рассеялся...

— Он уже рассеивается.

— Не будем его торопить. Покуда туман не рассеялся, мне надобно пересечь долину и как можно дальше пройти по дороге, где гоняют скот, если ты мне объяснишь, как туда добраться.

Флора отняла у меня одну руку, сунула ее за корсаж платья и достала пачку ассигнаций!

— Боже милостивый!— воскликнул я.— А ведь я совсем про них запамятовал!

— Нет, ты неисправим,— вздохнула Флора.

Ассигнации были туго свернуты и зашиты в мешочек из желтого промасленного шелка. Я подержал в руках этот мешочек, еще теплый от девичьей груди, повертел его и увидел, что на нем вышито пунцовым шелком одно слово «Энн», а над ним — шотландский лев на задних лапах, подражание той жалкой игрушке, которую я вырезал для нее когда-то... давным-давно!

— Твой подарок всегда со мною,— прошептала она.

Я сунул мешочек в нагрудный карман, вновь завладел ее руками и упал перед ней на колени, прямо на камни.

— Флора, ангел мой! Любовь моя!

— Шшш!

Она отпрянула. На тропинке послышались тяжелые шаги. Я едва успел накинуть на голову шаль миссис Гилкрист и усесться на камень, и тут мимо каменоломни торопливо прошли две веселые деревенские кумушки. Разумеется, они нас заметили, более того, вытаращили на нас глаза и о чем-то перемолвились вполголоса, а мы так и застыли, глядя друг на друга.

— Они решили, что у нас тут пикник,— шепнул я.

— Странно, что они ничуть не удивились,— сказала Флора.— Ты так выглядишь...

— Они видели меня сбоку, я закутался шалью, ноги мои скрывал камень, и они, верно, приняли меня за какую-то старуху на прогулке.

— Ну, час для пикника совсем неподходящий,— заметила моя умница,— а уж погода и подавно.

Не успел я ответить, как на тропинке снова послышались шаги. На сей раз это был старый крестьянин с пастушьим пледом на плечах и в шапке, от тумана словно припудренной мельчайшими капельками влаги. Он остановился подле нас и кивнул, тяжело опираясь на посох.

— Экое ненастное утро. Вы, верно, из Либерна?

— Считайте, что из Пиблса,— отвечал я, плотнее заворачиваясь в шаль, чтобы скрыть предательский бальный наряд.

— Гм, Пиблс,— задумчиво промолвил старик.— В такую даль я еще не забирался. Хоть и подумывал сходить. Только не знал, понравится ли мне там. Вот что, я бы на вашем месте не стал прохлаждаться тут, ежели не хотите упустить самую потеху. Как бы и мне-то не опоздать.

И он зашагал дальше. Что бы это могло значить? Мы прислушивались к его удаляющимся шагам. Не успели они замереть вдали, как я вскочил и схватил Флору за руку.

— Ты слышишь? Господи боже, это еще что такое?

— Похоже на «Веселую охоту в Каледонии» в обработке Гоу. Играет духовой оркестр.

Как ревнива судьба! Ужели все боги Олимпа сговорились высмеять нашу любовь и заставить нас расстаться под звуки «Веселой охоты в Каледонии», да еще в обработке Гоу, в минорных полутонах? Несколько се-

кунд мы с Флорой молча смотрели друг на друга, охваченные страшным подозрением (как сказал бы один из поздних английских бардов). Потом она кинулась к тропке и поглядела вниз, на подножие холма.

— Бежим, Энн! Там идет еще много народу!

Мы бросили неубранными остатки завтрака и, взявшись за руки, побежали по тропинке на север. Почти сразу же она круто повернула, и мы очутились на открытом месте на склоне холма. Тут мы ахнули и остановились как вкопанные.

Под нами расстилался зеленый луг, усеянный людьми — тут собралось по меньше мере человек триста,— и над самой серединой этого сборища, там, где оно сгущалось дочерна, словно пчелиный рой, парила не только унылая музыка «Веселой охоты в Каледонии», но и еще нечто более вещественное, размерами и формой подобное джину, который вырвался из бутылки, как это описано в остроумнейшей книге «Тысяча и одна ночь». Это и был воздушный шар Байфилда — исполинское чудище под названием «Люнарди»,— и его как раз надували.

— Проклятый Байфилд! — вырвалось у меня.

— А кто это Байфилд?

— Воздухоплаватель и зловредный шутник, дорогая; видно, потому он и расписал свой воздушный шар полосами голубого и кирпичного цвета и поставил его вместе с духовым оркестром прямо у меня на дороге как раз тогда, когда мне надобно удирать. Этот человек преследует меня, точно злой рок...— Я умолк на полуслове и призадумался. «А, в сущности, почему бы и нет?» — промелькнуло у меня в голове.

Тут Флора жалобно вскрикнула, и я круто обернулся — позади нас на каменной тропе стояли майор Шевеникс и Рональд.

Юноша выступил вперед и, не отвечая на мой поклон, взял Флору за локоть.

— Ты сейчас же пойдешь домой.

— Ну зачем же так? — сказал я, касаясь его плеча.— Ведь минут через десять нам предстоит редкостное зрелище.

Он яростно ко мне обернулся.

— Ради бога, Сент-Ив, не затевайте ссору, время для этого самое неподходящее. Вы уже и так бессовестно скомпрометировали мою сестру!

— После того, как вы по наущению и с помощью первого попавшегося майора пехотных войск взялись следить за вашей сестрой, я бы вам посоветовал не бросаться словом «компрометировать». И еще: при том, сколь мало считаются с ее чувствами, вполне простительно, что сестра ваша выразила свое негодование не словом, а делом.

— Майор Шевеникс — друг нашей семьи.

Однако, произнося эти слова, юноша покраснел.

— Ах, вот как? — переспросил я.— Значит, это ваша тетушка просила его помощи? Нет, нет, дорогой Рональд, вам нечего мне ответить. И ежели вы станете и впредь оскорблять вашу сестру, сэр, я позабочусь, чтобы за это постыдное поведение вы получили по заслугам.

— Прошу извинить,— вмешался майор, выступая вперед.— Рональд прав, сейчас не время для ссор, и, как вы справедливо заметили, сэр, нам предстоит интереснейшее зрелище. Сыщик и его люди уже поднимаются на холм. Мы их видели, и, могу прибавить, экипаж вашего кузена стоит внизу на дороге. Дело в том, что за мисс Гилкрист следили и видели, как она поднялась сюда; мы сразу подумали, что она, возможно, идет в каменоломню, и решили подняться с другой стороны. Вот, взгляните! — И он торжествующе показал наверх.

Я поднял голову. Да, в эту самую минуту на вершине холма, ярдах в пятистах слева от нас, появилась фигура в серой шинели, а следом за ней — мой старый знакомец в молескиновом жилете; оба тут же начали спускаться к нам.

— Джентльмены,— объявил я,— мне, видно, следует вас благодарить. Ваш хитроумный план был, без сомнения, порожден единственно вашей добротой.

— Наш долг — думать о мисс Гилкрист,— сухо заметил майор.

Но Рональд вдруг воскликнул:

— Скорей, Сент-Ив! Бегите назад по тропе! Мы вам не помешаем, обещаю!

— Благодарствую, друг, но у меня иной план. Флора,— сказал я и взял ее за руку,— пришла пора нам расстаться. Следующие пять минут решат нашу судьбу. Мужайся, любимая, и да будут твои мысли со мной, покуда я не ворочусь к тебе.

— Где бы ты ни был, я буду думать о тебе, Энн! Что бы ни случилось, я буду любить тебя. Иди, и да хранит тебя господь.

И она обернулась к майору, тяжело дыша, раскрасневшаяся и смущенная, но глаза ее горели решимостью и вызовом.

— Скорей! — закричали вдруг в один голос Флора и Рональд.

Я поцеловал ей руку и ринулся вниз с холма.

Позади раздался крик; я оглянулся и увидел, что мои преследователи — теперь их было уже трое, ибо за ними поспешал в качестве доезжачего и мой дородный кузен,— повернули и бегут за мной; я перескочил через ручей и помчался прямо к заполненной народом огороженной части луга. У входа в ограду сидел на складном стуле сонный толстяк, рыхлый и пухлый, как перина; он дремал перед столиком, на котором стояла чашка с шестипенсовиками. Я бросился к нему и протянул крону.

— Сдачи нету,— буркнул он, просыпаясь и вытаскивая из кармана пачку розовых билетиков.

— И не надо! — крикнул я, на ходу схватил билет и проскочил за ограду.

Прежде чем смешаться с толпой, я позволил себе еще раз оглянуться. Впереди теперь бежал Молескиновый жилет, он уже достиг ручья, за ним, поотстав шага на три, пыхтел рыжий, а мой кузен, задыхаясь — я с удовольствием подумал, что нелегко ему дается такая гонка,— уже почти сбежал с восточного склона холма. Толстяк, опершись о свою загородку, все еще провожал меня глазами. Я был без шляпы, во фраке, и он, без сомнения, принял меня за прожигателя жизни, эдакого шалого гуляку, который не находит себе места утром после весело проведенной ночи.

И тут меня осенило. Надобно забраться в гущу толпы: ведь толпа всегда снисходительна к пьяным. Я немедля постарался изобразить из себя распутного пьянчужку: икая, спотыкаясь и покачиваясь, я протискивался все дальше, заплетающимся языком цветисто и пространно извинялся перед всеми и каждым, и мне давали дорогу; зеваки расступались передо мной со свойственным им добродушием.

Люди соскучились стоять и ждать, и по пятам за

мною струился веселый смешок — надобно же им было развлечься. В жизни не видал я сборища, которое так безрадостно дожидалось бы обещанного представления. Правда, дождь уже перестал, и засияло солнце, но обладатели зонтиков никак не соглашались опустить их и все еще держали над головой с таким мрачным видом, точно бросали вызов сжалившейся над ними наконец природе и судорожным усилиям худшего во всем городе оркестра, который пытался их развеселить.

— Скоро он наполнится, Джок?

— Скоро.

— И тут же полетит?

— Да уж верно так.

— Ты в шестой раз смотришь?

— Вроде того.

Мне вдруг подумалось, что, ежели бы мы собрались не на торжество Байфилда, а на его похороны, все глядели бы куда веселей.

Сам Байфилд перевесился через край корзины, над которою покачивался шар, размалеванный бурыми и голубыми полосами, и хмуро и деловито отдавал распоряжения. Впрочем, быть может, он просто прикидывал, сколько продано билетов. Я протиснулся вперед в ту минуту, когда его помощники убирали кишку, по которой в шар накачивали водород, и «Люнарди» постепенно распрямлялся и натягивал канаты. Кто-то шутки ради подтолкнул меня, и я оказался на свободной площадке под шаром.

Вдруг меня окликнули, я круто оборотился и задрал голову.

— Кого я вижу! Черт меня побери, да это же Дьюси! Товарищ моей юности и опора преклонных лет! Как поживаете?

Это оказался мой шалый приятель Далмахой! Он цеплялся за один из десятка канатов, что удерживали воздушный шар, и вид у него был такой, точно все происходящее — дело единственно его рук и его искусства; он был так неописуемо и непревзойденно пьян, что все ухищрения, с помощью которых я пробрался сквозь толпу, показались мне попросту бездарным, жалким кривляньем.

— Уж извините, не могу выпустить канат. Собственно, мы всю ночь глаз не сомкнули. Байфилд нас покида-

ет, он жаждет скитаться в мирах, где еще не ступала нога человека...

Пернатых вольный рой крылами режет выси,
Куда вовек не взмыть ни окуню, ни рыси.

— Но Байфилд это сделает — Байфилд в своем великанском «Дурарди». Один удар ножа (я все надеюсь, что он придется не по моей руке)— и канат разрублен, наш общий друг парит в эмпиреях. Но он вернется. О, не грусти, он будет здесь опять и снова примется за эти окаянные полеты. По Байфилду, это и есть закон тяготения.

Мистер Далмахой заключил свою речь неожиданно — затрубил, подражая рожку почтовой кареты; я взглянул вверх и увидел над краем корзины голову и плечи Байфилда.

Он сразу же сделал вполне естественный вывод из моего наряда и поведения и громко застонал.

— Уходите, Дьюси! Убирайтесь отсюда. Хватит с меня и одного болвана. Вы двое обращаете мой полет в посмешище.

— Байфилд! — нетерпеливо перебил я.— Я не пьян. Скорей спустите мне лестницу! Сто гиней, если вы возьмете меня с собой! — Я уже заметил в толпе человек за десять от меня рыжую голову второго сыщика.

— Ну, ясно, такое можно ляпнуть только спьяну! — отвечал Байфилд.— Убирайтесь или хоть ведите себя пристойно. Я буду говорить речь.— Он прокашлялся: — Леди и джентльмены...

Я сунул ему под нос пачку ассигнаций.

— Вот деньги. Ради бога, прошу вас! За мной гонятся судебные приставы! Они тут, в толпе!

— ...зрелище, которое вы почтили своим просвещенным вниманием... Говорю вам, не могу! — Он глянул через плечо в глубь корзины.— ...Вашим просвещенным вниманием, не требует долгих объяснений и похвал.

— Слушайте, слушайте! — закричал Далмахой.

— Ваше присутствие здесь доказывает искренность вашего интереса...

Я развернул ассигнации у него перед носом. Он моргнул, но решительно возвысил голос.

— Вид одинокого путешественника...

— Двести! — выкрикнул я.

— Вид двухсот одиноких путешественников... зрелище, зародившееся в мозгу Монгольфье и Чарльза... А, к черту! Никакой я не оратор. Какого дьявола...

Толпа сзади колыхнулась, заволновалась.

— Гони этого пьяного осла! — выкрикнул кто-то. Тотчас я услышал голос моего кузена — он требовал. чтобы ему дали дорогу. Уголком глаза я на миг увидел его багровую, вспотевшую физиономию — он перепрыгивал через баллоны, из которых в шар перекачивали водород. И тут Байфилд выбросил мне веревочную лестницу, закрепил ее, и вот я уже карабкаюсь по ней, как кошка.

— Руби канаты!

— Держите его! — завопил мой кузен.— Держите шар! Это Шандивер, убийца!

— Руби канаты! — еще того громче заорал Байфилд, и, к моему несказанному облегчению, я увидел, что Далмахой старается изо всех сил. Чья-то рука ухватила меня за пятку. Под рев толпы я отчаянно лягнул ногой и почувствовал, что удар достиг цели — каблук пришелся кому-то по зубам. И в тот миг, когда толпа рванулась за мною, шар закачался и прянул ввысь, а я подтянулся на руках и перевалился через край корзины внутрь.

Я мигом вскочил и выглянул наружу. У меня язык чесался крикнуть Алену на прощание словечко-другое, но, увидав сотни запрокинутых искаженных лиц, я онемел, как от удара. Вот где моя истинная погибель — в этой животной ярости внезапно сбитой с толку толпы. Это стало мне ясно как день, и я ужаснулся. Да Ален и не услыхал бы меня: когда я ударил ногой Молескиновый жилет, сыщик повалился прямо на моего кузена, и оба они скатились с лестницы наземь, причем грузный наемник всей своей тяжестью придавил Алена, и тот лежал, раскинув руки, как пловец, зарывшись носом в жидкую грязь.

ГЛАВА XXXIII

НЕСУРАЗНЫЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ

Все это я заметил с одного взгляда, секунды за три, а то и меньше. Крики под нами обратились теперь в низкий рокочущий гул. И вдруг сквозь этот гул прорвался женский крик — отчаянный, пронзительный

вопль,— и за ним наступила тишина. Потом, точно залаяла стая гончих, новые голоса подхватили этот крик, он все разрастался, и вскоре весь луг гремел тревогой.

— Что за дьявольщина? — спросил меня Байфилд.— Что еще там стряслось? — И он кинулся к борту корзины.— Господи, да это же Далмахой!

И в самом деле, под нами, на обрывке каната, между небом и землей болтался этот злосчастный олух. Он первым обрубил привязь — и притом ниже того места, за которое ухватился; пока остальные рубили другие канаты, Далмахой изо всех сил удерживал свой конец и даже из какой-то дурацкой осторожности дважды обмотал его вокруг кисти. И когда шар рванулся вверх, у Далмахоя, разумеется, земля ушла из-под ног, а он спьяну не догадался высвободиться и спрыгнуть. И теперь, изо всех сил цепляясь обеими руками за обрывок каната, он уносился ввысь, точно ягненок, выхваченный коршуном из стада.

Но все это мы поняли после.

— Абордажный крюк! — крикнул Байфилд.

Ибо канат, на котором повис Далмахой, был укреплен под днищем корзины, и просто дотянуться до него было невозможно. Второпях доставая абордажный крюк, мы наперебой кричали несчастному:

— Ради бога, держитесь! Сейчас спустим якорь, хватайтесь за него! Держитесь, не упадите, не то вам конец!

Далмахоя качнуло, и из-под днища корзины выплыло его белое от ужаса лицо.

Мы перекинули за борт абордажный крюк, спустили его и подсунули поближе к Далмахою. Беднягу снова качнуло, он пролетел мимо, как маятник, попробовал было на лету схватиться за крюк одной рукою, но промахнулся; пролетая обратно, он снова попытался схватить крюк — и снова промахнулся. При третьей попытке он налетел прямо на крюк, уцепился за его лапу сначала рукой, потом ногой, и мы тут же стали втягивать крюк в корзину, перехватывая его руками.

Наконец мы его втянули. Далмахой был бледен, но и страх не победил его словоохотливости.

— Право, я должен просить у вас прощения, друзья.

Сплоховал я, преглупая вышла история, да и кончиться это могло для меня худо. Благодарствую, Байфилд, дружище, я выпью всего один глоточек — это ничуть не повредит мне, а только прибавит сил.

Он взял флягу и уже поднес было ко рту. Но тут у него отвалилась челюсть, и рука застыла в воздухе.

— Он теряет сознание! — закричал я.— Нервы не выдержали...

— Нервы, как бы не так! Это еще что?

Далмахой с изумлением уставился на что-то за моей спиной, и в ту же секунду я услышал еще новый голос: он шел откуда-то сзади, словно бы из облаков.

— Призываю вас в свидетели, мистер Байфилд...

Подумайте сами: целых шесть дней меня кружило в водовороте всех мыслимых страхов и тревог. Так можно ли винить меня, ежели чувства мои и ощущения были обострены до предела? Я вздрогнул и, точно стрелка компаса, поворотился на этот голос, предвидя новую опасность.

На полу корзины, у самых моих ног, лежала груда пледов и теплой одежды. И вот из этой-то кучи постепенно, с трудом, высунулась рука, сжимавшая порыжелую касторовую шляпу, потом лицо, как бы несколько негодующее, с очками на носу, наконец, из кучи вылез, пятясь задом, крохотный человечек в поношенной черной одежде. Стоя на коленях и упираясь руками в пол, он выпрямился и с безмерной укоризной посмотрел сквозь очки на Байфилда.

— Призываю вас в свидетели, мистер Байфилд!

Байфилд отер лоб, на котором проступила испарина.

— Дорогой сэр,— заикаясь, выговорил он.— Это все ошибка... Я тут не виноват... Сейчас все вам объясню...— И вдруг его будто осенило: — Позвольте вам представить, мистер Далмахой, мистер...

— Меня зовут Овценог,— чопорно сказал человечек.— Но если вы позволите...

Долмахой игриво присвистнул.

— Слушайте, слушайте! Внимание! Его зовут Овценог! На Грампианских горах его отец пас свои стада — тысячу овец и, естественно, вчетверо больше ног. Позволить вам, Овценог? Но, дорогой мой, на этой высоте каждая лишняя нога для нас обуза, а у всякой овцы их четыре, стало быть, на вас учетверенная вина!

Еле сдерживая истерический смех и стараясь восстановить равновесие, Далмахой ухватился для верности за канат и отвесил вновь прибывшему поклон.

Мистер Овценог обвел всех присутствующих изумленным взором и встретился глазами со мною.

— К вашим услугам, сэр: виконт Энн де Керуаль де Сент-Ив,— представился я.— Не имею ни малейшего понятия, как и зачем вы здесь очутились, но вы можете оказаться ценным приобретением. Со своей же стороны,— продолжал я (мне вдруг пришло на память четверостишие, которое я тщетно пытался вспомнить в гостиной миссис Макрэнкин),— имею честь напомнить вам несколько строк из неподражаемого римлянина Горация Флакка:

Virtus recludens immeritis mori
Caelum negata temptat iter via,
Coetusque volgares et udam
Spernit humum fugiente penna [1].

— Вы знаете по-латыни, сэр?

— Ни слова.—Овценог опустился на кучу пледов, возмущенно развел руками.— Призываю вас в свидетели, мистер Байфилд!

— Тогда обождите меня минуту-другую, я буду иметь удовольствие растолковать вам смысл этих строк,— сказал я и, отворотясь, стал глядеть, что творится на земле, от которой мы удалялись с неправдоподобной быстротой.

Теперь мы смотрели на нее с высоты шестисот футов — по крайности так сказал Байфилд, сверясь со своими приборами. Он прибавил, что это еще совершенные пустяки: самое удивительное то, что шар вообще поднялся, хотя на борту оказалась половина всех лоботрясов города Эдинбурга. Я пропустил мимо ушей явную неточность и пристрастность этих подсчетов. Байфилд объяснил далее, что ему пришлось сбросить за борт по меньшей мере центнер песчаного балласта. Я всей душой уповал, что он угодил в моего кузена. По мне и шестьсот футов — высота, вполне достойная уважения. И вид сверху открывался просто умопомрачительный.

[1] Раскроет доблесть небо достойному,
Неторных доблесть ищет дорог себе;
Покинет сходбища народа,
Топкую землю — на быстрых крыльях.
(*Перевод с латинского Н. И. Шатерникова.*)

Воздушный шар, поднимаясь почти вертикально, пронзил утренние туманы и безветренную тишину и теперь, освобожденный от уз, легко парил в чистейшей синеве небес. Благодаря какому-то обману зрения земля под нами словно прогнулась и казалась огромной неглубокой чашей с чуть приподнятыми по окоему краями — чашу эту наполнял туман с моря, но нам он казался легкой пеной, ослепительной, белоснежной, точно сбитые сливки. Летящая тень шара была на нем не тенью, а всего лишь пятнышком, словно бы аметистом, очищенным от всех грубо материальных свойств и сохранившим лишь цвет и прозрачность. Временами, колеблемая даже не столько ветром, как трепетом солнечных лучей, пена вздрагивала и расходилась, и тогда в глубоких размывах можно было разглядеть, словно в виньетке, сияющую землю, два-три акра людских трудов и пота — вспаханные склоны Лотианских холмов, корабли на рейде и столицу, подобную улью, обитателей которого выкурил озорной мальчишка,— чудилось даже, что и сюда доносится гудение этого потревоженного роя.

Я выхватил у Байфилда подзорную трубу, навел ее на один из таких размывов и — подумать только! — в самой глубине, словно в освещенном колодце, различил на зеленом склоне холма три фигуры! Там трепетало крошечное белое пятнышко, трепетало долго, пока не закрылся просвет в тумане. Платок Флоры! Да будет благословенна бесстрашная ручка, что махала этим платком — махала в ту минуту, когда, как я услышал позднее, а впрочем, догадывался и сам, душа ее уходила в пятки и от страха за меня подкашивались ножки, обутые в башмаки молочницы Дженет. Флора во многих отношениях была девушка необыкновенная, но как истой представительнице прекрасного пола ей свойственно было бесповоротное и неискоренимое недоверие ко всяческим хитрым изобретениям.

Должен вам признаться, что и моя вера в аэростатику была всего лишь слабой былинкой, весьма нежным, тепличным растением. Если мне удалось правдиво описать мои ощущения во время спуска с Локтя Сатаны, то читатель уже знает, что я до смерти боюсь высоты. Признаюсь в этом еще раз. По ровному месту я готов

передвигаться в самой тряской карете со всей беззаботностью перекати-поля; подбросьте меня в воздух — и я пропал. Даже на шаткую палубу корабля, уходящего в море, я ступаю скорее с привычной покорностью, нежели с доверием.

Но, к моему невыразимому облегчению, «Люнарди» летел все дальше и выше почти безо всякой качки. Казалось, он совсем не движется, и только по измерительному прибору да по клочкам бумаги, которые мы бросали за борт, заметно было, что это не так. Время от времени шар медленно поворачивался вокруг своей оси, как показывал компас Байфилда, но сами мы об этом ни за что бы не догадались. Никаких признаков головокружения я уже не испытывал просто потому, что для него не было причин. Мы оказались единственным предметом в воздушном просторе, и наше положение в пространстве не с чем было сравнивать. Мы словно растворились в объявшей нас прозрачной тишине, и смею вас заверить — конечно, я могу отвечать только за виконта Энна де Сент-Ива,— что минут пять мы чувствовали себы чище и невинней новорожденного младенца.

— Но послушайте,— заговорил Байфилд.— Ведь я как-никак на виду у широкой публики, и вы ставите меня в дьявольски неловкое положение.

— Да, это неловко,— согласился я.— Вы во всеуслышание объявили себя одиноким путешественником, а здесь, даже если смотреть невооруженным глазом, нас четверо.

— Но что же мне делать? Разве я виноват, что в последнюю минуту ко мне ворвались двое сумасшедших...

— Не забывайте также про Овценога.

Байфилд определенно начинал выводить меня из терпения. Я оборотился к безбилетному пассажиру.

— Быть может, мистер Овценог соизволит объясниться? — спросил я.

— Я уплатил вперед,— начал Овценог, радуясь случаю вставить хоть слово.— Я, видите ли, человек женатый.

— Итак, у вас уже двойное преимущество перед нами. Продолжайте, сэр.

— Вы только что были так любезны, что назвали мне ваше имя, мистер...

— Виконт Энн де Керуаль де Сент-Ив.

— Ваше имя нелегко запомнить.

— В таком случае, сэр, я мигом приготовлю для вас памятку специально для этого путешествия.

Но мистер Овценог вновь заговорил о своем:

— Я человек женатый, сэр, и... понимаете... миссис Овценог, как бы это получше выразиться, не очень одобряет полеты на воздушном шаре. Она, видите ли, урожденная Гатри из Дамфрис.

— Ну, тогда все понятно! — сказал я.

— Для меня же, сэр, напротив, аэростатика давно уже стала самой притягательной наукой. Я бы сказал даже, мистер... Я бы сказал, она стала страстью всей моей жизни.— Его кроткие глаза так и сияли за стеклами очков.— Я помню Винченце Люнарди, сэр. Я был в парке Гериота в октябре тысяча семьсот восемьдесят пятого года, когда он поднялся в воздух. Он спустился в Купаре. Городское общество игроков в гольф поднесло ему тогда адрес, а в Эдинбурге он был принят в Сообщество блаженных нищих,— это было подобие клуба или лиги, оно уже давно покончило счеты с жизнью. Лицо у Люнарди было худое-прехудое, сэр. Он носил очень странный колпак, если можно так выразиться, сильно сдвинутый сзади наперед. Потом этот фасон вошел в моду. Однажды он заложил у меня часы, сэр, я принимаю вещи в заклад. К сожалению, потом он их выкупил, а не то я имел бы удовольствие показать их вам. Да, теория воздухоплавания — моя давнишняя страсть. Но из уважения к миссис Овценог я воздерживался от практики... до нынешнего дня. По правде говоря, супруга моя уверена, что я поехал проветриться в Кайлз оф Бьют.

— А там и в самом деле много сквозняков? — неожиданно спокойным голосом спросил Далмахой.

— Я просто позволил себе выразиться фигурально, сэр. Она думает, хотел я сказать, что я там отдыхаю. Я уплатил мистеру Байфилду пять фунтов вперед. У меня и расписка есть. И мы условились, что я спрячусь в корзине и взлечу только с ним одним.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мы для вас неподходящая компания, сэр? — вопросил я.

— Помилуйте, никоим образом! — поспешно возразил Овценог.— Но ведь это — дело случая, я мог бы

оказаться в куда менее приятном обществе.— Я поклонился.— А уговор есть уговор,— закончил он.

— Это верно,— согласился я.— Байфилд, возвратите мистеру Овценогу пять фунтов.

— Вот еще! — возразил астронавт.— Да и кто вы такой, чтобы тут распоряжаться?

— Я, кажется, уже дважды ответил на этот вопрос, и вы меня слышали.

— Мусью виконт Как-бишь-вас де Ни-то-Ни-се? Слышал, как же!

— Вам не по вкусу мое имя?

— Нисколько. Будь вы хоть Роберт Бернс или Наполеон Бонапарт, мать Гракхов или сама Валаамова ослица, мне-то какое дело? Но прежде я знал вас как мистера Дьюси, и вы, пожалуй, вообразите, что я мистер Непонимайка.

Он протянул руку к веревке, идущей от клапана.

— Что вы собираетесь делать?

— Спустить шар на землю.

— Как! Обратно на тот луг?

— Нет, это не получится, потому что мы попали в северное воздушное течение и летим со скоростью примерно тридцать миль в час. Но вон там, к югу, как будто виднеется Брод-Ло.

— А зачем вам надобно спускаться?

— Затем, что я все еще слышу, как вас позвал кто-то из толпы, и кричал он отнюдь не Дьюси, а совсем другое имя, и титул был вовсе не «виконт». В ту минуту я принял это за какую-то уловку полицейского, но теперь у меня появились весьма серьезные сомнения.

Этот человек был опасен. Я небрежно наклонился, притворяясь, будто хочу взять с пола плед, благо в воздухе вдруг повеяло пронизывающим холодом.

— Мистер Байфилд, разрешите сказать вам два слова наедине.

— Извольте,— отвечал он, отпуская веревку.

Бок о бок мы склонились над бортом корзины.

— Ежели я не ошибаюсь,— сказал я, понизив голос,— меня назвали Шандивером.

Байфилд кивнул.

— Джентльмен, который поднял этот преглупый, но чрезвычайно для меня опасный шум, был мой собственный кузен, виконт де Сент-Ив. Порукой в том — мое

честное слово.— И, видя, что это заявление поколебало его уверенность, я продолжал самым лукавым тоном: — Не кажется ли вам теперь, что все это было просто шуткой, дружеским пари?

— Нет, не кажется,— отрезал Байфилд.— Да и слово ваше ничего не весит.

— В точности, как ваш воздушный шар,— сказал я, резко переменив тон.— Но, право, я восхищен, что вы так упорствуете в своих подозрениях, ибо, скажу вам откровенно, я и есть Шандивер.

— Убийца...

— Конечно, нет! Я убил его в честном поединке.

— Ха! — Байфилд уставился на меня угрюмо и недоверчиво.— Это вам еще придется доказать.

— Уж не желаете ли вы, приятель, чтобы я занялся этим здесь, на вашем воздушном шаре?

— Разумеется, не здесь, а совсем в другом месте,— возразил он и снова взялся за веревку от клапана.

— Тогда, значит, внизу. Но там, внизу, обвиняемому вовсе не надобно доказывать свою невиновность. Напротив того, сколько мне известно, и по английским и по шотландским законам другие должны доказать, что он и вправду виновен. Но вот что могу доказать я: могу доказать, сэр, что за последние дни я много времени проводил в вашем обществе, что я ужинал с вами и мистером Далмахоем не далее как в среду. Конечно, вы можете возразить, что мы трое собрались здесь все вместе по чистой случайности, что вы ни в чем меня не подозревали, что мое вторжение в вашу корзину было для вас совершенной неожиданностью и вы к этому никак не причастны. Но подумайте сами, какой здравомыслящий присяжный поверит столь неправдоподобному рассказу?

Мистер Байфилд явно заколебался.

— Вдобавок,— продолжал я,— вам придется объяснить, откуда здесь взялся мистер Овценог, и признаться, что вы надули публику, когда пообещали ей «одинокого путешественника» и разглагольствовали об этом перед одураченной толпой зевак, в то самое время, когда в корзине у вас прятался будущий ваш спутник. И вы еще смеете говорить, что вы на виду у широкой публики! Ну нет, сэр, уж на сей раз вы никого не проведете.

Я умолк, перевел дух и погрозил ему пальцем.

— А теперь, мистер Байфилд, потрудитесь меня вы-

слушать. Стоит вам дернуть за эту веревку — и в мир, отнюдь не склонный к милосердию, спустится безнадежно опозоренный воздухоплаватель. Во всяком случае, в Эдинбурге вам больше не разгуляться. Публике до смерти надоели и вы сами и ваши полеты. Любой сколько-нибудь наблюдательный мальчишка из толпы мог бы вам это подтвердить. Вам угодно было закрывать глаза на эту голую, неприкрытую истину, но в следующий раз при всем вашем тупом тщеславии вам волей-неволей придется это признать. Напоминаю: я предлагал вам двести гиней за гостеприимство. Теперь я удваиваю плату при условии, что на время полета я становлюсь владельцем шара и вы будете управлять им так, как я того пожелаю. Вот деньги, из них вы должны возвратить мистеру Овценогу его пять фунтов.

Лицо Байфилда все пошло пятнами, под стать его шару, и даже цвета почти не отличались — синеватый и красно-бурый вперемежку. Я задел его больное место — самомнение, и он был глубоко уязвлен.

— Мне надобно подумать,— пробормотал он.

— Сделайте одолжение.

Я знал, что он уже сдался. Мне вовсе не нравилось оружие, к которому пришлось прибегнуть, меня оправдывало лишь то, что дела мои были из рук вон плохи. Я с облегчением поворотился к остальным. Далмахой сидел на дне корзины и помогал Овценогу распаковывать ковровую сумку.

— Здесь виски,— объявил маленький ростовщик,— три бутылки. Супруга моя сказала: «Александр, неужто там, куда ты едешь, не найдется виски?» «Конечно, найдется,— сказал я.— Но я не знаю, хорошо ли оно там, а ведь путь не близкий». Понимаете, мистер Далмахой, предполагалось, что я проедусь от Гринока до Кайлз оф Бьют и обратно, а потом вдоль побережья в Солткотс и на родину Бернса. Я велел ей, коли уж непременно понадобится что-нибудь мне сообщить, адресовать письма до востребования почтмейстеру Эра. Ха-ха!

Он умолк и укоризненно поглядел на бесстрастное лицо Далмахоя.

— Просто небольшая игра слов, знаете ли,— пояснил он.— Эр — Аэро — Аэростат...

— Лучше бы уж в таком разе Шара,— не сморгнув глазом, отвечал Далмахой.

— Шара? Черт побери, грандиозно! Грандиозно! Только она ведь никак не ждет, что я окажусь на шаре.

Потом он потянул меня в сторонку.

— Ваш друг — отличный спутник, сэр, и манеры весьма благородные... только иной раз, если можно так выразиться, чересчур непонятлив.

К тому времени руки мои онемели от холода. Мы неуклонно поднимались все выше, и термометр Байфилда показывал тринадцать градусов. Я выбрал из груды на полу плащ поплотнее, а в кармане мне посчастливилось обнаружить пару подбитых мехом перчаток. Потом я склонился над бортом корзины, желая взглянуть на землю, однако же искоса поглядывал на Байфилда, а он грыз ногти и старался держаться от меня подальше.

Туман рассеялся, и под нами открылся весь юг Шотландии, от моря до моря, как одноцветная карта. Нет, то была Англия: залив Солуэй врезался в побережье — широкий блестящий наконечник стрелы с чуть изогнутым острием, а за ним Камберлендские горы, словно холмики на горизонте; все остальное плоское, как доска или огромное блюдо. Белые нити шоссейных дорог соединяют мелкие городишки; холмы, что лежат между ними, как бы сплющились, и города съежились, точно в испуге, и втянули свои окраины, как улитка рожки. Правду сказал старый поэт, что с Олимпа взору богов открывался поистине дивный вид. Можно было подумать, что валансьенские кружевницы подражали в своих узорах очертаниям этих городов и дорог: бахрому кружев крученого шелка и вязь тончайших сплетений напоминает вид этих мест. И я подумал: все, что я вижу с высоты — артерии дорог и узелки городов и селений,— это и есть государство, и каждый узелок, чей шум не доносится в нашу высь,— это тысячи людей, и ни один из этих людей не откажется умереть, защищая свою лавчонку, свой курятник. И еще я подумал, что эмблема моего императора — пчела, а эта Англия, конечно же,— тенета паука.

Байфилд шагнул ко мне и остановился рядом.

— Мистер Дьюси, я обдумал ваше предложение и принимаю его. Я попал в такую переделку...

— Пренеприятную для человека, который на виду у широкой публики,— любезно вставил я.

— Прошу вас, сэр, не сыпьте соли на рану. Ваши

речи и без того заставили меня страдать, и тем сильнее, что многое в них справедливо. Аэронавт всегда честолюбив, сэр,— как же иначе? Публика, газеты на время утоляют его честолюбие: аэронавту льстят, его приветствуют, ему рукоплещут. Но в глубине души люди ставят его не выше шута — и едва его трюки приелись, как он уже забыт. Однако удивительно ли, что сам он не всегда помнит, кто он в глазах публики. Ведь он-то отнюдь не считает себя шутом, клянусь богом!

Байфилд говорил с неподдельной горячностью. Я протянул ему руку.

— Мистер Байфилд, я был груб и жесток. Позвольте мне взять мои слова обратно.

Аэронавт покачал головой.

— Они были справедливы, сэр. По крайности во многом справедливы.

— Я в этом совсем не уверен. Воздушный шар, сколько я вас понял и как я сам наблюдаю, может направить честолюбивые мечты людские на иные цели. Вот деньги, и позвольте в придачу заверить вас, что вы не укрываете преступника. Сколько времени «Люнарди» может продержаться в воздухе?

— Я еще не пытался достичь предела. Но думаю, можно рассчитывать часов на двадцать, самое большее — на сутки.

— Мы его испытаем. Ветер, как я понимаю, все еще северо-восточный. А какова наша высота?

Байфилд сверился с прибором.

— Немного менее трех миль.

Эти слова услыхал Далмахой и тут же завопил:

— Эй вы, друзья! Завтракать! Сандвичи, песочное печенье и чистейший нектар! Александров пир!

...О древних лет певец,
Клади к ее стопам заслуг твоих венец ..[1]

— Овценог ставит виски. Восстань, Александр! Взгляни, ты уже завоевал все миры, покорять больше некого, смахни слезу и передай мне штопор. Иди и ты, Дьюси, новый потомок Дедала; ежели ты и не голоден, то я весьма не прочь закусить, и Овценог тоже проголодался. Впрочем, с какой стати тут единственное число? У овцы ведь не одна нога. Надобно сказать: Овечьи ноги проголодались.

[1] Строки из оды английского поэта Джона Драйдена «Пиршество Александра». *Перевод В. А Жуковского.*

Байфилд извлек из какого-то ящика пирог со свининой и бутылку хереса (в выборе этом выразилась едва ли не вся его натура), и мы принялись трапезничать. Далмахой болтал без умолку. Он обращался к Овценогу небрежно и бесцеремонно, именуя его то Александром Македонским, то гордым шотландцем, то божественной Клариндою. Он избрал его профессором супружеской дипломатии Крэмондской академии. Наконец, он передал ему бутылку и попросил произнести тост, а еще того лучше, спеть песню.

— Сделайте одолжение, Овценог, заставьте звенеть свод небесный!

Мистер Овценог просиял и разразился чувствительной речью. Он был поистине наверху блаженства.

— У вашего друга неиссякаемый запас бодрости, сэр, право же неиссякаемый! — заключил он.

Что до меня, то мой запас бодрости начал иссякать, а быть может, ее заморозил безжалостный холод. Бальный мой наряд нисколько от него не защищал, и, кроме того, меня неодолимо клонило ко сну. Есть я не стал, но выпил стакан Овценогова виски и забрался под кучу пледов. Байфилд заботливо помог мне ими укрыться. Уж не знаю, уловил ли он нотку сомнения, когда я его поблагодарил, но так или иначе он почел своим долгом меня успокоить.

— Можете мне довериться, мистер Дьюси,— сказал он.

Я понял, что это правда, и почувствовал, что Байфилд даже начинает мне нравиться.

Я продремал до вечера. Сквозь сон я слышал, как Далмахой с Овценогом дружно распевали какую-то бессмыслицу. Что-то они уж очень расшумелись, вяло подумал я. Байфилд пытался их утихомирить, но, по-видимому, безуспешно, ибо проснулся я оттого, что Овценог споткнулся об меня, показывая при помощи пустой бутылки, как надобно метать заостренную палку.

— Старинный шотландский спорт,— пояснил Далмахой, утирая глаза; у него даже слезы текли от дурацкого смеха.— Дядюшка его матери участвовал в якобитском восстании в тысяча семьсот сорок пятом году. Извините, что разбудил вас, Дьюси. Бай-бай, крошка!

Мне тогда вовсе не пришло на ум, что в этом шутовстве может таиться опасность. Я повернулся на другой бок и снова задремал.

Казалось, не прошло и минуты, как меня разбудил непонятный шум, и я тотчас ощутил острую боль в голове, точно в виски мне вбивали клинья. Кто-то громко выкрикнул мое имя, и я порывисто сел; в лицо мне хлынул поток лунного света, и, ослепленно мигая, я увидел взволнованное лицо Далмахоя.

— Байфилд...— начал я.

Далмахой ткнул пальцем — воздухоплаватель валялся на полу, неуклюже раскинув руки и ноги, точно огромная кукла. Поперек его колен, упершись головой в какой-то ящик, лежал Овценог, глядя вверх, и довольно улыбался.

— Скверная история,— задыхаясь, вымолвил Далмахой.— С Овценогом нет никакого сладу... совсем не умеет пить. Нашел себе забаву — выкинул за борт весь балласт. Байфилд вышел из себя, а уж это хуже некуда. Вот мне, скажу не хвалясь, самообладание сроду не изменяло. Овценога было не сдержать... Байфилд оглушил его, да поздно... И оба мы свалились без памяти... Овценог решил позвать на помощь. Дернул веревку, думал, звонок, да и оборвал ее. А раз веревка оборвалась, «Люнарди» уже на землю не спустить, вот какая чертовщина.

— Ну давайте дружно: тра-ля-ля... Складно, очень складно,— бормотал Овценог.

Я взглянул вверх. «Люнарди» было не узнать: весь он серебрился, покрытый изморозью. Все канаты и веревки тоже словно оделись серебром или ртутью. И среди всего этого сверкания чуть ниже обода и по крайней мере футах в пяти за пределами досягаемости болталась оборванная веревка от клапана.

— Ну и кашу вы заварили! — сказал я.— Передайте-ка мне другой конец да потрудитесь не терять головы.

— Я бы и рад потерять — так трещит с похмелья,— простонал он, сжимая ладонями виски.— Но, дорогой мой сэр, я вовсе не испугался, если вы это имеете в виду.

А вот я испугался, да еще как. Но надо было действовать. Надеюсь, читатель простит мне, ежели я лишь едва коснусь того, что происходило в следующие две-три

минуты, которые и поныне вспоминаются мне снова и снова и преследуют меня в страшных снах. Во тьме удерживать равновесие над пропастью, вцепившись в заиндевевший канат, дрожа от холода и страха; карабкаться вверх и чувствовать, как все внутри замирает и проваливается, словно ведро в бездонный колодец... Должно быть, на эту отчаянную попытку меня подвигла невыносимая боль в голове, да еще то, что уж очень трудно было дышать; так зубная боль гонит человека в кресло дантиста. Я связал разорванные концы веревки и соскользнул обратно в корзину, потом дернул за веревку и открыл клапан, другой рукою отирая пот со лба. Пот тот же час заледенел на манжете.

Еще через минуту-другую звон в ушах немного поутих. Далмахой склонился над Байфилдом: у того шла носом кровь и дыхание стало шумным и хриплым. Овценог давно уже спал сном праведника. Я держал клапан открытым до тех пор, покуда мы не спустились в полосу тумана,— без сомнения, того самого, из которого «Люнарди» недавно поднялся; осевшая на оболочке шара влага и обратилась затем в иней. Более не поднимаясь, мы постепенно вышли из тумана и поплыли над долиной, где, подобно неуловимым призракам, то сверкали в лунном свете, то вновь погружались во тьму одинокие озерки, большие и малые. Снизу нам подмигивали и тут же исчезали крохотные огоньки, все чаще и чаще вспыхивали факелы фабричных труб. Я посмотрел на компас. Мы летели на юго-запад. Но где мы сейчас? Я спросил Далмахоя, и он высказал предположение, что под нами Глазго; услыхав эдакую нелепость, я к нему более не обращался. Байфилд все лежал в беспамятстве.

Я вытащил свои часы — они стояли, неподвижные стрелки показывали двадцать минут пятого; должно быть, я позабыл их завести. Стало быть, до рассвета недалеко. Мы в воздухе уже часов восемнадцать, а то и все двадцать; Байфилд же полагал ранее, что мы летим со скоростью около тридцати миль в час... Пятьсот миль...

Впереди показалась серебряная полоса; словно бы протянутая во мраке лента, она отчетливо обозначилась и все ширилась... Море! Вскорости я даже расслышал рокот прибоя. Я сызнова принялся вычислять расстояние — пятьсот миль. И, когда «Люнарди» проплыл высоко над кромкою пены, и шум прибоя стал удаляться и

затих, и померкла позади выбеленная лунным светом рыбачья гавань, на меня снизошло блаженное спокойствие.

Я разбудил Далмахоя.

— Смотрите, море!

— Да, похоже. Какое же это?

— Ла-Манш, конечно!

— Да ну? Вы уверены?

— А что такое? — воскликнул Байфилд. Он очнулся и, пошатываясь, шагнул к нам.

— Ла-Манш. Английская земля позади.

— Французская чушь! — не раздумывая, отозвался он.

— Как вам будет угодно,— отвечал я. Что толку с ним спорить?

— Который час?

Я объяснил, что часы мои остановились. Его часы тоже стали, а у Далмахоя их вовсе не было. Мы обшарили карманы все еще бесчувственного Овценога: у того часы остановились без десяти четыре. Байфилд сунул ему часы обратно и, не удержавшись, с отвращением пнул его ногой.

— Приятная компания! — воскликнул он.— И, однако же, я вам весьма признателен, мистер Дьюси. Мы все едва не погибли, и у меня по сей час голова раскалывается.

— Вы только подумайте, Франция! — изумлялся Далмахой.— Это уже дело не шуточное!

— Так, стало быть, и вы наконец-то взяли в толк, что занятие мое не пустая забава!

Держась за канат, Байфилд всматривался во тьму. Я стоял рядом с ним, казалось, проходили часы, и уверенность моя крепла... однако все еще не рассветало. Наконец Байфилд поворотился ко мне.

— К югу видна береговая линия. Это, верно, Бристольский залив, а шар опускается. Выбросьте немного балласта, ежели эти ослы хоть что-нибудь оставили.

Я нашел два мешка с песком и высыпал его за борт. До побережья и вправду было рукой подать. Но шар взмыл вверх как раз вовремя и не задел гряду скал, а пролетел в нескольких сотнях футов над нею. Бурное море билось о скалы; мы едва успели глянуть в грозный серый лик прибоя и взлетели высоко над ревущими волнами. Но мгновение спустя, к нашему безмерному

ужасу, шар уже скользил вдоль черных утесов, едва не задевая их.

— Держитесь! — вскричал Байфилд, и только я успел покрепче вцепиться в канат, как корзина ударилась о скалу. Трах! И все мы повалились друг на друга! Бац! Новый удар тряхнул нас, как горошины в стручке. Я подобрал под себя ноги и стал ждать третьего.

Но его не последовало. Шар бешено крутился вокруг собственной оси и раскачивался из стороны в сторону, но раз от разу все медленнее. Мы поднялись с пола, побросали за борт пледы, плащи, инструменты — все, что попало под руку, без разбору, и шар снова взлетел. Горная гряда, на самую вершину которой мы наткнулись, отступила и пропала из виду, а мы понеслись вперед, в зыбкую мглу.

— Проклятие! — сказал Байфилд.— Неужто эта земля необитаема? Не может этого быть!

И, однако же, насколько мы могли видеть, так оно и было. Нигде ни огонька; на беду и луна скрылась. Добрый час мы неслись сквозь тьму, под однообразные жалобы и причитания Овценога, уверявшего, будто у него сломана ключица.

Вдруг Далмахой вскинул руку. Со всех сторон нас окружала ночь, мы были точно в черном мешке, но высоко в зените трепетали первые вестники рассвета. Мало-помалу свет разливался все шире, нисходил и на нас и, наконец, коснулся далеких горных вершин; из-за них выглянул краешек восходящего солнца и алым потоком разлилась заря.

— Приготовить абордажный крюк! — Байфилд метнулся к веревке, потянул изо всех сил, клапан открылся, и тот же час безликая, окутанная туманом земля рванулась нам навстречу.

Мы падали сквозь солнечный свет, но земли он еще не коснулся. Ощетинившаяся лесами и рощами, она бросилась на нас из ночной тьмы, точно невиданный зверь из своего логова. Меж дерев едва мерцали воды пустынной реки. С древесных вершин как раз под нами взлетели цапли и с пронзительным криком устремились к дальнему берегу.

— Нет, так не годится,— сказал Байфилд и закрыл клапан.— От этих лесов надобно убраться подальше. А это еще что?

Впереди река нежданно разлилась широким сверкающим устьем, которое усеивали стоявшие на якоре корабли. Высокие холмы полукольцом окружали залив; на западе в глубокой впадине ярус за ярусом уходили от воды вверх серые улицы какого-то города, и на розовом фоне зари вился дым из труб. Круглый замок, стоявший на скалистой гряде, увенчивал город с юга, а под скалой белели паруса брига, державшего курс в открытое море.

Мы пронеслись над рейдом к городу, наш абордажный крюк, точно рыба на леске, волочился в какой-нибудь сотне футов над водою. С палуб, задирая голову, на нас глядели люди. С одного корабля спустили шлюпку, думая нас догнать, но, когда она коснулась воды, мы были уже в полумиле от корабля. Удастся ли нам миновать город? По приказу Байфилда мы скинули с себя плащи и приготовились еще раз облегчить шар, если в том будет надобность, но, видя, что ветер переменил направление и нас несет к предместьям и к устью гавани, Байфилд передумал.

— И так и эдак плохо,— объявил он.— Попробуем пустить в ход абордажный крюк. Поручаю его вам, Дьюси, а я займусь клапаном.— И он сунул мне складной нож.— Когда скажу — рубите.

Мы спустились еще на несколько футов и теперь скользили над холмами. Абордажный крюк коснулся земли, мы и глазом моргнуть не успели, как он вспахал какой-то огород и вырвал с корнем десятка два кустов смородины, потом высвободился из них и застрял под стрехами деревянного сарая. Тут нас отчаянно тряхнуло, и шар остановился. Раздался оглушительный треск; я успел подняться с полу и увидел, как сарай рухнул, точно карточный домик, а из-под развалин выскочили две обезумевшие от ужаса свиньи и кинулись наутек прямо по цветочным клумбам. Потом я снова шлепнулся на дно корзины, оттого, что крюк застрял в железных chevaux-de-frise [1] и на сей раз накрепко.

— Держитесь! — завопил Байфилд, ибо корзина дергалась, накренялась и вертелась волчком.— Не руби! А, черт!

---

[1] Рогатина, оборонительное сооружение типа современных противотанковых «ежей» (*франц.*).

Наш канат зацепился за край высокой каменной ограды; рвущийся вверх шар — огромный прекрасный цветок на тоненьком стебельке — навис над мощеным двором... О, ужас! Оттуда, задрав головы и остолбенев от изумления, глядел на нас целый взвод английских солдат в красных мундирах!

Как только я увидел ненавистную форму, нож мой сам метнулся к канату. В две секунды я его перерезал, бессильно поникший было «Люнарди» взмыл вверх — и только они нас и видели. Но предо мною и сейчас отчетливо, словно высеченные резцом скульптора, стоят их лица — простодушные лица деревенских парней — глаза вытаращены, рты разинуты; все до единого совсем еще мальчишки, верно, зеленые новобранцы на учении: вытянулись перед рыжим сержантом, а сержант — сразу видно, ирландец! — взявшись обеими руками за концы, держит за спиной стек и тоже уставился на наш шар. Зрелище это промелькнуло и исчезло, и тут только до моего сознания дошли выкрики Байфилда. А он изрыгал подряд все известные ему английские ругательства и наконец, обессилев, умолк. Пока он переводил дух, я успел вставить:

— Мистер Байфилд, вы открыли не тот клапан. Нас относит, как вы и предвидели, по направлению... ну да, мы уже над открытым морем. Как хозяин этого шара, я предлагаю опуститься на некотором расстоянии вон от того брига; сколько я понимаю, он убавляет паруса, что может означать, по-моему, только одно: нас оттуда заметили и готовятся спустить шлюпку.

Байфилд внял голосу рассудка и, сердито ворча, все же взялся за дело. «Люнарди» скользнул вниз, словно чайка со скалы, и, косо пролетев над бригом с подветренной стороны на расстоянии менее кабельтова, окунулся в воду.

Я говорю «окунулся», потому что спуск этот прошел совсем не так легко, как можно было ожидать. Правда, «Люнарди» держался на воде, но его гнало ветром. Он волочил за собою корзину, точно накренившееся ведро, и мы все четверо, насквозь промокшие и ослепленные летящей пеной и брызгами, ухватились за канаты, за сетку, более того, пытались даже вцепиться ногтями в промасленный шелк оболочки. А шар в этой новой для него стихии, казалось, обуяло какое-то дьявольское зло-

радство. Если мы пытались взобраться на него, он подавался под нами, как пуховая подушка; порою он погружал нас в волны и не давал нам ни секунды передышки, мы даже не могли оглянуться назад. Все же я разглядел одномачтовое суденышко, которое спешило за нами, но оно было еще далеко — более мили с подветренной стороны, и я подивился: неужто капитан брига предоставил ему спасать нас. По счастью, я ошибся. Позади раздался крик, скрип уключин, когда гребцы сушили весла, и чья-то рука ухватила меня за ворот. Так, одного за другим, нас выудили из корзины — редкостный улов! — и выручили «из весьма затруднительного положения, сэр, сроду в такое не попадал»,— как справедливо выразился минутой позже мистер Овценог, уже сидя в шлюпке на банке и протирая очки.

ГЛАВА XXXIV

КАПИТАН КОЛЕНСО

— Но что же нам делать с шаром, сэр? — спросил рулевой шлюпки.

Ежели бы это зависело от меня, я бы, верно, поддался первому нелепому побуждению и попросил его оставить «Люнарди» себе на память, как вознаграждение за труды: до того опостылел мне сей летательный аппарат. Однако же Байфилд велел распороть шов в промасленном шелку и отрезать от шара корзину, которая к тому времени совсем погрузилась в воду, так что поднять ее уже не было никакой возможности. Едва это исполнили, «Люнарди» поник и сделался совершенно послушен. Его привязали к рым-болту на корме шлюпки, и матросы снова взялись за весла.

Зубы у меня стучали от холода. Вся эта спасательная операция заняла немало времени, и еще целая вечность ушла на то, чтобы добраться до брига, который покачивался на волнах; паруса на грот-мачте праздно повисли, ветер надувал только паруса на фок-мачте.

— Все равно как кита на буксире тащим, сэр,— задыхаясь, вымолвил гребец позади меня.

Я круто оборотился. Голос, говор — да и лицо! — были в точности те же, что и у рулевого, но если так

говорить мог бы и англичанин, то уж в чертах его лица не было ничего английского. Эти два матроса поразительно походили друг на друга, точно близнецы, точно гуртовщики Сим и Кэндлиш. Обоим лет под сорок, оба уже с сединой в волосах, вокруг глаз у обоих морщинки, как у всех моряков, принужденных постоянно щуриться, взглядываясь в даль. Я присмотрелся к остальным; трое передних гребцов, хоть и совсем еще юнцы, и чертами лица и сложением до неправдоподобия напоминали старших: те же долговязые фигуры, серьезные продолговатые лица, смуглая кожа и задумчивый взгляд,— иными словами, все тот же Дон-Кихот Ламанчский в разные годы своей жизни. В ушах у всех — и молодых и старых — поблескивали серебряные серьги.

Я раздумывал об этом сходстве, когда раздалась команда «суши весла!», и мы остановились борт о борт с бригом, у самого трапа. Когда я поднялся по трапу, мне протянул руку и учтиво помог ступить на палубу высокий старик, худощавый и сутулый, в свободном синем кителе и парусиновых штанах; судя по достоинству, с каким он держался, то был капитан корабля, а судя по чертам лица — глава этого семейства. Он приподнял фуражку и обратился ко мне весьма любезно, но, как я теперь припоминаю, в голосе его сквозила усталость.

— Рискованное приключение, господа.

Мы подобающим образом его поблагодарили.

— Я рад, что мог быть вам полезен. Тот катер вряд ли подобрал бы вас скорее, чем минут через двадцать. Я уже передал туда сигнал, надеюсь, они доставят вас обратно в Фалмут в целости и сохранности, хоть вы и порядком промокли.

— Мои друзья, конечно, воспользуются столь счастливой возможностью,— сказал я.— Что же до меня, это отнюдь не входит в мои намерения.

Капитан помолчал, словно взвешивая мои слова; они, без сомнения, озадачили его, но он добросовестно силился меня понять. Глаза у него были серые, взгляд удивительно прямой и открытый, как у ребенка, но зрачки какие-то затуманенные, и какая-то в них рассеянность, отчужденность, словно окружающий мир со всеми своими заботами и суетой мало его касается. Странствия научили меня наблюдательности, и я вспомнил, что уже видывал такой взгляд: так смотрят поверх очков глубо-

кие старики, которые зарабатывают свой жалкий кусок хлеба, сидя на краю дороги и разбивая камни.

— Боюсь, что я не совсем вас понял, сэр.

— Ведь это один из знаменитых Фалмутских пакетботов, не так ли? — спросил я.

— И да и нет, сэр. Это и в самом деле был пакетбот и, смею сказать, знаменитый.— Капитан поднял глаза к небу, потом опустил их, и я встретил его взгляд, в котором была какая-то тихая покорность.— Но теперь, как видите, старого вымпела на мачте уже нет. Теперь бриг этот уже не служит государству, он сам по себе, и управляет им частное лицо.

— Так теперь это капер?

— Можно назвать и так.

— Что ж, это мне и того более по вкусу. Возьмите меня с собой, капитан...

— Коленсо.

— Возьмите меня с собою пассажиром, капитан Коленсо. Не скажу «товарищем по оружию», ибо я не силен в тактике морских сражений, вернее, совершенный невежда. Но я могу заплатить...— Тут я поспешно сунул руку в нагрудный карман и еще раз благословил Флору за непромокаемый мешочек.— Прошу прощения, капитан, мне надо бы сказать моему другу два слова с глазу на глаз.

Я отвел Байфилда в сторону.

— Где ваши деньги? Если они размокли в соленой воде...

— Видите ли,— сказал он,— я жертва повышенной кислотности желудка.

— Помилуйте! Да разве я вас про желудок спрашиваю?

— Нет, просто я никогда не поднимаюсь в воздух, не прихватив с собою прочно закупоренного флакона английской соли.

— И вы выбросили соль и сунули в флакон деньги? Вы на удивление находчивы, Байфилд!

Я возвысил голос.

— А вы, мистер Далмахой, я полагаю, спешите воротиться к своим родным, которые по вас, конечно же, стосковались?

— Они-то ничуть не стосковались, но я и вправду к ним спешу,— весело поправил меня этот сумасброд.—

От всех их не слишком доброхотных даяний у меня в кармане осталось восемнадцать пенсов. Но я намерен ехать вместе с Овценогом и попытаюсь заработать на его фокусах. Он будет метать копье всю дорогу от Лендс-Энда до Фортсайда, и ему станут рукоплескать во всех придорожных трактирах и бросать монеты.

— Что ж, попробуем помочь ему добраться до дому, хотя бы из уважения к миссис Овценог.— Я вновь поворотился к капитану Коленсо.— Итак, сэр, берете ли вы меня пассажиром?

— Я все еще полагаю, что вы шутите, сэр.

— Клянусь вам, я совершенно серьезен.

Капитан замялся, потом нетвердой походкой подошел к трапу, наклонился и позвал:

— Сусанна, Сусанна! Поднимись-ка на палубу, сделай милость! Один из джентльменов желает остаться на бриге пассажиром.

Из люка показалась голова немолодой темнобровой женщины; она внимательно меня оглядела. Так взглянула бы поверх живой изгороди на прохожего странника жующая жвачку корова.

— Что это на нем надето? — резко спросила она.

— Это было задумано как бальный костюм, сударыня.

— Ну, тут вы не потанцуете, молодой человек.

— Любезная сударыня, я принимаю и это условие и любые другие, какие вы соблаговолите мне поставить. Я готов подчиниться всем порядкам, установленным на вашем бриге.

Она прервала меня на полуслове.

— Ты сказал ему, отец?

— Н-нет еще. Видите ли, сэр, мне надобно предупредить вас, что это не совсем обычное плавание.

— Что ж, мое путешествие тоже не совсем обычное.

— Возможно, вам будут грозить многие опасности.

— На капере это само собою разумеется.

— Есть даже опасность попасть в плен.

— Натурально, хотя храбрый капитан, конечно же, об этом не задумывается.

И я поклонился.

— А я все же задумываюсь,— отвечал он с некоторой даже горячностью, и на щеках у него проступили

красные пятна.— Мой долг сказать вам, сэр, что мы, весьма возможно, попадем в руки врага.

— Скажи лучше: этого не миновать,— вставила Сусанна.

— Да, не миновать. По совести, я не вправе вас не предупредить.— Он поглядел в глаза дочери, та кивнула.

«Черт бы побрал твою совесть!» — подумал я; во мне нарастало брезгливое презрение к этому старому капитану, который при всей своей благородной наружности держался столь малодушно.

— Ну, выкладывайте,— насмешливо сказал я.— Мы случайно встретимся с французским судном или, предположим, с американским; ведь это и есть наша цель, не так ли?

— Да, с американским. Именно это и есть наша цель.

— И уж тут-то мы себя покажем, я ручаюсь! Ай-яяй! И это бывший капитан пакетбота!

Я прикусил язык; наш разговор вдруг показался мне на редкость нелепым, да и на что он пытается меня толкнуть? Чего ради я разглагольствую перед седовласым моряком на его же собственном корабле и взываю к его доблести! Нет, конечно, меня дурачат, подстрекают самоуверенного профана поучать мастера и знатока своего дела на потеху всем богам и людям. И капитан Коленсо, конечно, исподтишка смеется надо мною и старается только об одном — так или иначе от меня избавиться. Еще минута — и даже Овценог поймет, что надо мной подшутили. А я, признаться, не переношу, когда надо мной смеются; другим это, может быть, и на пользу, во мне же мигом просыпается дух противоречия.

Но ежели капитан Коленсо и потешался надо мною, он весьма умело это скрывал. Со старческой нерешительностью он поглядывал то на меня, то на Сусанну.

— Я ничего более не могу вам объяснить, сэр. Последствия... Я мог бы смягчить их для вас... и все же вам придется рисковать.— Он было умолк, потом принялся меня уговаривать.— Прошу вас, не настаивайте, сэр, очень вас прошу! Я вынужден просто умолять вас об этом, сэр!

— И все же я настаиваю,— отвечал я с поистине ослиным упрямством.— Говорю вам, я не боюсь никаких опасностей. Но ежели вы непременно хотите отправить меня на катере вместе с моими друзьями, придется вам свистать наверх всю вашу команду и пускай стащат меня по трапу силой. Вот вам мое последнее слово.

— Ах, боже мой, боже мой! Скажите, по крайности, сэр, вы не женаты?

— Покуда имею несчастье оставаться холостяком.— И я отвесил поклон Сусанне, но дама эта как раз поворотилась ко мне своей широкой спиною, и поклон мой пропал втуне.— Кстати,— продолжал я,— не будете ли вы столь любезны ссудить мне перо, чернила и писчую бумагу? Я бы хотел переправить на берег письмо, чтобы его сдали на почту.

Сусанна пригласила меня следовать за нею; мы спустились в чисто прибранную, даже щегольскую кают-компанию, где спугнули двух довольно хорошеньких девиц: одна протирала вращающийся стол красного дерева, другая полировала медную дверную ручку. Они собрали свои тряпки, поспешно присели передо мною и исчезли по приказанию Сусанны, а она предложила мне сесть за стол и подала все, что надобно для письма. Кают-компания освещалась широким кормовым иллюминатором; справа и слева двери, тоже красного дерева, по-видимому, вели в спальные каюты; все филенки, не говоря уже о медных ручках и пластинках на дверях, сияли так, что в них можно было смотреться, как в зеркало, и даже бриться. «Но откуда здесь, на борту капера, столько женщин?» — подумал я, пробуя на ногте перо и принимаясь за первое в моей жизни любовное послание.

«Любимая, спешу сообщить тебе, что воздушный шар благополучно спустился и твой преданный Энн находится сейчас на борту...»

— Кстати, мисс Сусанна, как называется ваш бриг?

— Он называется «Леди Нипеан», а я мужняя жена и мать шестерых детей.

— Примите мои поздравления, сударыня,— отвечал я, поклонился и продолжал писать.

«...брига, который называется «Леди Нипеан» и идет из Фалмута в...»

— Простите, сударыня, но куда мы держим путь?

— Кажется, к Массачусетсу.

— Ах, вам так кажется?

Она кивнула.

— Молодой человек, послушайтесь моего совета и ворочайтесь восвояси.

— Сударыня,— сказал я неожиданно для самого себя,— я беглый военнопленный француз.— И тут, сжегши, как говорится, за собою все мосты, я откинулся в кресле, и мы поглядели друг другу прямо в глаза.— Я захватил с собой малую толику денег, но сердце мое осталось там, откуда я бежал,— продолжал я, все так же глядя ей в глаза.— Я пишу это письмо той, кому отдано мое сердце, прекрасной дочери Британии. Что вы на все это скажете?

— Что ж,— задумчиво произнесла Сусанна,— пути господни неисповедимы. Может, для вас так будет легче.

Видно, вся команда на этом корабле изъяснялась загадками. Я снова взялся за перо.

«...к Массачусетсу в Соединенных Штатах Америки, а оттуда я надеюсь незамедлительно перебраться во Францию. У тебя, верно, есть новости, дорогая, но боюсь, они еще не так скоро до меня дойдут. И все-таки даже если тебе вовсе нечего написать мне, кроме этих нескольких слов: «Я люблю тебя, Энн»,— напиши их и передай мистеру Робби, он перешлет письмо мистеру Роумену, а уж тот, может быть, сумеет как-нибудь тайком переправить его в Париж, улица дю Фуар, 16. Письмо надобно адресовать вдове Жюпиль для передачи «капралу, который когда-то хвалил ее белое вино». Она непременно вспомнит: ведь человек, который имел мужество похвалить это вино, стоит того, чтобы о нем помнили, ибо он единственный в своем роде, среди всех французских солдат, второго такого не сыскать. Ежели к тебе явится юнец по имени Роули, можешь всецело положиться на его преданность, но боже тебя упаси довериться его сообразительности. А теперь целую имя «Флора» (шлюпка уже дожидается) и до того часа, когда я приеду за тобою, чтобы уже век с тобой не разлучаться, остаюсь твоим пленником. Энн».

Собственно, у меня была еще причина поскорее закончить и запечатать письмо. Качка, хоть и небольшая, была чувствительна, и в душной каюте голова моя уже

начала кружиться. Я поспешил на палубу и едва успел пожать руки моим спутникам и отдать письмо Байфилду с просьбою отослать его по указанному адресу.

— А если за ваше участие в этом приключении вас потянут к ответу, обратитесь к майору Шевениксу; он сейчас находится в Эдинбургском замке и неплохо осведомлен о моих делах,— сказал я.— Майор — человек чести и не откажется вам помочь. И Далмахой тоже подтвердит, что вы знали меня лишь как мистера Дьюси.

Затем я сунул в руку Далмахою деньги на путевые расходы для него и Овценога.

— Дорогой мой,— забормотал Далмахой,— мне и в голову не приходило... ежели вы совершенно уверены, что это для вас не обременительно... разве что только взаймы... и чертовски любезно с вашей стороны, прямо скажу.

Он заставил катер подождать и написал расписку, в которой именовал меня Лордом, раздающим милостыню, и Казначеем Советуса Крэмондской академии. Тем временем Овценог с чувством пожал мне руку.

— Это было незабываемое путешествие, сэр,— молвил он.— Мне найдется что порассказать супруге, когда я ворочусь домой.

Я подумал, что и у супруги тоже найдется, что ему сказать, и, пожалуй, еще побольше, чем у него. Наконец он спустился на катер, и, когда они отвалили, Далмахой весело нахлобучил ему шляпу чуть не на нос в виде, так сказать, прощального салюта.

— Брасопить реи! Право руля! — скомандовал капитан Коленсо. Команду выполнили, «Леди Нипеан» понемногу стала набирать ход, а я стоял у фальшборта, глядел вслед моим друзьям и пытался уверить себя, что на свежем воздухе мне легчает.

Капитан Коленсо заметил, что я не в своей тарелке, и посоветовал спуститься вниз и лечь; измученный, я ответил какой-то дерзостью, но он ласково взял меня под руку и, словно капризного ребенка, повел вниз. Я прошел через кают-компанию, дверь красного дерева захлопнулась за мною — я был в отведенной мне каюте... И теперь уж на следующие двое суток благоволите оставить меня в сем уединении. Ужасные то были часы.

Но и через двое суток мне было невесело, и я все

еще почти не мог есть. Корабельные дамы заботливо за мной ухаживали и пытались раздразнить мой аппетит легчайшей морской диетой. Матросы ставили для меня кресло на палубе и, проходя мимо, сочувственно и уважительно кланялись. Все как один были неизменно добры ко мне, но при этом до неправдоподобия молчаливы. Бриг и его экипаж окутывала, подобно все густеющему туману, какая-то тайна, и я бродил по палубе, точно в нескончаемом дурном сне, теряясь в самых невероятных догадках. Начать с того, что на борту восемь женщин,— чересчур много для серьезного каперства: и все они дочери, невестки или внучки капитана Коленсо. Что до мужчин — а их было числом двадцать три,— то те из них, кто не носил фамилию Коленсо, прозывались Пенгелли, и почти все, судя по страдальческим позеленевшим физиономиям и неуклюжим движениям,— народ сугубо сухопутный. Походка у них была такая, словно они только что оторвались от плуга, хотя на лицах уже не осталось здорового загара и румянца — отпечатка работы в поле, на свежем воздухе.

Дважды в день, а по воскресеньям трижды, эта престранная команда собиралась на полуюте, обнажала головы, и начиналось богослужение, назвать которое неистовством — значит еще ничего не сказать. Сперва все шло вполне пристойно, капитан Коленсо дрожащим голосом излагал какую-либо главу Священного писания. Но постепенно (и особливо в час вечерней службы) слушатели воодушевлялись и так часто повторяли «аминь», точно открывали беглый огонь. Мало-помалу они доходили до исступления и разражались благодарственными кликами, все более и более разжигая друг друга; они теснились к «кафедре» (ею служил пушечный лафет) и, отчаянно бия себя в грудь, поочередно, наперебой, до хрипоты каялись в грехах, в то время как остальные рыдали, кричали «Еще, еще!» и даже подпрыгивали на месте. «Говори, говори, брат!» — восклицали они. «Вот оно, просветление. Искупаем грехи свои! Душа спасется!» Минут десять, а то и пятнадцать на корабле царило вавилонское столпотворение, он поистине превращался в сумасшедший дом. Затем буйство стихало так же внезапно, как началось, капитан отпускал команду, все расходились по своим обычным делам, и лица вновь становились непроницаемы, разве

лишь слегка подергивались после только что испытанного душевного потрясения.

А еще через пять минут просто не верилось, что все эти люди способны на такие взрывы чувств. Капитан Коленсо, заложив руки за спину, вновь принимался мерить шагами шканцы, по-стариковски волоча ноги и с обычной кроткой рассеянностью оглядывая корабль. Порою он приостанавливался и мягко поучал которого-нибудь неумелого матроса, что неуклюже брасопил реи либо не по правилам вязал морские узлы. Он никогда никого не распекал, редко возвышал голос. Манерой говорить и легкостью, с какою он повелевал людьми, капитан разительно отличался от всех остальных членов своего семейства. Однако же я, кажется, понял, отчего все они столь беспрекословно ему повинуются. Самый неумелый из этих горе-моряков вязал узлы и делал любую работу (как правило, из рук вон плохо) с видом столь серьезным и сосредоточенным, будто решал тем самым иную, куда более сложную и возвышенную задачу.

В середине второй недели плавания мы попали в шторм, нас закружило, завертело, но, по счастью, ненадолго, потому что шторм задел нас только краем; однако же для человека сухопутного и эта недолгая встряска была тяжким испытанием. Уже совсем под вечер я, наконец, высунул нос на палубу и огляделся. Огромные сорокафутовые валы швыряли наш корабль из стороны в сторону, и фальшборт временами так кренился, что, высунувшись из люка трапа, я упирался взглядом в скользящую серую бездну и чувствовал себя как муха на стене. Усталое деревянное тело «Леди Нипеан» неслось вперед по бурным валам, под одним только малым парусом, остальные были туго зарифлены. Капитан приказал убрать брамстеньги и принайтовить орудия в средней части судна, и все же корабль качало так, что кошка и та не удержалась бы на палубе, через которую беспрестанно перекатывались волны. Все попрятались в каюты, наверху оставались лишь капитан да рулевой на полуюте, совсем еще мальчишка — тот самый, что был гребцом на шлюпке, которая нас подобрала. Весь исхлестанный волнами, он мужественно сжимал спицы штурвала и не сводил глаз с рукояти, но по лицу его, бледному, как полотно, видно было, что он ни на миг

не забывает о бушующих вокруг валах На мостике над рулевым возвышался капитан Коленсо в резиновых сапогах и дождевике; он помолодел и весь преобразился; тело легко покачивалось в такт движениям корабля, лицо было спокойное и бодрое, воспаленные от морских брызг глаза чуть сузились, но смотрели зорко и даже сверкали, как у юноши. Чем не герой!

В сердце моем пробудилась горячая симпатия к нему, и на другое утро, когда мы скользили по волнам при умеренном бризе, я воспользовался случаем и поздравил капитана с тем, каким молодцом «Леди Нипеан» показала себя в шторм.

— Да,— рассеянно отозвался он.— Старушка не подвела.

— Надобно полагать, настоящей опасности и не было?

Капитан Коленсо вдруг поднял на меня серьезные глаза.

— Мистер Дьюси, вся моя жизнь — служение господу, и он не потопит судно, которому я вверил свою честь.— И, не давая мне времени понять, что означают эти загадочные слова, он продолжал совсем другим тоном: — Сейчас этому трудно поверить, но в прежние времена моя «Леди Нипеан» была очень шустрая.

— Уж, наверно, быстрота для нее и сейчас — первое дело,— заметил я. Только безнадежно сухопутная крыса, вроде меня, могла вообразить, будто этому старому корыту по силам заниматься каперством, но никак иначе я не умел объяснить себе странности этого корабля.

— У нас нет нужды полагаться на быстроту ее хода.

— Стало быть, вы полагаетесь на ваши пушки?

Я еще и раньше приметил, как заботливо здесь ухаживают за орудиями. Они были медные и сияли не хуже дверных ручек в кают-компании.

— Что ж, мне и прежде случалось на них полагаться,— уклончиво отвечал капитан.— В последний раз — в те поры только еще началась война с Америкой — мы направлялись в Галифакс и в открытом море сошлись с одной шхуной. На ней было двенадцать тяжелых карронад и две длинных пушки, да еще тяжелое орудие на левом траверсе, а у нас, сами видите, восемь карронад и еще вот это орудие, мы их называем «почтовые пушки». Однако же за каких-нибудь два часа мы обратили эту шхуну в бегство.

— И спасли свою почту?

Капитан резко встал (мы с ним сидели на корме на клетках с курами).

— Извините, мне надобно распорядиться,— сказал он и поспешно поднялся по трапу на ют.

Дней, должно быть, через десять, когда я по обыкновению рассеянно бродил по палубе, капитан подошел ко мне и предложил с ним посидеть.

— Я желал бы с вами посоветоваться, мистер Дьюси. Вы, как будто, не обрели еще спасения? Я хочу сказать, вы не принадлежите к нашей вере?

— Какой именно?

— Я и все мое семейство, сэр,— смиренные последователи Джона Уэсли.

— Нет, к этой вере я не принадлежу.

— Но ведь вы джентльмен? — Я поклонился — И во всем, что касаемо чести... Считаете ли вы, сэр, что верноподданным должно повиноваться своему земному повелителю, даже если веления его противны их совести?

— Смотря по тому...

— Речь идет о чести, сэр. Положим, вы поклялись исполнить справедливое... нет, более того, благородное дело, и вам приказывают нарушить клятву. Как тут поступить?

Мне вспомнился злополучный полковник, что бежал из плена, изменив своему слову, и я ответил не сразу

— Может быть, вы выскажетесь яснее? — спросил я наконец.

Капитан не сводил с меня пытливого взгляда. Потом вздохнул, покачал головою и вытащил из кармана маленькую Библию.

— Я не джентльмен, сэр. Я исповедовался во всем перед господом, однако же мне хотелось узнать, как поступил бы на моем месте джентльмен,— продолжал он простодушно.

Длинные нервные пальцы его листали Библию, видно, он хотел отыскать какой-то текст, но передумал, снова вздохнул и закрыл книгу, а через минуту его позвали проверить курс судна.

До сих пор мое уважение к капитану неуклонно росло. Он был ко мне так доброжелателен, так неизменно учтив; он нес бремя скорби — какова бы ни была ее

причина — с такой кроткой покорностью, что я подчас от души жалел его, хоть и клял его самого и всю команду за их противную человеческой природе скрытность.

Но назавтра же это уважение в один короткий миг рассеялось, как дым. Мы сидели в кают-компании за обедом, капитан во главе стола с обычным своим отсутствующим видом рассеянно крошил сухарик, и вдруг на пороге встал Рубен Коленсо, старший сын и первый помощник капитана, и торжественно объявил, что в четырех милях по курсу с подветренной стороны виден парус. Я поднялся за капитаном на палубу. Когда неизвестную шхуну сквозь дымку тумана заметил дозорный, она лежала в дрейфе, но теперь, судя по всему, она готовилась нас перехватить. Было около двух часов дня, видимость отличная, и хотя она была от нас мили за две, я разглядел на ней британский флаг.

— Но это не настоящий английский флаг,— сказал капитан Коленсо, глядя в подзорную трубу. На его старческих, желтовато-бледных щеках заиграл румянец, я почувствовал скрытое волнение всей команды. Что до меня, то я готов был в предстоящей схватке играть незавидную роль мишени; однако же, к моему удивлению, капитан не стал раздавать абордажные сабли, не приказал вытащить из трюмов порох, иными словами, и пальцем не шевельнул, чтобы привести «Леди Нипеан» и своих людей в боевую готовность. Почти все они собрались на палубе, совершенно позабыв про свои пушки, которые еще утром начищали с превеликим усердием. Так мы и шли, ни на дюйм не отклоняясь от курса, и были уже почти на расстоянии выстрела, как вдруг над шхуной взвился звездно-полосатый флаг, и прямо перед нами в воду шлепнулось ядро, должно быть, предостережения ради.

Я во все глаза смотрел на капитана Коленсо. Неужто он намерен сдаться без единого выстрела? Отложив подзорную трубу, он взялся за рупор и словно ждал чего-то; лицо его болезненно подергивалось. Внезапно черное подозрение оледенило меня: да ведь этот человек собирается изменить своей отчизне! Я глянул на грот-мачту: там развевался британский флаг. Я повернул голову и тут скорее почувствовал, нежели увидел вспышку и услышал оглушительный грохот,— озадаченный американский корабль ударил по «Леди Нипеан» из

бортовых орудий так, что ядра пронеслись над самым носом нашего брига. Американцы, разумеется, тоже увидели наш флаг и решили, что мы намерены подойти вплотную, сцепиться с их судном на абордаж.

И тут то ли мой упорный взгляд, то ли гром пушечных выстрелов, уж не знаю, что именно, вывели капитана Коленсо из оцепенения, и когда нас окутало дымом, он выронил рупор и с искаженным лицом побежал к гакаборту отвязывать фал. Предатель совсем позабыл спустить флаг своей страны! Но было уже поздно. Пока он канителился с фалом, по шканцам ударил ружейный залп. Капитан вскинул руки, повернулся на каблуках и повалился навзничь к ногам рулевого, а флаг медленно опустился на него, словно затем, чтобы скрыть его позор.

Тот же час стрельба стихла. Во мне боролись презрение и жалость, влекло коснуться несчастного и обуревало отвращение, но тут какая-то женщина, я не вдруг узнал Сусанну, с воплем метнулась мимо меня и упала на колени перед трупом. Из-под пурпурных складок флага струился тоненький ручеек крови. Он пополз по палубе, приостановился у стыка двух досок и разлился там лужицей престранной формы. Я не сводил с нее глаз. Лужица удивительно напоминала карту Ирландии. Тут я наконец услышал, что мне что-то говорят, повернул голову и увидел рядом тощего американца с квадратной челюстью, который уже успел подняться на бриг.

— Вы что, туги на ухо? Сколько раз повторять вам, что все это неслыханная глупость?

— Я и не думаю это оспаривать, сэр.

— «Леди Нипеан»! Не угодно ли! А кто там под флагом? Капитан? Так я и думал. Убит, а? Что ж, его счастье. А не то я охотно побеседовал бы с ним минут пяток: уж очень мне любопытно, чего ради он все это проделал.

— Что именно?

— Да привел свой корабль в здешние воды,— ведь коммодор Роджерс уже у Род-Айленда, никак не дальше. Видно, не из трусливых был. Ну, а вы какую службу несете на этом дьявольском корыте? Черт меня побери, ну и баб же у вас тут!

И в самом деле, три несчастные женщины, упав на колени, жалобно причитали над телом капитана. Муж-

чины все сдались, у них даже не было оружия, чтобы сложить его к ногам победителей, и теперь их собрали на шкафуте под охраной доброго десятка янки. Один лежал без чувств, двое или трое были в крови (их поцарапало летящими щепками): оказалось, что борт американского корабля — фута на полтора ниже бортов «Леди Нипеан» и американцы почти не причинили вреда тем, кто был на палубе, хотя в корпусе, надобно думать, зияло немало пробоин.

— Прошу прощения, капитан...

— Меня зовут Секкомб, сэр, Олфеус Секкомб, а шхуна называется «Манхеттен».

— Так вот, капитан Секкомб, я на этом бриге пассажир, и мне неизвестно, куда и зачем он направлялся и почему вел себя так постыдно, что я краснею за его флаг, хотя, замечу мимоходом, у меня довольно оснований этот флаг ненавидеть.

— Ну-ну, полноте! Вы просто пытаетесь вывернуться. Впрочем, я вас понимаю, ведь тут пахнет виселицей. А что с почтой, капитан ее утопил?

— Сколько мне известно, тут не было никакой почты.

Он с любопытством оглядел меня.

— А вы не похожи на англичанина.

— Надеюсь, что нет. Я виконт Энн де Керуаль де Сент-Ив, бежал из британской военной тюрьмы.

— Ваше счастье, если вы сумеете это доказать. Ну, мы во всем разберемся.— Он обернулся и крикнул: — Кто тут у вас первый помощник?

Рубену Коленсо разрешили сделать шаг вперед. Он был ранен в голову, и на правой щеке у него запеклась кровь, но шагнул он довольно твердо.

— Отведите его вниз! — приказал капитан Секкомб.— А вы, мистер, как вас там, ступайте вперед меня. Вы поможете мне разобраться во всей этой истории.

В кают-компании он уселся во главе стола и лихо плюнул в дальний угол.

— Итак, сэр, вы первый помощник капитана на этом бриге, верней сказать, были первым помощником?

Пленник стоял между двумя конвоирами и теребил в руках свою вязаную шапчонку.

— Пожалуйста, сэр, скажите, мой отец убит?

— Послушай, Сет, мне тут негде развернуться.

Один из стражей, рослый молодой парень, подошел к иллюминатору и распахнул его. Капитан Секкомб невозмутимо и точно плюнул за борт и только потом ответил:

— Надо думать, убит. Как называется бриг?

— «Леди Нипеан».

— Пакетбот?

— Да, сэр, то есть...

— Ну, вот что, господин первый помощник, Коленсо-младший: отсюда до нок-реи рукой подать, и, чтоб вам не врать лишнего, я сам кое-что вам скажу. В августе прошлого года пакетбот «Леди Нипеан» под командой капитана Коленсо на пути в Галифакс повстречался с капером «Хичкок» близ южных берегов Ньюфаундленда и после двухчасового боя заставил его отойти. Были вы тогда на борту пакетбота?

— Да, при кормовом орудии.

— Отлично. На другой же день у тех же берегов ваш пакетбот повстречался с фрегатом Соединенных Штатов «Президент» под командой коммодора Роджерса и тут же ему сдался.

— Мы потопили почту.

— Верно, приятель. И все-таки этот герой с львиным сердцем обошелся с вами снисходительно, как истинный сын свободной страны.— Теперь голос капитана Секкомба гремел и переливался, точно у прирожденного оратора.— Он увидел, что вы истекаете кровью после вчерашней драки. Он накормил вас, как радушный хозяин дорогих гостей; он не позволил отобрать у вас ни малейшей малости. Более того, вспомните, что он вам пообещал? Он обещал отпустить вашего отца, его команду и пассажиров обратно в Англию на их же корабле, если они поклянутся честью, что возьмут на борт в Англии и доставят в Бостон такое же число американских военнопленных. Ваш отец торжественно поклялся в этом на Библии, и «Леди Нипеан» преспокойно отправилась восвояси, точно ягненок, спасшийся из волчьей пасти, с одним-единственным американским офицером на борту. И как же ответило ваше растреклятое правительство на подобное благородство и доверие? Да так, что распоследний клерк распоследнего стряпчего и тот сгорел бы со стыда. Оно отреклось от своего обещания. Прикрываясь отговоркой, будто никакой обмен военно-

пленными в открытом море не считается законным, вероломный тиран со своими клевретами заставил капитана преступить клятву и задержал бриг, а наш офицер вернулся домой ни с чем. Вашему отцу приказали вновь заняться своим прежним делом, ибо в стране, где людей силою загоняют в матросы, бессмертную душу не ставят ни во что. А теперь, господин первый помощник Коленсо, объясните-ка мне, как у вашего отца хватило наглости подойти на двести миль к берегам, где самое имя его смердит позором?

— Он хотел воротиться, сэр.

— Что-о?!

— Воротиться к вам в Бостон, сэр. Тут вот какое дело, капитан: отец был человек небогатый, а все ж кой-что отложил про черный день. И он не стал больше служить, хоть ему и позволили. Уж больно он маялся, что не сдержал слова. Мы в отце души не чаяли, можно сказать, так и жили одной семьей, хоть старшие уж и сами обзавелись женами да ребятишками, а кой-кто пошел в Редрут, на шахты.

— Ближе к делу.

— А я про дело говорю, капитан. Отец, стало быть, решил воротиться в Бостон. После того боя «Леди Нипеан» уже мало на что годилась. Ее оценили в тысячу двести фунтов, а Почтовое управление уступило ее нам за тысячу сто вместе с пушками, да ремонт стоил фунтов полтораста; счета вон там, в шкафу, сами поглядите. У отца было отложено фунтов пятьсот или малость побольше.

Капитан Секкомб снял ноги со стола, весь подался вперед и даже приподнялся со стула.

— Как?! Вы ее купили?!

— Про то я вам и говорю, сэр! Оно, конечно, отец растолковал бы все куда лучше. Он поведал все господу, а потом и нам всем. Уж больно он маялся, что не сдержал слова. Тут встает моя сестра Сусанна и говорит: «Я так думаю, муженек мой посолидней всех вас, у нас с ним и ферма своя; да ведь и ферму можно продать, а для людей богобоязненных всюду найдется кров. Мы не можем доставить им американских военнопленных, зато можем сами отправиться в Бостон. Поглядела я на этих пленных американцев и так вам скажу: коммодор Роджерс только обрадуется, коли получит нас

заместо них. А уж что он с нами сделает — на то воля божья». Вот как она сказала, сэр. Оно, конечно, мы про это никому ни слова, а говорили, будто идем в Канаду, всей семьей туда переселяемся. А вон того джентльмена подобрали по пути, за Фалмутом, он, небось, вам уже и сам сказал.

Капитан Секкомб уставился на меня, а я на него. Рубен Коленсо все вертел в руках свою шапчонку.

Наконец американец перевел дух и присвистнул.

— Придется повернуть обратно в Бостон и все там доложить, хотя и дороговато это мне встанет. Такое дело решать не кому другому, как коммодору Бейнбриджу. Садитесь, мистер Коленсо.

— Дозвольте, сэр, я выйду на палубу погляжу на отца, покуда меня не заковали в кандалы,—просто сказал пленник.— Это ведь недолго.

— Конечно, сэр сделайте милость. И попросите за меня прощения у дам, я скоро приду. Я тоже хочу отдать вашему отцу последний долг.

И когда Рубен вышел за дверь, капитан Секкомб задумчиво прибавил:

— По-моему, он рассказал чистейшую правду.

И через пять минут, когда мы стояли на шканцах подле мертвеца, он повторил это слово:

— Чистейшей души был человек, сэр, или уж я ничего не смыслю.

Прав ли он, нет ли,— это решать крючкотворам. Я же в своих странствиях по белу свету постиг одну истину: в человеке всегда более величия, нежели в правительстве; подчас он и мудрее и уж всегда честнее. Не приведи меня бог когда-либо решать такую задачу, какая стояла перед старым капитаном пакетбота и под конец стоила ему жизни! Ему пришлось выбирать меж преданностью королю и собственной совестью, и может статься, он совершил ошибку. Но я верю, он всеми силами старался сделать правильный выбор и, поняв, что решение короля позорно, не унизился до такой сделки с совестью. Попав в подобное положение, человек может даже изменить своему отечеству, дабы не уронить его же честь. В надежде, что так оно и было, мы предали тело капитана Коленсо волнам вместе с флагом, который он спустил с нокреи и который уже сослужил свою службу, правую или неправую.

Два дня спустя мы бросили якорь в огромной бостонской гавани, и капитан Секкомб отправился со своими пленниками и с докладом о случившемся к коммодору Бейнбриджу, а тот задержал всю команду у себя до той поры, покуда не снесется с коммодором Роджерсом. Спустя еще несколько недель их всех отослали в Ньюпорт, на Род-Айленд на допрос к Роджерсу, а потом к чести молодой республики, освободили, заручившись единственно их словом; но воротились они после войны в Англию или остались в Америке, приняв ее гражданство,— этого я не знаю. Ко мне судьба оказалась благосклоннее. Коммодор разрешил капитану Секкомбу оставить меня у себя, покуда французский консул не разберется в моем деле, а консул не почел нужным торопиться, и добрых два месяца я гостил в доме капитана. Здесь я познакомился с мисс Амелией Секкомб, весьма достойной молодой особой, которая, как выразился ее любящий папенька, «недурно выучилась по-французски и рада будет обменяться с вами мнениями на вашем родном языке». Но мы с мисс Секкомб недолго изъяснялись по-французски: заметив в ней склонность перейти на куда более пылкий язык взглядов, я взял быка за рога, поведал ей тайну моего сердца и принялся восхвалять Флору. Благородная девушка не пожелала играть в моей одиссее роль влюбленной Навсикаи; она не обиделась, нет, напротив того, сама с жаром принялась помогать мне и так уговаривала отца и все консульство, что второго февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года я уже махал ей на прощание рукою с палубы барка «Шоумат», взявшего курс из Бостона в Бордо.

ГЛАВА XXXV

В ПАРИЖЕ. АЛЕН ВЫКЛАДЫВАЕТ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ

Десятого марта на закате «Шоумат» миновал форт Пуэнт де Грав и вошел в устье Жиронды, а на другое утро в одиннадцать часов бросил якорь чуть ниже Бле под пушками «Регулуса».

Мы поспели как раз вовремя, ибо со дня на день

здесь ожидали прибытия британского флота, идущего на соединение с герцогом Ангулемским и графом Линчем, который готовился изменить трехцветному знамени и передать Бордо в руки Бирсфорда или, если угодно, Бурбонов. Весть о его намерениях уже достигла Бле, и потому, едва ступив на землю милой Франции, я тот же час поспешил в Либурн, вернее, во Фронзак, а оттуда на другое же утро отправился в Париж.

Но война отняла у страны чуть ли не всех лошадей и здоровых кучеров, а потому путешествовать в те дни было так трудно и так подолгу приходилось ждать на постоялых дворах, что я мог бы с таким же успехом пробираться в столицу пешком. Долгих две недели добирался я до Орлеана, а в Этампе, куда я приехал утром тридцатого марта, кучер разбитого дилижанса наотрез отказался ехать дальше. Казаки и прусские войска уже стояли у ворот Парижа.

— Ночью мы видели костры их бивуаков. Вы только послушайте, мсье, сами услышите стрельбу.

Поговаривали, что императрица покинула Тюильри.

— Где же она?

Кучер, содержатель постоялого двора, равнодушные прохожие — все пожимали плечами.

— Может быть, в Рамбуйе.

Никто не знал, что происходит и что будет дальше. Император был то ли в Труа, то ли в Сансе, а может быть, даже в Фонтенбло,— наверно никто не мог сказать. Но беженцы из Парижа текли в Этамп нескончаемым потоком, и сколько я ни рыскал целыми днями по городу, ни за какие блага мира нельзя было нанять коляску и хоть какую-нибудь клячу.

Наконец однажды поздно вечером я наткнулся на колченогую серую кобылу, запряженную в наемный кабриолет, судя по табличке, прибывший из Парижа; она кружила по улицам без всякого смысла и толку, ибо правил ею (если он вообще способен был чем-либо править) изрядно захмелевший кучер. Я кинулся к нему, но он едва не утопил меня в пьяных слезах и многословных жалобах. Оказалось, он двадцать девятого привез из столицы семью какого-то буржуа и последние три дня только и делал, что колесил по Этампу, а ночами спал пьяным сном в своем экипаже. Я обрадовался случаю и посулил хорошо ему заплатить, ежели он

свезет меня в Париж. Он-то на все готов, шмыгая носом, объявил кучер.

— Мне все едино, хоть бы и помереть, потому как, сами знаете, мсье, до Парижа нам нипочем не добраться.

— Все лучше, чем торчать здесь,— отвечал я.

Бог весть почему, ответ мой его до крайности насмешил. Он принялся уверять меня, что я большой смельчак, и предложил немедля садиться. Пять минут спустя мы уже тряслись по дороге в Париж. Правда, мне казалось, что мы не двигаемся с места: серая кобыла насилу переставляла ноги, и с таким же трудом ворочался язык ее хозяина. Он рассказывал мне всяческие басни о трех днях, которые он провел в Этампе. Видно, здешние испытания тяжким грузом легли ему на душу и заслонили все события прежней его жизни. О войне же и о недавних грозах, прогремевших над миром, ему нечего было сказать.

Ежели император и в самом деле был где-то под Фонтенбло, мы вполне могли столкнуться на дороге с его кавалерийским дозором; однако же дорога оказалась пустынна, и перед рассветом, не повстречав ни души, мы благополучно въехали в Лонжюмо. Мы подняли с постели хозяина кабачка, и он, зевая во весь рот, стал уверять, будто мы едем прямиком навстречу собственной гибели, но мы задали корму нашей серой, наглотались премерзкого коньяку и снова пустились в путь. Небо на востоке постепенно светлело, и я все прислушивался, не загремят ли впереди артиллерийские залпы. Но Париж безмолвствовал. Мы миновали Со и подъехали наконец к предместью Монруж и к городской заставе. Ворота стояли настежь, застава была покинута: часового и таможенника и след простыл.

— Где вам угодно сойти, мсье? — осведомился мой кучер и, напрягши память, прибавил, что где-то в мансарде на улице Монпарнас у него есть жена и двое обожаемых малюток и до стойла его кобылы оттуда рукой подать. Я расплатился и, сойдя на пустынный тротуар, проводил его взглядом. Из дверей за моей спиною выскочил мальчонка и с разбегу налетел на меня. Я схватил его за шиворот и строго спросил, что приключилось с Парижем.

— Не знаю,— отвечал малыш.— А мама наряжается, она меня поведет глядеть парад. Tenez! [1].

Он показал пальцем в конец длинной улицы. Оттуда надвигалась колонна пруссаков в синих мундирах — она маршировала через весь Париж, чтобы занять позиции на Орлеанской дороге.

Вот и ответ на мой вопрос. Париж сдался! И я вступил в него с юга как раз вовремя, чтобы увидеть, коли того пожелаю, как с севера вступает в столицу Франции его величество император Александр. Вскорости я смешался с толпою, которая двигалась к мостам, а потом рассыпалась по всему пути следования Александра, от Барьер де Пантен до Елисейских полей, где и должен был состояться грандиозный парад. Я тоже направился туда по набережной и часов около десяти очутился на площади Согласия, но тут престранная сценка заставила меня остановиться.

Посреди площади собралось десятка два молодых людей, судя по одежде и повадке — молодых аристократов. У каждого шея была повязана белым шарфом, а на шляпе красовалась белая кокарда Бурбонов; тощий белобрысый юнец, по-видимому, их предводитель, вытащил из кармана какую-то бумагу и громовым голосом совершенно неожиданным при его хлипком сложении, начал читать:

«При существующих обстоятельствах Парижу предоставлена честь приблизить зарю всеобщего мира! Его присоединение ожидается с тем огромным интересом, какой вполне естественно вызывает столь великая цель...»

И так далее. Позднее мне удалось добыть листок с воззванием князя Шварценберга, и я тот же час узнал это суконное красноречие.

«Парижане! У вас перед глазами пример Бордо!»

Что и говорить, пример весьма наглядный! Белобрысый юнец закончил чтение кличем «Vive le Roi!» [2], и вся шайка, точно статисты по подсказке суфлера, подхватила этот клич. Толпа глядела равнодушно; кое-кто отошел подальше, а седовласый всадник с военной вы-

---

[1] Вон, смотрите! *(франц.)*.

[2] Да здравствует король! *(франц.)*.

правкой в полной форме полковника Национальной гвардии (то был герцог де Шуазель-Праслен, я его сразу узнал) осадил коня и сурово и укоризненно сказал что-то этим буйным молодчикам. Двое или трое из них только пренебрежительно пощелкали пальцами и с вызовом, хотя и не без смущения, повторили: «Vive le Roi!» Однако весь этот спектакль не имел никакого успеха: слишком холодны были зрители. Но тут прискакали еще десятка полтора молодцов голубой крови и постарались хоть немного оживить представление: среди них были Луи де Шатобриан, брат мсье Талейрана, Аршамбо де Перигор, известный подлец маркиз де Мобрей и... да-да, конечно, мой кузен, виконт де Сент-Ив!

Непристойность его появления здесь, его бесстыдная, беззастенчивая наглость обрушились на меня, как удар. Даже в толпе незнакомых людей я залился краскою стыда и едва не бросился бежать. Лучше бы я и вправду убежал! Только случайно он меня не заметил, когда проскакал на чистокровном скакуне, гарцуя и рисуясь, точно оперный тенор, нарумяненный и по обыкновению вызывающе надменный, будто похвалялся своей низостью. На кончике его хлыста красовался белый кружевной платочек, и уже одно это могло взбесить кого угодно. Но когда он поворотил своего жеребца, я увидал, что он по примеру déclassé[1] Мобрея украсил хвост коня крестом Почетного легиона. Тут уж я стиснул зубы и решил не отступать.

— Vive le Roi! Vivent les Bourbons![2]. A bas le sabot corse![3] — кричали они.

Мобрей привез с собою полную корзину белых кокард и нарукавных повязок, и расфранченные всадники принялись разъезжать среди толпы, стараясь всучить их равнодушным зрителям. Ален протиснулся в кучку людей, среди которых был и я, и, когда он протягивал кому-то белую кокарду, взгляды наши встретились.

— Благодарю,— сказал я.— Поберегите ее до тех пор, покуда мы не сойдемся вновь на улице Грегуар де Тур!

Рука его, державшая хлыст с кружевным платочком, дернулась, точно его ужалила змея.

---

[1] Выродок (*франц.*).
[2] Да здравствуют Бурбоны! (*франц.*).
[3] Долой корсиканского бандита! (*франц.*).

Прежде чем рука эта вновь опустилась, я нырнул в самую гущу толпы, и она тот же час теснее сомкнулась вокруг него, ничего не поняв, но дыша угрюмой враждебностью.

— Долой белые кокарды! — закричали сразу несколько голосов.

— Кто этот грубиян? — услышал я голос Мобрея; он уже протискивался сквозь толпу на помощь приятелю.

— Черт побери! Это мой младший родич, ему невтерпеж лишиться головы, а я предпочитаю сам выбрать для этого день и час,— отвечал Ален.

Я понял, что это всего лишь бессильная злоба, и, отойдя на безопасное расстояние, едва не рассмеялся. Однако же встреча наша отбила у меня охоту глазеть на парад; я поворотил назад, вновь перешел мост и направился на улицу дю Фуар, к вдове Жюпиль.

Улица дю Фуар знавала лучшие времена, ныне же это был просто жалкий закоулок из тех, что все свои отбросы спускают по одной-единственной канаве в Сену, ну, а вдова Жюпиль не отличалась красотою даже в те дни, когда она следовала как маркитантка за сто шестым стрелковым полком еще прежде, чем женила на себе Жюпиля, сержанта того же полка. Но мы с нею свели дружбу, когда я был легко ранен на сторожевом посту у Альгуэдэ, и с той поры я приучился не замечать, что белое вино у нее кислит, ибо помнил, как сладостны были мази и притирания, которыми она смягчала боль моей раны; поэтому, когда при Саламанке сержанта Жюпиля сразила картечь и его Филумена, покинув войска, взяла на себя заботу о винной лавке его матушки на улице Фуар, мое имя она внесла в список будущих покупателей одним из первых. Я чувствовал, что благополучие ее дома в какой-то малой мере зиждется и на мне. «Право же,— думал я, пробираясь по зловонной улочке,— солдату Империи совсем не худо иметь в эти дни в Париже хотя бы такое прибежище».

Мадам Жюпиль вмиг меня признала, и мы (разумеется, не в прямом смысле слова) кинулись друг другу на шею. В лавке не было ни души, жители всем кварталом отправились смотреть парад. После того как мы (опять-таки в переносном смысле) пролили слезу о прискорб-

ном непостоянстве французской столицы, я спросил, нет ли для меня писем.

— Увы, нет, camarade.

— Ни одного? — воскликнул я, и, верно, лицо у меня сильно вытянулось.

— Ни единого.— Мадам Жюпиль лукаво взглянула на меня и смягчилась.— Мадемуазель, видать, больно опаслива.

Я вздохнул с облегчением.

— Ах вы, коварная женщина! Объясните же!

— Да вот, дней десять назад приходит ко мне какой-то незнакомый человек и спрашивает, нет ли у меня каких вестей от капрала, который хвалил мое белое вино. А я говорю: «Какие уж известия от иголки в стоге сена? Мое вино все как есть хвалят». (Ах, мадам Жюпиль, мадам Жюпиль!) А он мне и говорит: «Я про того капрала, которого зовут или звали Шандивер». Тут я как закричу: «Как так звали! Да неужто он помер?» — И, честно вам скажу, даже слеза меня прошибла. А он отвечает: «Нет, мол, не помер, и вот вам лучшее тому доказательство, скоро он самолично явится сюда, к вам, и будет спрашивать, нет ли ему писем. Тогда вы должны ему сказать что, ежели он ждет письма от...— Постойте-ка, я записала имя на бумажке и сунула ее в бокал... вот она...— от мисс Флоры Гилкрист, так пускай ждет в Париже, покуда его доброжелатель не сумеет передать ему письмо в собственные руки. А ежели он станет вас про меня расспрашивать, скажите, мол, я приходил от...— Постойте-ка, я и это имя записала... да, вот оно...— от мистера Роумена».

— Черт побери все эти предосторожности! — вскричал я.— А какой с виду этот человек?

— Степенный такой мужчина, волосы темные, и обхождение вежливое. Похоже, управляющий либо дворецкий, а то и помощник нотариуса; одет эдак просто, весь в черном.

— И хорошо он говорил по-французски?

— Куда уж лучше!

— А больше он не приходил?

— Как же, приходил, всего только позавчера и, видать, разогорчился, что вы еще не приезжали. Я спросила, может, он хочет еще что вам передать, а он сперва сказал — нет, а потом говорит: передайте, мол, на севере все идет хорошо, только пускай из Парижа никуда не уезжает, покуда мы с ним не свидимся.

Вы, верно, догадываетесь, как я клял мистера Роумена за его чрезмерную осторожность. Если на севере все идет хорошо, с какой же стати он не передает мне письмо Флоры? Да и вообще, раз я в Париже, как оно мне может повредить? Я уж готов был махнуть рукою на всякое благоразумие и немедля ринуться в Кале. Однако же распоряжение адвоката было ясно и недвусмысленно, и на то, без сомнения, имелась своя причина, хотя и изъяснялся он, по своему излюбленному обычаю, загадками. Да и посланный его мог воротиться в любой час.

Вот почему, хоть это было мне сильно не по душе, я почел за благо остановиться у мадам Жюпиль и запастись терпением. Вы, верно, скажете, что не так уж трудно было убить время в Париже в те дни — между тридцать первым марта и пятым апреля тысяча восемьсот четырнадцатого года. Вступление в столицу союзников, неслыханное предательство Мармонта, отречение императора; на улицах повсюду казаки, редакции газет под началом новых редакторов гудят, как ульи, и с утра до ночи сообщают парижанам самые противоречивые сенсации; в каждом кафе новые слухи, на каждом углу драки или скандалы; нескончаемый поток манифестов, плакатов, афиш, карикатур, листовок с оскорбительными стишками... Все это доносилось до меня будто сквозь сон, и долгими часами я бродил по улицам, поглощенный лишь своими чаяниями и недоумениями. Пожалуй, то было не просто себялюбие, скорее глубокое отвращение заставляло меня в те дни чувствовать себя чужим в своей стране. Если этот Париж — действительность, тогда сам я лишь призрак, пришелец из другого мира, тогда и Франция — та Франция, за которую я сражался, а родители мои взошли на эшафот,— тоже только призрак, страна, что никогда и не существовала, а патриотизм наш — лишь тень бесплотной тени. Не судите меня слишком сурово, если за пять дней беспокойных, бесцельных скитаний я перешел мост, ведущий из страны, где у меня не осталось ни родных, ни друзей, а одно лишь бесплодное прошлое, в страну, где, по крайности, одна живая душа нуждалась в моей любви и преданности.

На шестой день — то было пятое апреля — терпение мое лопнуло. В ресторане за бутылкой «Божоле» и зав-

траком я наконец решился, прямиком отправился к себе на квартиру, попросил у мадам Жюпиль чернила, перо, бумагу и уселся за стол, чтобы известить мистера Роумена, что к худу ли, к добру ли, но через сутки после получения сего письма я буду у него в Лондоне.

Не успел я дописать первую фразу, как в дверь постучали, и мадам Жюпиль объявила, что меня желают видеть два господина.

Сердце мое заколотилось.

— Пусть войдут,— отвечал я, откладывая в сторону перо. И через мгновение в дверях появился... мой кузен Ален!

Он был один. Взгляд его скользнул по моему лицу, перешел на письмо, и он понимающе усмехнулся, подошел ближе, положил шляпу на стол подле письма, снял перчатки, подул в них и тоже положил на стол.

— Кузен,— начал он,— время от времени вы проявляете редкостное проворство, а впрочем, охотиться за вами проще простого.

Я поднялся.

— Сколько я понимаю, у вас ко мне неотложное дело, ежели в разгар бурной политической деятельности вы не пожалели трудов, разыскивая меня. Но соблаговолите изъясниться кратко.

— Никакого труда это не составило,— любезно возразил Ален.— Я с самого начала знал, что вы здесь. По правде сказать, я ожидал вас сюда еще ранее, чем вы прибыли, и посылал своего слугу Поля с известием для вас.

— С известием?

— Да, разумеется,— касательно письма от la belle Flora [1]. Вы его получили? Я имею в виду известие.

— Так это был не...

— Нет, натурально, то был не мистер Роумен, которому вы...— он вновь кинул взгляд на письмо,— ...от которого вы, как я вижу, письменно требуете объяснений. И поскольку вы уже готовы спросить, как мне удалось проследить ваш путь сюда, в эту мерзкую дыру, позвольте вам сообщить, что дважды два четыре и что, когда полиция идет по следу преступника, она не преминет вскрывать его корреспонденцию.

[1] Прекрасной Флоры *(франц.)*.

Я стиснул спинку стула внезапно задрожавшей рукой, но сумел совладать с собою настолько, что голос мой был тверд, когда я ответил:

— Два слова, мсье виконт, прежде, нежели я доставлю себе удовольствие вышвырнуть вас в окно. Вы на пять дней задержали меня в Париже и добились этого, по вашему собственному признанию, при помощи самой обыкновенной лжи. Превосходно. Быть может, вы будете столь любезны и завершите сие любопытное саморазоблачение, объяснивши мне, для чего вам это понадобилось?

— С превеликим удовольствием. Пять дней назад мои планы были еще не совсем ясны, недоставало одной мелочи, только и всего. Теперь и эта мелочь у меня в руках.

Он придвинул себе стул, подсел к столу и вынул из нагрудного кармана сложенный лист бумаги.

— Возможно, вы еще не знаете, что наш дядюшка — наш горько оплакиваемый дядюшка, если угодно,— вот уже три недели как скончался.

— Упокой, господи, его душу!

— С вашего разрешения, я не присоединюсь к этой благочестивой надежде.

На миг Ален запнулся, потом злоба все же одержала в нем верх, и он оскорбил память дядюшки непристойной бранью, лишний раз обнажив ничтожество своей души. Затем, спохватившись, продолжал:

— Мне нет нужды напоминать вам некую сцену (на мой вкус, чересчур театральную), которую его поверенный разыграл у его смертного одра; нет нужды также повторять суть его завещания. Но, быть может, вы забыли, что я тогда же честно предупредил Роумена о своих намерениях. Я обещал возбудить дело о незаконном давлении на умирающего и предупредил, что у меня есть тому свидетели. С тех пор у меня их даже прибавилось, но, признаюсь, доказательства мои станут еще весомей после того, как вы любезно подпишете бумагу, которую я имею честь вам предъявить.— И он швырнул мне ее через стол.

Я взял бумагу и развернул ее. Она гласила:

«Я, виконт Энн де Керуаль де Сент-Ив, прежде служивший в армии Бонапарта под именем Шандивер и позднее под тем же именем заключенный в качестве военнопленного в Эдинбургский замок, настоящим удосто-

веряю, что я не был знаком с моим дядюшкой графом де Керуалем де Сент-Ивом, ничего от него не ожидал и не был им признан как племянник до той поры, пока меня не разыскал в Эдинбургском замке мистер Дэниел Роумен, который снабдил меня деньгами, чтобы устроить мой побег из замка, потом тайно меня оттуда похитил ночью и увез в Эмершем. Далее, я никогда в глаза не видал своего дядюшки как до того вечера, так и после; а когда я его видел, он был прикован к постели и, по всей видимости, уже в состоянии крайнего старческого слабоумия. У меня есть основания полагать, что мистер Роумен не полностью ознакомил его с обстоятельствами моего побега и в особенности утаил от него, что я причастен к смерти моего сотоварища по заключению, некоего Гогла, бывшего кавалерийского унтер-офицера двадцать второго стрелкового полка...»

Полагаю, этого довольно, чтобы дать понятие об этом несравненном документе. То было с начала и до конца сплетение лжи, искаженных фактов и порочащих меня намеков. Я прочитал все до последнего слова и бросил бумагу на стол.

— Прошу прощения,— сказал я.— Но что, по-вашему, должен я с этим сделать?

— Подписать,— отвечал Ален.

Я рассмеялся.

— Еще раз прошу прощения, но, хоть вы и разряжены под стать, здесь все же не комическая опера.

— И тем не менее вы это подпишете.

— Вот докука.— Я уселся в кресло и закинул ногу на подлокотник.— Ну, а ежели я не подпишу? Ведь вы, как я разумею, предлагаете мне какой-то выбор?

— Без сомнения,— весело отвечал он.— Внизу ждет мой спутник, некто Клозель, а несколько далее по этой улице, у «Золотой головы»,— наряд полиции.

Приятное положение, нечего сказать! Но если вначале Ален еще мог надеяться запугать меня, застав врасплох (я-то отнюдь этого не признаю!), то он быстро испортил дело тем, что отчаянно меня бесил.

Я смотрел на него в упор, мысль моя лихорадочно работала, и чем дальше я размышлял, тем более уверялся, что в игре его есть какое-то уязвимое место, которое мне и надобно отыскать.

— Вы напомнили мне, что предупредили тогда ми-

стера Роумена. Конечно, предмет сей слишком гадок, чтобы двум отпрыскам нашего рода его касаться, однако же не угодно ли вам вспомнить, чем пригрозил в ответ мистер Роумен?

— Он просто пытался взять меня на испуг, молодой человек. И в ту минуту, признаться, он кое-чего достиг. Я и вправду растерялся. Эта гнусная, оскорбительная, ни на чем не основанная угроза на миг меня ошеломила.

— Так, стало быть, она ни на чем не основана?

— Вот вам лучшее тому доказательство: Роумен мне угрожал, а я открыто презрел его угрозу, и, однако же, он до сей поры палец о палец не ударил, чтобы привести ее в исполнение.

— Вы хотите сказать, что дядюшка уничтожил все доказательства?

— Ничего подобного я сказать не хочу,— горячо возразил Ален.— Таких доказательств попросту никогда и не существовало!

Я не сводил с него глаз.

— Ален,— сказал я спокойно,— вы лжец.

Лицо его под слоем румян и белил густо покраснело. Он грубо выбранился и, запустив два пальца в жилетный карман, вытащил оттуда свисток.

— Еще одно оскорбление — и я свистну полицию.

— Ну-ну, продолжим нашу беседу. Так вы говорите, этот ваш Клозель донес на меня?

Ален кивнул.

— Да, дешевы сейчас в Париже солдаты Империи.

— Столь дешевы, что публика будет только рада, если все Шандиверы перебьют всех Гогла и угодят за это под расстрел или на виселицу — не помню уж, что вам полагается по закону, да и публике, как я подозреваю, это все равно.

— И все же,— сказал я задумчиво,— такие дела делаются не вдруг. Наверно, сначала будет какой-то суд, допрос свидетелей и прочее. Может случиться даже, что меня оправдают.

— Я предвидел и такой маловероятный случай и решил им пренебречь. Откровенно говоря, трудно себе представить, чтобы английские присяжные отдали поместья графа де Керуаля де Сент-Ива беглому арестанту, бывшему солдату Бонапарта, которого судили за убийство товарища и оправдали только за недостатком улик.

— Позвольте мне приоткрыть окно,— сказал я.— Нет, уберите свисток. Я не собираюсь выкинуть вас в окно — по крайности, еще не сейчас — и удирать тоже не стану. Попросту, когда вы здесь, мне не хватает свежего воздуха. Итак, мсье, вы уверяете, что у вас на руках козырной туз. Что ж, ходите с него. Прежде чем порвать эту дурацкую бумажонку, я хочу взглянуть на вашего сообщника.

Я шагнул к двери и крикнул вниз:

— Мадам Жюпиль, будьте добры, попросите моего второго посетителя подняться сюда!

Потом подошел опять к окну и стал смотреть на зловонную канаву, по которой стекали в Сену отходы какой-то красильни. И тут на лестнице послышались шаги.

— Прошу извинить за вторжение, мсье...

— Как?! — Я оборотился на этот голос так стремительно, точно в спину мне выпалили картечью.— Мистер Роумен!

Ибо в дверях стоял вовсе не Клозель, а именно этот достойный джентльмен. И поныне я не знаю, кто из нас более изумился — я или Ален, хотя изумление наше, конечно же, было совершенно разного свойства.

— Мсье виконт недавно устроил некую подмену,— продолжал Роумен, подходя ко мне.— Я взял на себя смелость сделать то же самое, и мсье Клозель сейчас выслушивает внизу кое-какие доводы моего доверенного секретаря мистера Даджена. Пожалуй, я могу вам обещать,— он хмыкнул,— что Клозель найдет их вполне убедительными. По вашим лицам, джентльмены, я вижу, что мое появление кажется вам едва ли не чудом. А ведь мсье виконт уж, во всяком случае, должен был бы догадаться, что ничего не может быть проще и естественнее. Я дал вам слово, сэр, что буду за вами следить. Не нужно быть ясновидцем, чтобы предусмотреть, что, когда мы узнаем про ваши переговоры об обмене заключенного Клозеля, мы станем приглядывать и за ним. Мы последовали за ним в Дувр и, хоть, к сожалению, не попали на тот же корабль, но добрались до Парижа как раз вовремя, чтобы увидеть, как вы оба нынче утром выходили из вашей квартиры... Ну, а зная, куда вы направляетесь, мы и на улицу Фуар тоже поспели как раз вовремя, чтобы увидеть, как вы расставляете свои силы. Но я, кажется, слишком забегаю вперед. Мистер Энн, мне поручено передать вам письмо. Когда вы его прочтете, мы с разрешения мистера Алена еще немного побеседуем.

Он подал мне письмо, отошел к камину и засунул в нос внушительную понюшку табаку, Ален же злобно уставился на него, точно бульдог, готовый вцепиться ему в горло.

Я распечатал письмо, наклонился и поднял выпавший из него еще какой-то листок.

«Любезный мой Энн, когда я получила твое письмо и впервые вздохнула с облегчением, я тут же села и написала на радостях ответ, которого никогда не покажу тебе. Я даже удивляюсь на себя, неужто я такое написала. Но потом я отнесла его мистеру Робби, и он попросил показать ему твое письмо и, когда увидел обертку, тот же час объявил, что письмо кто-то вскрывал раньше и, если я напишу тебе, что мы для тебя делаем,— это окажется только на руку твоим врагам. А кое-что мы уже сделали, и имей в виду, этим письмом (чисто деловым!) я хочу сказать тебе, что не вся заслуга тут принадлежит мистеру Робби и твоему мистеру Роумену (судя по описанию мистера Робби, это, кажется, довольно нудный старикашка, хоть он, без сомнения, желает тебе добра). Но во вторник после твоего отъезда у меня был разговор с майором Шевениксом и, когда я сказала ему, что мне его очень жаль, но надеяться ему не на что, он заговорил совсем по-другому, и я поневоле стала уважать его еще больше: он сказал, что хочет единственно моего счастья и докажет это. Он сказал, что все обвинения против тебя может разбирать один только военный суд,— и он уверен—у него есть на то веские причины,— что ты вынужден был драться на дуэли, значит, это было дело чести, а совсем не то, что они там говорят, и он готов не только сам дать об этом письменные показания под присягой, но и этого Клозеля отлично знает и заставит рассказать все начистоту. И майор все это исполнил на другой же день и заставил Клозеля тоже подписать показания, и у мистера Робби есть копия этого признания, и он ее посылает вместе с моим письмом в Лондон мистеру Роумену, и поэтому теперь Роули (что за милый мальчик!) пришел ко мне и ждет в кухне, покуда я закончу эти торопливые строки. Он также говорит, что майор Шевеникс едва-едва успел все это

сделать, потому что покровители Клозеля исхлопотали для него обмен на военнопленного англичанина и он уезжает обратно во Францию. А теперь я спешу кончить, и остаюсь

твой преданный друг

Флора.

P. S. Тетушка здорова. Рональд ждет офицерского патента.

Ты *просил меня написать это, и я повинуюсь:* «Я люблю тебя, Энн».

Выпавшая из письма записка была написана крупным неровным почерком. Она гласила:

«Дорогой мистер Энн, глубокоуважаемый сэр. Надеюсь, вы в добром здравии, как и я, и все хорошо, и мисс Флора, должно, пишет вам, подлюга Клозель сознался. Еще сообщаю Вам: мисс Макр. жива-здорова, одна беда: на уме у ней все церковь да Библия, но как она вдова, уж я-то ее судить не стану. Мисс Флора говорит — она положит мою записку в свое письмо, и есть еще кой-что, только это страшный секрет, и больше я ничего не скажу, сэр, и остаюсь.

с почтением

ваш

Дж. Роули».

Я прочел оба письма, положил их в нагрудный карман, потом шагнул к столу и с серьезным видом подал Алену его бумагу, затем поворотился к мистеру Роумену, и тот с треском захлопнул свою табакерку.

— Теперь, я полагаю, остается лишь обсудить условия, которые — исключительно по нашему великодушию или, скажем, для поддержания чести рода — мы можем предложить вашему... мистеру Алену,— сказал поверенный.

— А я полагаю, вы забываете о Клозеле,— огрызнулся мой кузен.

— Ваша правда, я совсем забыл о Клозеле.— Мистер Роумен вышел на лестницу и крикнул вниз: — Даджен!

Появился мистер Даджен и отвесил столь холодный и чопорный поклон, словно желал меня уверить, будто это вовсе и не он вальсировал со мною в лунном свете.

— А где же этот Клозель?

— Право, затрудняюсь вам ответить, сэр, ибо не знаю, в каком конце улицы находится винный погребок «Золотая голова». Но полагаю, что в том, ибо сточная канава ведет в противоположную сторону. Именно в том направлении минуты две назад исчез и мистер Клозель.

Ален вскочил и поднес к губам свисток.

— Положите ваш свисток,— посоветовал мистер Роумен.— Мошенник вас просто надул. Можно лишь надеяться,— добавил он с кислой усмешкой,— что вы заплатили ему не наличными, а только распиской.

Но, припертый к стене, Ален все не сдавался.

— Видно, от вас ускользнуло одно пустячное обстоятельство, почтенный адвокат, или вы храбрее, чем я думал. Англичане сейчас у парижан не в чести, да и квартал этот не отличается деликатностью. Стоит разок свистнуть, крикнуть: «Английские шпионы!» — и двое англичан...

— Скорее трое,— прервал его мистер Роумен и подошел к двери.

— Мистер Берчел Фенн, не соблаговолите ли подняться к нам?

И на этом позвольте мне остановиться. Есть на свете вещи, по крайности, так я полагаю, столь презренные и жалкие, что они недостойны описания; таково было и падение Алена. Возможно также, что истинно британское чувство справедливости, присущее мистеру Роумену, на этот раз ему изменило, если он позволил себе прибегнуть к такому беспощадному оружию. Про Фенна скажу только, что этот сладкоречивый негодяй вступил в комнату так гордо и самоуверенно, точно давно уже намеревался исполнить свой долг перед обществом и лишь неблагоприятные обстоятельства помешали ему сделать это ранее. Он раболепствовал перед мистером Роуменом, потому что у того в руках оказалась вся цепь его преступлений. Он даже с каким-то подобострастным пылом спешил выдать своего собрата-изменника. Я убежден, что, ежели бы ему как следует пригрозили, он предал бы и родную мать. У здоровяка Даджена рот дергался, как у бультерьера при виде землеройки. Ален очутился между молотом и наковальней, у него не осталось никакой надежды на спасение. И, уже не в первый

раз, я невольно едва не посочувствовал своему кузену: свирепость, с какою на него обрушились его противники, была мне отвратительна. По-видимому, мистер Роумен впервые напал на след Алена именно через Фенна, и этот закоренелый негодяй утаил тогда некоторые сведения и готов был продать их теперь «любому джентльмену, который предаст забвению мое прошлое, ибо меня совратили с пути истинного». И вот, видя, что Ален окончательно разбит и унижен, я вмешался в разговор, выставил за дверь Берчела Фенна и вернул беседу в спокойное, деловое русло. Кончилось тем, что Ален отказался от всех своих притязаний и принял от меня шесть тысяч франков ежегодного содержания. Мистер Роумен поставил условием, чтобы нога Алена никогда более не ступала на английскую землю, но мне это показалось излишней предосторожностью: я знал, что, ежели он высадится в Дувре, и суток не пройдет, как его арестуют за долги.

— Отлично поработали,— с удовлетворением заметил поверенный, когда мы вышли на улицу.

Я промолчал.

— А теперь, мистер Энн, ежели вы окажете мне честь отобедать со мною, скажем, у Тортони, мы заглянем по пути в мой отель «Четыре времени года», что за префектурой, и закажем коляску четверней.

ГЛАВА XXXVI

Я ЕДУ ЗА ФЛОРОЙ

И вот я лечу на север на крыльях любви, отягощенный лишь присутствием мистера Роумена. Впрочем, этот достойный муж взобрался в коляску с видом отнюдь не столь постным, как обычно. Он — и это вполне простительно — откровенно торжествовал победу. В сумерках я различал, что он то и дело улыбается про себя или же, набрав полную грудь воздуха, воинственно отдувается. А как только мы миновали заставу Сен-Дени, он заговорил, и уж тут-то в полной мере раскрылось красноречие нашего семейного стряпчего. Он откинулся на спинку сиденья с видом человека, который по меньшей мере способствовал воцарению мира в Европе да еще вдобавок отлично пообедал. Одним взмахом зубочистки он в пух и прах разбивал вражеские бастионы, ехидно разглагольствовал об отречении императора, об измене герцога Рагузы, о будущем Бурбонов и характере мсье Талейрана, подтверждал свои умозаключения случаями и примерами, может быть, не слишком достоверными, зато весьма пикантными.

Когда мы проезжали Ла-Шапель, мистер Роумен вытащил табакерку и протянул ее мне.

— Вы что-то молчаливы, мистер Энн.

— Я все жду, когда вступит хор,— отвечал я.— «Правь, Британия»... Начинайте, не стесняйтесь!

— Что ж, надеюсь, эта мелодия скоро и вам станет родной,— возразил он.

— Нет, уж, пожалуйста, не торопите меня, мой дорогой! Я видел, как в Париж входили казаки и как парижане нацепляли на своих пуделей кресты Почетного легиона. Я видел, как они поднимали какого-то негодяя на Вандомскую колонну, чтобы тот разбил бронзовую голову героя Аустерлица. Я видел, как весь зал Оперы стоя рукоплескал жирному горлодеру, который пел хвалу пруссакам, да еще на мотив «Да здравствует Генрих Четвертый!». Я видел также на примере моего кузена, на что способны отпрыски благороднейших родов Франции. Но видел я также и крестьянских пареньков, совсем еще зеленую молодежь, рекрутов последнего набора,— скошенные картечью, они через силу приподнимались, чтобы с последним вздохом воздать хвалу Франции и маленькому человеку в сером сюртуке. Без сомнения, мистер Роумен, пройдет время, и в памяти моей эти крестьянские парни смешаются с аристократами, а их матери — со знатными посетительницами Оперы; без сомнения, пройдет время —и я окажусь мировым судьей и правой рукою главы графства Бакингем. Вы не ошиблись: я меняю свою родину, ведь я сейчас ей не нужен. Но во имя ее я искал и нашел самое лучшее, что есть на моей новой родине,— нашел в заточении, в темнице. И потому повторяю: не торопите меня.

Я пошарил в кармане, достал трутницу, серную спичку и зажег потухшую сигару.

Спутник мой пощелкал языком.

— Придется провести вас в парламент, мистер Энн. Вы прирожденный оратор.

Понемногу поток красноречия мистера Роумена стал иссякать, а когда мы миновали Сен-Дени, он нахлобучил поглубже дорожную шапочку, уселся поудобнее и задремал. Я же, сидя с ним рядом, и не помышлял о сне. Весенняя ночь была прохладна, ветер относил назад пар от дыхания лошадей, и он затуманивал фонари нашей коляски и вставал завесой между мной и форейторами. А в вышине, над черными шпилями выстроившихся в ряд тополей, двигались полчища звезд. Взгляд мой устремился вверх, к Полярной звезде — знамени этого безмолвного парада, и к Кассиопее, что повисла под нею на севере, над самым горизонтом, над изголовьем моей Флоры — моей Полярной звезды и цели моих странствий.

Мысли эти успокоили меня, и я тоже задремал; вообразите же мое удивление и досаду, когда, пробудясь, я ощутил томительную тоску и тревогу.

С каждым часом на душе у меня становилось все неспокойнее. И на пути от Амьена до побережья мистеру Роумену, должно быть, пришлось со мною не сладко. На постоялых дворах я, не жуя, проглатывал, что подавали, и беспрестанно требовал, чтобы поскорее сменили лошадей. В коляске я то и дело подскакивал, как рыба на горячей сковороде. Я проклинал все на свете: мне казалось, мы еле тащимся. Я издевался над табакеркой мистера Роумена, и когда мы наконец прибыли в Кале, дело едва не кончилось дуэлью, ибо я требовал, чтобы он тут же на дюнах с оружием в руках доказал свое право каждую понюшку превращать в некий торжественный обряд. По счастью, пакетбот уже готов был отчалить, и мы второпях погрузились на борт. На ночь мы заняли отдельные каюты, и неугомонные, бурные воды Ла-Манша укачали меня, смыли с души моей желчь и досаду, и я забылся на своей койке, безвольный, словно тряпка, послушная дуновению любого ветерка.

Туманным утром мы сошли на берег в Дувре, и тут мистер Роумен приготовил для меня сюрприз. Ибо в толпе носильщиков и зевак я углядел ни много ни мало — сияющую физиономию мистера Роули! Поверьте мне, от одного ее вида безжизненно-серые холмы Альбиона окрасились для меня в розовый цвет! Я едва не бросился ему на шею. А мой верный слуга поминутно

снимал шапку и, не говоря ни слова, расплывался в восторженной улыбке. Позднее он признавался мне, что «тут уж было либо держать язык за зубами, сэр, либо кричать «Ура!». Он выхватил у меня из рук саквояж и повел нас сквозь толпу прямиком в гостиницу завтракать. Видно, все время, что Роули пробыл в Дувре, он направо и налево кричал о том, какие важные прибывают гости, ибо хозяин гостиницы, отвешивая подобострастные поклоны, вышел приветствовать нас на крыльцо, и, едва мы переступили порог, все столь почтительно смолкло, что сам герцог Веллингтонский и тот был бы польщен; лакеи же, кажется, с радостью стали бы на четвереньки, если б только это не мешало им подавать на стол. Наконец-то я почувствовал себя важной персоной, знатным британским землевладельцем, и, когда после завтрака мы сквозь строй кланявшихся слуг выходили на крыльцо, у которого нас ждала карета, я изо всех сил старался держаться, как подобает столь высокой особе.

— Это еще что! — воскликнул я, увидев экипаж, и вопросительно взглянул на Роули.

— С вашего позволения, сэр, я взял на себя смелость заказать такой цвет. Надеюсь, сэр, вы на меня не прогневаетесь.

— Малиновый, а колеса зеленые... в точности такой же, только дырки от пули не хватает.

— На это я уж не осмелился без спросу, мистер Энн.

— Мы воюем все под тем же флагом, дружок.

— И уж на этот раз добьемся своего и победим, сэр, чтоб мне посинеть и почернеть!

Пока мы катили на первых перекладных к Лондону — я и мистер Роумен в карете, а Роули на запятках,— я рассказал поверенному, как мы ехали из Эйлсбери в Керкби-Лонсдейл. Он засунул в нос понюшку табаку.

— Этот ваш Роули, видно, добрый малый и не так глуп, как кажется. Когда мне в другой раз придется путешествовать на перекладных с нетерпеливым влюбленным, я последую его примеру и куплю себе флажолет.

— Сэр, я вел себя, как самый неблагодарный...

— Ладно, ладно, мистер Энн. Я был чересчур упоен своим успехом, вот и все, и, пожалуй, был бы не прочь,

чтобы меня немного похвалили... так сказать, погладили по головке. Не часто у меня бывало такое желание — должно быть, раза три за всю жизнь, оттого я и не опередил вас на некой стезе и не подыскал себе вовремя супругу. А ведь это единственный путь для человека, если он желает, чтобы кто-то еще радовался его успехам.

— И, однако же, готов поклясться, что вы бескорыстно радуетесь моей победе.

— Ничуть не бескорыстно, сэр: ведь вступи ваш кузен в права наследства, он в два счета выставил бы меня за дверь. Впрочем, должен признаться: он задел во мне еще иное чувство, почти столь же глубокое, как своекорыстие, один вид его и запах его духов неизменно вызывали во мне тошноту; меж тем как ваше неблагоразумие...— он поглядел на меня с суховатой улыбкой,— было, по крайности, симпатично мне и... короче говоря, сэр, хотя вы подчас и выводили меня из терпения, служить вам было приятно.

Можете поверить, что от слов этих я только еще сильней ощутил раскаяние.

Мы приехали в Лондон поздно ночью, и тут мистер Роумен с нами распрощался. У него были неотложные дела в Эмершеме. Роули дал мне несколько часов поспать и разбудил только для того, чтобы я выбрал двух мальчиков, которые будут стоять на запятках моей кареты до Барнета,— эту высокую честь оспаривали четверо: двое в синих куртках и белых цилиндрах и двое в светло-коричневых куртках и черных цилиндрах. Выбрав синих с белым, я утешил светло-коричневых с черным солидными чаевыми, и мы снова тронулись в путь.

Теперь мы ехали по Большому северному тракту, по которому почтовые кареты неизменно катят со скоростью десять миль в час под далеко разносящиеся переливы рожка, и я полагал, что под простодушную песенку флажолета мы будем делать уж никак не менее двенадцати миль. Но первым делом я пересадил моего верного слугу на прежнее место рядом со мною и принялся с пристрастием допрашивать о его похождениях в Эдинбурге, о том, как поживают Флора и ее тетушка, мистер Робби, миссис Макрэнкин и все прочие мои друзья. Оказалось, что моя дорогая Флора покорила Роули мгновенно и навсегда.

— Она и вправду как цветочек, мистер Энн. Я так

думаю, сэр, вы и сами знаете, оно враз валит человека с ног.

— Я не совсем тебя понимаю, друг мой?

— Да вот, прошу прощения, сэр, это самое .. как говорится, любовь с первого взгляда.

Он даже покраснел, лицо у него стало и смущенное и вместе лукавое.

— Что ж, Роули, поэты на моей стороне.

— А вот миссис Макрэнкин, сэр...

— Сама Маргарита Наваррская, мистер Роули...

Но он до того забылся, что даже перебил меня:

— Миссис Макрэнкин, сэр, сколько лет привыкала к своему мужу. Она сама мне говорила.

— Я припоминаю, что и мы не один день привыкали к миссис Макрэнкин. Правда, ее стряпня...

— Вот и я говорю, мистер Энн: это не то, чтобы пустяки какие... и хотите верьте, хотите нет, сэр... а может, вы и сами приметили... у ней ведь и ножки хороши.

Он покраснел как рак и дрожащими пальцами принялся свинчивать свой флажолет. Я глядел на него, и глазам не верил, и с трудом подавлял улыбку. Без сомнения, я и прежде знал, что Роули во всем пытается мне подражать, да и по традиции позволительно, более того, даже полагается, чтобы верный слуга влюблялся, хотя бы из сочувствия, когда влюблен его господин. И если кавалер шестнадцати лет от роду, еще новичок в науке страсти нежной, избирает себе в дамы сердца особу, которой стукнуло пятьдесят,— что может быть естественней? А все же — подумать только! — Бетия Макрэнкин!

Я с трудом сохранил серьезность.

— Друг мой Роули,— сказал я,— если музыка питает твою любовь, так играй же!

И Роули поначалу робко, а затем, разошедшись, с чувствительностью невообразимой заиграл «Ту, что осталась дома».

Потом оборвал мелодию, глубоко вздохнул и начал сызнова, я же отбивал такт ногою и тихонько подпевал:

А нынче приказ. шлют в Брайтон нас,
Путь дальний, незнакомый ..
Так пусть же господь меня вновь приведет
К той, что осталась дома.

Эта вдохновляющая мелодия сопровождала нас всю дорогу. Она нам никогда не приедалась. Стоило нашему разговору иссякнуть, как с моего безмолвного согласия Роули доставал флажолет и принимался ее наигрывать. Под эту песенку веселым галопом скакали лошади, в такт ей позвякивала упряжь и подпрыгивали в седле форейторы... А ликующее presto[1], которым она завершалась, как только мы подъезжали к постоялому двору, предвкушая, что сейчас нам сменят лошадей, и описать невозможно: до того оно было веселым и стремительным.

Итак, лошади мчали меня домой, в открытые окна кареты врывалась бодрящая вешняя свежесть, и душа моя тоже, словно окно, распахнулась навстречу молодости, здоровью и долгожданному счастью. Как всякий истинный влюбленный, я был полон нетерпения и все же не утратил способности радостно дивиться превратностям судьбы, ведь я ехал как какой-нибудь лорд, с карманами, полными денег, по той самой дороге, по которой ci-devant [2] Шандивер в страхе удирал, петляя и заметая следы, в крытой повозке Берчела Фенна!

И все же нетерпение так обуревало меня, что, когда мы галопом проскакали по Келтон-Хиллу и новой лондонской дорогою, где пахнущий апрелем ветер, веселый и свежий, дул нам прямо в лицо, спустились в Эдинбург, я отправил Роули с чемоданами к нам на квартиру, а сам забежал умыться и позавтракать к Дамреку и оттуда, уже один, поспешил в «Лебяжье гнездо».

Дни ли, годы — пусть! Все равно вернусь,
Любовью своей влекомый,
И уж больше вовек не расстанусь, нет,
С той, что осталась дома!

Как только из-за холма выглянул конек хорошо знакомой кровли, я отпустил кучера и пошел далее пешком, весело насвистывая все ту же песенку, но, дойдя до садовой ограды, умолк и принялся искать то место, где когда-то через нее перелез. Я нашел его по густым ветвям бука, нависшим над дорогой, и, как тогда, бесшумно взобрался на ограду под их прикрытием, вернее, они прикрыли бы меня, ежели бы я вздумал там ждать. Но я не собирался ждать, зачем? Ведь в нескольких

[1] Очень быстро (*муз. термин*).
[2] бывший (*франц.*).

шагах от меня стояла она! Она, моя Флора, моя богиня, с непокрытой головою, окутанная утренним узорчатым покрывалом солнечных бликов и зеленых теней, в сандалиях, влажных от росы и, как тому и быть должно, с охапкою цветов — пунцовых, желтых, полосатых тюльпанов. А перед нею, спиной ко мне, все в той же куртке с памятной заплатой на спине, опершись обеими руками на лопату, стоял Руби, садовник, и выговаривал своей молодой госпоже.

— Но мне нравится срезать тюльпаны на длинном стебле, вместе с листьями, Руби!

— Дело ваше, мисс, а мое дело вам сказать: луковицы-то вы начисто загубите.

Ждать долее я уже не мог. Едва садовник нагнулся и вновь принялся копать землю, я схватил обеими руками ветку бука и тряхнул ее. Флора услыхала шелест листьев, подняла голову и, увидав меня, тихонько вскрикнула.

— Что это вы, мисс?

Руби мигом выпрямился, но она уже оборотилась и глядела вдаль, на огород.

— Там какой-то малыш забрался в арти... то есть в клубнику.

Садовник швырнул лопату и заспешил к огороду. Флора оборотилась ко мне, тюльпаны упали к ее ногам, и о, как радостно она вскрикнула, какой восхитительный румянец залил ее щеки! Ее руки протянулись ко мне! Все повторилось снова, все было точно так же, как в первый раз, с тою лишь разницей, что теперь и мои руки протянулись ей навстречу.

Все странствия кончаются
Свиданием влюбленных.

Садовник успел пробежать уже ярдов двенадцать и вдруг остановился: то ли услышал, как я слезал со стены, то ли смутно припомнил, что однажды его уже подобным образом провели. Как бы то ни было, он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть Флору в моих объятиях.

— Боже милостивый! — воскликнул он и с минуту стоял, точно окаменев; потом вперевалку заторопился к дому, к черному ходу.

— Надобно сей же час сказать тетушке! Она... куда же ты, Энн? — воскликнула Флора, хватая меня за рукав.

— В курятник, конечно,— отвечал я.

Через минуту, взявшись за руки и заливаясь счастливым смехом, мы уже бежали по дорожкам к дому. И, помнится, на бегу я подумал: «Не странно ли, что сейчас я впервые войду в этот дом через парадный ход!»

Мы застали миссис Гилкрист в столовой. На диване, набитом конским волосом, лежала груда полотна, на коврике перед камином, гордо выпятив грудь, стоял Рональд, а достойная тетушка расхаживала вкруг него с меркою в одной руке и ножницами в другой. Она оглядела меня поверх лорнета в золотой оправе, переложила ножницы в левую руку, а правую протянула мне.

— Гм,— произнесла она.— Доброе утро, мусью. Так зачем же вы к нам пожаловали на этот раз?

— Сударыня,— отвечал я с поклоном,— надеюсь, это совершенно ясно!

— Поздравляю вас от всего сердца, Сент-Ив,— сказал Рональд, подходя ко мне.— И вы тоже можете меня поздравить. Я получил офицерский чин.

— Ну, тогда я поздравлю Францию с тем, что войне конец,— пошутил я.— Нет, право, мой дорогой, сердечно за вас рад. Какой же полк?

— Четвертый.

— Полк майора Шевеникса!

— Шевеникс — человек порядочный. Он вел себя отлично, просто превосходно.

— Да, превосходно,— кивнув, подтвердила Флора.

— Это он умеет. Но если вы ждете, что от этого я стану лучше к нему относиться, то...

— Майор Шевеникс всегда напоминает мне ножницы,— по обыкновению бесстрастно вставила миссис Гилкрист.

Она лязгнула ножницами, которые держала в руке, и, должен признаться, как нельзя нагляднее изобразила тем самым суровость и непреклонность. «Но, боже мой, сударыня, неужто вы не могли подыскать другой предмет для сравнения!»,— мысленно воскликнул я.

Вечером того счастливейшего дня я отправился назад в Эдинбург. Шел я некоей воздушной тропою, усеянной розами и не обозначенной ни на одной карте. Каким-то образом тропа эта все же привела меня к дверям моего

временного жилища, и тут ноги мои коснулись земли, ибо дверь мне отворила Бетия Макрэнкин.

— А где же Роули? — спросил я через минуту, оглядывая гостиную.

— Он-то? — Миссис Макрэнкин язвительно усмехнулась.— Он когда приехал, уж так закатывал глаза. Я сразу поняла: простыл, того гляди, задохнется. Ну, и пришлось влить в него полную ложку мятных капель и уложить в постель.

Здесь я опускаю занавес и оканчиваю повесть о приключениях Сент-Ива.

В начале июня мы с Флорой обвенчались и немногим более полугода наслаждались роскошью Эмершема, как вдруг пришло известие, что император бежал с острова Эльба. Должен признаться, что во время волнений и сумятицы последующих Ста дней (как назвал их впоследствии мсье де Шамбор) виконт де Сент-Ив преспокойно сидел у себя в поместье и грелся у домашнего очага. Да, конечно, Наполеон был прежде моим повелителем и я отнюдь не питал нежных чувств к cocarde blanche[1]. Но к тому времени я стал уже «натурализованным» англичанином (хотя этот юридический термин и не совсем точно выражает суть дела), и у меня появилась, как говорил мистер Роумен, доля капитала в этой стране; притом во мне пробудился интерес к иным ее законам, и я помогал вершить правосудие в своем графстве. Коротко сказать, положение запутанное, оно пришлось бы очень по вкусу какому-нибудь крючкотвору. Но мне-то, признаться, оно было вовсе не по вкусу, напротив того, отнимало у меня душевное спокойствие. Ежели вы, друзья мои, взвесив все pro и contra[2], памятуя о моем пристрастии к тихому домашнему очагу и о том, что Флора готовилась вскорости стать матерью, посоветовали бы мне оставаться в бездействии, вы предугадали бы мой выбор. Итак, я сидел и читал газеты. И тут пришло письмо от Рональда, сообщавшего, что его полк получил приказ отправиться в поход, вернее, в плавание, и через неделю корабль уже выйдет из гавани Лита в Нидерланды, где Рональд и его однополча-

[1] «Белой кокарде» — то есть к королевской власти, к Бурбонам *(франц.)*

[2] За и против *(лат.)*.

не присоединятся к войскам герцога Веллингтонского. Ну, теперь уж моя ненаглядная не могла не поспешить в Эдинбург, чтобы попрощаться с братом, только на этот раз мы ехали в коляске и сопровождали нас ее горничная и Роули. Мы поспели в «Лебяжье гнездо» как раз вовремя — накануне отъезда Рональда, и он провел с нами весь вечер. Юноша выглядел заправским воякой в своем алом мундире, который он надел нарочно, чтобы показаться дамам в полной форме, и они не преминули оросить этот мундир слезами (да простятся нам, мужчинам, эти слезы!).

На другое утро мы спозаранку поехали в город и смешались с толпой, что собралась у подножия Касл-Хилл, дабы проводить четвертый полк в дальний путь. Прождав с полчаса, мы услышали барабанную дробь и первые звуки походного марша,— они неслись из-за стены, окружавшей Замок; часовой у ворот отступил и взял на караул, и в ту же минуту под величественными сводами крепостных ворот запылали алые мундиры, засверкали медные трубы оркестра. Новобранцы еще раньше со всеми распрощались, и только неотвратимый топот ног по подъемному мосту звучал в ответ машущим платкам, крикам «Ура!» и плачу женщин. Солдаты шагали за рядом ряд, и первым, сразу же за оркестром, ехал верхом майор Шевеникс. Он увидел нас, слегка покраснел и торжественно отдал честь. Мне он никогда не был приятен, но я вынужден признать, что в ту минуту на него можно было залюбоваться. И мне стало его немного жаль, ибо он не сводил глаз с Флоры, ее же взор устремлялся на прапорщика Рональда Гилкриста, который шагал в арьергарде третьей роты, рядом с потрепанным, видавшим виды знаменем; голова Рональда была гордо вскинута, щеки разрумянились, но, когда он проходил мимо нас, губы его дрогнули.

— Благослови тебя бог, Рональд!

— Правое плечо вперед!

Оркестр и гарцевавший за ним майор повернули за угол на Норт Бридж-стрит; последние ряды, знамя и бравый прапорщик скрылись из виду. Наш кучер тронул лошадей. Мы двинулись за полком, и тут рука Флоры тихонько скользнула в мою. Я отбросил все терзавшие меня сомнения и поспешил утешить мою дорогую.

Стихи и баллады

ИЗ СБОРНИКА «ДЕТСКИЙ ЦВЕТНИК СТИХОВ»

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Зимой, еще не брезжит свет,
А я уже умыт, одет.

Напротив, летом спать меня
Всегда кладут при свете дня.

Средь бела дня я спать иду,
А птицы прыгают в саду,

И взрослые, покинув дом,
Гуляют под моим окном.

Скажите, это ли не зло:
Когда еще совсем светло

И так мне хочется играть,
Вдруг должен я ложиться спать!

ДОЖДЬ

Повсюду дождь: он льет на сад,
На хмурый лес вдали,
На наши зонтики, а там —
В морях — на корабли.

БУРНАЯ НОЧЬ

Когда ни звезды, ни луна
Не светят в поздний час,
Я слышу топот скакуна,
Что мчится мимо нас.

Кто это скачет на коне
В сырую полночь, в тишине?

Под ветром дерево скрипит,
Качаются суда
И снова гулкий стук копыт
Доносится сюда.
И, возвращаясь в ту же ночь,
Галопом всадник скачет прочь.

НА ПАРОХОДЕ

Нам стулья темный дал чулан,
Подушки разные — диван,
И вот готов наш пароход
Лететь стрелой по глади вод.

У нас есть гвозди и пила,
Воды нам няня принесла,
А Том сказал: «Ты не забудь
Взять яблоко и пряник в путь!»
Теперь вперед в далекий край,
Пока не позовут пить чай!

Плывем мы день, плывем другой
И наслаждаемся игрой...
Вдруг Том упал, разбивши нос,
И я один теперь матрос.

КУДА УПЛЫВАЕТ ЧЕЛНОК?

Река с водой густою,
Песок в ней — как звезда.
Деревья над водою,
Вода бежит всегда.

Там смотрят в листья волны,
Из пены замки там,
Мои плывут там челны
К безвестным берегам.

Бежит вода в теченье,
Уж мельница — вдали,
Долины в отдаленье,
Холмы в туман ушли.

Мелькает зыбь, как сети.
Сто верст бежит поток,
А там другие дети
Мой приютят челнок.

СТРАНА КРОВАТИ

Когда я много дней хворал,
На двух подушках я лежал,
И чтоб весь день мне не скучать,
Игрушки дали мне в кровать.

Своих солдатиков порой
Я расставлял за строем строй,
Часами вел их на простор —
По одеялу, между гор.

Порой пускал я корабли;
По простыне их флоты шли;
Брал деревяшки иногда
И всюду строил города.

А сам я был как великан,
Лежащий над раздольем стран —
Над морем и громадой скал
Из простыни и одеял!

МОЯ ТЕНЬ

Тень бежит за мной вприпрыжку, чуть я только побегу.
Что мне делать с этой тенью, я придумать не могу.
Мы похожи друг на друга, тень проворна и смешна,
И в постель под одеяло первой прыгает она.

Но смешней всего, ребята, это как она растет.
Ей терпенья не хватает подрастать из года в год.

То взлетит она, как мячик, по стене гулять пойдет,
То вдруг так она сожмется, что и вовсе пропадет.

Тень не знает, как играют, где найти других ребят.
Целый день меня дурачит, и всегда на новый лад.
Тень одна ходить боится, все за мной она бежит.
Так за нянюшку цепляться для мальчишки просто стыд.

Я поднялся рано-рано, до восхода полчаса.
Я увидел, как сверкала в каждом лютике роса.
Но ленивой в это утро что-то тень моя была,
Не хотела встать с постели и до солнышка спала.

ПЕРЕД СНОМ

Из комнат, из кухни во двор ночной
Ложится квадратами свет,
И медленно кружатся над головой
Мириады звезд и планет.

Столько листьев в саду не отыщешь ты,
Столько в городе лиц не найдешь,
Сколько глаз глядит на меня с высоты —
Миганье, мерцанье, дрожь.

Мне обе Медведицы там видны
И Полярная там звезда,
И рядом со мной в ведре у стены
Созвездий полна вода.

Они увидали меня, грозят
И гонят меня в кровать,
Но я их миганье, мерцанье, взгляд
Увижу во сне опять.

МАРШ

Марш играйте на гребенке!
Мы идем в поход!
В барабан упругий, звонкий
Джонни громко бьет.

Джен командует войсками,
Питер держит тыл.
Левой, правой! Взмах руками!
Каждый в битве был.

Любоваться можно нами
На любом смотру.
И салфетка, наше знамя,
Вьется на ветру.

Мы со славой воевали,
Джен, начальник мой!
Раз мы всюду побывали,
Побежим домой.

МОЯ ПОСТЕЛЬ — ЛАДЬЯ

Моя постель — как малый челн.
Я с няней снаряжаюсь в путь,
Чтоб вдруг, пловцом средь тихих волн,
Во мраке потонуть.

Чуть ночь, я на корабль всхожу,
Шепнув «покойной ночи» всем,
И к неземному рубежу
Плыву, и тих и нем.

И, как моряк, в ладью с собой
Я нужный груз подчас кладу:
Игрушку, или мячик свой,
Иль пряник на меду.

Всю ночь мы вдаль сквозь тьму скользим;
Но в час зари я узнаю,
Что я — и цел и невредим —
У пристани стою.

МОИ СОКРОВИЩА

Те орехи, что в красной коробке лежат,
Где я прячу моих оловянных солдат,
Были собраны летом: их няня и я
Отыскали близ моря, в лесу у ручья.

А вот этот свисток (как он звонко свистит!)
Нами вырезан в поле, у старых ракит;
Я и няня моим перочинным ножом
Из тростинки его мастерили вдвоем.

Этот камень большой, с разноцветной каймой
Я едва дотащил, весь иззябнув, домой;
Было так далеко, что шагов и не счесть...
Что отец ни тверди, а в нем золото есть!

Но что лучше всего, что как царь меж вещей
И что вряд ли найдется у многих детей —
Вот стамеска: зараз рукоять-лезвие...
Настоящий столяр подарил мне ее!

ГОРОД ИЗ ДЕРЕВЯШЕК

Бери деревяшки и строй городок:
Дома и театры, музеи и док;
Пусть дождик прольется и хлынет опять:
Нам весело дома дворцы созидать!

Диван — это горы, а море — ковер.
Мы город построим близ моря, у гор.
Вот — мельница, школа, здесь — башни, а там
Обширная гавань — стоять кораблям.

Дворец на холме и красив и высок;
С террасой, колонной, он сам — городок:
Пологая лестница сверху ведет
До моря, где в бухте собрался наш флот.

Идут корабли из неведомых стран;
Матросы поют про седой океан
И в окна глядят, как по залам дворца
Заморские вещи несут без конца.

Но время покончить! Всему есть свой срок.
В минуту разрушен весь наш городок.
Лежат деревяшки, как брошенный сор.
Где ж город, наш город близ моря, у гор?

Но был он! Я вижу его пред собой:
Дома, корабли и дворцы с их толпой!
И буду всю жизнь я любить с этих пор
Тот город, наш город близ моря, у гор.

ВЫЧИТАННЫЕ СТРАНЫ

Вкруг лампы за большим столом
Садятся наши вечерком.
Поют, читают, говорят,
Но не шумят и не шалят.

Тогда, сжимая карабин,
Лишь я во тьме крадусь один
Тропинкой тесной и глухой
Между диваном и стеной.

Меня никто не видит там,
Ложусь я в тихий мой вигвам.
Объятый тьмой и тишиной,
Я — в мире книг, прочтенных мной.

Здесь есть леса и цепи гор,
Сиянье звезд, пустынь простор —
И львы к ручью на водопой
Идут рычащею толпой.

Вкруг лампы люди — ну точь-в-точь
Как лагерь, свет струящий в ночь,
А я — индейский следопыт —
Крадусь неслышно, тьмой сокрыт...

Но няня уж идет за мной.
Чрез океан плыву домой,
Печально глядя сквозь туман
На берег вычитанных стран.

ИЗ СБОРНИКА «ПОДЛЕСОК»

ЗАВЕЩАНИЕ

К широкому небу лицом ввечеру
Положите меня, и я умру,
Я радостно жил и легко умру
И вам завещаю одно —
Написать на моей плите гробовой:
«Моряк из морей вернулся домой,
Охотник с гор вернулся домой,
Он там, куда шел давно».

ГАДАЛКА

Я говорю гадалке: — Что-то никак не пойму,
Отчего я люблю все вкусное, а невкусного в рот
не возьму?
Отчего у мота веселый, а у жмота печальный вид?
— Легко загадки загадывать,— гадалка мне говорит.

Я говорю гадалке: — Что-то никак не пойму,
Всем не везет на свете или только мне одному?
То уплывет рыбешка, то пташечка улетит...
— Легко загадки загадывать,— гадалка мне говорит.

Я говорю гадалке: — Что-то никак не пойму,
Отчего ребята заводят с девушками кутерьму?
И было бы что хорошее, а то — так сплошной стыд!
— Легко загадки загадывать,— гадалка мне говорит.

Я говорю гадалке: — Что-то никак не пойму,
Раз всем помирать придется и вообще пропадать всему —
Зачем этот мир прекрасен и как праздничный стол
накрыт?
— Легко загадки загадывать,— гадалка мне говорит.

Я говорю гадалке: — Что-то никак не пойму,
Где же причина причин, почему на все почему?
От этих самых загадок в глазу аж слеза горит.
— Легко загадки загадывать,— гадалка мне говорит.

БРОДЯГА

Вот как жить хотел бы я,
Нужно мне немного:
Свод небес, да шум ручья,
Да еще дорога.
Спать на листьях, есть и пить,
Хлеб макая в реки,—
Вот какою жизнью жить
Я хочу вовеки.

Смерть когда-нибудь придет,
А пока живется —
Пусть кругом земля цветет,
Пусть дорога вьется!
Дружба — прочь, любовь — долой,
Нужно мне немного:
Небеса над головой,
А внизу дорога.

Холод осени жесток,
Но, не унывая,
Вижу: чистит коготок
Птичка голубая.
Как я первый снег люблю
И костер на камне!
Осень я не уступлю,
И зима нужна мне.

Смерть когда-нибудь придет,
А пока живется —
Пусть кругом земля цветет,
Пусть дорога вьется!
Дружба — прочь, любовь — долой,
Нужно мне немного:
Небеса над головой,
А внизу дорога...

ТАМ, В ГОРАХ

Там, в горах, где села одиноки,
Где у старцев розовеют щеки,
А во взорах девушек
Покой,—
Там вершины светятся весельем,
А меж них по ласковым ущельям
Все поет и дышит
Тишиной.

Если б вновь тех высей мог достичь я,
Где над красным взгорьем пенье птичье,
А в долинах —
Зелена трава,
Где сгорает день в мильонах блесток
И в высотах тьмы тысячезвездных
Светом и движеньем
Ночь жива!

О, мечтать! Проснуться, устремиться
В эту даль без края без границы,
Тишь дыханьем возмутить
Посметь!
О, туда, где в кряжи вековые
Входят лишь великие стихии —
Ветры, грозы, реки,
Жизнь и смерть.

БАЛЛАДЫ

ВЕРЕСКОВЫЙ МЕД

Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.

В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.

Пришел король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.

На вересковом поле
На поле боевом
Лежал живой на мертвом
И мертвый — на живом.

Лето в стране настало,
Вереск опять цветет,
Но некому готовить
Вересковый мед.

В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малютки-медовары
Приют себе нашли.

Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.

Король глядит угрюмо:
«Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,
А меда мы не пьем!»

Но вот его вассалы
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.

Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет,—
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнес.

Сидел король шотландский,
Не шевелясь, в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.

Гневно король промолвил:
— Пытка обоих ждет,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мед!

Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море катились валы.

И вдруг голосок раздался:
— Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!

Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну! —
Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
— Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!

Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.

Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мед!

Сильный шотландский воин
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.

Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик...
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик.

— Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.

А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна —
Мой вересковый мед!

РОЖДЕСТВО В МОРЕ

Снасти обледенели, на палубах сущий каток,
Шкоты впиваются в руки, ветер сбивает с ног —
С ночи норд-вест поднялся и нас под утро загнал
В залив, где кипят буруны между клыками скал.

Бешеный рев прибоя донесся до нас из тьмы,
Но только с рассветом мы поняли, в какой передряге мы.
«Свистать всех наверх!» По палубе мотало нас взад-вперед,
Но мы поставили топсель и стали искать проход.

Весь день мы тянули шкоты и шли на Северный мыс,
Весь день мы меняли галсы и к Южному вспять неслись.
Весь день мы зазря ладони рвали о мерзлую снасть,
Чтоб не угробить судно да и самим не пропасть.

Мы избегали Южного, где волны ревут меж скал,
И с каждым маневром Северный рывком перед нами вставал.
Мы видели камни, и домики, и взвившийся ввысь прибой,
И пограничного стражника на крыльце с подзорной трубой.

Белей океанской пены крыши мороз белил,
Жарко сияли окна, дым из печей валил,
Доброе красное пламя трещало по всем очагам,
Мы слышали запах обеда, или это казалось нам.

На колокольне радостно гудели колокола —
В церковке нашей служба рождественская была.
Я должен открыть вам, что беды напали на нас с Рождеством
И что дом за домиком стражника был мой отеческий дом.

Я видел родную столовую, где тихий шел разговор,
Блики огня золотили старый знакомый фарфор;
Я видел старенькой мамы серебряные очки
И такие же точно серебряные отца седые виски.

Я знаю, о чем толкуют родители по вечерам,—
О тени дома, о сыне, скитающемся по морям.
Какими простыми и верными казались мне их слова,
Мне, выбиравшему шкоты в светлый день Рождества!

Вспыхнул маяк на мысе, пронзив вечерний туман.
«Отдать все рифы на брамселе!» — скомандовал капитан.
Первый помощник воскликнул: «Но корабль не выдержит, нет!»
«Возможно. А может, и выдержит»,— был спокойный ответ.

И вот корабль накренился, и, словно все оценив,
Он точно пошел по ветру в узкий бурный пролив.
День штормовой кончался на склонах зимней земли;
Мы вырвались из залива и под маяком прошли.

И, когда на открытое море нацелился нос корабля,
Все облегченно вздохнули, все,— но только не я.
Я думал в черном порыве раскаянья и тоски,
Что удаляюсь от дома, где стареют мои старики.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
произведений Р. Л. Стивенсона, включенных в 1—5 тома Собрания сочинений

СОДЕРЖАНИЕ

Роберт Луис СТИВЕНСОН

Собрание сочинений в пяти томах

Том V

Редактор тома
М. Г. Гринева

Оформление художника
Г. А. Раковского

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 20.11.80. Подписано к печати 20.04.81.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 21,42. Уч.-изд. л. 21,91. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 795. Заказ № 3384. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24

Индекс 70681